Иностранная литература

10

1962

1962

Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ КИТАЙСКИХ ПОЭТОВ

ЧЖАН ТЯНЬ-МИН — Во имя сына 6
ТЯНЬ ЦЗЯНЬ — Феникс 7
ГУ ГУН — Хижина дровосека 8
БА МУ — Вопрошаю весну 9

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ — Художник (Роман) 10

ДЖОН ОКАЙ — Космические ритмы . . . 59

ЮСУФ ИДРИС — Грех (Повесть) 62

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ АВСТРАЛИИ

КЕННЕТ СЛЕССОР — Север Австралии. Юг Австралии 123
ДУГЛАС СТЮАРТ — Неизвестный солдат . 124
ДЖЕЙМС ДЕВЕНИ — Время дождей в джунглях 125
РОЗМЕРИ ДОБСОН — Ребенок с какаду . . 126
ДЖУДИТ РАЙТ — Легенда 127

МАРЧЕЛЛО ВЕНТУРИ — Отпуск одного немца (Повесть) 129

ВЕСНА ПАРУН — Земля моя! (Стихи) . . . 150

ФРАНСУА МОРИАК — Шалый (Повесть) . . 152

ПУБЛИЦИСТИКА

ЖАН ФРЕВИЛЬ — Наше идейное оружие 176

10

ОКТЯБРЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КРИТИКА

И. БЕРНШТЕЙН — В поисках главного героя 180
Д. ЗАТОНСКИЙ — Сила любви и ненависти . 187
ИВАН КАШКИН — Роберт Фрост 195

ОБЗОРЫ

МАРТИН ДИАС — Молодая испанская литература 202

ПОЛЕМИКА

Р. САМАРИН — Жан-Жак Руссо с точки зрения лилипута 206

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 209

НАШИ ГОСТИ

«Африка — это дело совести каждого..» (Сара Лидман в редакции «Иностранной литературы») 214

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

КАРЛ ХОВИ — Львенок (Джон Рид, каким я его знал). (Окончание) 216
ТАМАРА ХОВИ — Вместо послесловия . . . 231

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран 236

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Б. ПЕСИС — Слушая и перечитывая Арагона (К 65-летию со дня рождения) . . . 239
И. АНИСИМОВ — Мария Домбровская (К 70-летию со дня рождения) 243

КАРАНДАШОМ И ТУШЬЮ 244

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Турков — Богаче на целый звук. ◇ Л. Ким — В преддверии весны. ◇ А. Грузинова — Главный курс. ◇ А. Петриковская — С живыми по пути. ◇ К. Атарова — Свет поэзии. ◇ И. Шейдина — Человек прокладывает дорогу к счастью . 248

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В. Скороденко — В тисках одиночества. ◇ Р. Орлова — Ирония и горечь. ◇ М. Тарасова — «Государственное издательство — Варна». ◇ Нагиб Сурур — «Вор и собаки». ◇ Н. Подземская — В застенках греческих тюрем 254

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 264

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 267

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке гравюра на дереве ЛУИСА ДИАСА МОРИССЕ «Решение» (Куба)

НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ МЫ ВОСПРОИЗВОДИМ ИЛЛЮСТРАЦИИ СЛОВАЦКОГО ХУДОЖНИКА ВИНЦЕНТА ГЛОЖНИКА К ТЕКСТУ КОНСТИТУЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Стихи китайских поэтов

ЧЖАН ТЯНЬ-МИН

Во имя сына

Стоит под ивой молодой
травой увитая скамья.
Над озером в тени ветвей
сидим, обнявшись, ты и я.
И ноги скрыты до колен
высокой сочною травой.
И ты и я отражены,
как в чистом зеркале, водой.

Сидим вдвоем на берегу,
и просишь ты все вновь и вновь,
чтоб рассказал я что-нибудь,
но непременно про любовь.
И вспоминаются мне вдруг
супругов нежных имена...
Муж молод был, как я теперь,
и молода, как ты, жена.

Деревьев нежная листва
несла им тонкий аромат,
Но меж стволов протянут был
колючей проволоки ряд.
И на скамейке посидеть
жене и мужу довелось:
пытали их на той скамье,
и вместе мучили и врозь.

Не обвивала ног трава,
не навевала нежных слов,
лишь стоны слышались вокруг
да звон железных кандалов.
Когда же лагерные псы
водили на прогулку их,
как были чувствами полны
глаза супругов молодых!

Их взоров блеск и чистота
в сердца прокладывали путь...
Они, как в зеркало, могли
друг другу в душу заглянуть.
«Держись, товарищ!» Слов других
любовь их не знавала, нет!
«Не покоряться! Победить!» —
был их супружеский обет.

И наступил счастливый день:
родился первенец их — сын!
Отец услышал первый крик
и — на расстрел пошел один.
Плач сына — это жизнь, рассвет,
но за спиною пес — палач...
Призывом «Гунчаньдан ваньсуй!» *
в ушах отца звенел тот плач.

А ровно через год была
и мать ребенка казнена.
Пред смертью спрятала письмо
в одежде мальчика она.
Друзья-подпольщики прочли
тот кровью писаный листок.
Какая твердость в том письме,
в звучанье мужественных строк!

Две жизни разлучила смерть...
Благодаря такой семье
любовь и молодость теперь
сидят под ивой на скамье.
Мы будем строить, будем жить!
И пусть прикажет мне страна —
по льду, сквозь снег пойду туда,
где будет жизнь моя нужна.

Перевод ГЕННАДИЯ ЯРОСЛАВЦЕВА

ТЯНЬ ЦЗЯНЬ

Феникс

Говорят, с далеких Тяньшаньских гор
сказочный феникс к нам прилетел.
Говорят, уже слышали пенье его
в новом городе Шихэцзы.

Феникс — зачем он сюда прилетел?

Здесь страна малахитовой зелени,
здесь равнины белого золота,
здесь огни как алмазные звезды,
здесь дома как синие скалы,

* Да здравствует коммунистическая партия! *(Китайск.)*

здесь цветы как багряные реки,
здесь сады как зеленые волны...
Здесь бьют ключи из горячей, красной земли,
превращают пустыню в пастбища и поля!

Говорят, если феникс к нам прилетел,
это — добрый, счастливый знак.
Говорят, полюбилось фениксу здесь —
улетать не хочет назад.
Средь высоких утесов он свил гнездо,
как в густом гранитном лесу.

Кто же этот чудесный феникс?
И зачем он здесь поселился?
Это — наша пустыня Гоби,
пробужденная, преображенная!..

Пусть поет, не смолкает чудесный феникс
над широкой рекой, над полями хлопка,
пусть глядит, любуясь, чудесный феникс,
как пустынный край на глазах оживает,
как рождается первое поколенье
молодых наследников новой жизни.

Перевод СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА

ГУ ГУН

Хижина дровосека

Деревянные двери над ветхим порогом.
Деревянная крыша под ширью небес.
Деревянные окна узки. А за ними —
лес.

Вечно слышится в этом жилище убогом
вой пилы да размеренный стук топора.
Да еще — пенье птиц, что врывается в окна
с утра до утра.

Повелителя дерева скромно жилище.
Но в стенах его жизнь начинают
мосты,
и дома, и оконные рамы, и двери,
и дворцы
удивительной красоты...

БА МУ

Вопрошаю весну

Весна, ответь, когда подует южный ветер?
Ждут всходы на земле заснеженной моей...

Весна, ответь, когда подует южный ветер?
На севере земля ждет солнца много дней...

Весна, ответь, когда подует южный ветер?
На небе тучи все чернее и лютей...

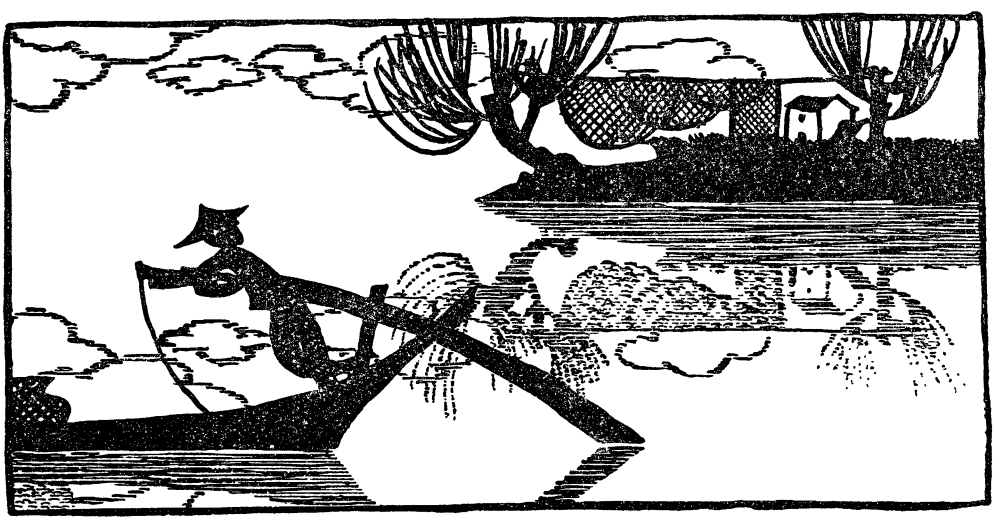
Весна, ответь, когда подует южный ветер?
На севере он — жизнь, он — счастье для людей.

Увы, сама весна не знает, что ответить.
Поникла ива. Ранит грусть ее ветвей.

Вдруг — ласточки летят! Всегда, где южный ветер,
там ласточки летят путем весны своей.

Перевод ВАДИМА СИКОРСКОГО

Рисунок ЧЖОУ ЛИН-ЦЗЯНЯ *(Китай)*



ФРАНЧИСК МУНТЯНУ

Художник

РОМАН

■

Перевод с румынского
Д. ШПОЛЯНСКОЙ

ПРОЛОГ

ибериу Войкан прожил тревожную молодость. Когда ему было десять лет, его ударила лошадь, и работать он уже не мог. Пришлось отдать его в школу. В классе, где стояли стол и стулья из летнего ресторана Клингера, Тибериу чувствовал себя хорошо: в чугунной печке — черной, пузатой — постояннно пылал огонь, а белые чистые стены создавали ощущение покоя. Из-за несгибавшейся ноги он не мог играть с другими детьми, и они избегали его. Со временем Тибериу Войкан свыкся с одиночеством, он часами сидел на желтых камнях, окаймлявших тротуар, следя, как стекает в канавку болотистая вода. После многих месяцев размышлений он пришел к выводу, что в городке нет ничего, кроме нищеты и вязкой грязи. Нищета ему не нравилась, но с грязью он сдружился — разминал ее и строил домики, затем начал лепить собак, рогалики, шары. Однажды какой-то сосед наступил на его лепку. Тибериу рассердился и вылепил из глины его голову.

— Э, да это кривой Ситару,— сказали люди, и Войкан был рад, что кусок глины оказался похожим на Ситару.

В воскресенье священник с амвона объявил верующим, что маленький Войкан одержим нечистой силой — творит кумиры.

Желая избавиться от людских пересудов, родители отправили Войкана в бесплатный лицей-интернат, находившийся на другом конце австро-венгерской империи — в Словакии. Но Войкан и здесь не расставался с глиной, и она уже начинала покоряться его слабым, необычайно длинным пальцам. В его руках глина менялась, обретала жизнь. Даже во время уроков Тибериу не покидала мысль о его фигурках, он скучал по ним. А оставаясь один, выстраивал их в ряд на столе. Там были Наполеон — более худой, чем на обычных изображениях, ироничный, со складками в углах рта (Войкан представлял себе великого императора Франции именно таким); Лист с костлявым лицом и длинными волосами; нищий, пожарный и швейцар интерната — жирный, отекший человек с круглым, гладким, словно пузырь, лицом.

Войкан подолгу глядел на свои скульптуры и, когда был уверен, что никого рядом нет, задавал им вопросы, советовался с ними. Он спрашивал себя, о чем могли бы думать созданные им люди, и его огорчало, что ни один из них ему не отвечал. В конце концов, он нашел способ разговаривать со своими «кумирами»: он спрашивал их так, что ответом могло быть либо «да», либо «нет», затем долго, иногда часами, смотрел в глиняные глаза статуэток. И порой ему казалось, будто Наполеон чуть опускает веки или швейцар интерната одобрительно мигает.

В свободное от занятий время Тибериу уходил в мастерские каменотесов, находившиеся близ городского кладбища, и там учился работать долотом. Вглядывался, как разветвляются жилки мрамора и как шлифуют при помощи воды и песка лица ангелочков, чтобы не стирались их черты. Он часами смиренно стоял за спиной каменотесов, бегал покупать для них сигареты, слушал их ругань по адресу тех, кто не собирался умирать.

У одного из каменотесов, чеха по имени Кропачек, был слепой брат, игравший в мастерской на гармонике. Иногда, если рабочие давали ему выпить, он пел куплеты о том, что дева Мария была якобы служанкой Ирода, который обесчестил ее в тронном зале, и беременная Мария убежала с плотником, солгав ему, будто она понесла от святого духа. Каменотесы подпевали слепому, и Тибериу дивился, как это они не боятся божьего гнева. Когда они заводили подобные песни, Тибериу прятался где-нибудь в церкви и молился, чтобы бог их простил и не поразил громом с ясного неба.

После окончания курса преподаватели лицея не отправили Войкана домой. Послав множество прошений, они добились для него места в столице, в венской Академии художеств.

Вечерами после занятий Тибериу прогуливался по Рингу, разглядывая опрокинутые в серую воду канала силуэты домов и слушая «Воспоминания о Геркулане» Штрауса, исполняемые облаченными в голубые мундиры музыкантами военного духового оркестра. Когда становилось темно и в воде отражались, дрожа, лишь квадраты окон, Тибериу таращил глаза на прохожих: ему тоже хотелось бы иметь серый в клеточку фрак, серый же высокий цилиндр и тоненькую полированную черешневую тросточку.

А в классе он старался, словно тросточкой, помахивать линейкой, держа в руке скомканную газету вместо пары перчаток из козьей кожи. На Корсо женщины в цветных парчовых платьях прикрывали верхнюю часть лица тонкой прозрачной вуалью, смягчавшей щедро наложенный грим. Из распахнутых дверей летних кафе, открытых до поздней осени, струился аромат шоколада, тощие музыканты играли чардаши из репертуара Данко Пишты.

Однако больше всего Тибериу нравилось стоять перед статуями в Шенбрунне и испытуюше разглядывать их, как разглядывают приятеля, которого давно не видели. Для него самого явилось неожиданностью, что ему так приятно подмечать их недостатки. И хотя он знал, что в этой его маленькой радости заключено много злорадства, не мог отказать себе в таком удовольствии. Наибольшее число ошибок он обнаружил в статуе Марии-Терезии. Статуя стояла на высоком постаменте, окруженная толпой декоративных персонажей. Сгиб руки, держащей буллу, был решен плохо, поза — неестественна, утомительна, в пальцах не чувствовалось напряжения от тяжести буллы, складки платья были наивны — все они располагались параллельно одна другой, почти симметрично, как на старых романских статуях, копии которых сериями изготовляли провинциальные скульпторы.

Работая, он открыл, что удачные портреты — не те, которые обладают наибольшим сходством, а те, где виден характер человека. Препода-

ватели рассматривали его скульптуры, качая головой, и всегда с завистью одобряли их. Но Войкан ничего не замечал. Он работал со слепой страстью. Его не интересовали коллеги, и лишь с одним из них, румыном откуда-то из-под Брашова, он несколько сблизился. Ночи напролет они рассуждали о том, что душа человека не скрыта где-то в его теле, но проявляется у каждого в глазах, в выражении лица. Даже каинову печать, объяснял Войкан, надо понимать не механически, это не штемпель, наложенный на лоб, подобно штемпелю на почтовых марках, а нечто скрытое во взгляде, в манере держать подбородок.

И Войкан, и его приятель ухаживали за одной студенткой консерватории. Девушка была единственной дочерью чиновника из Энджерау. Бедная, скромно одетая, она приехала в Вену учиться играть на рояле. Но парчовые платья нравились ей больше, чем упражнения, а гусары — больше, чем контрапункт. Она со скукой слушала разглагольствования Войкана, погрузившись в созерцание витрин, заваленных большими украшенными перьями шляпами, и поворачивала голову вслед любому человеку с тоненькими закрученными усиками. Приятель Войкана отпустил себе усы, кончики которых он подкручивал, смочив их сахарной водой, и научился танцевать вальс. Благодаря всему этому он сумел завоевать сердце Барбары. Войкан смирился, ему было хорошо лишь тогда, когда его длинные, неправдоподобно длинные пальцы яростно впивались в прохладное, плотное тело глины. Он лепил чистых, ангелических женщин и ненавидел уродство и асимметрию. На концерты в парке Пратер он ходил только тогда, когда играли Моцарта,— Вагнер и Бетховен внушали ему страх, их творения его преследовали, в них было нечто дьявольское, грубое, подобное разбушевавшимся страстям.

Однажды товарищи, желая посмеяться над Войканом, подослали к нему в комнату проститутку. У женщины был облик Венеры и тонкий, мелодичный, точно звук скрипки, голос. Войкан с полчаса говорил ей об искусстве, о статуях, о всяких других пустяках. Проститутка, которой надоели разговоры, уселась к нему на колени и попросила его раздеться. Войкан задрожал, покрылся испариной и сердито столкнул ее с колен:

— Я говорю с тобой об искусстве, о чистоте, о совершенстве, а ты... ты...

— Извини меня, дорогой, но я не разбираюсь в искусстве. Я — самая обыкновенная шлюха. Дай мне пять шиллингов — я потеряла с тобой полчаса. Не знаю, кто ты и чем занимаешься, да меня это и не интересует. Совершенством я интересуюсь и того меньше Меня послали твои приятели. А ты — либо импотент, либо сумасшедший. Давай деньги!

Впервые Войкану не было хорошо наедине с глиной. Он обнял незаконченную статую и заплакал. Потом его вдруг охватило чувство вины перед глиной, и он принялся за работу: скоблил лицо статуи ногтями, работал всеми десятью пальцами, ладонями, всей рукой Глина стонала, линии изменялись, лицо статуи обезобразилось, стало странным, похожим на лицо усталого человека, мучимого каким-то наваждением. Студенты испугались, увидев его работу. Собравшиеся профессора спросили, что он делает. Вместо ответа Войкан ударом кулака разбил лицо статуи.

— Ничего. Забавляюсь.

Потом сел и охватил голову руками. Словно сквозь сон он слышал комментарии преподавателей:

— Большой талант... Жаль его...

По завершении четырех лет учения Войкан вылепил святую деву, придав ей сходство со своей матерью. Если он закрывал глаза, она смутно возникала перед ним — грустная, подавленная. В его памяти мать прочно запечатлелась такой, какой он видел ее в последний раз,— она стояла, прислонясь к изгороди перед домом, и, плача без слез, обеими

руками теребила фартук. Педагогический совет присудил Войкану золотую медаль, фотографии статуи появились во всех газетах. И один епископ, мягкий голос которого звучал в соборе города Кайзерштадт, заказал Войкану большую мраморную копию статуи. В течение года Войкан выполнил заказ и, получив плату, вернулся на родину. Его никто уже не помнил Родители умерли, братья женились и разъехались в разные стороны. Войкан оказался один, как перст. Материально он не нуждался, но на душе у него было горько. Приблизительно в то же время газеты начали писать об убийстве Франца-Фердинанда в Сараево Все только и говорили, что об эрцгерцоге и о войне. Люди распевали военные марши, сделались патриотами, и император объявил всеобщую мобилизацию. Из за искалеченной ноги Войкана на фронт не взяли. Он переехал в Орадя и, став преподавателем рисования, заставлял детей изображать все точно, мягко закругленными линиями.

Школьники изводили Войкана: рисовали на него карикатуры, прикрепляли ему к пальто заячьи хвостики, вымазывали стул у кафедры красками.

Войкан не был тучным, но его утомляло малейшее усилие. По ночам он лежал без сна, задыхался, а когда засыпал, его мучили кошмары. По совету врачей он измерил кровяное давление, оказалось — повышенное. По причине воздержания, сказали ему доктора.

Война научила его думать иначе, чем раньше. Все известные ему до сих пор ценности были низвергнуты. Жизнь человека стоила не дороже тыквенного семечка, а к прекрасному применялись новые, незнакомые мерила Во французских журналах по искусству, полученных еще до войны, были изображены какие-то лишенные правильных очертаний карлики, а статьи объясняли это тем, что между художниками и массой ценителей красоты лежит пропасть.

Наедине с собой Войкан почти органически отвергал классицизм. Но на уроках излагал все логично, безапелляционно, утверждая, что великие произведения искусства не нуждаются в объяснениях и нет никакой необходимости некоему эстетику распространяться о том, почему прекрасна Венера или в чем заключается мощь Моисея. Не умея разобраться во всех этих противоречиях, он перестал работать и загрустил. Начав множество статуй, он не закончил ни одной, они все представлялись ему банальными. Венера была уже создана, Моисей тоже. На его долю не осталось ни одной большой темы. Следовало высечь из камня что-то своеобразное, но он не находил ничего, достойного резца.

В тот период он целый год не входил в мастерскую. Читал газеты, сидел на скамейке над Кришем и следил, как бегут мелкие волны.

Вести с фронта становились все более и более смутными. И вдруг вспыхнула советская революция в Венгрии. Несколько комиссаров, носивших на рукаве красную повязку, заказали Войкану статую Маркса. До тех пор Войкан очень мало слышал о великом немецком революционном мыслителе. Он попросил дать ему несколько фотографий Маркса и его произведения. Просиживал над «Капиталом» ночи напролет, но ни в чем не разобрался. И хотя ему было трудно, упрямо читал и перечитывал до тех пор, пока с его глаз словно упала пелена, и он обнаружил то, о чем раньше даже не подозревал. С помощью Маркса он увидел в истории человечества не вереницу нелепых рассказов о королях и войнах, а точную науку, подобную физике или математике. Он взялся за работу с небывалым увлечением.

Меньше чем за два месяца Войкан вылепил бюст философа, возвышавшийся на сферическом постаменте, который изображал земной шар. Но бюст не был установлен город заняла сначала белая гвардия Хорти, затем румынские войска, и Войкану пришлось бежать. Он обосновался в Салонте. Благодаря долгому изучению «Капитала» он стал считать

себя социалистом, но утопическим: мечтал о больших городах с квадратными домами, где живут вежливые и добрые люди.

Приходя в кофейню, он вступал в спор с кем угодно. Но никого из знакомых не считал серьезным противником, кроме одного врача, который казался ему наиболее умным. Врач однажды привел Войкана в замешательство, сказав ему:

— Послушайте, Фрейд объясняет эволюцию человечества с точки зрения психологически-сексуальной, другие ученые — развитием точных наук или искусств. Каждый из этих взглядов справедлив или может быть справедливым. Но только отчасти. Взятый сам по себе, любой из них является не чем иным, как частичкой целого. Необходимо было бы найти способ суммировать все эти объяснения или, скажем, эти истины, сочетать их в едином общем воззрении. Точнее сказать — примирить физику с метафизикой, экономику с искусством, науку с верой. Я говорю не о вере в некое божество, но о вере в нас самих, в наше «я», которого мы не знаем и боимся себе объяснить.

Тот же врач уговорил Войкана изучать математику, открывающую ворота в новый мир: за этими воротами вечность приобретает другие измерения, параллели пересекаются, и в призрачном нагромождении чисел все яснее вырисовываются прочные точки опоры, с помощью которых рычаги мышления переворачивают вселенную и земную ось. Воспринятая сквозь новую призму, вся мировая гармония казалась гротескной, утерявшей стройность. Ничто не являлось новым, все можно было предвидеть, рассчитать заранее. Это открытие абстрактного мира подорвало веру Войкана в свои собственные возможности. Он бросил в огонь книги по математике. Но было слишком поздно. Все, что он создавал в мастерской, казалось ему пошлым. Он ни на минуту не сомневался, что совершенство может существовать лишь отвлеченно, в теории, и искать его в реальном мире, особенно в искусстве,— бессмыслица. Он начал пить. И когда бывал пьян, не думал о формах, о глине, об интегралах, перед ним не вставали никакие вопросы. Вопросов не было, и у него появлялось ощущение, что он обрел свободу. Однажды с похмелья он на клочке бумаги дал и определение этой свободы. Абсолютная свобода находилась по ту сторону любознательности, исканий и чувства долга.

Тогда он еще не давал себе отчета в том, что именно отсутствие любознательности, исканий и чувства долга толкнуло его к краху.

В бессонные ночи Войкан спрашивал себя, почему он не научился честному ремеслу портного или басонщика, чтобы быть занятым восемь часов, получать определенное жалованье и не нести ни малейшей ответственности. Он твердо решил, что если у него будут дети, он никогда не позволит им играть с глиной, с карандашами или слишком часто слушать музыку.

Постоянное одиночество душило его, он бежал из своего заключения в четырех стенах, стремясь затеряться в самой густой толпе.

Однажды ночью он проснулся в испуге и подумал, что, если захворает, некому прийти проведать его, поухаживать за ним. Он вышел на улицу немножко освежиться.

Над Кришем вздрагивала набухшая туча. Ветер раскачивал гибкие руки ив, гнал бумажки, пахло недавно очищенным от грязи стоком. По улице спешили лишь редкие прохожие. У металлических ножек газовых фонарей лежали золотые кружки света. Из какого-то окна слышались хриплые звуки патефона: «Adieu, mein kleiner Garde-Offizier, adieu...»

«Вот я и опять один».

Осень погнала Войкана в мастерскую и заставила взяться за работу. В ту ночь он хотел вылепить спутницу жизни, женщину, которая полностью понимала бы его. Истинную возлюбленную, некую Еву.

Однако, придя в мастерскую, он почувствовал себя усталым и лег спать. Работа осталась открытой и пересохла. На другой день он, рассердившись, приготовил глину и дал объявление, что ищет натурщицу. Явилась одна-единственная девушка лет восемнадцати-девятнадцати.

Войкан успел уже позабыть о своем объявлении.

— Что вам угодно, барышня?

— Я прочла утреннюю газету...

Она потупилась, избегая взгляда стоявшего перед ней человека.

Войкан долго рассматривал ее, она была одета в школьную форму. Либо эта бедная девушка нуждается в деньгах, либо она убежала из школы.

— Вы знаете, что вам надо будет делать?

— Догадываюсь.

— Хорошо. Вы должны будете выполнить некоторые условия. Я работаю над статуей и...

— Понимаю. Я сделаю все, только бы вы меня приняли.

— Прошу вас.

Войкан провел девушку в мастерскую. Ее волнение передалось и ему. Он пытался угадать под форменным платьем линии ее тела.

— Подите за ширму и разденьтесь,— с трудом произнес он.

Как только девушка скрылась за ширмой в углу мастерской, Войкан зажег все лампы. С самого окончания школы он не лепил с натуры Да и там обычно натурщиками были мужчины.

Девушка появилась внезапно. Ее крепкое тело сияло при свете лампочек. Войкан не вымолвил ни слова — боялся, что начнет заикаться. Он напряженно глядел на девушку, грудь у нее была маленькая, неразвитая Однако у Войкана не хватило смелости что-нибудь сказать по этому поводу.

— Оденьтесь.

Девушка убежала за ширму. Войкан выпачкал руки глиной, чтобы появилась необходимость умыться. Холодная вода успокоила его.

— Вы примете меня? — спросила девушка, вернувшись.

Войкан кивнул.

В мастерской наступила странная, гнетущая тишина. Только слышно было, как на металлическое дно раковины из неплотно закрытого крана отрывисто падали капли.

— Ваше имя, барышня?

— Ливия. Но скажите, вы на самом деле меня принимаете?

Чтобы ее успокоить, Войкан дал ей аванс и назначил точный час завтрашнего сеанса.

На другой день натурщица созналась Войкану, что ей негде ночевать. Он предоставил ей мастерскую.

Через две недели они вместе обедали в летнем саду. На эстраде шумливый оркестр исполнял мелодию, название которой объявили с пафосом: чарльстон. Это был новый танец — американский. Десятки статей с мельчайшими подробностями описывали счастливую жизнь за океаном, блистательные карьеры эмигрантов. Почти не было человека, который не знал бы, что каждый продавец газет на Бродвее может стать некоронованным королем золота, нефти, жевательной резины, подтяжек. О Поле Негри и Рамоне Новаро говорили больше, чем о папе римском.

Искалеченная нога не позволяла Войкану танцевать, да и вообще он предпочел бы вместо чарльстона и степа слушать вальсы Иоганна Штрауса, быть может, еще и потому, что они напоминали ему о Кайзерштадте, о Пратере, о Марианхильфештрассе.

В тот вечер Ливия рассказала ему свою жизнь. На другой день, раздеваясь за ширмой, она чувствовала себя униженной. Войкан сидел перед ней, долго ее разглядывал, но не сказал ни слова.

— Мне стыдно,— созналась Ливия.
— Тогда оденьтесь.
Ливия оделась и села рядом с ним.
— Вы рассердились на меня?
Войкан, задумавшись, молчал.
— Если вы сердитесь, я могу опять раздеться.
— Нет, Ливия, не надо Я хочу кое о чем вас спросить.
— Пожалуйста, господин Войкан.
Он долго молчал. В мастерской было тихо, только капала вода из того же испорченного крана. Наконец Войкан заговорил, но каким-то чужим, низким голосом:
— Ты заметила, что я хромаю?
— Да, господин Войкан
— Я хромой. У меня не сгибается нога. Вот эта, правая. Я не могу ею двигать Когда мне было десять лет, меня ударила лошадь Ее звали Зефир, она была слепая Скажи, Ливия, ты хотела бы стать моей женой?
Свадьбу они отпраздновали вдвоем, в мастерской Войкан надел черный костюм и во время ужина рассказывал Ливии о своем детстве. Потом он заплакал, и Ливия, которая не знала, как должна вести себя девушка в свадебную ночь, тоже расплакалась.
Через год родился Аврам, затем Тома. Ливия не умела воспитывать детей. Ее жизненный опыт был настолько мал, что ей нечему было их учить А учить или воспитывать их так, как воспитывали ее, она остерегалась. Мальчики росли привольно, на улице. Они не были похожи ни на нее, ни на Войкана. Ливия больше любила Тома, но никогда не выказывала этого. Наоборот, чтобы не казаться пристрастной, она держалась на расстоянии, только глядела на него ласково и молчала Молчать и терпеть она умела, как никто другой. Каждый день после полудня она садилась на стул и, уронив руки на колени, смотрела в пространство. Смотрела и молчала.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тома, второй сын Войкана, отличался ранним развитием. Он задавал ролителям самые разнообразные вопросы:
— Мама, почему птицы летают?
— Потому что у них есть крылья.
— А почему у людей нет крыльев?
— Потому что нет.
Это «потому что нет» являлось очень частым ответом в доме Войкана. В те вечера, когда за стол не садились, Тома спрашивал:
— Сегодня мы не ужинаем?
— Нет.
— А почему?
— Потому!
Познания Тома об окружающем мире ограничивались несколькими непререкаемыми, общеизвестными, абсолютными истинами. Люди старились потому, что надо было стариться, и умирали потому, что надо было умирать Но Тома не исполнилось еще и пяти лет, когда его вера в это «так надо» пошатнулась.
Мать послала его в лавку за сахаром.
— Почему должен идти я, мама?
— Потому что надо, чтоб пошел ты.
По дороге Тома подумал: «А что, если я не пойду?» Он вернулся домой без сахара и ценой оплеухи открыл, что далеко не все должно

быть так, как говорят родители. Это открытие заставило его призадуматься и о других вещах, в особенности об отвлеченных понятиях, которые до тех пор не означали для него ничего или почти ничего. Когда он впервые услышал слово «смерть», оно показалось ему таким же, как другие — «стол», «ветер», «еда» или что угодно. Но потом, когда он понял его смысл, смерть в его воображении приняла конкретные, чуть ли не ощутимые очертания. Чтобы получше в этом разобраться, он вечером, перед тем как заснуть, вытягивался на спине, закрыв глаза, и ему казалось, будто он чувствует бескрайнее одиночество, тишину и даже холод и тьму могилы.

Еще прежде, чем Тома пошел в школу, величайшим открытием для него явился карандаш. Ему нравилось рассматривать следы графита на бумаге, и он глуповато смеялся, когда линии походили на что-то определенное: на человека, голову, облако, стул.

Когда отцу попадались изрисованные мальчиком листы бумаги, он давал сыну нагоняй:

— Это ты нарисовал?

— Да, отец.

Отец комкал и отшвыривал бумагу.

— Если еще раз увижу, что ты взял у меня карандаш,— выпорю. Понял?

— Да, отец.

Возможно, что именно поэтому Тома продолжал рисовать: сначала из упрямства, позднее — для удовольствия.

Вообще, все, что он видел или воображал, представало перед ним в линиях и красках. Он в состоянии был часами стоять у окна и смотреть на сад, на свежую зелень травы весной или ржавую листву осенью. Даже зимой он различал в снежном покрове оттенки белизны, тени, пятна света. Не умея что-нибудь объяснить, он брал карандаш и рисовал.

— Вот это — церковь в Бужаке.

— Такая же, как и все другие,— перебивал его Аврам.

— Не совсем...

— Нет, такая же. У всех церквей башня, крест, большие окна, большие двери.

Тома огорчало, что люди не видят разницы между этой и другими церквами окраин. С карандашом в руке он и сам дивился, как хорошо ему запомнилась церковь в Бужаке. Ее башня более приземиста, будто ее кто-то приплюснул, все орнаменты покрыты слоями извести, которые накладывали постепенно, один за другим, и теперь церковь выглядит так, словно ее оштукатурили неумелые и нерадивые ремесленники.

Тома проводил линии уверенно, и его ошибки в пропорциях и перспективе были не слишком грубыми. Если ему случалось остаться дома одному, он сидел и, прищурившись, разглядывал убогую грязную мебель. Вечерами, когда очертания вещей скрадывались полутенью и предметы сливались с темнотой, в воображении Тома вырастала другая мебель — с прямыми контурами, блестящая. Тогда и пейзаж, который был виден через окно,— серые дома с еще более серыми заборами,— обретал краски. С некоторым допущением можно было различить синеву неба, киноварь на черепицах кровель и любые оттенки зелени в кронах сумаха.

Календари, книжки с картинками плепяли Тома, с неимоверным упорством он разглядывал репродукции, пытаясь отделить одну от другой мелкие точки растра. С помощью лупы от старого волшебного фонаря точки увеличивались, и Тома огорчался, что они распределены так равномерно — он не знал, что они наносятся прибором. Заточив карандаш лезвием, он тоже попытался рисовать точками. Промучился несколько часов, пока ему не удалось нарисовать портрет величиной с мелкую монету. Глаза болели, но игра была необычной, увлекательной.

Генеральную уборку в доме производили по субботам, пока отец напивался в бакалейной лавочке Гласса. Тогда мать давала детям по куску хлеба с топленым салом, выпроваживала их во двор и начинала тереть пол щелоком. После этой работы руки у нее краснели так, словно были окровавлены. И все же в доме Войкана суббота была самым лучшим днем. Окончив уборку, мать расстилала на полу одеяло, и дети усаживались на него. Они вдыхали запах варившейся картошки, улыбались и даже как будто хорошели.

В один из таких субботних вечеров Войкан вернулся домой трезвым. Тома встретил отца на пороге и обнял его колени.

— У нас так красиво, отец.

Войкан раздраженно оттолкнул его:

— Дурак!

В тот вечер Тома подошел к матери, спрятал лицо в ее подоле и разрыдался. Она дала ему выплакаться, а когда он успокоился, погладила по голове.

— Ты прав, Тома. У нас красиво, и я счастлива, что ты заметил эту красоту.

— Знаешь, мама, ни мебель, ни стены не красивы. Мне понравилось что-то другое. Может быть, как пахла вареная картошка, или, может, потому, что мы все были вместе и было тепло.

Ночью Тома услышал спор родителей.

— На мальчика произвела впечатление атмосфера семьи...

— Глупости... У нас атмосфера нищеты, а не семьи.

Когда Авраму исполнилось четырнадцать лет, Войкан взял его из школы и отдал в обучение кровельщику. Прежде чем отослать сына к мастеру, он произнес речь:

— Ты станешь ремесленником и достигнешь счастья. Никогда не думай больше, чем требуется, и будь покорным. Быть покорным — значит быть мудрецом.

«Мудрец» Аврам работал на крышах строящихся домов и каждый вечер возвращался с озябшими пальцами и ушами. Он жаловался и говорил, что, если его не возьмут от кровельщика, ему лучше броситься с крыши, чем так страдать.

Войкан бил сына или, если у него было хорошее настроение, разъяснял, что труд облагораживает человека, а мать прикладывала к побагровевшим ушам компрессы. Одуревший от холода и колотушек, Аврам едва был в состоянии поесть. Он взбирался на свою постель, устроенную наверху, и засыпал с мыслью, что завтра, в шесть утра, надо снова идти на работу. Тома слушал, как Аврам говорил во сне, и досадовал, что тот никогда не заканчивает начатых фраз. Однажды он не вытерпел и разбудил брата.

— Аврам, что это ты хотел сказать: «Возьми четвертую трубу, цинк не держится и цветы горячие...» Скажи, почему цветы горячие?

Аврам не мог сказать, почему цветы горячие. Он обиделся, что его разбудили, и заплакал, потому что ему не удавалось опять заснуть. В воскресенье, свободное от работы, Аврам повел Тома посмотреть железные крыши, которые сам оцинковал.

— И ты не боишься упасть?

— Нет. Меня привязывают канатом к чердачной балке.

Тома спрашивал себя, хватило ли бы у него храбрости висеть вот так, между небом и землей. Он считал Аврама героем и втайне преклонялся перед ним.

Первые дни в школе произвели на Тома глубокое впечатление. Он сидел на скамье, съежившись, скрестив руки на груди, и рассматривал класс, стены, одежду других учеников. Впервые в жизни ему стало неловко, что он бедно одет. Дома он плакал и просил купить ему новый

серый костюм, такой, как у мальчика, сидевшего с ним рядом на скамье.

— У нас нет денег на костюм.

— Почему у нас нет денег?

— Потому что отец не работает.

— А почему он не работает?

— Потому что не находит работы.

— А почему не находит работы?

В конце концов, после того как его отшлепали, он понял, что работы отец не находит потому, что ее нельзя найти. У него не хватило духу попросить мать завернуть ему хлеб с маслом в белую салфеточку. Он брал с собой ломоть хлеба и, если шел дождь, прятал его в книгу для чтения. До первого снега он ходил босиком. Вскоре его уже перестали интересовать новые костюмы — он был поражен тем, как много знает учитель.

Учитель говорил охрипшим от водки голосом, но он так хорошо рассказывал про божьих тварей, которые тоже выучились нескольким буквам: осел — двум — **и** и **а**; собака, она поумнее,— трем — **г, а, в**, а вот этот окаянный Тома Войкан две буквы сложить не может. Еще рассказывал учитель об одном человеке, бедном и красивом, и о другом—богатом, уродливом и жадном — и о том, что бог, который присутствует везде — в скамье, в воздухе, в стенах,— видит все и в конце концов вознаграждает раем или наказывает адом. Тома считал учителя божеством до того самого дня, когда божество послало его к себе домой пилить дрова. Тут Тома увидел, что учитель — такой же человек, как все люди: его жена ходит на рынок, готовит обед, стирает белье, а носки у него рваные и на костюме жирные пятна. Назавтра в классе Тома еще внимательнее присмотрелся к учителю и нашел, что в нем нет ничего примечательного: он два дня не брился, ковырял спичкой в ушах, тер зубы указательным пальцем, и глаза у него покраснели от бессонницы.

Когда Тома окончил четыре класса начальной школы, Ливия настояла, чтобы его отдали в лицей.

— Он хорошо учится, было бы жаль делать и его кровельщиком.

— Профессия кровельщика — благородная профессия... Да и в чем разница между ним и Аврамом? Смотри, Аврам через год станет подмастерьем, будет зарабатывать, сможет помогать и нам...

— Дети родятся на свет не для того, чтобы помогать родителям... И у Тома — талант.

— Талант... Глупости...

Но Ливия так уперлась, что Войкан, наконец, позволил отправить Тома в Оршову, к родственнице Ливии, которая согласилась взять мальчика к себе на время учения.

Самому Тома стало известно об этом решении за час до отхода поезда. Он не знал, радоваться или грустить. Ему было все равно. Правда, у него даже не хватило времени слишком много размышлять о разлуке: суета на вокзале, битком набитый вагон третьего класса, шум, стук колес, новый незнакомый мир — все это поглотило его целиком. Только позднее, уже проехав Карансебеш, он в первый раз подумал о тех, кто остался дома. Затем пейзаж — леса, поля, горы, небо — очаровал его. Тома решил, что на деньги, завязанные в носовой платок и предназначенные для старухи, к которой он ехал, лучше купить цветных карандашей. Он покажет себя родителям, станет самым великим художником в стране. И ему представлялось, что он в доме, где тетрадей для рисования полным-полно, а цветных карандашей — тысячи.

В Оршове никто ему не запрещал рисовать, и потому он решил, что станет паровозным машинистом или билетным контролером и будет всю жизнь путешествовать. Лучше этого он ничего не мог вообразить.

В новом доме ему не нравилось то, что даже соседи говорили по-немецки. Его родственница, немка, родом откуда-то из-под Тимиш-Торонтала, была женщина педантичная и суровая, она заставляла Тома мыться и даже чистить зубы по три раза в день и ругала за каждое пятно на рубашке.

На четвертом году учения в лицее Тома повадился каждый день после уроков убегать в привокзальный квартал, к Барбу — лучшему в городе маляру и специалисту по вывескам. Его мастерская помещалась в подвале старого большого дома. Тома садился на корточки у широких забрызганных известью окон и смотрел, как работают в мастерской. Когда ему позволили входить внутрь, Барбу и подмастерья сначала посылали его за сигаретами и шкварками. Потом, привыкнув к нему, поручили растирать краски и чистить шпателем пластину для растирания. Вскоре Тома усвоил, что парижская синяя поглощает больше льняного масла, чем цинковые белила, что желтый и зеленый хром надо растирать дольше, чем сажу, или кингрус, как его называли маляры. Он стал как бы сверхкомплектным учеником, и, если хоть один день не являлся, Барбу, перепачканный, со всклокоченными волосами, выговаривал ему:

— Смотри, кисти не вымыты... Знаешь, сколько стоит вот эта, кунья? Нет, конечно, не знаешь, иначе ты пришел бы их вымыть. Ну, скорее...

Тома промывал кисти сперва скипидаром, затем хозяйственным мылом, полоскал в дождевой воде и завертывал в газетную бумагу. Он раскладывал краски по ящичкам, разводил сиккатив, подметал мастерскую, потом приводил в порядок точильные бруски и ножи и начищал до блеска палитры. Из-за мастерской он начал ненавидеть школу. Ему хотелось проводить в мастерской весь день, подправлять лезвием шлепера, загрунтовывать вывески. Если случалось, что Барбу получал заказ на вывеску с «картиной» — бычьей головой для мясника или бутылкой и кружкой с пенящимся пивом для трактирщика,— Тома в лицей не ходил. Он стоял целый день за спиной мастера и смотрел, как тот пишет прозрачные бутылки или влажные и печальные телячьи глаза.

Когда из-за отсутствия работы в мастерской было пусто и маляры играли в карты или рассказывали о фантастических приключениях некоего своего товарища — теперь в Париже устраиваются персональные выставки его картин,— Тома, полный восхищения, подходил к ним поближе. Он много дал бы за то, чтобы тоже стать маляром, беззаботно посиживать в теплой мастерской, хохотать над этими веселыми историями. Всем сердцем он завидовал подмастерью, который лет десять назад уехал в Париж и стал знаменитостью. Он был убежден, что пройдет немного времени и все мастера вывесок в стране будут говорить и о нем с таким же восторгом, как об этом человеке, имени которого никто уже не помнил.

Через год ему тоже позволили писать теми красками, которые оставались на палитре. Тома ног под собой не чуял от радости. Он так волновался, что у него дрожали колени, когда он стоял перед картоном, которым раньше пользовались как совком. Ему помогал один из подмастерьев — серб из Кладово,— беззубый, с водянистыми глазами. Он учил Тома держать в руке кисть, смешивать краски на цинковой палитре, пользоваться сиккативом, асфальтовым лаком. Морда теленка, которую написал Тома, была такая же розовая, как и написанные Барбу, но не выглядела влажной. Тем не менее Тома казалось, что никто уже не может ничему его научить. Дома он сказал старухе, что больше не желает посещать лицей. Его урезонили здоровенной поркой и запретили переступать порог мастерской.

В лицее также заметили его успехи в рисовании — по остальным предметам он учился не очень хорошо и не очень плохо. Преподаватель рисования Крэчун даже в старших классах показывал работы Тома как

образец. Однажды Тома с муляжа написал акварелью огурец, и Крэчун остался очень доволен. Он сказал, что у Тома талант, посоветовал ему рисовать побольше и предложил заниматься с ним частным образом за двести лей в месяц. Тома недолго думая согласился и, только придя домой и сказав об этом старухе, сообразил, что взять двести лей добавочной платы негде. Но от решения своего он не отказался и пошел домой к преподавателю на первый урок. Крэчун поставил перед ним на стол глиняный кувшин.

Три недели подряд Тома рисовал глиняный кувшин: спереди, сзади, лежащий на боку, поставленный вверх дном или носиком к нему и освещенный со всех сторон. Сперва эта работа показалась Тома слишком легкой, он думал, что справится с ней шутя, но, когда учитель указал ему на ошибки, он понял, что до сих пор рисовал кое-как. Он научился делать эскизы, проводить очень тонкие линии, соблюдать правильные пропорции, пользоваться светотенью для придания предмету рельефности.

Приближался конец месяца, а Тома еще не собрал денег. Ночью он ворочался в постели и мечтал, что вот он идет по улице и находит распухший от денег кошелек, а утром вставал утомленный, с кругами под глазами. В тот день, когда надо было внести плату, он украл вышедшее из моды пальто старухи и продал его за двести лей.

В следующем месяце Тома написал домой, что ему нужно двести лей для уроков рисования. Ответ Войкана пришел немедленно: пусть Тома образумится, потому что у них дома не на что жить, люди обеднели, никто не заказывает мраморные кресты или надгробные памятники, так что он сидит сложа руки, постоянно голодный, а инструменты ржавеют в ящике. И пусть подумает об Авраме, который честно работает, никогда ничего не просит, а наоборот, случается, что даже им помогает.

Через несколько дней пришел и ответ Ливии — перевод на двести лей. Тома не знал, что его мать продала свою золотую цепочку и тайком послала ему деньги.

На третий месяц Крэчун привел натурщицу-цыганку. Кроме Тома было еще четыре ученика. Один, постарше, уже окончил лицей и готовился к экзаменам в Школу изящных искусств, другие были еще лицеистами.

Привычная к позированию цыганка разделась до пояса и села возле большого окна. Тома был так взволнован, что едва мог держать в руке карандаш. Крэчун ходил за спинами учеников и давал им указания как можно громче — чтобы слышала его ревнивая жена, притаившаяся за дверью. Ни на минуту не умолкая, преподаватель время от времени подходил к натурщице, изменял ее позу соответственно свету из окна, поглаживал ее. Цыганка хихикала. Потом она вдруг громко сказала: — Не щиплите меня, господин учитель,— засмеялась и потерла грудь, которую он ущипнул.

Дверь распахнулась, и на пороге появилась жена учителя. Это была атлетическая женщина, напоминавшая хорошего штангиста. Цыганка в страхе вскочила, собрала свои лохмотья и бросилась к выходу.

— Оставайтесь на местах! — приказала дама. Прошипев Крэчуну: — Мы еще сочтемся,— она заняла место цыганки, приняла величественную позу и начала расстегивать пуговицы на блузке.

— Йозефина!

— Никакая не Йозефина! — ответила жена.— Мне не нужна в моем доме эта вшивая... Рисуйте, мальчики!

Это прозвучало как военный приказ, и сконфуженные ученики спрятались за своими картонами.

Она расстегнула блузку и осталась в розовом бюстгальтере из какого-то плотного, точно плащ палатка, материала. Она сидела, будто проглотив аршин, и не сводила глаз с учеников, а на ее круглом, как арбуз,

лице нельзя было заметить никакого волнения. Перепуганный Крэчун рассеянно смотрел рисунки учеников.

Тома принялся рисовать. Он жалел о цыганке, это была первая женщина, которую он видел обнаженной. Госпожа Крэчун не вызывала у него никаких эмоций, он работал спокойно, линии становились уверенными. Его рисунок оказался единственным, обладавшим глубиной: чувствовалась округлость плеч, рельефность мускулов. В конце урока Крэчун похвалил его.

На следующий урок учитель привел нового натурщика — это был портовый грузчик,— и занятия оживились. Тома начал рисовать углем, а затем — тушью. Тушь нельзя стереть, надо, чтобы перо работало точно. И поэтому рисунки его становились более зрелыми, более интересными.

По воскресеньям, когда делать было нечего, Тома ходил на Ада-Кале и рисовал портреты турок, сидевших в ряд на скамейках пристани. Его привлекали морщинистые лица стариков — их слезящиеся глаза были устремлены куда-то в пространство, к Анатолии. Усталый, но в душе довольный, Тома беззаботно, точно опьянев, шел домой.

В послеобеденное время Тома, если бывал свободен от занятий, сидел в мастерской Барбу, очищал жестяные вывески, грунтовал их и заполнял краской большие буквы, написанные кем-нибудь из подмастерьев. Потом начал и сам писать. Он знал, сколько краски можно набрать на шлепер, как проводить прямые линии и почему заостренные или округлые буквы надо делать выше других. Написанные им головы телят теперь все больше и больше походили на те, которые писал Барбу. У Крэчуна он научился практически, а не теоретически некоторым секретам перспективы и тому, что никогда нельзя применять чистый черный цвет. Уроки, полученные в мастерской Барбу, были примитивны, но чрезвычайно полезны.

— Посмотри-ка,— обычно говорил Барбу, желая ему что-нибудь показать.— Вытяни руку, и ты увидишь, что твоя ладонь закроет окно дома, стоящего через дорогу. Значит, ладонь больше окна? Нет. И все же так кажется. Ну вот, это кажущееся нарушение пропорций и называется перспективой.

Уже постигнув тайны перспективы, Тома долгое время восхищался тем, как сходятся на горизонте линии рельс, как, словно по волшебству, уменьшаются тополя вдалеке или суживаются тропинки на поворотах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Когда Тома окончил лицей, родители продали свои обручальные кольца и прислали ему денег для поездки в Бухарест, на приемные экзамены в Школу изящных искусств. Он никогда не узнал, каким образом удалось убедить Войкана пойти на это. Однако выяснилось, что у Тома не хватает некоторых документов, и его не допустили к испытаниям.

Тома оказался в Бухаресте без крова, без денег, ошеломленный неудачей. Еще тяжелее было то, что он не знал, как оправдаться перед родителями, особенно перед отцом. Одно только было ясно: домой он не поедет, он не в силах выслушивать речи Войкана о разумности, о покорности, о счастье и ремесле жестянщиков. Ему казалось, что самый лучший выход — уехать в Оршову, к Барбу, и наняться к нему хотя бы только за еду и жилье.

Тома отправился в Оршову пешком. В Китиле вскарабкался в товарный вагон и ехал незамеченным почти до самого Питешти. Здесь на него

наткнулись тормозные кондуктора. Он спрыгнул с поезда на полном ходу, лишь бы отделаться от них. Скатившись кубарем с высокой насыпи, встал и долго смотрел вслед поезду, пока тот не скрылся из виду. Потом улегся в высокой траве возле железнодорожного полотна. Прозрачное небо, покрытое множеством бегущих белых тучек, казалось необычайно высоким.

«Разве нельзя написать картину, изображающую одно небо? Клочок лазури — столько, сколько можно окинуть взглядом, и больше ничего. Разве нельзя воссоздать это чувство покоя и отдаленности? Надо будет когда-нибудь попытаться. Немножко цинковых белил и каплю парижской синей. И все. Цинковые белила и парижская синяя». Тома ощутил чуть ли не физическое желание писать. Он был убежден, что испытываемое им сейчас чувство и есть то, что зовется вдохновением. Это открытие окрылило его. Он поднялся, оглядел бескрайнюю степь и во все горло крикнул:

— Я буду художником!

Крик растаял в воздухе. Тома обрадовался, что никто его не услышал: ему стало бы очень стыдно. Он побрел вдоль полотна.

Целых две недели ушли у него на то, чтобы добраться до Оршовы.

В одном селе Тома провел два дня, помогая убирать сено за то, что его кормили. В другом оставался еще дольше: он договорился за сто двадцать лей поработать на установке свай для моста через какую-то речку. Сваи вбивались словно при рабовладельческом строе — при помощи лебедки поднимали канатами гигантские бабы и затем по сигналу опускали их. Весь день Тома, голый до пояса, стоял в воде и тянул канаты, а вечером засыпал усталый и метался в тяжелом сне без сновидений.

— Здоровый ты парень,— похвалил его тоже тянувший канаты костлявый лысый старик.— Ты чем занимаешься?

— Ничем.

— Не работаешь?

— Только когда нужда заставляет.

— Стало быть, часто тебя нужда заставляла. Без работы спина широкой не станет.

Ночевал Тома в принадлежавшем примэрии сарае, вместе с конюхом. Конюх был тощий, очень словоохотливый человечек. Он сидел на сене, подтянув коленки к подбородку, и сквозь дыры в крыше смотрел на звезды.

— Очень они далеко, правда?

Тома, лежа на животе, нехотя отвечал:

— Далеко.

— Вот узнать бы, видят ли нас те, кто там живет? Думают ли, что есть здесь конюх — бедный, богом обиженный? Как, по-твоему, думают?

— Пожалуй, да. А почему ты не помолчишь, дяденька?

— Трудное это дело — молчать, малый... Самое что ни на есть трудное. Мне за пятьдесят, а у меня никогда даже дома своего не было. Здесь я и вырос. На этом сене. Как же мне молчать? Когда я один, я говорю со звездами. Многое услышали бы те, наверху. Ты не думай, что только я один со звездами разговариваю. А может, по-твоему, один я?

— Не знаю, дяденька.

Утром Тома рассмотрел конюха повнимательнее. Это был человек с бледным, увядшим, морщинистым лицом и маленькими злыми глазами. На виске виднелся шрам от удара лошадиным копытом.

В тот день, во время работы, Тома решил написать портрет конюха. Написать, как он сидит, уткнув подбородок в колени, и беседует со звездами. Однако вечером Тома вернулся с работы до такой степени разбитым, что ему было не до портрета. Он уснул, сквозь сон слушая спор

конюха со звездами,— тот говорил с самой блестящей из них, потому что ему казалось, будто она глядит на него вызывающе.

Барбу с радостью принял Тома. Он предложил за работу кормить его и поселить в мастерской.

— Писать — не такая уж плохая профессия, Тома. Хотя бы даже вывески. Нет человека, который не пытал бы счастья. Откроет он лавку, обанкротится, откроет другую. И каждый, кто пытает счастье, дает кусок хлеба тому, кто пишет вывески.

Барбу всегда был порядочным чудаком. Людей он определял по их манере делать ему заказы и по тому, как они требовали, чтоб были написаны на вывесках их фамилии.

Осенью, когда наступил мертвый сезон, Тома несколько раз рисовал Барбу, который относился к этому восторженно. Одни портреты оказывались похожими, другие — нет, но Барбу находил оправдание для каждого.

— Этот непохож, но выражает мой характер. Скажи, сколько до сего дня ты видел изображений Христа? Из них лишь очень немногие имеют между собой сходство. И это не так уж важно. Важно, что́ выражает лицо Христа: милосердие или еще что-нибудь в этом роде...

Тома был недоволен: он решил, что, теряя время на рисование реклам, испортил себе руку.

Но все-таки он научился писать вывески — они получались безукоризненными даже в тех случаях, когда перед ним были лишь самые приблизительные эскизы букв. Тома научился рисовать курсив, блок, лапидарный, готический, узнал, какие из наклонных линий надо заделывать и какие правила надо соблюдать, чтобы сохранить пропорции.

Весной, при посредничестве Барбу, Тома устроился подмастерьем к иконописцу, который подрядился расписать часовню на горе Алион. После первых же испытательных дней иконописцу стало ясно, каким талантом и какой работоспособностью обладает Тома, и он предоставил его самому себе. Тома сильно встревожился, оставшись один на подмостях, каждая проведенная линия казалась ему неверной. Однако, закончив первую фигуру — молодого архангела с кудрявой, словно у киноактера, шевелюрой,— он снова обрел веру в себя. Теперь как будто и тона и краски становились ярче, а бледные удлиненные лики византийских святых, скопированные с каких-то репродукций,— более человечными. Монах Герасим, которому епископство Тимиш-Торонтал поручило надзор за реставрацией, все больше восхищался работой Тома. Время от времени он благословлял его:

— Господь поможет тебе на одре болезни и будет менять постель твою.

— А не может ли он лучше дать мне денег?

Монаха не сердили эти нечестивые речи.

— Во веки веков рек господь: будьте бессребренниками, довольствуйтесь тем, что имеете. Ибо сказал он: «Не оставлю я тебя и не покину».

Тома дразнил монаха, только когда начинал скучать. Тогда он возражал ему, сознавался, что работает из-за денег, а не из любви к богу. Монах церковными речениями поучал его, и Тома забавляла эта манера изъясняться.

Ему нравилось работать в часовне. Во время обеденного перерыва он забирался на самые высокие подмости и, лежа на спине, созерцал потолок, причудливую игру света на хрустальных бусинах паникадил. Через несколько недель, когда работа значительно продвинулась и святые начали существовать на голубоватом небе росписи, Тома подолгу глядел, прищурившись, на потолок и на святых и порой находил в их лицах какие-то живые выражения. Однажды он написал ангела с

огненным мечом в руке, и верхняя часть лица ангела жила. Глаза были живые, умные, чуть грустные, и откуда бы на него ни смотреть, создавалось впечатление, что он следит за тобой.. В этот день Тома был взволнован. Он попытался переписать и нижнюю часть лица ангела, но это не удалось. С досады он замазал все изображение. Пришедший как раз в эту минуту иконописец заорал от злости: он хотел не того, чтобы святые выглядели живыми, а чтобы их было много, как можно больше. За святых платили поштучно.

Позднее Тома остался доволен еще одним портретом. Это был Иуда из «Тайной вечери». Тома сделал ему голову иконописца с разинутым ртом — тот обычно разевал рот, когда сердился.

Тома работал у иконописца весь сезон. Труд его оплачивался плохо, но все-таки он довольно много заработал. Он послал родителям две тысячи лей, но не указал на переводе имя отправителя. Ему только жаль было, что он не увидит, как родители будут получать деньги.

В полутьме часовни Тома долгое время не отдавал себе отчета в том, что все сделанное им — это лишь рисунки, которые он раскрашивал кричащими красками. Он так давно свыкся с подобным способом работы, что даже испугался, когда в один воскресный день попытался написать пейзаж. Контуры деревьев на картине обличали неумелость и отсутствие нюансов, все напоминало вульгарную, ярмарочную живопись. Он попытался на обратной стороне эскиза повторить пейзаж, но и этот оказался не лучше. И Тома понял, что живопись, сделанная во тьме, без света,— не живопись. «Разумеется,— сказал он себе,— крот живет в темноте, поэтому ему глаза не нужны. Но художник без глаз жить не может. А глазам нужен свет».

С этого утра Тома стал хмурым, молчаливым. Он почти не разговаривал и всем был не доволен. Попытался прикрепить к подмостям факел, но закоптил потолок, и пришлось потратить несколько дней, чтобы исправить его. Во время перерыва на обед Тома больше не лежал на подмостях, а выходил на воздух, смотрел на небо, на ветви деревьев, на заросли травы, на десятки оттенков зелени, на цвет своих рук, и ему самому было странно, что он не скучает.

Вечером, после работы, он заполнял эскизами десятки листов, изображая все, что ему попадалось на глаза: людей, скот. Когда у него бывало хорошее настроение, он задавал себе задачи: нарисовать пейзаж так, чтобы в нем чувствовался вечер, день, ночь. Это была приятная игра, и он с большой пользой для себя старался наблюдать околицу села днем, вечером, ночью. Он открыл удивительную вещь: контуры домов, днем очень четкие, прямые, ясные, к вечеру становились мягче, более округленными, словно облагороженными тишиной и глубоким, дающим отдохновение покоем.

Такое открытие на время воодушевило его. Весь день он работал на подмостях нехотя и ждал лишь наступления вечера, чтобы приняться за дело по-настоящему. Это настоящее заключалось в том, что он внимательно разглядывал каждую травинку, дерево, лист. В его альбомах место рисунков и композиций заняли простые наброски, которыми он прежде пренебрегал. Травинка, лист, видимые под различными углами, радовали его больше, чем удачный портрет. Он осознал, что самое важное в труде художника — это воспитать свои глаза, уметь видеть, уметь выбрать угол зрения, под которым хочешь рисовать. Если пристально вглядеться в лица людей, они тоже становятся богаче. У иконописца был не только широкий лоб с двумя морщинами, длинный крючковатый нос и необычайно толстые губы, но и особая манера без всякой причины разевать рот — этого Тома в первое время не замечал. Более того, когда иконописец улыбался, уголки его рта не поднимались, а опускались, и улыбка походила на собачий оскал. Несмотря на то, что глаза

у него были зеленые, в полутьме часовни они отливали грязно-желтым цветом, и именно этот цвет соответствовал его характеру. Если бы Тома когда-нибудь написал его, то непременно с желтыми глазами. После двухнедельного изучения физиономии иконописца Тома понял, что только сейчас начинает его узнавать. Глядя на него внимательно, он мог прочитать его мысли. Тома казалось, что он открыл нечто поразительное, и его так и подмывало начать работу. Теперь он стал более требовательным и к изображениям святых, которых продолжал писать.

2

Однажды в удушливо жаркий предгрозовой день на машине с бухарестским номером прибыли некие посетители: два господина и очень элегантная дама. Монах Герасим благословил их, а затем повел в часовню. Один из господ попросил распахнуть все двери, чтобы можно было получше рассмотреть стены. Перед каждым святым он отходил на шаг, затем вооружался еще одной парой очков, кроме тех, которые уже сидели у него на носу, и долго изучал изображение. Наконец он воскликнул:

— Потрясающе! Не византийское искусство и не обычная славянская фреска. Нечто от нашей самобытной древней церковной росписи.— И повернулся к монаху: — Кто художник?

— Художник уехал в город, но писать-то пишет вот он.— И монах указал на Тома.

Только тогда посетители увидели забравшегося на подмости Тома. Господин в двух парах очков подошел к нему.

— Извините, пожалуйста, за беспокойство. Но мы проезжали мимо и услышали, что эта часовня реставрируется... Как ваше имя?

— Тома Войкан.

Господин в двух парах очков наморщил лоб — ясно было, что ему до сих пор ни разу не приходилось слышать это имя.

— Где вы учились?

— Дома.

Посетитель как будто не поверил. Он начал вновь разглядывать стены, потом подозвал своего спутника.

— Посмотри на эту гармонию цветов... Скажи, видел ты когда-нибудь сочетание голубого с зеленым? Не видел, правда? Только на олтенских коврах... А эти лица! Первый раз в жизни вижу святых с асимметричными лицами...

Тома был убежден, что эти люди хотят над ним посмеяться. Закурив сигарету, он выжидал, готовый при малейшем проявлении иронии грубо ответить или даже выгнать их из часовни.

— Сколько вам лет?

— Двадцать.

— С каких же пор вы рисуете?

— С самого детства.

Господин попросил своего приятеля сделать несколько фотографий, затем снова повернулся к Тома.

— Я хотел бы спросить: вы намеренно отказались от перспективы?

Тома чистосердечно сознался:

— Я ни разу и не подумал о перспективе... Да что там, я просто развлекался.

— Так я и предполагал,— удовлетворенно сказал господин в очках.— Инстинктивно... Ибо перспектива здесь значения не имеет. Здесь важно, чтобы видимые верующими фигуры и краски ошеломляли их...

На Западе,— все горячее продолжал он,— соборы поражают своими пропорциями. А наши — красками... Краски творят феерию...

Приятель говорившего сделал в этот момент последний снимок.

— Ты так увлекся, словно читаешь лекцию... И по-твоему, папство упустило бы такой эффект красок?

— Нет, конечно, нет... Скажем, витражи... Жаль, молодой человек, что вы не учитесь. С вашим талантом вы могли бы стать истинным художником. Я хочу сказать — художником, осознающим свое искусство.— И он обратился к жене:— Как, по-твоему, Гретте?

Дама, казалось, была равнодушна ко всему, что происходило в часовне. Она спокойно курила, созерцая грязную рясу монаха.

— Да, будет жаль, если он не приедет в Бухарест... Ты мог бы оказать ему протекцию и помочь поступить в Школу изящных искусств.

Тома не верил своим ушам. Человек в двух парах очков протянул ему визитную карточку.

— Мое имя Эдуард Мэнеску, я — художественный критик... Очень рад был познакомиться с вами. Если вы надумаете приехать в Бухарест — я к вашим услугам. До свидания, господин художник.

Даже после их ухода Тома долго стоял как вкопанный. Только услышав гудок машины, он встрепенулся. Взглянул на визитную карточку, на идиотических святых по стенам, и ему все стало противно. В этот день он больше не работал.

Назавтра Тома поссорился с иконописцем. Он писал архангела Михаила и был им не доволен. Иконописец застал его как раз тогда, когда он замазывал изображение белой краской.

— Ты что?

— Переделываю этого Михая.

— Если еще раз увижу, что ты переделываешь картину, я пошлю тебя к... Слышал?

— Да.

Тома отшвырнул инструменты и спустился с подмостей. Иконописец преградил ему дорогу. Они стояли лицом к лицу. Роста они были одинакового. Тома смотрел в его грязно-желтые глаза.

— Почему ты слез?

— Потому что мне надоело. Хочу уходить.

— Уходить?

Иконописец залепил Тома пощечину. Тома ожидал, даже хотел, чтобы произошло нечто подобное — ему нужно было оправдание. Но все-таки пощечина была слишком сильной — Тома отлетел на несколько шагов и стукнулся о стену. Он отер с лица кровь и угрожающе двинулся на иконописца. Тот не принял этого всерьез и ждал не шевелясь, слегка удивленный. Тома схватил иконописца за отворот пиджака, повалил на землю и, прежде чем тот что-нибудь сообразил, прижал его коленом.

— Слушай, мастер, если еще раз поднимешь на меня руку — убью!

Под сводами часовни слова его прозвучали значительно, и иконописец струсил. Он высвободился, неспеша отряхнул костюм и с достоинством вышел из часовни.

В тот же день Тома покинул Геркулане. Путь до Оршовы — двадцать шесть километров — он прошел пешком.

Стоял июль, было жарко, деревья поникли под солнечными лучами, а выжженная, увядшая трава так и манила поваляться в ней, как тогда, недалеко от Питешти. В Топлеце дым из труб завода кухонных плит «Зенит» смешивался с разметанными по небу пепельно-серыми тучами. Время, проведенное на подмостях часовни с ее ограниченным, лишенным горизонта куполом, показалось Тома потерянным. Здесь был бескрайний купол неба.

Ему представлялось, что на визитной карточке критика из Бухареста основано все его будущее. Теперь он может с поднятой головой появиться дома и смело встретить суровый взгляд отца.

В Оршове он купил билет до Оради.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Выйдя из здания вокзала, Тома почувствовал, что сердце у него бьется сильнее. От волнения ему стало жарко. Он охотно побежал бы, чтобы как можно скорее очутиться дома, но овладел собой и пошел медленно, разглядывая дома и улицы, как старых знакомых. Повернув на улицу Теляжен, он подумал, что она как бы сузилась после его отъезда и дома вроде бы обветшали — и действительно, домов, которые опирались на подпорки, словно инвалиды на костыли, стало еще больше.

Церковь в Бужаке со своей приплюснутой башней и разбитыми стеклами на колокольне напоминала скорее заезжий двор, чем место для молитвы. Кое-где изгородь сломали, и можно было заглянуть во двор, где в тени шелковицы, листья с которой сорвали для шелковичных червей, отдыхал церковный староста — раб господен Альфред Мэрджиняну, майор в отставке, бывший депутат. Тома на минуту остановился перед церковью, он искал грузовик с номером 801, принадлежавший священнику, но нашел лишь чурбаны и кирпичи, на которых когда-то стояла машина. Священник, родом из Молдовы, был приятелем водителя грузовика, женившегося на его дочери, и превратил церковный двор в гараж. Все дети квартала лазали в машину, и не раз во время службы слышался автомобильный гудок. Тогда священник начинал быстрее махать кадилом и делал знак кому-нибудь из певчих сбегать во двор и разогнать детей.

Перед своим домом Тома опять остановился — вытянув руку, он достал бы до стрехи. Неужели дом всегда был такой низенький? Тома прошел мимо клеток с кроликами господина Адама и постучал в дверь. Ему открыл Войкан, он выглядел постаревшим, и от него разило дешевой вонючей водкой. Отец долго пытливо смотрел на него, и Тома показалось, что старик его не узнает.

— Я слышал, ты стал бродягой...

— Да, отец.

Тома был рад такому приему — сам он не нашел бы нужного тона для разговора и, быть может, растрогался бы, заплакал. Он всматривался в лицо старика — его глаза были полузакрыты, в их уголках пролегли глубокие, длинные, тянущиеся до серебряных бакенбард морщины. Он не брился несколько дней, и отросшая на подбородке щетина казалась грязной.

— У Аврама есть профессия. Он зарабатывает. Только ты один бездельничаешь. Кем ты хочешь стать?

— Не знаю, отец.

В приотворившуюся дверь Тома увидел мать. Она стояла возле печи и комкала фартук. Губы ее чуть приоткрылись, словно она хотела что-то сказать. Войкан еще раз взглянул на сына, затем, волоча больную ногу, ушел в кухню. Ливия прижала Тома к груди и тихо, как бы боясь, что услышит Войкан, заплакала. Отец нерешительно, словно обращаясь к самому себе, что-то пробормотал, потом сел возле окна и уставился на грязное стекло.

— Как вы живете, мама?

— Хорошо, Тома. Очень хорошо живем.

— Мама, ты меня обманываешь?

Она не ответила и начала приготовлять какую-то еду. Затем вышла, и у Тома создалось впечатление, что она отправилась к соседям взять что-то взаймы. Он сел за стол напротив отца.

— Отец, ты работаешь?

— Собираешься требовать от меня отчета?

— Нет, отец. Я только спросил. Знаешь, я стал художником.

Старик засмеялся. Смеялся он с горечью, злорадно, почти не разжимая рта.

— Почему ты смеешься, отец?

— Потому что ты сказал, что стал художником. Художниками рождаются, а не становятся. По-твоему, стать парикмахером или стать художником — одно и то же?

— Возможно, ты прав, отец. Но я живописью зарабатывал себе на жизнь.

— Проститутки зарабатывают себе на жизнь любовью и не знают, что такое любовь. Ты был когда-нибудь доволен своей работой?

— Один раз — да. Половиной лица. Я писал архангела, и верхняя часть лица, глаза мне понравились.

— Итак, за целый год ты написал половину лица.

— Не за целый год. Одно время я работал у живописца вывесок.

— Тоже в качестве художника? — Отец засмеялся.

— Нет. Кем-то вроде мастера на все руки.

— Значит, слугой. Жаль, что ты оттуда ушел. Это занятие как раз для тебя. Слуги не должны думать. Они исполняют то, что им говорят, и все. Чем уже кругозор человека, тем он довольнее.

— Кажется, ты даешь мне плохие советы, отец.

— Не нравится — не слушай. Деньги у тебя есть?

— Есть.

— Дай мне сорок лей, пока мать не видит.

— Сорок лей — цена литра водки.

— Вижу, ты хорошо осведомлен. Дашь?

— Дам.

Старик взял деньги и ушел. У него вовсе не было униженного вида, наоборот, он смотрел на Тома с каким-то соболезнующим презрением. Оставшись один в комнате, Тома огляделся: мебель была прежняя, только обветшала и загрязнилась.

Вернулась мать, неся под фартуком какой-то пакетик. Щеки ее пылали, возможно, она бегала в бакалейный магазин на углу. Тома притворился, что ничего не заметил.

— Отец просил у тебя денег?

— Да.

— Вот такой он стал теперь. Знает, что деньги в ящике стола, а постоянно просит взаймы, будто у него ничего нет.

— Тебе тяжело живется, мама?

— Нет, Тома. Слава богу, я довольна. Особенно в последнее время. Отец начал работать, получает довольно хорошие деньги. И Аврам иногда присылает нам кое-что. Он очень хороший мальчик. И тебе спасибо, Тома. Я узнала твой почерк на переводе. Не надо было присылать деньги, они тебе самому нужны. Ты очень вырос, стал настоящим мужчиной. Дай-ка я на тебя посмотрю. Да, да, ты настоящий мужчина. Сильный и красивый.

— Не плачь, мама.

— Я от радости плачу, Тома, от радости.

Старик вернулся поздно ночью. Он был пьян и ругался, а увидя Тома, окончательно рассвирепел.

— Раз ты не трудишься и не зарабатываешь денег, тебе здесь делать нечего.

— Я и не намерен оставаться, отец. Я хотел только вас повидать.

— А-а-а, художник вернулся домой пожинать лавры! Математику знаешь?

— Нет, отец.

— Очень плохо. Следовало бы изучить. Следовало бы изучить, но тебе это никогда не удалось бы. Ты глуп. А глупый человек не может быть художником. Когда ты едешь?

— Завтра, отец.

— Прекрасно. Ты знаешь, что я не люблю дармоедов.

Когда старик лег спать, Тома сел рядом с матерью. Взял ее руки в свои и не сводил с нее глаз. Долго сидел он, не шевелясь, не произнося ни слова. В какое-то мгновение ему показалось, что ее облик: морщины, продолговатый разрез глаз, прямой, еще красивый нос, складки около него, тонкие, красные, робко обрисованные губы — все это отпечаталось где-то у него внутри, на некоем тайном экране. Он так внимательно ее изучал, что впервые в жизни заметил на ее лице такие же, как у него, линии бровей. Странный художник эта природа!

— Что ты так пристально смотришь на меня?

— Хочу сберечь тебя в памяти, мама.— Потом быстро прибавил: — Ты знаешь, мама, что мы почти никогда не разговаривали?

— Потому что мне всегда было некогда.

— Ты думаешь поэтому?

— Не знаю. Возможно, да. Но, по-моему, слова всегда были для нас с тобой лишними. Так часто я тебя ласкала взглядом. Так часто ободряла без слов и так же часто без слов бранила.

— Знаю, однажды утром, в воскресенье, когда я разбил банку со сливовым повидлом, правда?

— И тогда тоже. Я тебя любила, а ты... Да, ты тоже любил себя самого. Почти за каждым словом, которое ты произносил, я могла предположить еще одно.

— Какое же это слово, мама?

— Слово «хочу». Ты всегда хотел. А я от всего отказывалась. Когда ты говорил «хочу», хотела и я. Я думаю, что воля, которой я была лишена, эта воля, сила сосредоточились в тебе. Может быть, это хорошо. Не знаю.

— Я больше радовался бы, если бы ты меня бранила, мама.

— За что тебя бранить? Это все равно что бранить траву за то, что она зеленая. Поди ложись, ты устал.

Хотя в этом не было необходимости, Тома забрался на постель, устроенную наверху, на свое старое место. Отсюда, с этой точки, комната снова стала отчасти такой, какой была раньше. Возле окна в углу — темнее, там должен стоять ящик для угля. Видна и часть стола, желтые квадраты клеенки, сияющий свет уличного фонаря, кухонная плита с обожженными, потрескавшимися конфорками.

Приподнявшись на локте, можно увидеть в окно клетки с кроликами господина Адама. Где же он сам? Уже давно о нем говорили как о человеке, который, если не скончался, то во всяком случае находится при смерти. Каждое утро он харкал кровью и кашлял так, что никому не давал спать. Потом у него умерли все дети, зятья, жена. Только его жизнь тянулась день за днем. Вероятно, он и сейчас где-нибудь во дворе или сидит в пивнушке через дорогу и попивает сироп, смешанный с постным маслом.

Тома уснул только под утро, а проснувшись, услышал громкий кашель Адама.

Когда он перед уходом прощался с матерью, она заплакала.

— Не плачь, мама.

— Я не плачу, Тома. Куда ты теперь?

— В Оршову, взять свои вещи из мастерской, где я работал, а потом — в Бухарест. Я поступаю в Школу изящных искусств. Тогда мне не удалось, но не по моей вине. Сейчас это уже не имеет никакого значения...

— Если ты поступаешь в Школу, то ничто уже не имеет никакого значения. Я знаю, что у тебя талант... Будь же разумным и старательным, милый... И пиши мне иногда...

— Я буду писать, мама.

Во дворе он встретил Адама. Тот стал еще более тощим и бледным, кожа у него была почти прозрачная, маленькие, как у барсука, глаза глубоко запали.

— Доброе утро, господин Адам.

— Доброе утро, Тома.

Ответ прозвучал так, словно они расстались только вчера.

— Вот у этой, у Марицы, скоро будут крольчата. Восемь или десять, видишь, какое брюхо.

Он поднял Марицу за уши, брюхо у крольчихи было большое, она выглядела вялой и больной.

В поезде Тома казалось, что он еще чувствует запах дешевой водки, которым дома была пропитана одежда и мебель. Совсем иначе представлялась ему эта встреча. Он думал, что вновь найдет атмосферу прошлого, аромат сливового повидла, живые глаза матери и ее женственный профиль, вырисовывающийся на чуть затемненном серыми сумерками окне. Только утром, прощаясь, он понял, что и она постарела: волосы ее потеряли прежний блеск, стали сухими, ломкими.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

По дороге к Оршове, в поезде, Тома узнал, что немцы предъявили нечто вроде ультиматума в связи с «Данцигским коридором». Сосед по купе принялся объяснять ему политическую ситуацию. Он дернул Тома за руку и спросил, одобряет ли он «новый порядок». Тома не знал, о каком новом порядке идет речь, но кивнул головой в надежде, что сосед оставит его в покое.

— Новый порядок необходим,— настаивал его спутник. — Мы живем в век электричества. Весь земной шар скрипит, старые устои прогнили, необходимо нечто новое, мужественное, что шло бы в ногу со все ускоряющимся ходом времени...

Он выражался напыщенно, размахивал руками, рисовал геометрические фигуры и карты и показывал на ладони географическое положение Данцига.

— Город как город. Жалкий порт на Балтийском море, переполненный рыбаками, портными и вагоновожатыми, а теперь он войдет в историю, подобно Седану или Вердену.

Тома прикидывался спящим, потом на самом деле задремал. Сквозь сон он слышал, как спутник превозносил некоего Рудольфа Гесса, который «слопает» Гитлера, потому что, так или иначе, но маляр есть маляр, а тот — профессиональный политик.

Выйдя из вагона, Тома почувствовал себя ужасающе одиноким. Пустой перрон, чахлый плющ, обвивавший выкрашенные суриком фо-

нарные столбы, безотрадно-серый поселок железнодорожников за станцией и пыльные кусты сумаха по ту сторону рельс — все в точности соответствовало его настроению. На мосту через Черну он остановился поглядеть на прозрачную воду, на песчаные дюны, на дуплистые сухие акации.

Подойдя к мастерской Барбу, Тома с удивлением увидел опущенные шторы. Он вошел во двор, оттуда в квартиру и узнал от жены Барбу, что мастер ослеп — ему обдало лицо скипидаром.

— А где же он сейчас?

— В мастерской.

Тома вошел туда через заднюю дверь. В полутьме сводчатого помещения мастерской он нашел Барбу. Мастер сидел на стуле, лицом к ступенькам входа, как сиживал когда-то, поджидая заказчиков.

— Эй, Тома, это ты?

— Да, мастер.

— Давно ты не приходил... Все кисти немыты. Где ты был до сих пор?

— Я работал у иконописца.

— Да, да. У иконописца... Может, ты отыщешь палитры и повесишь их на гвоздь?— Он протянул руку к гвоздю.— Я люблю, чтобы вещи были на месте.

Тома повесил на гвоздь две палитры. Мастер ощупал одну из них, и его лицо озарилось улыбкой.

— Садись, Тома...

Тома сел на стул. Он не знал, что сказать. Мастер тоже молчал. Оба долго не двигались. Стояла тишина.

Мастерская не изменилась после ухода Тома, все было на своем месте, словно работа и жизнь здесь не прерывались.

— Я пришел за своими вещами, мастер... И должен идти...

— Конечно, каждый человек куда-нибудь идет... Ты заглянешь еще сюда, правда?

— Загляну, мастер.

— Я дам тебе один совет, Тома... Ты был хороший малый. С тех пор, как я не вижу, я вижу гораздо больше... Даже то, чего не видел, когда у меня были глаза. Но не в этом дело. Послушай, что я тебе скажу: старайся говорить с самим собой... Закрой глаза и всмотрись в самого себя... Примирись с собой... Вот что я приобрел тем, что ослеп. Я примирился с собой... Ты знаешь, как я хранил краски. Дорогие, редкие — в жестяных коробках. Все хромы лежали один рядом с другим, на этажерке... А охра и терра ди сиена — в ящике. Они пылились, но это неважно... Знай, что я зарабатывал и существовал благодаря терре ди сиена. Все грунтовки, которых не видно из-за лака, сделаны террой ди сиена... И люди подобны краскам. Достойные, народ, сделаны из терры ди сиена. Если ты пишешь, пиши для них... А в жестяных коробках — это те, которые носят фраки, ты их избегай... Иди, Тома.

Перед лицеем толпились ученики. Тома показалось, что юноши этого поколения как-то измельчали, его товарищи были выше ростом, красивее. На лестнице появились директор Лайтин и преподавательница химии, Тома был влюблен в нее пять лет подряд. Он грезил о ней на улице и дома, ему казалось, что она самая красивая и самая умная женщина на свете. Преподавательница располнела, она только что покрасила волосы в цвет ржавчины, под пестрым платьем обрисовывались пряжки корсета.

В ожидании поезда на Бухарест Тома забрел в порт. Возле главного причала он встретил одного из бывших товарищей по лицею.

— Говорят, Тома, ты стал художником?

— Я это бросил.
— А чем ты занимаешься?
— Ничем.
— Хорошая профессия...
— А у тебя какая профессия?
— Я моряк. Вот здесь, на «Брынковяну».— И товарищ показал на стоящий у причала пассажирский пароход.

Пароход был красивый, белый, двухэтажный.
— А ведь я никогда не ездил на пароходе... Куда вы идете?
— В Брэилу. Через час уходим. Поедешь с нами?
— Нет. Через несколько часов я уезжаю в Бухарест...
— Едем пароходом до Брэилы. Там сядешь на поезд. Сам говоришь, что никогда не ездил на пароходе. Дорога очень красивая. Ты, бывший художник, мог бы ее оценить...

Недолго думая Тома пошел в агентство и взял билет до Брэилы.

2

«Брынковяну» поднял якорь ровно в два часа. Берег тихо отдалялся. Дом управления портом становился все меньше, потом пузатое тело парохода повернулось носом к противоположному берегу Дуная, к Текии — рыбачьей деревеньке на сербской стороне. Еще поворот, и судно заскользило к Ада-Кале. Тома еще издали узнал мечеть с балкончиком для муэдзина, виллы Али и Мехмет Кадри, табачную фабрику «Бафра», тополя, караулки пограничников и толстые кирпичные стены старой крепости, которые омывала река. За островом показались первые утесы Железных ворот, канал. Пенящиеся волны покачивали пароход из стороны в сторону, а затем вынесли его на широкую излучину — здесь Дунай был такой гладкий, словно его выровняли лопаткой каменщика.

Сверху, с первой палубы, где сидел Тома, столпившиеся на носу, одетые в белую форму моряки походили тоже на пассажиров. «Неплохая жизнь у моряков»,— отметил Тома и отправился искать своего приятеля, чтобы осведомиться, нельзя ли и ему поступить на пароход. Но приятель дежурил в машинном отделении, и поговорить с ним не удалось. Тома поднялся на палубу и, усевшись в шезлонг, стал глядеть на прибрежные деревья. Он радовался, что решил совершить это путешествие: здесь было тихо, слышалось лишь, как пароход рассекает текучее зеркало реки. Ночью пароход сопровождали маленькие золотые огоньки — это отражались в воде освещенные иллюминаторы кают. Монотонный стук машин и журчание воды растворялись в общей тиши так же, как привычное тиканье часов, на которое не обращаешь внимания в комнате, где ты привык быть один.

Только назавтра Тома увидел других пассажиров: купца из Турну-Северина, нескольких экскурсантов и почтенную грузную даму с двумя дочерьми-близнецами лет четырнадцати-пятнадцати. Девочки все время стояли, опершись о белую балюстраду палубы, и ветер обнимал их, и голубые ситцевые платья плотно облепляли тело. Издали их фигурки производили впечатление чего-то чистого, девственного. «Если бы кто-нибудь мог их написать на этом фоне, полностью передав их юность и чистоту, чтобы человек, взглянув на картину, был взволнован так же, как я сейчас, тогда бы... К черту! Возможно, отец прав: художниками рождаются, а не становятся». Тома отогнал эту мысль. Ему хотелось, чтобы у него сейчас под рукой были бумага и карандаш.

«Я назвал бы рисунок «Молодость». Два молодых тела, два молодых ума наслаждаются путешествием. Куда они едут? В сущности, это не имеет никакого значения для рисунка. Им так же, как и мне, все кажется новым, интересным: река, пейзаж, люди».

Какой-то любезный моряк спросил Тома, не нужен ли ему плед.

— Нет, сударь. Благодарю. Без пледа очень приятно. Не знаете ли, когда мы прибываем в Брэилу?

— Знаю. Завтра вечером.

Все остальное время Тома провел на палубе, растянувшись в кричаще раскрашенном, но очень удобном шезлонге. Села на берегу и особенно болгарские города по правой стороне, их турецкие кварталы, длинные тонкие минареты, вонзавшиеся в синеву неба, словно отточенные карандаши, казались цветными картинками на почтовых открытках.

Брэила, с ее странным восточным колоритом, понравилась Тома в первую же минуту, как только он сошел с парохода. Толкотня в порту, освещенном прожекторами на причалах, создавала впечатление какого-то ирреального, апокалипсического муравейника. Люди толпились, разговаривали, и казалось, у них нет для этого никакого повода, торговцы — греки и евреи — громко предлагали товар, и трудно было понять какой, а великое множество женщин, сильно накрашенных для того, чтобы их нельзя было не заметить, бесцельно ходило взад и вперед.

Тома нырнул в толпу, кто-то задал ему вопрос на еврейском языке, кто-то толкнул, кто-то предложил турецкие сигареты, и, когда ему удалось, наконец, покинуть порт, он почувствовал себя усталым, как после целого дня работы. Последний поезд в Бухарест уже ушел, следующий отходил только в шесть часов сорок две минуты утра.

Тома стал искать поблизости от вокзала гостиницу и с удивлением убедился, что здесь можно нанять номер только на один-два часа. Он вынужден был пойти в центр и, лишь как следует поторговавшись, получил в «Империале» комнату, в которой постельное белье не менялось по крайней мере неделю. Еще у ворот пахло отхожим местом, и чем дальше по коридору, в который выходили комнаты, тем сильнее. Если бы сопровождавшая Тома служанка не нейтрализовала этот запах своими пряными духами, его трудно было бы переносить. В конце коридора женщина распахнула выкрашенную зеленой краской дверь и, перечислив инвентарь комнаты, спросила, надолго ли Тома намерен ее снять.

— На одну ночь, сударыня.

Служащие беспричинно захихикали.

— Хотите, чтоб я здесь осталась?

— Нет.

Оскорбленная женщина, раскачивая бедрами, прошлась по комнате, окинула Тома презрительным взглядом и вышла, хлопнув дверью. Из коридора донесся ее голос:

— Сопляк!

Тома улыбнулся, распахнул настежь окна и лег спать.

В два часа ночи его разбудил полицейский комиссар в черном мундире.

— Вы один?

— Да,— ответил Тома.

Недоверчивый комиссар осмотрел комнату, заглянул в шкаф, под кровать и ушел, явно разочарованный.

Пришедшая с комиссаром горничная объяснила Тома:

— Видите ли, сейчас конец месяца, и у господина Опройу кончились деньги. Вот он и устраивает по собственному почину облавы, думает ухватить немножко монеты.

— А почему вы мне все это рассказываете? — сонно спросил Тома, видя, что женщина не собирается уходить.

— Потому что теперь он уже больше не придет, и, может быть, вы хотите, чтобы я здесь осталась? Сорок лей, и я пробуду до утра. Ручаюсь, что будете довольны.

— Я дам тебе двадцать, если ты от меня отстанешь.

Женщина положила монету себе на ладонь и плюнула на нее.

— На почин, сударь. Знаете, очень тяжелые сейчас времена.

Она потерла монету о колено, еще несколько раз плюнула и вышла, виляя бедрами.

3

Утром Тома разбудил рев сирены в порту. Он оделся и поспешил на вокзал. До отхода поезда оставалось несколько минут. У кассы, когда он хотел взять билет, обнаружилось, что у него нет ни гроша. Ночью в гостинице очистили его карманы. Он побежал в гостиницу, но там не с кем было говорить до десяти часов, когда явился директор. Это был шутник, который снисходительно улыбнулся Тома.

— С такой же настойчивостью вы могли бы утверждать, юноша, что у вас был миллион лей... Этот номер не пройдет. Да и вообще, прочтите вот это объявление.

И он показал на печатную карточку на лестнице, которая вела на второй этаж: «Дирекция несет ответственность только за ценности, сданные в контору».

Делать было нечего, и Тома покорился своей судьбе. Его взяла досада на то, что он утонул у самого берега. Ехать в Бухарест без единого гроша невозможно, даже если Мэнеску проявит желание покровительствовать ему. Там ведь тоже надо где-то спать и что-то есть. Единственный выход — добыть денег, а для этого наняться пока куда угодно и строжайшим образом экономить, чтобы хоть сколько-нибудь скопить. Он пошел в город искать работу.

Проходя по узким, грязным, шумным улицам, Тома находил их пленительными, они были полны красок, обладали своим особым оттенком и словно сами просились на полотно. «Этот город следовало бы прославить так же, как его прославил Истрати в литературе. Создать новый мир из этих разбросанных как попало домов, подобно Гогену, который создал новый, свой собственный мир из острова, опошленного почтовыми открытками дурного вкуса». Тома испугался этого сравнения и быстро оглянулся кругом, чтобы увидеть, не прочел ли кто-нибудь его мысли.

Ночью плохо освещенный город становился еще живописнее: затуманенные витрины кафе сияли при свете электрических лампочек, серые тротуары были словно отшлифованы подошвами, маленькие покосившиеся домишки с окнами, закрытыми синей бумагой, в которую обертывают тетради, походили на странные, неестественные нагромождения камней.

Обойдя все кварталы, и даже Брэилицу, Тома расположился в дешевой столовой и завел разговор с кельнером. Он узнал, что в Брэиле примерно тысяча безработных, и работу найти трудно: немцы, распоряжающиеся транзитом товаров в порту, привезли из Регенсбурга электролебедки, и теперь старые, состоящие в профсоюзе докеры заняты четыре дня в неделю, и только изредка, когда есть случайная работа на железной дороге,— пять дней.

— На какие же средства живут безработные? Ведь жить-то они все-таки живут...

— Не знаю. Я никогда об этом не думал. Вы умный человек,— сделал вывод кельнер.

Позднее Тома стало известно, что каждому, кто сказал то, о чем кельнер до тех пор не думал, присваивался этот эпитет. Кельнер был грек, небольшого роста, со смуглым лицом и крупными, пожелтевшими от табака зубами. Он жил в комнате где-то вблизи порта и пригласил Тома к себе, пока не найдется что-нибудь более подходящее. Тома принял предложение. Когда столовая закрылась, они вместе отправились домой к греку. Жилье кельнера находилось далеко от центра, в ветхой лачуге на Пансионской улице, почти на самом берегу Дуная. Пол в комнате был гнилой, пахло плесенью, в стенах торчало множество длинных гвоздей.

— Я вас пригласил, сударь, потому что вы умны. А мне нравятся только умные люди.

Потупившись, кельнер стыдливо признался, что он и себя считает умным человеком.

На ночном столике лежало несколько тонких брошюр на греческом языке, истрепанных от слишком частого чтения.

— Вот,— сказал кельнер,— они хоть и жили две тысячи лет назад, а умнее нынешних умников.

Он взял книжку, раскрыл ее наугад и стал читать:

— «Бытие подобно массе идеально круглого шара, одинаково распределенной по всем направлениям от центра. Ибо бытие,— он многозначительно взглянул на Тома,— под этим подразумевается бог — не может существовать здесь или там в большем или меньшем количестве...» Что вы скажете о Парменида?

Тома не знал, что ответить.

— Я дал бы богу другое наименование. А именно: Равновесие. Господин Равновесие.

Тома снисходительно смотрел на него: «Полоумный он, что ли?» Грек продолжал:

— Знаете, что означает равновесие? Равный и свободный. Потрясающе, правда? Равный означает и бесконечность. А быть может, даже больше. Равный в мерах, в ценностях, в совершенстве и свободный. Ты веришь в бога, Тома?

— Нет.

— Почему?

— Давай ложиться спать, Иоанис.

Грек уговорил Тома наняться мыть посуду в той дешевой столовой, где работал сам. В кухне отвратительно пахло щелоком, а когда открывали дверь, со двора врывалась едкая вонь уборных; маленькие, засиженные мухами, запотевшие окна плохо пропускали свет.

Вначале, когда Тома стоял, согнувшись над большими медными оцинкованными котлами, в которых вода не менялась неделями, у него кружилась голова и выворачивались внутренности. Но так как он был голоден, то его не рвало, только лицо искажала гримаса, на глаза навертывались слезы, и он, словно сквозь паутину, следил за грациозной и бессмысленной пляской жемчужин жира по кругу внутри посуды.

Тома понимал, что этих прокисших запахов долго не выдержит. В свободное время он ходил по городу в поисках другой службы и к ночи возвращался домой измотанный, надеясь, что застанет грека уже спящим и не будет вынужден слушать его теории об отношениях между людьми и богом.

Дней через десять Тома нашел службу как раз по своей специальности — рисовальщиком в литографии. В качестве пробной работы от

него потребовали, чтобы он нарисовал на конверте лечебного шампуня женскую головку с густыми распущенными волосами.

Полизу — владелец литографии, акционер складов «Таможенный транзит» и завода холодильников «Рыбак» полюбил Тома и даже пригласил его к себе домой написать портреты детей. У него было две девочки: восьми и десяти лет. Тома написал их портреты акварелью, и хозяин остался весьма доволен. Он во что бы то ни стало хотел подружиться с Тома. Приглашал его по воскресеньям к обеду и, опьянев от двух стаканов вина, разбавленных большим количеством газированной воды, рассказывал, как трудно ему жилось в интернате колледжа Карола в Крайове, где воспитатель изводил его, заставляя мыть коридоры. Вообще это было единственное, что ему запомнилось за все годы учения в школе. Других воспоминаний у него не сохранилось.

Счастливый это был человек. В маленьком блокнотике он отмечал заприходованные суммы, а на обороте каждой страницы — сколько с его разрешения тратила жена.

Тома сидел, положив локти на стол, и слушал:

— Две пары чулок «Флора» по тридцать четыре леи, четверг, двенадцатого марта. Итого шестьдесят восемь лей... Три метра коричневой бумазеи с большими цветами по семьдесят две леи метр. Итого двести шестнадцать лей... Понедельник, девятнадцатого мая. Пятьдесят килограммов помидоров для пасты, по двадцать пять бань килограмм. Четыре тетради в линейку, два карандаша Хардмут...

Тома восхищался его посредственностью и немножко ему завидовал. Жена постоянно улыбалась и вспоминала, как когда-то однажды летом они с Мирчей (так звали супруга) были в саду ресторана «Пшеничный колос» и слушали (своими собственными ушами!) Марию Тэнасе.

— Она пела эту, про Леордень... Очень красивая песня... Не хотите ли еще шприц *, господин Войкан?

— Нет, сударыня. Я боюсь опьянеть...

После каждого воскресного визита Тома возвращался домой в плохом расположении духа.

У него было впечатление, что он катится по наклонной плоскости. Много раз, перед тем как заснуть, он строил планы: завтра надо всерьез взяться за работу. Иногда желание работать не оставляло его и в течение дня, но, едва покинув мастерскую и выйдя на улицу, он забывал о бумаге, кистях, красках. Он бродил по улицам, вдоль набережной, смотрел на докеров, которые до поздней ночи надрывались на работе, осторожно ступая по сходням, чтобы не упасть в воду. А когда возвращался домой, его мучили угрызения совести, он забирался в постель и строил планы на завтра. А назавтра его опять приглашали к Полизу. Он слушал, как супруги ахают, и, приходя домой, чувствовал, что если бы дважды обошел весь город, то и тогда не так бы устал и не было бы ему так тошно.

С греком они поссорились из-за пустяка: видит ли и слышит господь решительно все или, наоборот, не видит, не слышит и не знает ничего, что происходит на свете. Греку хотелось, чтобы Тома занял определенную позицию и с ним можно было бы поспорить. Но Тома это надоело, проблема его не интересовала, и он уснул. Грек только утром обнаружил, что всю ночь говорил сам с собой. Он обиделся и намекнул, что Тома мог бы проявить признательность.

— Так или иначе, ты живешь у меня. Ты гость. А у гостей есть кое-какие обязанности. Живешь ты бесплатно, я научил тебя вытачивать игральные кости и всегда давал тебе чистую постель...

— Я переезжаю,— раздраженно прервал его Тома.— Жалею, что

* Стакан вина, смешанного с газированной водой.

давно не переехал. Жалею, что потерял столько часов, слушая твои глупости о богах и христах. За квартиру и чистую постель я тебе должен?

— Уходи!

Тома потратил полдня на поиски комнаты. Он обрадовался, что переехал от грека. В новой квартире было просторнее, и он решил в свободные часы серьезно заняться рисованием. Вдова-хозяйка — ее муж погиб на войне,— женщина, бойкая на язык, потребовала плату вперед и запретила ему входить в соседнюю комнату, где жила какая-то служащая кораблестроительных верфей.

— Не водите в квартиру ни женщин, ни приятелей. У меня пьянок не устраивают. Жиличка, — она указала на комнату, куда Тома не имел права входить,— весь день работает, и ей ночью нужен покой.

Из первой получки Тома внес за комнату, уплатил долг в лавочке на углу, где брал колбасу к ужину, и с удивлением обнаружил, что остался почти без гроша. «Не так надо жить, не так распределять деньги, не то рискуешь застрять в Брэиле до конца дней»,— думал он. Неужели он ошибся в расчетах — жил широко, тратил необдуманно? Нет... Единственно лишними были расходы на бумагу и карандаши для рисования.

Тома лег на диван, была суббота, стояла жара. Им овладела хандра. Из радиоприемника в доме через дорогу доносились звуки военного оркестра. В полутьме силуэты карандашей в стакане вырисовывались на оконном стекле. Тома взглянул на них, и его охватила странная, изнуряющая тоска. Он хотел бы очутиться дома, на улице Теляжен, у матери. По сравнению с этой квартирой дом в Оради казался ему более приветливым.

Кто-то постучал в дверь. Он с дивана крикнул: «Войдите»,— и не дал себе труда обернуться: уверен был, что это хозяйка пришла спросить, не нужна ли ему горячая вода.

— Мне не нужна вода. Я мылся. Не опасайтесь, сударыня, я не испачкаю ваших простыней.— Он говорил со злостью и тут же пожалел об этом: ему ответил незнакомый голос.

— Я пришла не из-за воды. Я пришла за спичками.

Тома вскочил с дивана. На пороге стояла молодая женщина с коротко подстриженными волосами. В полутьме комнаты трудно было как следует рассмотреть ее лицо, угадывались только большие блестящие глаза.

— Спички, да, конечно, с большим удовольствием...

Пока он отыскивал спички, она извинилась:

— Я живу рядом... Забыла купить спички. Простите меня...

Тома подал ей спички, она коротко поблагодарила и вышла. Оставшись один, Тома постоял неподвижно у двери, ожидая, что соседка вернется, принесет ему спички, но она больше не появлялась. Потом он обрадовался, что она не вернулась: по крайней мере есть предлог выйти в город купить спичек.

Наступил уже поздний вечер, на улицах было людно, из какого-то ресторана доносился томный голос певицы, исполнявшей модное танго «Погас на улице фонарь».

Быть может, именно из-за толпы Тома почувствовал себя еще более одиноким. Он бесцельно побродил с полчаса, затем вошел в ресторан, где пела певица. Ее можно было увидеть сразу, как только откроешь дверь: она стояла на эстраде в зеленом открытом платье с молнией сверху донизу.

Тома занял место за столом у входа, где сидели два господина, спорившие о немцах и о Кодряну *. Оба держались одной и той же точки зрения и ссорились только потому, что каждый перебивал другого.

---

* Главарь фашистской партии «Железная гвардия».

После полуночи ресторан опустел, осталось лишь несколько завсегдатаев и оркестр. Певица сидела на коленях у офицера из управления портом и, закрыв глаза, тихонько что-то напевала, пока офицер играл молнией на ее платье. Если он, переходя границы дозволенного, расстегивал платье до бедра, певица смеялась, смеялся и барабанщик из оркестра, ее муж,— у офицера из управления портом было много денег, и он считался человеком галантным.

Тома все опротивело, он расплатился и пошел на берег реки, в порт. Следя за тем, как пляшут невысокие волны, он спрашивал себя, что ему надо в Брэиле,— ведь, в сущности, он ехал в Бухарест, к этому критику в двух парах очков. В глубине души Тома был убежден, что Мэнеску давно забыл о нем и теперь может создаться тяжелое, унизительное положение.

Озаренный луной Дунай походил на чешуйчатую змею.

Тома всю ночь просидел на берегу, прислонившись к каким-то мокрым ящикам, от которых пахло гнилой рыбой. Утром река стала мутной, почти желтой. Вдоль набережной, выстроившись в ряд, стояли на якорях баржи. Из одной каюты вышла женщина и начала развешивать выстиранное белье.

— Кочевники,— пробормотал Тома, с завистью глядя на женщину.

Он посидел еще не двигаясь возле ящиков, потом, охваченный какой-то необычной печалью, направился домой. Старуха сердито посмотрела на него.

— Вчера вечером вас спрашивал господин Полизу. Вы были приглашены к ним и не пошли. Нехорошо...

Умывшись, Тома приободрился и пошел к Полизу. Его ждали.

— Вы рассердились на нас, господин Войкан?

— Нет, господин Полизу, не рассердился...

— Вчера, когда я увидел, что вас нет, я поспорил с женой. Я думал, что она чем-нибудь вас обидела. И мы поссорились... Я рад, что вы на нас не сердитесь.

Полизу сиял от счастья и велел жене принести два шприца. Чуть захмелев, он еще раз поведал о своих страданиях в интернате и показал блокнотик доходов и расходов.

Тома без всяких околичностей мрачно спросил его:

— Скажите, вы счастливы?

— Очень счастливы,— сияя, ответил хозяин, глядя на свою жену и как будто требуя от нее подтверждения.— А почему бы и нет? Дом у нас, слава богу, есть. И, слава богу, мы не в ссоре с вами. Видите ли, до сих пор, пока мы не познакомились с вами, мы и не знали, что нам недостает вас. Мы и раньше жили хорошо, в добром согласии. Но вы приучили нас к тому, что вы приходите, вы пробудили нас от зимней спячки, в которую мы были погружены... Иногда ночью я просыпаюсь и думаю, что́ сделал бы я на вашем месте, в столице, и тогда бужу Эмилию... Рассказываю ей, где я мысленно путешествую... И, слава богу, у нас двое детей, они здоровы...

— Да, да, понимаю,— ответил Тома.— Вы правы, почему бы вам и не быть счастливыми.

— А вы не счастливы? — спросила госпожа Полизу.

— Что за глупые вопросы ты задаешь! — оборвал ее супруг.— Почему же нет? Он молод, зарабатывает довольно хорошо, талантлив и здоров, слава богу... Правда?

— Да, да, это так,— согласился Тома и встал из-за стола.— Благодарю за гостеприимство, теперь я пойду и лягу спать, я очень устал, а завтра надо делать этикетки для скляночек с настойкой йода...

4

Остаток дня он провел дома, сам себе не признаваясь в том, что никуда не уходит потому, что надеется увидеть соседку. Только к обеду, убедившись, что в ее комнате не слышно ни звука, он узнал у хозяйки, что соседка в театре и вернется домой поздно.

Ему не хотелось выходить в город, он перебирал разложенные на столе листы бумаги и взял карандаш, просто так, в шутку. Долго смотрел отсутствующим взглядом на белую бумагу, пока ему не показалось, что он видит, как возле сарая сидит человек, съежившись, уткнув подбородок в колени. Он начал набросок. Через час закончил его вчерне, бросил карандаш и принялся разгуливать по комнате. Назвать бы рисунок «Разговор со звездами». Когда он хотел возобновить работу, набросок показался ему ужасающе неумелым, ребяческим. А какое помпезное название он хотел ему дать! «Разговор со звездами»...

Лицо на рисунке было невыразительное, положение рук, охвативших колени,— неверное. Недовольный, Тома завалился на диван. «Быть может, у меня нет никакого таланта, мне только так казалось». Даже Мэнеску мог ошибиться, ведь святые в часовне были только копиями с иллюстраций в одном труде о византийской живописи. Правда, он не воспроизводил их точно, но во всяком случае в них не могло быть ничего оригинального.

Он долго созерцал едва заметные полосы, оставленные на потолке кистью маляра, и невольно вспомнил о Барбу. Что сейчас делает мастер? Проверяет, висят ли на гвоздях палитры? Вероятно, он закрыл мастерскую или сдал ее другому живописцу. «Может, было бы лучше, если бы я поступил к нему на работу. Он обрадовался бы». .

Как он и ожидал, соседка принесла спички. Но Тома не нашел никакого предлога для разговора. Он лишь долгим, отчасти профессиональным взглядом смотрел на нее: глаза ее были окружены легкой синевой, и эти круги вместе с изгибом бровей походили на следы от очков. При проникавшем с улицы свете ее пушистые волосы казались прозрачными.

— Вы очень странно смотрите на меня.— И она огляделась, нет ли в комнате зеркала, в которое можно было бы взглянуть на себя.

— Странно? Нет... Я только подумал, что мы больше месяца живем под одной крышей, а я только второй раз вас вижу... И даже не знаю, как вас зовут.

— Ирина. Ирина Продан. Я служу на верфях. А вы?

Тома протянул ей руку:

— Тома Войкан. У меня нет специальности... Работаю рисовальщиком в литографии...

Ему больше нечего было сказать ей. Оба молчали, стоя друг против друга, а когда молчание слишком затянулось, она сказала:

— Я пойду... Спасибо за спички...

Она медленно направилась к двери, и Тома показалось, будто она ждет, чтобы он ее остановил. Все-таки он не нашелся, что ей сказать. Она бесшумно закрыла за собой дверь. Тома стало досадно, что он не умеет обходиться с женщинами. В сущности, было бы очень легко попросить ее остаться. Они немножко поговорили бы. Но о чем им говорить? Конечно, не о чем... Может быть, он предложил бы ей позировать, сделал бы ее портрет... Да, это выход... По крайней мере, он убьет время. Тома открыл дверь, Ирина еще стояла в коридоре перед зеркалом и поправляла волосы.

— Если у вас нет никаких дел и вы не устали, я мог бы вас нарисовать.

Не успел он произнести эту фразу, как уже пожалел о ней. А если Ирина не согласится? Он покраснел и постарался взять себя в руки, чтобы не ответить грубостью на возможный отказ. Она долго смотрела на него. Тома продолжал:

— Только не ждите ничего замечательного... Я дилетант. Пожалуйте...

Он широко распахнул дверь, и Ирина медленно вошла в комнату. Тома поставил для нее стул возле окна, нашел нужный поворот, потом уселся сам. Он волновался. Работал долго, но рисунок его не удовлетворял. Он хотел оправдаться тем, что давно не держал в руках карандаш, но такое извинение казалось пошлым и глупым. Позднее вошла хозяйка, возможно, она хотела спросить, не нужно ли ему горячей воды, но, увидя, что происходит в комнате, встала за спиной Тома, взглянула на бумагу и хлопнула в ладоши:

— Вылитая... Как на фотографии.

Ирина встала. Ей понравился портрет. Только Тома молчал, грустный, пристыженный. Портрет был похож, но не имел ничего общего с искусством. Тома обрадовался, когда наконец остался один. Он подошел к окну, взглянул на улицу. Вечер был темный, пасмурный, небо беззвездное. С высоты второго этажа прохожие казались какими-то торопливыми жуками, бессмысленно и бесцельно снующими во все стороны. Еще пахло духами Ирины, и Тома поспешно открыл окно, чтобы проветрить комнату.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

В конце следующего месяца, получив жалованье, Тома собрал тысячу двести лей. С этими деньгами он мог спокойно ехать в Бухарест и, если бы Мэнеску даже не сдержал обещания, прожить две-три недели, пока что-нибудь подвернется. Но жалованье принадлежало ему не целиком. Плата за комнату, долг в лавке, долг прачке... А если он ничего не заплатит? Неужели это такое большое преступление — в интересах своей будущности нечестно поступить с какими-то чужими людьми?.. Что, в сущности, они потеряют? Старуха не потратила на комнату ничего с тех пор, как он здесь живет. А лавочник... Он достаточно сам обманывает. На прошлой неделе недовесил ему двести граммов колбасы.

Чтобы собрать такую сумму каким-нибудь иным путем, потребовалось бы четыре или пять месяцев. А тогда уже начались бы занятия, и Мэнеску окончательно забыл бы его.

Тома пошел на вокзал. В глубине души он обязался из первых же денег, заработанных живописью, отослать долг старухе.

Мэнеску уехал в Кэлимэнешти и, по словам служанки, должен был вернуться не раньше, чем дней через десять. Тома отправился на поиски работы. Обойдя всех живописцев вывесок, он в конце концов нанялся в мастерскую «Сильвиан и компания» на улице Кымпиняну. Там он изготовлял серии реклам для фабрики «Нивея» в Брашове и мыловаренных заводов «Флора». Тома обновил свои сведения в написании букв. Жил он в мастерской. Иногда ночью, когда ему не спалось, он зажигал свет и рисовал на обратной стороне вывесок. Однажды Тома по памяти написал портрет матери, удачно передав игру теней и ее чуть заметную печальную улыбку. Всю ночь он не ложился. В другой раз он опять взялся за портрет, и опять получилось похоже. Настроение у Тома настолько

поднялось, что он оделся и вышел в город. Ему хотелось посмотреть на веселых людей, на красивых женщин, найти друга, с которым он мог бы выпить и которому можно было бы довериться.

Ему было хорошо. Он уступал дорогу прохожим, проявлял необыкновенную вежливость, в трамвае встал, чтобы освободить место пожилой даме, и был счастлив, когда она села. Ему казалось, что все в трамвае смотрят на него. Он сошел на Брэтиану и направился к кинематографу «Скала». Сияющие буквы на фасаде «Карлтона» объявляли об итальянском фильме с Джино Черви и Алидой Валли. Он перешел дорогу, решив посмотреть фильм, но давно уже начался последний сеанс. Пришлось отказаться от этой затеи; в глубине души он был убежден, что оказал большую услугу тем, кто попал в кино.

В мастерской Сильвиана только и говорили, что о блицкриге, о гениальности Гитлера, о благоприятной конъюнктуре, складывающейся для живописцев вывесок.

Единственный, кто, так же как и Тома, не обсуждал никаких событий, был Панделе, подмастерье лет тридцати двух, болезненный, с прыщами на лбу. Он считал себя в некотором роде художником: в свободное время писал пейзажи и акварели и дюжинами продавал их одному маклеру с рынка Обор.

— Скажи, Панделе, ты слыхал когда-нибудь о некоем Мэнеску?

— Да, это крупный художественный критик. Однажды я послал ему мои акварели, и он вернул их мне сложенными вчетверо. Он — бандит.

— Но почему же он бандит, Панделе?

— Он написал, что если я брошу живопись, то смогу экономить каждые полчаса по четыре леи.

— Не понимаю...

— Чего же тут не понять? Значит, по его мнению, мою акварель можно написать за полчаса, а бумага стоит четыре леи.

Тома засмеялся.

Панделе недовольно проворчал что-то, потом добавил, будто говоря с самим собой:

— Я работаю над каждой акварелью два часа.

2

Узнав о приезде Мэнеску, Тома пошел к нему домой. Открывшая ему дверь пожилая женщина спросила, ждут ли его. Тома чуть слышно прошептал «да», и женщина ввела его в просторную прихожую, увешанную картинами Лукиана, Изера, Паллади. Тома не успел пробыть там и нескольких минут, как на пороге расположенной рядом гостиной появилась жена критика. Она была одета в плотно облегающий зеленый костюм, курила из длинного костяного мундштука и сильно накрасила лицо, чтобы скрыть морщины. Она долго смотрела на Тома, его лицо как будто было знакомым. Наконец она вспомнила и улыбнулась.

— Вы тот художник, из часовни?

— Ну да, сударыня... Это я.— Он приложился к ее протянутой руке, и в нос ему ударил сильный запах глицерина.

— Вы гораздо выше ростом, чем мне показалось там, в часовне. Настоящий мужчина.— Она засмеялась. Тома подумал, что у нее нет причины для смеха, но он тоже принужденно, криво улыбнулся.— Вы очень милы...

Тома продолжал глуповато улыбаться.

— Я хотел бы видеть господина Мэнеску.

— Знаю, знаю... Я рада, что вы приехали в Бухарест. Вероятно, хотите поступить в институт... Вы еще пишете?

— Да, сударыня...

— Надо будет вам когда-нибудь написать мой портрет... Красивый портрет... Не такой, какая я на самом деле...

— Но, сударыня...

— Очень любезно с вашей стороны... Это приятный комплимент.— Она пустила клуб дыма в лицо Тома и хихикнула.— Вы когда-нибудь писали обнаженную натуру?

— Нет, сударыня... Обнаженной не писал никогда.

Тома обрадовался, когда из гостиной вышел критик. Он был облачен в толстый ворсистый халат с большим воротником вишневого цвета.

К удивлению Тома, критик сразу же его узнал:

— Прошу вас, мой юный друг, прошу вас...

В гостиной находилось еще четверо. Большое кожаное кресло занимал старик, державший меж колен полированную трость с серебряным набалдашником. Он уперся подбородком в сложенные на набалдашнике руки и не поднимал головы, даже когда говорил. Лицо у него было в морщинах, а длинные белые волосы спрятаны под большим французским беретом. Остальные именовали его маэстро. Рядом с ним на вышитой подушке подчеркнуто небрежно расположился юноша с жиденькими усиками, рыжеватой бородкой и большими удивленными бесцветными глазами. Он вертел головой во все стороны с таким видом, будто был изумлен, что находится здесь. О себе самом он говорил, как о другом человеке,— в третьем лице.

— Суждение Марчиана о застенчивости совершенно непоколебимо. Застенчивость есть физический недостаток. В области искусства ее следовало бы заносить в личное дело художника. Если бы Марчиан жил двести лет назад, он предложил бы за нее наказывать. И очень сурово: отсечением руки.— И сам засмеялся.

Один из присутствующих, сутулый, одетый в поношенную длинную куртку, похожую на кафтан, не сводил глаз с маэстро, другой — тощий, лысый, с воспаленными глазами — напоминал кельнера: на нем был засаленный редингот, под который он засунул концы пышного, повязанного бантом галстука.

Критик подождал, пока кончится речь о застенчивости, потом представил Тома:

— Это мой друг из Геркулане... Тома Войкан, если не ошибаюсь? Тот художник из часовни, о котором я вам рассказывал.

Один лишь маэстро не взглянул на Тома — он был занят исследованием своих галош. Рыжебородый юноша церемонно поклонился и после минуты общего молчания продолжал:

— Но если бы Марчиан жил через двести лет, он объявил бы застенчивость физическим недостатком. Ваше мнение, маэстро?

Маэстро два раза кашлянул.

— Благодарю вас, маэстро...

Мэнеску перебил его:

— Извини меня, дорогой Марчиан... Жаль, что не удались фотографии, которые мы сделали в часовне... Это прекрасно, это обещает весьма многое... Масса красок и масса изобретательности... Что-то от утонченности народного искусства. Во всяком случае, это наводит на мысли о некоем стиле. Наш молодой друг пользуется необычным зеленым — бархатным и все же холодным. Словно он видит цвет сквозь стекло или сквозь воду. Я предложил нашему юному приятелю поступить в Школу изящных искусств. Разумеется, если бы маэстро поддержал ваше прошение...

Маэстро снова кашлянул.

— Следовательно, все зависит от вас самого. Садитесь, пожалуйста...

С этой минуты Тома перестал для них существовать. Мэнеску повернулся к юноше с жиденькими усиками и рыжеватой бородкой:

— О чем это я сейчас говорил?

— По поводу застенчивости.

— Нет, нет... О Моне... Да, знаю... Как вы полагаете, маэстро, женшина на «Портрете госпожи Г.» не та же, что на «Японке»?

— Не думаю. «Госпожа Г.» была написана, если мне память не изменяет, в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом... Да, в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом, а «Японка» через восемь или десять лет... Господин Мэнеску?

— Да,— подтвердил критик.— Через восемь лет, в тысяча восемьсот семьдесят шестом. И я согласен с маэстро. «Японка» белокурая, а «Госпожа Г.» — брюнетка или шатенка.

— Быть может, наоборот,— вмешался юноша с рыжеватой бородкой.— Белокурая японка?

Маэстро кинул на него полный презрения взгляд и ответил не ему, а опять критику:

— Именно в этом, как я полагаю, и заключается секрет картины, или ключ к ней. Белокурая японка и, между нами говоря, вовсе не японка. Я говорю о лице. Только обстановка, ковер и кимоно. Но и кимоно слишком тяжело по сравнению с японскими. Правда, вышивка восточная, классическая японская. Быть может, даже преувеличенная. Я говорю о руке и лице самурая, вышитого на кимоно. И все-таки эти две картины как-то связаны. Возможно — общее настроение. Полагаю, что Моне закрепил на полотне «Японка» свое прежнее душевное состояние. Если хотите, отзвук «Госпожи Г.» слышится и в картине, созданной восемью годами позднее.

Тома был поражен. В гостиной говорили о картинах и именах так, как он говорил бы о шрифтах — лапидарном или блоке. Сравнивали зеленый цвет «Пальм» Боннара с зеленым цветом юбки «Женщины с анемонами» Матисса, манеру Гольбейна и Ватто. Он чувствовал себя отчаянным глупцом и хотел уйти. Но критик предложил ему черного кофе, и, таким образом, Тома был вынужден слушать речь о стенной живописи братьев Григореску, диспут между профессором Школы изящных искусств и юношей с бородкой о разрезных листах Пикассо и о мягком периоде Сальвадора Дали...

Тома все время сидел не шевелясь. И очнулся, только когда Мэнеску спросил, где он живет.

— У меня еще нет квартиры...

— Да,— буркнул Мэнеску.— Хорошо, что я спросил. Надо будет устроить вас в общежитие... Но до тех пор...

Тома только хотел сказать, что вопрос о жилье не так уж важен, как Мэнеску ткнул пальцем в Марчиана:

— Нельзя ли ему пожить у тебя?

— У меня? — удивился художник.— То есть как это?

— В мастерской. Несколько дней, пока его не устроят в общежитие...

— В мастерской да.— Он повернулся к Тома.— Улица Тимиш, два. Впрочем, я тоже сейчас туда приду.

3

Дом на улице Тимиш, 2 оказался большой, квадратной, обветшалой постройкой, походившей на заброшенный, годный только на слом амбар. Высокие ворота из гнилых досок, окованные железными поло-

сами (иначе они рассыпались бы), были распахнуты и держались на одной-единственной петле. Сперва Тома решил не входить и подождать Марчиана на улице. Потом передумал и поднялся по ступенькам, таким же гнилым, как и ворота. На втором этаже ему пришлось зажечь спичку, чтобы на что-нибудь не наткнуться. Его поразило объявление, прибитое к раскрашенной во все цвета двери: «Не стучите. Шум нам мешает». Тома повернул ручку, и дверь отворилась. Он оказался в длинном коридоре, заставленном выброшенной за негодностью мебелью, стульями без ножек, бидонами, планками для подрамников. Он зажег другую спичку и увидел на двери в глубине коридора новое объявление: «Входя, оставь свои мнения в коридоре».

Тома отворил и эту дверь и вошел в просторную мастерскую с потолком из матового стекла. У самого входа, рядом с водопроводной раковиной молодая девушка с растрепавшимися косичками месила ногами глину. Она выпачкалась до самых колен, глина чавкала, как забродившее тесто. Ни девушка, ни другая женщина, одетая в белый халат и сидевшая спиной к двери, не ответили на приветствие Тома. Он еще раз поздоровался, и тогда женщина в белом халате спросила, не оборачиваясь:

— Кто там?

Раньше, чем Тома успел ответить, девушка с косичками крикнула:

— Молодой господин...

— Что ему надо?

Только тут Тома заметил, что женщина в белом халате лепит из глины, лежащей перед ней на деревянной подставке. Глаза женщины были завязаны широкой лентой черного бархата.

— Что вам надо, сударь? — спросила девушка с косичками.

— Меня прислал господин Марчиан.

— Его прислал господин Марчиан! — крикнула девушка.

Все здесь казалось Тома необычным. Стены были сплошь увешаны картинами.

— Как он выглядит? — спросила ваятельница.

— Высокий, думаю, что годится,— одобрила девушка с косичками.

— Пусть разденется,— приказала скульпторша.

Тома ушам своим не верил.

Девушка с косичками прервала свою работу и прикрикнула на него:

— Ты слышал? Раздевайся!

Тома снял пиджак, переложил его из одной руки в другую и наконец бросил на софу у стены.

— И рубашку.

Тома с минуту подумал, потом пожал плечами. Кто их знает, чего они хотят? Снял и рубашку.

— Какой он, Ана?

— Он хорошо сложен.

Скульпторша оторвалась от работы, сняла с глаз повязку и подошла к Тома. Она была красива, с большими зелеными глазами и полными губами, накрашенными почти фиолетовой помадой.

— Повернись,— сказала она Тома.

Тома повернулся к ним спиной.

— Подними руки... Да, думаю, что годится,— заключила скульпторша.— Где тебя нашел господин Марчиан?

— У господина Мэнеску... Я приехал из провинции, хочу поступить в институт....

— А, вы не натурщик... Почему же сразу не сказали? Одевайтесь...

Тома, улыбнувшись, оделся. Скульпторша вымыла руки и больше не обращала на него ни малейшего внимания. Только перед уходом, надевая пальто, она спросила:

— Значит, вы новый протеже Мэнеску... Где же он вас «открыл»? — Последнее слово она произнесла весьма иронически.

— В Геркулане, в часовне.

— А-а-а, теперь знаю... Это вы писали шимпанзе. Мне говорил Марчиан.

— Святых, сударыня, а не шимпанзе...

Скульпторша презрительно взглянула на него.

— А почему господин Марчиан прислал вас сюда?

— Потому что у меня нет квартиры.

От двери скульпторша еще раз обернулась:

— Ана, если придет господин Марчиан, скажи, что я ушла в клуб... И не забудь положить мокрые тряпки.

Она вышла, не простившись.

Тома, стоя у двери, смотрел, как девушка с косичками моет ноги у раковины. Потом начал рассматривать картины на стенах. Он ничего не понимал. Одна, в широкой черной раме, выделялась среди других тем, что по обе стороны от нее стена была пустой. Картина изображала красный шар, из которого брызгали две неясные оранжевые струи, а на них были рассыпаны синеватые блики и несколько желтых пятен. Тома попытался глядеть на картину прищурившись, но и так ничего не разобрал. Он подошел к деревянной подставке с только что отмоделированной глиняной скульптурой.

— Что это изображает?

Девушка лукаво засмеялась:

— Отгадай!

— Страусовое яйцо?

— Нет.

— Ты права. Это... Да нет... Это пушечное ядро прошлого века.

— Нет.

— В таком случае, не знаю.

— Это «Мысль».— Девушка указала на другую подставку, где находился тоже сферический предмет.— А это «Шепот».

— Картины тоже писала та госпожа, которая ушла?

— Никогда не называй ее госпожой, она рассердится. Ее зовут барышня Тиа. А картины — господина Марчиана.

Тома показал на первое попавшееся полотно. На нем был изображен желтый шар с какими-то зелеными пучками, похожими на водоросли, они прикрывали огромный глаз с ресницами в виде лучей.

— А это что?

— Угадай.

— Тоже надо угадывать?

— Здесь все надо угадывать.

— Ну, тогда не знаю.

— Это я,— сказала девушка, смеясь.— И называется «Девушка позади стола с желтой скатертью». Похожа? — И она подняла к нему лицо.

Тома внимательно посмотрел на нее — обыкновенное лицо с выступающими скулами, лицо крестьянки. Разрез глаз удлиненный, но, возможно, так кажется из-за падающего сверху света.

— Может быть, и похожа, но я не разбираюсь.

Девушка взяла тряпки, намочила их и укутала глиняные шары барышни Тии.

— Сколько ты здесь проживешь?

— Не знаю... Пока не попаду в общежитие.

Тома решил пойти к Сильвиану и сказать, что переезжает из его мастерской. И, может быть, попросить на несколько дней отпуск для устройства своих дел.

Он спросил Ану:

— В котором часу мастерская закрывается?

— Никогда не закрывается. Я тоже живу здесь...

Она показала на угол, отделенный занавеской из толстого плюша.

В коридоре послышались шаги, и они оба взглянули на дверь. Вошел Марчиан:

— Барышня Тиа?..

— Она ушла в клуб. По-моему, не вернется.

Марчиан подошел к Тома.

— Ну, что скажете об этом райском уголке?

— Красиво.

— Недостаточно сильно сказано. Эта мастерская войдет в историю румынского пластического искусства. Здесь творят в счет будущего тысячелетия... И подумать только, что все это порождено бессонницей. Тиа спросила меня: «Что же такое шепот как форма? А мысль?..» Это был исторический вопрос... Сейчас у Марчиана нет времени рассказать вам подробнее. Но мы еще встретимся. Будьте как дома... Пока...

4

Учебный год начался недели за две до того, как Тома явился на занятия. Он попал на лекцию по анатомии. Преподаватель — невысокий человечек, говоривший с подчеркнуто французским акцентом, скучно распространялся о бедренной кости, все время поглядывая на часы, чтобы не затянуть лекцию. Тома остановился в дверях, выжидая, когда преподаватель закончит фразу, но тот говорил, не останавливаясь, словно без знаков препинания. Время от времени он указывал на пожелтевший скелет, скрепленный толстыми медными проволоками.

— Вы опоздали, господин студент,— заметил он без всякого перехода и продолжал, не давая возможности возразить: — Без совершенного знания бедренной кости и ее положения не существует рисунка.

Тома промолчал. Он отыскал себе место и уселся. Коллеги разглядывали его. Девушки — их было, кажется, шесть — сидели впереди и жадно записывали каждое слово преподавателя. А тот глядел поверх голов студентов, будто сквозь стены, грассировал и во время коротких пауз, подыскивая новую характеристику бедренной кости, прочищал языком коренные зубы. Возле девушек Тома увидел лицеиста, с которым вместе учился рисованию у Крэчуна, в Оршове. С тех пор прошло больше четырех лет, подсчитал Тома, а тот только сейчас сдал приемные экзамены. Тома пригляделся к нему повнимательнее. Молодой человек погрузился в чтение газеты. Изредка он поднимал глаза, поправляя галстук, затем снова продолжал читать, водя пальцем по строчкам.

В перерыве Тома остался в классе. Он рассмотрел рисунки, висевшие на стенах, затем перевел взгляд на городской пейзаж за окном. Олтянин*, сгорбившийся под грузом овощей, пробирался между прохожими, ступая правой ногой по тротуару, а левой — по стекавшей в канализационную решетку воде.

Следующей лекцией была история искусств. Профессор явился с опозданием, он вытащил из верхнего кармана пиджака бумажку и начал расхаживать по классу. В отличие от преподавателя анатомии, он говорил тягуче, с расстановкой, напевно произнося гласные и не проявляя ни к чему ни малейшего интереса. Ему было безразлично, слушают его или нет. Он высокопарно рассказывал об итальянском Возрождении, все время ссылаясь на свою собственную особу. «Я был, я видел, я констатировал, я проверил, я сравнил»,— повторялось очень часто. Только он один

* Житель области Олтения, на юге Румынии.

приходил в восторг, объясняя обстановку, в которой возникло Возрождение, и не обращая внимания на то, что студенты чистят ногти или читают газеты. Он жил несколько веков назад, слияние христианства с языческой мифологией, великие художники, их разносторонность — все это воодушевляло его.

Тома попытался представить себе профессора в кругу семьи, рядом с некультурной, глупой и богатой женой, балбесами-детьми и надоедливой тещей — и посочувствовал ему. Посочувствовал и потому, что профессор зря тратил свой энтузиазм на равнодушных, высокомерных студентов.

Среди девушек выделялась только одна. Стройная, одетая в серый габардиновый костюм, с волосами, собранными в пучок, с головой красивой формы и большими голубыми глазами, она походила на немку. Приезжала и уезжала она с лекций на машине, которой правил шофер в мундире цвета хаки. Она ни с кем не дружила, рисовала плохо и все время стирала нарисованное резинкой. Это была жена одного советника министерства иностранных дел, фамилия которого оканчивалась на «оглу».

Вскоре Тома освоился с программой института и скучал только на лекциях по анатомии: он путал теменную кость с затылочной, и ему не удавалось заучить наизусть латинские названия мускулов. Зато он был в состоянии часами сидеть перед сомнительного качества репродукциями или восхищаться ложной симметрией гравюр Дюрера. В своем классе Тома считался самым одаренным, особенно как колорист. Обычно он пользовался чистыми, яркими тонами, смело смешивал ультрамарин с зеленым и как никто в школе применял черный цвет. Однажды он от скуки нарисовал головы богов продолговатыми, как огурцы, и его объявили «византийцем». С тех пор каждый вышедший из рук Тома рисунок рассматривался именно как рисунок византийского стиля — это доказывалось наклоном угля, твердыми, верными линиями контуров. Его разбирал смех, он был убежден, что если бы на том уроке рисования больше поработал над мышцами лица, то получил бы другой титул.

Если бы Тома льстило данное ему прозвище, он попытался бы действительно стать «византийцем». Тем более что навыки, приобретенные им на подмостях часовни, облегчили бы ему этот путь. Но, быть может, именно потому, что он работал у иконописца, удлиненные фигуры и в особенности удлиненные головы выводили его из терпения. Однажды, когда кто-то из коллег расхваливал его рисунок, Тома вспылил:

— Вы все — форменные идиоты! По-вашему, византийский стиль — это не что иное, как удлинение голов! Таков был образец, разве ты его не помнишь?.. Как кончик ручки малярной кисти. Я в точности его скопировал, вот и все. Ты думаешь, что если рисуешь стул с одной ножкой, как тряпка, то работаешь в стиле «мягкого периода», вроде Дали?! Черта с два! Это смешно, это ребячество. Посмотри, как рисуют дети! Обычно, желая изобразить китайца, они только меняют разрез глаз и линию бровей. А между тем, лепка носа или расположение челюстей на одной линии со скулами гораздо более выразительны для изображения монгольского типа.

У Тома не установилось хороших отношений ни с кем из профессоров, потому что он никогда не выполнял заданий, и его считали дерзким. Только один из них, Берческу, ценил его и как человека. Все началось с одного рисунка. Во время урока рисования с натуры (с улицы привели бородатого нищего) Тома, вместо того чтобы изобразить его сидящим на стуле так, как его усадил профессор, нарисовал его вытянутые руки — тощие, узловатые. Хотя Тома получил замечание, рисунок наделал в институте много шума. Берческу попросил у Тома разрешения опубликовать рисунок в «Свободной мысли». После того как появилась репро-

дукция, профессор вызвал Тома в канцелярию и потребовал у него папку с рисунками. Берческу довольно долго рассматривал рисунки, наконец, закрыл папку, и Тома показалось, что профессор не доволен. Он спросил:

— Вы хотите мне что-то сказать, господин профессор?

— Да. Жаль вас, господин Войкан.

Тома ожидал чего угодно, только не этого. Он с любопытством смотрел на круглое, слегка отекшее, с морщинами в уголках глаз лицо профессора.

— Отчего жаль, господин профессор?

— Потому что у вас — талант, а станете вы неудачником. По-моему, вы поверхностны и невежественны. И в конце концов вы сделаетесь одним из тех художников, которые рисуют портреты в кафе.

— Почему вы так думаете?

— Потому что я смотрел ваши рисунки. Вы не рисуете, а балуетесь. Ни одна из ваших композиций не основана на изучении. Для живописи нужен не только талант, но и труд. А вы преуменьшаете значение чистого рисунка, анатомии.

— Даже Пикассо не блещет правильностью рисунка.

— Вы говорите глупости. Пикассо разрушает точные, законченные формы, он упрощает, хочет добраться до сущности. Но для того чтобы можно было упрощать что-то, надо прежде всего, чтобы это «что-то» существовало. Пикассо ищет новых путей. Он возвращается к примитивам. Возвращается — это значит, что он проделал путь к совершенству. Запомните: вы не имеете права отрицать что-либо раньше, чем будете знать то, что вы хотите отрицать. Вы можете следовать примеру Пикассо. Но это означает не подражать ему, а идти его путем. Стало быть — в первую очередь изучить рисунок, и после того как вы хорошо узнаете человека, его линии, тогда можете их упрощать. Тогда начинайте искания!

— Эти искания необыкновенны и неповторимы,— вспыхнул Тома.

— Необыкновенны — да. Неповторимы — нет. То же самое происходит в тысячах других областей. В физике ищут сущность вещества, в биологии пытаются изменить первичную клетку, чтобы объяснить генезис, в философии исследуют отношения между людьми, между человеком и природой, то же и в любой другой области. И во всех этих исканиях есть некая особенность: связь противоположностей — для того, чтобы можно было понять соотношения. Чтобы постигнуть сложность материи, надо возвратиться к первичной материи. Значит, для того, чтобы идти вперед, исследователи возвращаются назад. Разве это не интересно?

Тома слушал внимательно, но понял не слишком много. Не желая показаться глупцом, он задал вопрос, который, по его мнению, являлся наводящим:

— И вы думаете, что Пикассо упрощает живопись для того, чтобы ее развивать?

— Да! Вы когда-нибудь видели рисунки детей?

Тома пришло в голову, что профессор случайно услышал его слова об изображении китайцев и теперь хочет ими воспользоваться. Поэтому он взглянул на Берческу несколько презрительно:

— Да, видел.

— Так вот, эти рисунки в каком-то отношении очень похожи на рисунки Пикассо. Дети рисуют не потому, что они хотят рисовать, а потому, что хотят что-то выразить. Расшифровать смысл детских рисунков легче, чем рисунков художников, хотя дети не знают ни законов перспективы, ни пропорций, ни анатомии. Предположим, что ребенок хочет нарисовать человека, подслушивающего у замочной скважины. Вы увидите, что ухо такого человека больше нормального и замочная скважина — тоже. Потому что это — самое важное, это то, что ребенок хочет

передать своим рисунком. Разумеется, то, что стремится передать Пикассо,— гораздо тоньше и гораздо более сложно. Вот вам пример: трагедия человеческого существования. Это слишком отвлеченная вещь, чтобы можно было передать ее конкретно. Когда передают отвлеченное содержание, которое можно толковать на тысячи ладов, его передают отвлеченным способом.

— Как же?

— Вы смешны, господин Войкан! Я не знаю — как. Этого ищет и Пикассо. Пытается по-всякому. Его бранят, над ним смеются, издеваются, а он все-таки ищет. Быть может, он нашел что-то, чего мы еще не понимаем. Не знаю. Быть может, он шутник и высмеивает человечество. В науке все можно проверить. В искусстве наоборот — все можно только предполагать. Но сейчас важно не это, а ваш собственный путь. Говорю вам: не будете работать добросовестно — никогда не станете художником. Вот это я и хотел вам сказать. Можете отнестись к моим словам серьезно, можете меня ругать. Это — ваше личное дело. Если вас интересует то, что я сказал, приходите, побеседуем еще. Вы найдете меня в любой день в редакции газеты «Свободная мысль».

Тома вернулся с папкой в класс, захваченный непривычной, приятной мыслью: «Есть же на свете люди, которых занимает моя судьба». Как он ни рылся в памяти, но кроме Барбу не нашел ни одного человека, который проявлял бы интерес к его будущему. «В сущности, Берческу мог бы и молчать, хранить свое мнение про себя. Его занимает то, что я делаю, следовательно, он верит в мой талант».

Во время лекции по истории искусств Тома, положив локти на стол и вперив рассеянный взор в прожилки дубовой кафедры, мечтал о выдающейся, выполненной масляными красками картине, которой он удивит Берческу.

Профессор монотонно говорил о филигранистах, об иллюстраторах церковных книг, о каллиграфах, но Тома не слышал его: он видел себя перед мольбертом и холстом, с кистями в руках.

Перед началом урока рисования с натуры, когда профессор еще не пришел, два студента передвинули кафедру, поставили на нее стул и прикрепили к стене портрет. Сделанный углем, портрет идеализированно изображал Кодряну — утомленный, с кругами под глазами, он чуть заметно осклабился. Третий студент — маленького роста, смуглый, с красными веками — поднял крышку стоявшего в углу класса пианино и начал одним пальцем стучать по клавишам. Проявив некоторую снисходительность, можно было узнать легионерский марш. Сосед Тома по скамье, Комша, тоже невысокий, посмотрел на студента, сидевшего за пианино, потом взглянул на Тома, словно желая заручиться его поддержкой:

— Что скажешь?

Тома не знал, что ответить на этот неожиданный вопрос. Комша встал, размеренными шагами подошел к пианино и внезапно хлопнул крышкой по пальцам игравшего. Тот взвыл во все горло. Но инцидент не имел никаких последствий, потому что в эту самую минуту явился профессор Берческу. Он степенно вошел в класс, увидел портрет на стене и начал внимательно его рассматривать.

— Это чье произведение?

Высокий студент, который прикреплял портрет, поднялся на ноги.

— Мое.

Он стоял в вызывающей позе, опершись руками о пюпитр.

Берческу еще раз взглянул на портрет и сказал вскользь:

— Вы, господин студент, лишены таланта...— Еще раз бросил взгляд на портрет и добавил:— И вкуса тоже.

Комша что-то пробормотал.

Берческу продолжал:

— Правда, портрет обладает сходством, но искусство проявляется только в том, как нарисован лоб. Тут вам как раз удалось... Вы сделали его в два пальца высотой.

Комша снова что-то забормотал. Тома сердито спросил его:

— Зачем ты бросил крышку на пальцы Труцэ?

Комша ответил приподнятым тоном:

— Когти фашизма надо отрубить вовремя. А ты, случайно, не записался ли в легионеры?

— Нет, я политикой не занимаюсь. Но ты, видно, занимаешься!

— Да. Мой отец погиб в Мадриде.

— Каждый где-нибудь погибает.

— Ты циник.

— Лучше быть циником, чем политиканом. Ты не думаешь, что художник...

— Не думаю,— отрезал Комша.— Для того, чтобы художник мог творить, ему необходима среда, иначе произведения искусства...

— Почему ты их разделяешь? Одно не существует без другого...

— Тише,— раздался голос Берческу.— Сегодня мы будем изучать перспективу...

— Воображаешь, что совершил героический поступок? — прошептал Тома.

— Нет. Само собой разумеется, хлопанье крышкой пианино ничего не значит. Разве лишь предупреждает, что есть еще такие, кому не по душе «гвардия». Понимаешь?

По дороге к мастерской Марчиана Тома упрекал себя за то, что затеял спор с Комшей. Тот намеревался проводить его домой и объяснить, почему надо создать на курсе враждебную легионерам атмосферу.

Тома с трудом отделался от него, категорически заявив:

— Я не желаю ввязываться в политику... И не потому, что у меня нет убеждений, а потому, что она мне неинтересна.

Тома спросил себя: а как в действительности, есть у него убеждения или нет? Прежде чем войти в мастерскую, он снова прочитал предупреждение Марчиана: «Входя, оставь свои мнения в коридоре». И ему показалось, что это наилучшее решение.

Когда он открыл дверь мастерской, навстречу ему вырвались торжественные аккорды Пятой симфонии Бетховена. Марчиан писал. Он сидел на низеньком стульчике, глаза у него были завязаны, так же как у барышни Тии, когда Тома впервые ее увидел. Рядом на столике стоял патефон.

Ана, взобравшись на стремянку, мыла окна. Заметив Тома, она сделала ему знак молчать. Тома закрыл за собой дверь и взглянул на полотно Марчиана. Определить что-нибудь было невозможно, разве только свежие следы толстой кисти, нанесенные в сердцах и согласно ритму симфонии. Ана знаками показала ему, чтобы он ушел за ее занавеску. Тома на носках пересек зал. Он жил в мастерской уже две недели, но лишь впервые проник в каморку Аны. Здесь было именно так, как он представлял себе,— по-деревенски. Железная кровать, покрытая ярким шерстяным пледом, коврик, который она, быть может, привезла из дому, и серебряный крестик, прикрепленный к лампадке. Вечерами, когда ему не спалось, он слышал, как она возилась за занавеской, а потом молилась. Она громко читала «Отче наш», забиралась в постель и так желала ему спокойной ночи, что было слышно на улице.

Ана вошла вслед за ним, прижав палец к губам.

— Тс-с-с... Он просил не мешать ему... У него вдохновение.

— Что он делает?

— Погоди... Он мне сказал: передает на полотне Пятую симфонию. Садись...

Тома сел. Сквозь занавеску доносились аккорды симфонии.

— Ана, как ты попала сюда?

— Я прочла в газете, что требуется натурщица. А что это такое — не знала. Пришла, господин Марчиан велел мне раздеться — я хотела убежать.

— А теперь ты знаешь, что такое натурщица?

— Знаю... Здесь перебывало столько женщин. Да и мужчин тоже. Я готова была от стыда сквозь землю провалиться... Теперь-то я к ним привыкла.

Послышался голос Марчиана:

— Ана... Где ты, Ана?

Ана отдернула занавеску.

— Я здесь, господин Марчиан. Не хотела вам мешать...

Марчиан был доволен, что пришел Тома. Он подозвал его.

— Я рад, что вы здесь. Посмотрите на это полотно... Полагаю, что это лучшая вещь из всех, которые до сего времени создал Марчиан...

Увидя, что Тома не проявляет энтузиазма, он прибавил:

— Вы бесчувственны, вы — житель Балкан...

— Это звучит как оскорбление, господин Марчиан, но я смиряюсь... Впрочем, как и вы сами. Силой обстоятельств мы — жители Балкан.

— Марчиан — только с географической точки зрения... По мышлению он человек Запада.

— Вы хотите сказать, что тот, кто вас понимает, видит на этой картине Пятую симфонию?

— Да какое это имеет значение? Два человека одинакового склада могут интерпретировать одну и ту же тему каждый по-своему. Вообще, художник и потребляющая публика должны чувствовать себя сообщниками... Клянусь, мне было бы очень трудно излагать мои идеи на вашем провинциальном языке. И все это только для того, чтобы быть понятным...

Он вдруг нахмурился, лицо его стало мрачным.

— Простите меня...

— За что вас прощать? — с досадой спросил Тома.

— За то, что Марчиан идиот... Идиот, который позволил вовлечь себя в разговор с вами... Извините.

Он с театральным видом поник головой и направился к двери.

Тома хотелось дать ему пинка.

Ана словно и не слышала их спора, она взяла ведро и снова взобралась на стремянку.

Подойдя к окну, Тома поглядел на улицу. Через дорогу стояли серые дома. Вид показался ему удручающе бедным. Он спросил себя — почему, и не нашел ответа. В сущности, все, что он видел в окно мастерской, можно было увидеть из сотен и сотен бухарестских домов, и все же никогда перед ним не открывался столь убогий, столь жалкий пейзаж, как здесь, на этой улице. Он отыскал картон и стал набрасывать очертания дома, стоявшего напротив. Попытался представить себе краски, которыми можно передать настроение. Серый... Но все было серым. И мостовая, и тротуар, и стены, и даже железные крыши... Да, все казалось таким нищенским из-за камня, из-за того, что не было зелени. А что, если попросить у Аны позволения взять немного красок? Ведь он воспользовался бы только теми, которые остались на палитре Марчиана. Да что ее спрашивать?! Он взял приготовленный холст, укрепил его на мольберте и покосился на Ану. Она, будто ничего не замечая, продолжала мыть окна.

Тома выполнил рисунок кистью и начал смешивать краски. Часа через два, когда он закончил работу, Ана подошла к нему.

— Ты рисуешь не так, как они...

— Да...

Он был не доволен: полотно не передавало этого каменного одиночества — просто серый городской пейзаж, увиденный точно с мансарды. Вот и все. И тот факт, что Ане это понравилось, раздражал его еще больше. Он молчал и очнулся только тогда, когда Ана снова начала рассматривать картину.

— Тебе надо побольше писать. Ты здесь уже две недели, а работаешь только первый раз. Почему это?

— Не знаю.

Ана начала приводить в порядок треножники и холсты. Тома следил за ней. Узкая юбка из тонкой шерсти плотно облегала ее тело. «Какие у нее длинные ноги»,— удивленно отметил Тома, словно только сейчас впервые ее увидел.

— Если бы у меня была натура, я писал бы больше.

— А я не гожусь?

— Пожалуй, да, но я не смел тебя попросить.

— Ну, вот еще.... Сейчас я кончу и возьмемся за работу.

Тома сел на софу. В самом деле, почему бы и не согласиться? Глядя, как Ана кружится по мастерской, он открыл, что у нее красивые плечи и грудь. При мысли, что через несколько минут увидит ее обнаженной, он покраснел. Ана не замечала его волнения. Она принесла из коридора новый холст и скрылась за занавеской. «Сейчас она начинает раздеваться. Комша идиот — почему для живописи нужна особая среда? Пусть политики занимаются своим делом, художники — своим». Тома так глубоко задумался, что не слышал, как открылась дверь, и пришел в себя, только узнав голос барышни Тии:

— Господина Марчиана нет?

— Нет.

— А где его работа? Я ушла, чтобы не мешать ему... Хорошо получилось?

— Да.— Тома взглянул на занавеску.

Его смутило, что Ана может выйти раздетая, и он залепетал:

— Да, да... Получилось хорошо... Прекрасно...— И повысив голос, чтобы Ана услышала.

Она появилась из-за занавески принаряженная, в своем праздничном платье, волосы стянула в маленький пучок. Тома вздохнул с облегчением. Барышня Тиа долго изучала полотно Марчиана.

— Единственное в своем роде... А вы что скажете, господин Войкан?

— Не сердитесь, но меня раздражает, когда работают с закрытыми глазами.

— Вы сказали «работают», значит, это относится и ко мне?

— Да. У художника глаза должны быть открыты, ему надо видеть!

— Можно видеть и кончиками пальцев. Однажды я познакомилась со слепым. Он ощупал мое лицо и сказал, что я красива.

— Это патологический случай.

— Художник и должен быть патологичным... Если он просто-напросто логичен, то он такой же, как все люди...

— Значит, у вас есть теоретические обоснования и для ваших шаров?

— Конечно есть. Надеюсь, вы согласны с тем, что все на свете стремится к совершенству... А символ совершенства — шар. Шар, потому что он в любом положении сохраняет идеальное равновесие. Вы согласны с этим?

— Зачем вам мое согласие?

— Для выводов. Вообще, прямые линии исчезают из природы. Взгляните на человеческое тело. Линии мягкие, изогнутые. Капли воды, мыльные пузыри, глаза, сердце, небесные тела — все тяготеет к совершенной

форме, к сферической.. Мысль, самое совершенное явление духа, не может иметь другой формы, кроме сферической... Марчиан не сказал, куда он пошел?

— Нет,— ответила Ана.

— Подумайте о том, что я вам сказала, господин Войкан... До свидания.

Оставшись наедине с Аной, Тома снова подошел к окну. «В самом деле, возможно, что Марчиан и барышня Тиа правы... Так или иначе, они ищут, и это их заслуга. Ищут, волнуются... А я?» Он прижался лбом к стеклу и увидел в нем приближающуюся Ану.

— Ты уже не хочешь писать?

Он обернулся к ней. В скупом сумеречном свете ее глаза были затенены, она казалась даже красивой.

— Ну да, хочу. Я готов. Разденься.

— Раздеться? — изумленно спросила Ана. — Я думала, ты хочешь писать по-честному...— Она обиделась и ушла за занавеску.

Тома хотел было пойти за ней и извиниться, сказать, что у него и в мыслях не было ничего нечестного, но раздумал. Он только подошел к окну и выглянул на улицу. Теперь пейзаж показался ему еще более мрачным, еще более грустным. «А если только один я воспринимаю этот пейзаж как грустный? В сущности, Марчиан прав, когда говорит, что любая картина может быть оценена, воспринята различно. Возможно, и этот пейзаж, который я вижу, грустен лишь для меня. Быть может, Ане он грусти не внушит... Но я должен воплотить печаль, которую чувствую я. С этого начинается искусство. С печали, которую я мог бы воплотить на полотне. Писать так, чтобы все ощущали то, что ощущаю я. Это значило бы — передавать определенное чувство». Из подворотни дома через дорогу показался мальчуган с красным воздушным шаром в руке. Цветовое пятно раздражающе контрастировало с серой стеной. Тома взял кисть, нашел на палитре Марчиана красную краску и подошел к своему холсту.

Он не знал, что делать. Было бы смешно помещать мальчугана в это каменное одиночество. Да и важен только шар. Что, если прицепить шар на веревочке к балкону? Стоило ему положить на серый фон красное пятно, и картина изменилась. Шар подсказывал, что за стенами — жизнь. Подсказывал даже о существовании ребенка. Подсказывал, что существует чье-то детство, потонувшее в этом сером мире. В картине было что-то от грусти, которую он испытывал. И возможно, что если бы он расположил рисунок иначе, так, чтобы балкон находился не в центре картины, было бы еще лучше. Вот что значит композиция. Ему казалось, что он сделал поразительное открытие.

Он окликнул Ану.

Она показалась из-за занавески.

— Что тебе?

— Иди сюда!

— Я не разденусь.

— И не надо. Иди сюда... Посмотри на это полотно.

Ана тихо приблизилась, посмотрела на полотно, затем подошла к окну и снова вернулась к мольберту.

— Не хотела бы я жить в таком доме...

— Вот теперь мне хочется тебя поцеловать... Нет, не бойся, я тебе ничего не сделаю... Знай, что я — большой талант. Я — великий художник.

— Так и господин Марчиан говорит.

— Меня не интересует господин Марчиан... Иди ложись спать.— Он взял с софы свой пиджак и направился к двери.— Сегодня я вернусь попозже.

5

Затерявшись в толпе на Каля-Викторией, Тома обрадовался, что ушел из мастерской: было бы трудно оставаться рядом с Аной, отделенной от него только плюшевой занавеской. Он попытался больше не думать о ней, разглядывал лица, на которых мелькали пятна тени, словно кто-то мимоходом их пачкал, коляски на резиновых шинах, олтенцев, ловко пробиравшихся среди прохожих. На недавно политом асфальте отражались краски реклам, и это смутно напоминало одну из картин Марчиана. Ана, наверно, сейчас уже раздевается, и через несколько минут будет слышно лишь ровное дыхание здоровой девушки.

Около кафе Капша Тома заметил госпожу Мэнеску в сопровождении молодого офицера. Он перешел на другую сторону, чтобы не надо было здороваться с ней. Ему стало жаль, что сейчас у него нет ни одного приятеля, с которым он мог бы поговорить. Комша? Нет, его занимают только политические вопросы, он тенденциозен, у него предвзятые мнения. Поравнявшись с газетным киоском, он вспомнил о Берческу и о своем обещании как-нибудь зайти к нему. Редакция находилась недалеко, на улице Сэриндар. И Тома, хоть не рассчитывал в этот час застать Берческу, все же направился туда.

Окна редакции были освещены. Не раздумывая, Тома прошел мимо толстого сонного швейцара и поднялся по ступенькам.

— Вы ищете Берческу? Кажется, он ушел. Груя! Ушел Берческу?

— Нет. Он ждет гранки,— ответил откуда-то голос.

— Идите дальше, в комнату одиннадцать.

Тома поблагодарил и постучал в дверь указанной комнаты. Ему открыл Берческу.

— Ну, уж вас-то я никак не ожидал, во всяком случае в этот час. Если вы не торопитесь, подождите, у меня работы на полчаса, а потом можем куда-нибудь пойти. Поужинаем в «Модерне». Ладно?

Тома согласился. Берческу выправил несколько гранок, затем надел пальто и взял Тома под руку.

— Все-таки вы явились. Что вас заставило зайти ко мне?

— Да я так, без всякой цели.— Он пожалел о своей искренности, но Берческу, казалось, был ею доволен.

— Прекрасно.

В «Модерне» Берческу знали. Для него был оставлен столик в углу, и ему подали, не дожидаясь заказа.

— Меня знают,— объяснил Берческу,— я сюда хожу десять лет. Жаркое для господина художника,— сказал он кельнеру.

Лысый кельнер почтительно поклонился и через несколько минут вернулся с жарким.

— Ну, думали вы о том, что я вам говорил?

— Да. Думал и вижу, что вы правы.

— Это — вежливость?

— Нет.

— В таком случае — все в порядке. Открою вам, почему в прошлый раз я говорил так долго. Потому что вы талантливы. А талант обязывает. Француз или любой другой европеец с вашим талантом стал бы известным художником. Но для румына в существующих условиях талант — скорее бремя.

— Как это «в существующих условиях»?

Берческу почесал в затылке.

— Цензура. Наша цензура — одна из самых свирепых в мире. Цензура не крикливая, а тихая, замаскированная, коварная. Цензура производит пагубные перемены в сознании художника, и это тоже часть суще-

ствующих условий. У очень немногих художников есть своя собственная, неискаженная тема. Если хотите, вот вам доказательство. Вы стремитесь стать художником. В чем состоит ваше назначение?

— Как это — мое назначение?

— Что вы хотите показать вашим искусством?

— Никогда об этом не думал.

— А если бы подумали, то могли бы ответить?

— Не знаю.

Тома расстроило, что его застали врасплох. Ему хотелось поговорить с Берческу о Марчиане и барышне Тии, но тот, словно прокурор, все время ставил его в трудное положение. Тома наклонился над тарелкой и стал резать мясо.

— Насколько мне известно, вы из провинциального города,— сказал Берческу.— Вы могли бы стать как бы депутатом рабочих кварталов... Вы должны были бы выполнять назначение, которое дают вам они.

— Назначение, которое дают рабочие кварталы?

— Да. Многие уже выполняли назначение, даваемое рабочими, неимущими людьми. Кольвиц, Гросс, Мазереель и еще немало других. Вы не можете стать художником, у которого нет назначения. Это преступно, понимаете?

— Не очень, господин профессор.

— Вы читаете газеты?

— Не часто.

— Но что миру грозит война — это вы знаете?

— Кое-что слышал.

— Будет война, потому что сталкиваются два принципа, два мировоззрения, два образа жизни. И вы, как художник, должны лучше, чем кто-либо другой, знать, на чьей вы стороне. Но, кажется, я проповедую в пустыне. Вам следовало бы открывать людям глаза, а вы слепы или не хотите видеть... Можно ли так жить? Ешьте, простынет жаркое. Нигде так не готовят жаркое, как здесь.

В ресторане было накурено, сидела самая пестрая публика. За соседним столом господин в дождевом плаще, надетом прямо на рубашку, что-то шептал сильно декольтированной даме. Дама скучала. Она разглядывала танцующих и мурлыкала мелодию, которую играл оркестр: «Погас на улице фонарь». Томное танго разливалось по ресторану, сладкое и липкое, точно мед. Дирижер, приземистый цыган, играя на кларнете, склонялся к тем, кто раскачивался в танце около него. Другие оркестранты делали так же, и это их очень забавляло.

Когда кельнер принес бутылки с вином, Берческу продолжал:

— Видите ли, все, что делается на свете, делается из стремления к свободе. И война тоже. Одни говорят, что желают освободить другие народы, а на самом деле завладевают ими, другие хотят отстоять свою свободу. Да и не только война, все вытекает из этого стремления. Люди хотят познавать, ибо верят, что, познав, они смогут стать свободными. Это — отправная точка великих открытий, ради этого тысячи инженеров сидят в лабораториях, ради этого творят тысячи художников. Ради этого изобрели религию — говорят, будто бы ради того, чтобы люди чувствовали себя более свободными, чтобы ответственность нес кто-то другой, чтобы человечество было избавлено от ответственности за существование. Атеизм тоже родился из стремления к свободе. Люди больше не хотят быть порабощенными религией. Когда два человека ссорятся, любой из них кажется правым, если смотреть на вещи сквозь его собственную призму. Но существуют истины абсолютные, вечные, которые стоят выше этой субъективной, мелкой истины. Многие из них еще неизвестны но во всяком случае люди тянутся к абсолютной истине.

— Вы можете мне назвать хоть одну?

— Конечно. То, что люди рождаются и умирают. Это — истина абсолютная и вечная. То, что люди хотят жить лучше — вот еще одна. Однако надо теперь определить, что означает «лучше». Во всяком случае, у людей в бельгийском Конго другое понимание хорошего и плохого, чем у нас или чем у американцев. Дело заключается в том, чтобы найти общий знаменатель, и тогда все будет решено. Вот этого и ищут философы. Некоторые концепции приобретают все более и более сильное влияние... Я говорю о концепциях Маркса. Это один немецкий философ. Немцы его не признают. Ну, на сегодня я вам сказал достаточно.— Он поднял бокал:— Будьте здоровы...

— Господин профессор, а какого вы мнения о Марчиане?

— Он идиот... То есть нет... Я преувеличиваю. Он хочет казаться необыкновенным. На него влияет его приятельница, она умнее, чем он, и при недостаточном знакомстве может произвести впечатление... Вы все еще там живете?

— Да... Сегодня я с ними поспорил... Сознаюсь, меня в них восхищает одно...

— Вы нашли что-нибудь достойное восхищения?

— Нашел. Искания... Я до сих пор не знаю, что они найдут, но важно то, что они заняты этими исканиями... Знаете, что они делают?

— Знаю. Работают с закрытыми глазами или что-то в этом роде.

— Да. Ищут форму шепота, мысли...

— Чепуха... Это все равно что алхимия. Поиски философского камня. Кому понятно их назначение, если оно у них есть... Это один из видов бегства от ответственности.

— От какой ответственности?

— От той, которую несут творцы... С известной точки зрения, то, что они делают, даже опасно... Это резкое разграничение совершенства и несовершенства, которое они провозглашают, создает у человека религиозное чувство, комплекс неполноценности... Недавно я побывал в Германии, в Кёльне. Я вошел в собор во время службы. Верующие стояли на коленях, уставясь в пол, вместо того чтобы смотреть на собор — великое творение человека. Собор — архитектурное совершенство, хотя и не сферичен...

— Но отрицать за ними право на искания значит ставить какие-то границы...

— К черту! Поверьте, меня не интересует форма шепота до тех пор, пока я не уверен, что могу шептать свободно!

— Но я хочу вас спросить: вы никогда не думали, как выражал бы себя Бетховен, будь он скульптором или художником? Как он воплотил бы в живописи эти первые четыре аккорда Пятой симфонии?

— Уж, во всяком случае, не четырьмя шарами... А изображением, которое вызвало бы у вас реакцию, подобную той, которую вызывают эти четыре аккорда... Но, по-моему, мы слишком много говорили о господине Марчиане... Клянусь, он этого не стоит. Пошли домой...

Тома возвращался в мастерскую с неясным чувством: он понимал, что Берческу прочел ему лекцию на политическую тему, не сказав при этом ничего определенного. Он дал лишь понять, что немцы не только развязали войну, но и вообще виновны в том, что создали особую концепцию жизни и свободы. Недавние бои в Польше оказались очень недолгими, Тома и опомниться не успел. Пока он пытался проследить причудливое передвижение линий фронта при помощи воткнутых в карту флажков, Польшу уже оккупировали немцы. Возможно, поэтому он остался столь равнодушным к войне: набранные огромными буквами газетные статьи, возвещавшие только об огне на линии Мажино, стали пошлыми и скучными. Как это сказал Берческу: сталкиваются два образа жизни... Какие же они, эти сталкивающиеся образы жизни?

6

На занятиях по рисованию с натуры, происходивших в лесу Бэняса, Тома заметил, что ассистент по анатомии все время вертится вокруг него. Тома хотел спросить, что ему нужно, но подумал, что это невежливо, и промолчал. Ассистент ненадолго подошел к другим студентам, затем вернулся и сел за спиной Тома, наблюдая, как он работает.

Тома выбрал для этюда уголок молодой рощи. Сначала он думал, что скоро закончит, но по мере того, как подвигалась работа, стал понимать, что еще многое надо сделать. Две одинокие, женственно-стройные березки задали ему трудную задачу. Никак не удавалось изобразить их так, чтобы они не производили впечатление окаменевших, они получались либо неподвижными, с сухими, чопорными ветвями, либо искусственно согнутыми. А на самом деле березки обладали осанкой, их линии были изящны и величавы.

Когда Тома взялся за краски, задача сделалась еще более трудной. Он не мог найти зелень листвы — словно посеребренной, вызывавшей ощущение свежести, нежности. А составленный на палитре оттенок, перенесенный на картон, становился грязным, неприятным. Тома был убежден, что виной всему ассистент, присутствие которого его нервировало. Ему хотелось прикрикнуть на него, и он повернулся в его сторону, но ассистента не было — он просматривал картоны других студентов. Вернувшись к Тома и взглянув на его работу, он высказал свое мнение:

— Сегодня вы не слишком вдохновлены, господин Войкан.

— Да,— сознался Тома.— Хотите, скажу вам почему?

— Это меня не интересует... Оправдания найдутся любые.

— Совершенно верно. Да я и не намерен оправдываться. Отсутствие таланта оправдано быть не может.

— Вот теперь вы преувеличиваете... Скажите, господин Войкан, нет ли у вас свободной минутки? Я хотел бы с вами побеседовать.

— Конечно есть. Хоть сейчас.

— Превосходно. Здесь никто нас не услышит. Не хотите ли вы присоединиться к легионерам? Гвардия обеспечит вам по окончании курса кафедру, даже в столице, и, само собой разумеется, выставочные залы. Ведь художнику это необходимо.

Тома с изумлением глядел на него. До сего времени он полагал, что ассистент его терпеть не может.

Тот продолжал:

— Кроме того, речь идет и о будущем румынской нации. Все румыны должны выполнять свой долг...

— Я не хочу заниматься политикой.

— Это не политика. Это — долг румына. Я говорю с вами прямо, откровенно. Хорошо бы вам присоединиться.

— Не хочу присоединяться. Я хочу стать художником.

— Все-таки я нахожу, что раньше, чем отказываться, вам нужно пойти на собрание. Уверен, что вам понравится.

(Окончание следует)

ДЖОН ОКАЙ
(ГАНА)

Космические ритмы

Перевод с английского ЮРИЯ ХАЗАНОВА

В какой-то из будущих дней, я знаю,
Чей-то отец, и дед, и прадед —
Седое, прожившее жизнь поколенье —
Ответят на миллион «почему»
Новых, вступающих в жизнь поколений,
Прильнувших доверчиво к их ногам;
Расскажут о тех и об этих днях:
О днях,
Когда была трубка мира
Воскурена над войною племен;
О днях,
Когда мясо убитой коровы
Народ разбрасывал у реки,—
Чтоб дождь послал нам Властитель дождей;
О днях,
Когда поток половодья
Прочь уносил и людей, и коз,
Батат, горшки и мотыги;
О днях,
Когда иноземный захватчик
Убрался туда, откуда приплыл;
О днях,
Когда кровавые руки
Вцеплялись в тело наших сынов;
О днях,
Когда африканский народ
Стряхнул обмякшие щупальца спрута;
О днях,
Когда электрический ток
Пришел к жерновам вместо древнего мула...
Они ответят на все вопросы,
На все «почему» молодых поколений —
Но только не будут отсчитывать годы,

Отсчитывать дни, часы и столетья
С помощью бус из ракушек каури,
Висящих в углах под крышами хижин,—
Нет!
Поведут они счет по-другому!..

■ ■ ■

И скажут они: это было
За два праздника бога Луны
Перед тем...
Или скажут они: это было
За три праздника бога Реки
Перед тем,
Как первым в небо взлетел
Сын Советской земли.
И скажут они: это было
За пять праздников бога Морей
Перед тем...
Или скажут они: это было
За семь праздников бога Холмов
Перед тем,
Как проплыл золотою звездою
Первый советский «Восток».
И скажут они: это было
За три праздника бога Дождя
Перед тем...
Или скажут они: это было
За пять праздников бога Небес
Перед тем,
Как в космос опять взлетел
Сын Советской земли.
И скажут они: это было
За шесть праздников бога Лесов
Перед тем...
Или скажут они: это было
За два праздника бога Озер
Перед тем,
Как проплыл золотою звездою
Третий советский «Восток».
И скажут они: это было
За три праздника бога Дня
Перед тем...
Или скажут они: это было
За семь праздников бога Бурь
Перед тем,
Как в космосе несколько дней
Жили люди с Советской земли...

■ ■ ■

И скажут они еще: это было
Через десять синих пятниц
После того...
Или скажут они: это было
Через двадцать желтых лет
После того,
Как Юрий Гагарин
Повернул ключ в скважине Космоса.
И скажут они: это было
Через тридцать зеленых сред
После того...
Или скажут они: это было
Через сорок полумесяцев
После того,
Как Титов перерезал ленту Вселенной.
И скажут они: это было
Через восемь високосных лет
После того...
Или скажут они: это было
Через десять красных четвергов
После того,
Как Николаев пообедал в космическом корабле.
И скажут они: это было
Через двадцать малиновых недель
После того...
Или скажут они: это было
Через тридцать серебряных суббот
После того,
Как Попович среди звезд листал свой учебник.

ЮСУФ ИДРИС
(ОАР)

Трех

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского
Е. СТЕФАНОВОЙ

I

В северной части Дельты имение раскинулось широко и привольно, ни конца ему не видно, ни края.

Был тот предутренний час, когда над миром царит тишина и покой. Ночь с ее лягушачьим кваканьем и трескотней цикад уже на исходе, но до наступления шумного дня еще далеко. Тишина стояла такая, что казалось, будто это затишье перед бурей. Все живое замерло и притаилось, не решаясь нарушить торжественное молчание ночи.

И только в арыке шумно плескался какой-то белый шар, оглушительно фыркая и хрюкая на всю округу. Наплескавшись вдоволь, он нырнул и, довольно долго пробыв под водой, с великим шумом вылетел обратно. И тут обнаружилось, что у шара есть и лоб, и рот, и глаза. Потом из воды показалась и медленно поплыла к берегу голова, и по мере того, как она приближалась, за ней вылезала шея, а потом и торс, очень темный спереди и совершенно белый сзади.

Уже возле самого берега показались и руки, непомерно тонкие для такого огромного туловища. На правой руке виднелась татуировка — женская фигура с мечом и какая-то надпись, вглядевшись в которую повнимательнее можно было бы разобрать имя — Абдель Мутталиб Мухаммед аль-Бахрави.

Абдель Мутталиб вышел на берег и, хотя кругом не было ни души, пригнулся, стесняясь своей наготы, и прикрыл стыд руками. Торопливо, одну за другой, он напялил ветхие одежки и сверху натянул пальто, а точнее говоря, нескладный толстый плащ желтого цвета. Плащ этот немало повидал на своем веку, воевал вместе с союзниками во вторую мировую войну, а теперь, как и все ветераны, бесславно доживал свой век.

Помолившись, Абдель Мутталиб вскинул на плечо двустволку и побрел через мост, громко шлепая чувяками, которые смастерил из автомобильной шины.

И вдруг на берегу у самого моста он заметил что-то белое. Заметил и, конечно, обрадовался. Ведь люди всегда так — чуть что заметят, как уже думают, что нашли невесть какое сокровище, и готовы плясать от радости.

Абдель Мутталиб стал всматриваться. А надо вам сказать, что, хотя он и служил сторожем, зрение у него было неважное и видел он очень скверно, особенно при свете. Но сейчас было темно, и он разглядел да так и обмер: неизвестный предмет, белевший на берегу, оказался новорожденным младенцем!

Сердце Абдель Мутталиба громко стрельнуло, съежилось и дрожа уползло куда-то в пятки. Вы скажете, что сторожу не пристало быть трусом. Все это так, но то, что сейчас лежало перед ним, было пострашнее каких-нибудь там воров и грабителей! В первое мгновение Абдель Мутталиб даже подумал, что младенец этот не иначе как отпрыск какой-нибудь ведьмы и, пока не поздно, лучше уносить подальше ноги!

И все-таки он не убежал. Несколько секунд он стоял в нерешительности, потом внезапно расхохотался, да так, как не смеялся еще ни разу в жизни. И в самом деле, ну не смешно ли!

Уразумев с трудом, что младенец вовсе никакой не бесенок, а самый что ни на есть обыкновенный смертный, и к тому же еще, наверно, зачатый в грехе, Абдель Мутталиб почему-то вдруг решил, что это плод его собственных любовных утех с женой прошлой ночью, который она родила, пока он ходил купаться, да и выбросила прямо так, на дорогу.

Это была, конечно, нелепая мысль. Но у человека в минуту испуга либо разум застывает на месте, а ноги в страхе улепетывают, либо наоборот — ноги каменеют, а перепуганный разум удирает и на бегу какой только глупости не выдумает!

Впрочем, смеялся Абдель Мутталиб недолго. Внезапная мысль: «А не пришлось бы отвечать!» — отбила у него всякую охоту к веселью. Правда, место, на котором он нашел младенца, находилось на участке не у него, а у сторожа мельницы. Но ведь иные люди чуть заметят какую-нибудь погрешность, тут же начинают оправдываться. Просто так, на всякий случай. Вот и Абдель Мутталиб тоже стоял и гадал, что бы такое придумать, чтобы оправдаться в глазах людей, в глазах управляющего или, не приведи господь, еще в глазах прокурора и судей!

Пока он раздумывал, заря осторожно бродила по небу, разгораясь все ярче и ярче, а к той минуте, когда Абдель Мутталиб наконец успокоился, решив, что ничего страшного не случилось, из-за горизонта уже выполз огромный багрово-красный диск солнца.

И сразу же мир стал оживать. Закричала и захлопала крыльями цапля. Появились первые прохожие. Одни шли домой после утренней молитвы в мечети, другие спешили искупаться в арыке. И по мере того, как день входил в свои права, к Абдель Мутталибу возвращалось хладнокровие. Отчаявшись придумать, как доказать людям, что он ни в чем не виноват, он вдруг смекнул: а что, если просто сбросить подкидыша в арык? Никто его не видал, никто и не узнает! С минуту он колебался, потом осторожно подошел к своей находке. И в это самое мгновение чей-то голос, скрипучий, как сук акации, прохрипел у него над самым ухом:

— Здорово, Абдо!

Абдель Мутталиб взглянул на подошедшего подслеповатыми глазками, которые видели только ночью, и буркнул свою знаменитую фразу:

— Смотри не болтай людям-то, будь они неладны!

Было еще прохладно, и слова вылетали у него изо рта, окруженные легким облачком утреннего пара. Непрошенного свидетеля звали Атыя. Никто не знал, ни когда он появился в имении, ни откуда пришел. Зани-

мался он тоже неизвестно чем, дома своего не имел и спал где придется. Его вечно видели без дела. Стоит, задрав подол длинной рубахи, так что всему миру видны его безволосые ноги, и с кем-нибудь болтает: один глаз прищурен, а другой зорко следит за собеседником — плут, да и только!

Так, обмениваясь облачками пара и без устали работая руками — то на подкидыша покажут, то на арык, то на деревню, то на небеса,— Атыя и Абдель Мутталиб вели между собой оживленную беседу, пока к ним не подошел уста Мухаммед.

Уста Мухаммед на всю округу славился своим особым даром обо всем узнавать первым и в этой области не знал себе равных. Люди только диву давались — и откуда в этом семидесятилетнем старикашке столько прыти? Без него не обходилось ни одно происшествие в деревне. Чуть что случилось — смотришь, а уста Мухаммед уже тут как тут со своей редкой седой бороденкой и опущенным левым веком.

Когда-то он был деревенским механиком, потом состарился, его уволили и только изредка поручали разные мелкие работы — завести паровой двигатель у молотилки или покараулить ночью насос. Но прежнее прозвище уста — мастер сохранилось за ним до сих пор так же, как и былая слава человека, который все узнает первым и обо всем имеет правильное суждение.

Так было и на этот раз. Едва заметив младенца своим здоровым правым глазом, уста Мухаммед изрек:

— Мертвый он, Абдо!.. И не сам помер, а задушили его, да, задушили!..

Абдель Мутталиб стал было спорить, но старик быстро сумел его убедить. Тельце-то у новорожденного вон какое синее, да и под носом краснота.

— Смотри, Абдо, не было бы здесь греха! Лучше уж сказать управляющему, пусть он один во всем разбирается.

И Абдель Мутталиб, пожевав ртом, согласился, что уста Мухаммед, пожалуй, прав, и лучше всего позвать управляющего.

На этот раз его слова уже не сопровождались облачками пара. Багровый диск солнца заметно посветлел, а роса высохла. Становилось жарко.

II

Непонятно, каким образом в деревне узнали о случившемся. Там, где были трое, стало шестеро, а скоро вокруг собралась целая толпа. Одни шли на работу в поле — мотыги на плечах, в руках узелки с обедом,— другие на молотилку. Не обошлось и без ребятишек, которых родители прогнали с утра пораньше к арыку умывать сонные мордочки.

Даже женщины и те, бросив месить кто тесто, кто глину, со всех ног спешили к месту происшествия, а добежав, принимались расталкивать толпу локтями и грязными руками, пока не пробивались вперед. Всем не терпелось взглянуть на мертвого подкидыша. С трудом дотолкавшись до цели, люди некоторое время с жадностью всматривались в посиневшее тельце, маленькую головку, пятна крови на земле и лежавший тут же рядом послед и, вдоволь насытившись зрелищем, спешили назад. На лицах у них было отвращение и страх.

Под конец появился и управляющий Фикри-эфенди. Чьи-то руки услужливо раздвинули перед ним толпу, расчищая дорогу. Управляющему не меньше, чем любому из стоявших здесь, хотелось взглянуть на подкидыша — такое ведь не часто случается! Но он не забывал при этом и о своем достоинстве: подойдя к толпе, степенно поправил съехав-

шую набок феску, горделиво приосанился и придал смуглому лицу то самое выражение строгости, которое привыкли видеть на нем крестьяне. Однако, как и другим, Фикри-эфенди тоже не удалось побороть страх и отвращение, и эти чувства явственно отразились и в брезгливой гримасе его лица, и в той поспешности, с какой он повернулся, выбрался из толпы и зашагал прочь. За ним потянулись и аль-Холи, и сторож, и уста Мухаммед, и кое-кто из батраков. Процессия двигалась в угрюмом молчании, и только управляющий без конца плевался: нет-нет, да и плюнет то на сырую землю, то в край платка, которым был обвязан его тарбуш.

III

Собственно говоря, миссия Фикри-эфенди могла бы на этом и закончиться. Правда, за все, что случается в имении, отвечает он и никто другой. Но мертвый или, еще хуже, убитый подкидыш — это уж, простите, совсем не его дело.

Так думал управляющий, шагая к себе в контору. Но понемногу любопытство стало брать в нем верх. Все-таки интересно, кто бы это мог сделать? В имении несколько деревень, в каждой домов тридцать, не больше. Подкидыша нашли у арыка в самой большой деревне, той, что стоит неподалеку от помещичьего дома и хозяйственных построек (сараев, тока, амбаров). Стало быть, подкидыш скорее всего сын кого-нибудь из крестьян этой деревни. Всех женщин в деревне Фикри-эфенди знает наперечет. Которая же из них это сделала? И как?

Ему часто приходилось слышать о незаконных детях; иногда он узнавал и о скандальных историях, вроде этой. Но всегда речь шла о каких-то чужих, незнакомых ему людях.

Да и, по правде говоря, Фикри-эфенди не очень-то верил всем этим россказням, даже если читал о них в газете «Аль-Мукаттам», которая была для него единственным авторитетом. Он просто не мог себе представить, что на свете случаются такие ужасные вещи, как изнасилование девушек, или что женщины могут рожать вне брака. Но вот сегодня он сам воочию видел плод такого преступления, и этот плод разве что не тыкал мертвым пальчиком в глаза всем, кто еще не верил.

Странное чувство испытал Фикри-эфенди, стоя над подкидышем. Значит, люди все-таки грешат, только им не всегда удается это скрыть, и грех, злорадно торжествуя над их попытками сохранить его в тайне, вырывается наружу то в виде мертвого подкидыша, то в виде огромного живота. Значит, грех, о котором ты столько слышал, Фикри-эфенди, но не верил, что он все-таки существует, и вот тебе удобный случай увидеть ту, которая его совершила.

Интересно, как выглядит женщина, или, вернее, блудница, совершившая грех. Блудница... Сколько раз Фикри-эфенди слышал это слово, и всякий раз оно заставляло его вздрагивать. И хотя у него, как и у большинства мужчин, тоже бывали интрижки с женщинами и до женитьбы и после нее, ему как-то не приходило в голову, что женщины могут грешить и не только с ним. Тех же, которые бывали с ним, он почему-то не считал блудницами.

Нет, блудницы — это те, которые грешат с другими.

Но все-таки какая же она, эта женщина? Красива ли, похожа ли на танцовщицу или обыкновенная, такая же, как все? Нет, наверно, она как-нибудь особенно порочна, и это сквозит во всех движениях и изгибах ее тела, превращая мужчин в зверей и заставляя их искать именно ее и грешить только с ней.

На полпути между арыком и конторой Фикри-эфенди вдруг остановился и круто повернулся назад. Дружно, как по команде, его спутники повернулись тоже.

Перед ними была самая большая из деревень, входивших в имение: грязные дома, сквозь многочисленные дыры в крышах на улицу валит дым. В крайнем доме живет Масиха-эфенди, главный писарь, а дальше — Ахмад Султан, просто писарь.

Ахмад Султан, рыжий смазливый парень, ходит в темной помятой феске и черном пальто и славится своим искусством подмигивать девушкам. Практикуясь на какой-нибудь перезрелой девице из тех, что приезжают иногда работать в имение, он достиг такой степени мастерства, что от одного его взгляда бедняжку пронзает, словно током, и грудь ее начинает ходить ходуном.

Впрочем, Фикри-эфенди ведь не искал того, кто мог бы быть отцом подкидыша. Его интересовала мать. Что мужчины грешат — так этому поверить нетрудно. Но вот женщину, совершившую грех, он почему-то затруднялся себе представить. Поэтому Фикри-эфенди решил искать не отца, а мать и в своих поисках не пропускать никого. Даже жену главного писаря Умм Линду. Впрочем, она еще на прошлой неделе приходила в гости к его жене и как-будто вовсе не собиралась рожать. От дома к дому, от дома к дому следовал его взгляд — дома богатых земледельцев, у каждого из которых по три пары голов скота, и дома батраков, у которых только и есть что мотыга. И женщин всех перебрал Фикри-эфенди — знакомых и тех, которых почти не знал, и тех, в ком приметна улыбка или смех, и тех, у кого красивая косынка или желтая рубашка, и девушек, и старых дев, и вдов, и разведенных, и таких, кого не знаешь, как назвать. Припомнил всех, кто хоть раз ответил на его шутки, и тех, которые, постеснявшись, промолчали. Перебрал — и ни на ком не смог остановиться. Ни одна из этих женщин не пряталась от людских взоров. Все они открыто ходили по улице, даже не накинув поверх цветной одежды черной шали. Все их знали и ни одну не видели брюхатой. Нет, из них ни одна не могла быть матерью подкидыша.

Управляющий оторвался от созерцания деревни и уставился на лица своих спутников. И каждый, на ком останавливался его пристальный взгляд, бледнел и начинал в себе сомневаться. И каждому казалось, что вот сейчас управляющий укажет на него и громовым голосом объявит: «Ты!»

Но Фикри-эфенди и не думал об этом, всецело занятый своими мыслями. Внезапно он поднял тросточку и ткнул ею куда-то в сторону сараев:

— Это кто-то из тех!

Все взоры с надеждой устремились вслед за тросточкой, и люди обрадованно загалдели:

— Они! А кому ж еще и быть-то? Они, собачьи дети, чужаки!

И выжидающе уставились на управляющего — куда покажет теперь?

Но Фикри-эфенди не показал никуда. Какое-то время он мрачно разглядывал свои ботинки и ковырял тросточкой то шнурки, то солому на дороге, а потом сказал:

— А может, это Набавия?

И Салех, полевой сторож, тут же с готовностью согласился:

— А почему бы и нет? Все-таки торговка, женщина бойкая, яйца продает...

— Да и без мужа живет уже давно,— поддержал его уста Мухаммед.— Кто знает, может быть... Да простит нас аллах!

— Ну, ясное дело, она! — решительно заключил сторож Абдель Мутталиб.

Но управляющий прервал эти рассуждения и снова, на этот раз окончательно, повернулся к сараям:

— Нет. Это их рук дело. Их — и ничьих больше!

И окружающие снова загудели, проклиная чужаков и во всем соглашаясь со своим управляющим.

IV

Чужаки... Да, они были в поместье чужими, и никому и в голову не пришло бы назвать их местными жителями. Разве не их, самых нищих во всей стране, нужда гнала на поденщину в далекие поместья и заставляла бросать свои деревни и домашние очаги ради жалких грошей? Разве не они, одетые в ветошь, так неприглядно выглядели внешне и не от них исходил этот странный запах? Нет, никому и в голову не пришло бы представить их хоть на миг местными жителями. Ведь в поместье жили солидные, уважающие себя люди. У каждого дом, дети, скотина, у каждого новая чистая рубаха, в которой он вечером после работы шел в кофейню, или на поминки, или на свадьбу. Все они работали. Поместье большое, и работы хватало для всех. У каждого водились денежки, была жена, с которой он спал, был комод, поднос, а у некоторых даже швейная машина. Работа не такая уж тяжелая. Воду на поля качали машины, пахали тоже машины, даже зерно и то машина молотила — здоровая, одна пол-амбара занимает. Правда, львиную долю урожая забирал себе владелец поместья, но и крестьянам тоже кое-что доставалось. Во всяком случае, хватало на то, чтобы не ходить голыми и не жить впроголодь, и уж конечно на то, чтобы смотреть на чужаков с презрением, как на голодный сброд, вынужденный в поисках работы, удачи и куска хлеба ехать на чужбину.

И даже называли их все по-разному: должностные лица — «пришлыми», крестьяне — «чужаками», а любители позлословить издевались над их «гакающей» речью и презирали и их самих, и их выговор, и само их пребывание в поместье.

Но чужаки не обращали ровно никакого внимания ни на ехидные прозвища, ни на косые взгляды, которыми провожали их обитатели поместья, и вели себя так, будто охотно соглашались на любые клички — и «пришлые», и «чужаки», и все прочее, что только способен придумать изобретательный человеческий ум. Лишь бы получить место в партии сезонных рабочих, лишь бы обеспечить себя сезонной работой на три месяца — а там пусть болтают, кому что вздумается.

Хлопок сеяли в конце зимы. Когда приближался месяц туба*, семена хлопка трескались, и каждое семечко пускало в землю свой корешок, а вверх — стебелек. Потом стебли росли, и скоро все огромное черное пространство покрывалось красивым сочным зеленым ковром. Наступало время бить хлопкового червя. И вот тут-то начинались разговоры о пришлых. Фикри-эфенди писал бумагу в управление, в Каир, управление писало ему, затем следовало разрешение, потом посылали некую сумму денег, и наконец однажды Фикри-эфенди, встав спозаранку, садился в поезд. В Танте он делал пересадку и ехал дальше либо на машине, либо на автобусе (не забывая, разумеется, потом включить стоимость билета в общий счет: «проезд на машине — столько-то») в одну из деревень Мануфии, или Гарбии, или другой какой-нибудь провинции. Деревень же Фикри-эфенди знал великое множество. Он называл их «муравейниками» за чересчур обильное население. И правда, жителей в них было куда больше, чем работы и

* Пятый месяц по коптскому календарю

еды. И все, слава аллаху, были бедны. Бедны настолько, что даже Фикри-эфенди сокрушенно качал головой, глядя, в какой нищете они живут.

Бывало, не успеет он приехать, а весть о его прибытии уже каким-то неведомым путем облетела всех. Сбегаются сотни людей, обступают его со всех сторон и идут за ним по пятам, подобострастно заглядывая в глаза, как будто он привез с собой, по меньшей мере, фирманы на продление жизни и сейчас начнет их раздавать. Одни просто приветствуют его, другие наперебой стараются коснуться края его одежды или хотя бы поймать его взгляд, а те, кто половчее, ухитряются поздороваться и даже поцеловать ручку. Не меньше тысячи человек тут же вызываются показать ему дом подрядчика, хотя он и сам его отлично знает. Ведь он ездит сюда уже не первый год, а заблудиться в такой деревне и не суметь отыскать дом подрядчика — это уже вещь совершенно невозможная для такого человека, как Фикри-эфенди, которого аллах не обидел ни умом, ни знанием, ни даже феской.

Подрядчик обычно стоит на пороге дома, если только шум, сопровождающий прибытие Фикри-эфенди, не выгонит его за ворота. И начинаются тяжелые, неуклюжие приветствия. Бывает, что и слезу смахнет подрядчик, с сожалением вспоминая о счастливых временах. И всегда он называет Фикри-эфенди «господином инспектором», а тот смущается, скромничает и называет подрядчика «хаджи» *. Немного спустя полетят головы у голубей и уток, Фикри-эфенди будет кушать да похваливать, а потом, развалясь, попивать кофе и с наслаждением затягиваться сигаретой, которой угостит его подрядчик, поклявшийся, что разведется с женой, если гость откажется закурить.

А шум возле дома тем временем нарастает. Все новые и новые «муравьи» выползают из своих норок. Еще бы! Ведь появилась надежда получить работу. Они спешат к дому подрядчика, они обнимаются, кричат: «Красота, ребята, будет дело!»

Гость и хозяин некоторое время торгуются о цене. Управляющий говорит: семь курушей за день, да еще кырш накинуть — это, выходит, все восемь. А подрядчик не соглашается меньше чем за десять. Управляющий говорит: да неудобно, начальство заметит, что дело нечисто!

Так они спорят, пока не сойдутся на девяти курушах. Тогда управляющий достанет бумажник и с великим сожалением начнет отсчитывать большие зеленые ассигнации с изображением минарета. И вот ассигнации уже у подрядчика в холщовой сумке, на которой нарисован полумесяц, три звезды и почему-то написано: «Египетское правительство».

И не успевает все это произойти, как уже бегут по деревне добровольцы глашатаи: «Сторговались, люди, сторговались!.. Поденные — шесть курушей!.. Получка — раз в полмесяца!.. Кто слышал, пусть скажет тем, кто не слышал!..»

Впрочем, в глашатаях нет особой надобности, потому как все жители деревни к этому времени собираются около дома подрядчика и толпятся кто во дворе, кто у ворот, а кто дожидается на крышах соседних домов.

На следующее утро подают пять больших повозок, специально для поденных рабочих. Ведь для них тоже есть специальные повозки, как, скажем, для скота или рисовых снопов. В каждую такую повозку умещается человек по сто. Садятся все вместе, без разбору — и мужчины, и девушки, и женщины, и дети. Сюда же валят и котомки, набитые хлебом, сыром и чем придется. Наконец все погрузились — гигантская бесформенная груда людей и предметов, и не разберешь, кто в ней мужчина, а кто женщина, где ребенок, а где глиняный кувшин. Трогаются с

---

* Человек, совершивший паломничество в Мекку.

места повозки, оживают сдавленные голоса и, сливаясь в ликующем реве, летят к небу песни и хохот.

А вслед им смотрят глаза. Глаза больных и старых, всех тех, кто не может работать мотыгой и гнуть спину. Глаза тех, кто опоздал, кто оказался лишним. Они глядят вслед ликующим повозкам, которые едут туда, где работа, где кусок хлеба, где вольно дышит грудь. И не одна упадет здесь слеза бессильной тоски, и не один старик покорно скажет соседу: «Что поделаешь, друг? Надо терпеть!..»

О появлении пришлых в поместье можно было узнать хотя бы по тому огромному облаку пыли, которое они поднимали. Однако прибытие их мало кого занимало. Разве что, завидев приближающиеся повозки, кто-нибудь скажет: «Ну, приехали, начнут теперь гакать!..» — и презрительно усмехнется.

За сараем чужаки складывали свои узлы и бросались на ток и в соседние поля собирать солому себе для постелей и камни для очагов.

А утром следующего дня вокруг разнесется кисловатый запах сыворотки, захрустят на зубах луковицы, заголосит какая-нибудь девка, обнаружив пропажу своих припасов, и раздастся характерное постукивание. Это надсмотрщик нетерпеливо похлопывает своим бамбуковым хлыстом иных пришлых по затылку. Дескать, пора кончать с едой и выходить в поле. Потом хлыст перекочевывает с затылков на спины и пятки и постукивает уже по ним, опять-таки не сильно, а так, скорее для острастки. Наконец надсмотрщик закричит, и тогда темная людская громада всколыхнется и сдвинется с места, а вдогонку побегут отставшие.

Они первыми пройдут по росистым тропинкам, а когда взойдет солнце, каждый будет уже стоять согнувшись на меже и искать червей.

Под вечер у лавки Гунеди Абу Хальфа — единственной лавки во всем поместье,— доверху уставленной глиняными блюдами, толпится народ, со всех сторон тянутся жилистые руки, звучит непривычный грубый говор, и охрипшие голоса просят: «Масла... на три миллима... на миллим соли... меда на четверть кырша... на пять миллимов папиросной бумаги...» И проклиная на чем свет стоит чужаков и день, когда их принесло в поместье, Гунеди продает и продает, ссыпая в засаленный ящик мелкие ржавые монетки, самая крупная из которых не превышает десяти миллимов.

А когда сядет солнце и на мир опустятся сумерки, из-за сарая запахнет горелым маслом, жареной рыбой, старым сыром, чечевицей, луком, мылом, и все эти запахи, перемешавшись, сольются в один, странный, резкий и настолько характерный, что крестьяне скажут: «Чужаками пахнет!..»

Несутся запахи, открываются глиняные кувшины, достается редиска, цикорий, орехи и прочие дары земли, и все это уничтожается жадно, без разбора — лишь бы набить утробу. А вокруг стоит тишина, глухая тишина, нарушаемая только чавканьем да редким стуком ложек, соскребающих с медных подносов остатки риса.

Ветер понесет эти звуки и запах чужаков в поместье, и начнутся шутки да прибаутки, и крестьяне сильнее прежнего уверуют в то, что пришлые вовсе не люди, а так, отбросы рода человеческого.

V

Фикри-эфенди начертил на земле круг, поставил в середине его точку и от нее провел к окружности линии. Потом затоптал круг и оставил только точку и оборванные линии... Он решительно не мог ничего придумать. Ну, допустим, он установит, что виновница — одна из при-

шлых. А как доказать кто? Терзаемый этими мучительными сомнениями, он задумчиво похлопывал бамбуковым хлыстом по желтой штанине, глядя вокруг отсутствующим взглядом. Если эта женщина из чужаков, то она, конечно, должна сейчас лежать там, в лагере пришлых. Ведь не может же быть, чтобы, родив мертвого или, еще хуже, родив и задушив младенца своими руками, она как ни в чем не бывало наутро вместе со всеми вышла в поле! Однако проверить это в его власти, и он проверит!

Фикри-эфенди нахмурился — это означало, что решение созрело,— и вместе со своей небольшой свитой направился к лагерю пришлых. Но там никого не было. Кругом были раскиданы пустые корзины, виднелись следы костров, валялись обгорелые головешки, да в воздухе носился запах чужаков. Сами же обитатели лагеря еще с зарей ушли, как обычно, в поле. Это было ясно с первого взгляда, но Фикри-эфенди решил все-таки удостовериться во всем самолично. Заложив за спину руки, в одной из которых по-прежнему был бамбуковый хлыст, и наклонив голову, он принялся расхаживать по лагерю, рассматривая и разнюхивая все кругом, а иногда для верности постукивая по корзинам и ощупывая дорожные мешки с нехитрым провиантом чужаков. Так он ходил в сопровождении своих спутников, пока не наткнулся на старуху, которую ребятишки имения прозвали «бабкой пришлых». Старуха была такая древняя, что, глядя на нее, нельзя было и сказать, сколько ей лет. И все-таки она работала наравне со всеми и даже получала поденную плату, конечно, не целиком, а половину. Да и, правду сказать, работа у нее была легче, чем у остальных,— всего-то и дела, что караулить узелки пришлых да приглядывать за ребятишками, пока матери в поле. При виде старухи управляющий с трудом подавил невольную улыбку. Вокруг возились десятки малышей: сидят у нее на коленях, ползают, барахтаются в куче сложенных узлов, пищат, плачут, и только немногие сидят смирно и потихоньку играют старухиной юбкой и башмаками. А бедная совсем голову потеряла, не может с этой оравой сладить. Да и куда ей, старой, поди уж и забыла, как детей-то нянчат!

Напрасно пытался Фикри-эфенди добиться от старухи какого-нибудь ответа. Сколько ни бился, все было впустую — старуха за древностью лет совсем выжила из ума и соображала только в двух случаях: когда к лагерю подходил посторонний, она кричала «Уйди!», да вечером, когда женщины, вернувшись с поля, разбирали детей и случалось, что кого-то вдруг недоставало, старуха вместе с матерью пропавшего отправлялась искать его среди узлов.

Впрочем, и спрашивать-то старуху было ни к чему: Фикри-эфенди и так видел, что в лагере никого нет. А это могло означать одно из двух: либо преступница, чтобы скрыть случившееся, не пощадила себя и вышла вместе со всеми на работу, либо она вовсе не из чужаков, а из жителей деревни.

При этой мысли управляющий внезапно остановился и, уставившись в пространство прищуренным глазом, снова предался тревожным раздумьям. Что преступница — одна из этих чужаков, было для него так же несомненно, как наступление дня страшного суда. Ну а вдруг — правда, это едва ли возможно,— ну а вдруг это кто-нибудь из крестьянок имения? Тем более, что у чужаков он никого не нашел. Все это, конечно, маловероятно, так, один против тысячи, но все-таки — а вдруг? Надо проверить. Он уже один раз перебрал в памяти всех женщин имения и как будто убедился, что виновной среди них нет. Но в конце концов он мог и пропустить кого-нибудь, и забыть, а там, глядишь, позабытая и окажется преступницей!

Занятый своими мыслями, управляющий не заметил, как к нему подошел Салех, полевой сторож. Он спохватился, только когда увидел

прямо у себя под носом обмотанную чалмой суконную тюбетейку Салеха и хитро прищуренный салеховский глаз да услышал игривый шепоток:

— А может, все-таки это Набавия?

И хотя он произнес эти слова шепотом, их услышали все, кто был рядом, и протестующе загудели, уверяя, что это дело рук чужаков, они готовы поклясться в том кораном и святыми пророками, и что вообще грех возводить на человека напраслину. Стали припоминать историю Набавии. Она была женой местного извозчика, который умер, оставив ей повозку, коня и двоих ребят, мальчика и девочку. Коня и повозку Набавия продала и на вырученные деньги открыла торговлю томатами, да неудачно. Потом она была подрядчицей по найму батраков, пекла хлеб, работала у прежнего управляющего служанкой и, наконец, стала торговать яйцами. И детей она воспитала, а мальчика даже послала учиться в куттаб *. Словом, детей своих Набавия держала в строгости. Но была ли она так же строга к самой себе? Вот о чем теперь гадали и спорили спутники Фикри-эфенди. Одни обвиняли Набавию, другие негодующе им возражали, но и те и другие, сказав что-нибудь, выжидающе поглядывали на управляющего, а если замечали на его лице признаки несогласия, спешили отказаться от сказанного, и кто-нибудь говорил:

— Один всевышний знает правду!

А другие подхватывали:

— Воистину велики козни дьявола!

Но стоило только появиться Набавии, отличавшейся от прочих женщин поместья особой пышностью бедер да тяжелыми серебряными браслетами на толстых лодыжках, и стоило управляющему и его спутникам увидеть, что она как ни в чем не бывало ходит от дома к дому с корзиной и скупает яйца, как злые языки разом умолкли. Взоры всех злорадно устремились к Салеху. И, не зная, куда деваться от этих пристальных взглядов, казалось, пронзавших насквозь его суконную тюбетейку, белую чалму и грубую черную рубаху, которую он носит, никогда не снимая, Салех сунул руку в карман, достал табакерку, учтиво отошел в сторонку и стал сворачивать цигарку.

А управляющий при виде Набавии помрачнел и заторопился прочь, крикнув:

— Абдель Мутталиб, запрягай!

Оставалась одна надежда — найти виновницу среди чужаков в поле.

Немного спустя, звеня уздечкой, появился и запряженный осел, кроткое и упитанное животное без единого пятнышка на белоснежной шкуре — настоящий хисаец **. Управляющий оперся на плечо Абдель Мутталиба и, едва не свалив караульщика на землю, водрузился в изящном красивом седле. Почувствовав на спине седока, осел издал торжествующий рев и рванулся вперед, увлекая за собой толпу надсмотрщиков, кое-кого из подрядчиков, а заодно и Абдель Мутталиба и старого уста Мухаммеда.

VI

К этому времени солнце уже покинуло верхушки камфарных деревьев, внушительной оградой окружавших поместье, и стремительно покатилось к зениту. Дорога, по которой ехал управляющий, была пустынна — ни деревца не встретишь, ни былинки,— голая лента посреди безбрежных полей. Кругом стояла тишина, та безмолвная, перво-

* Начальная школа.

** Хиса — область, которая славится породистыми ослами

бытная тишина, которая ощущается особенно остро благодаря монотонному, едва различимому жужжанию насекомых. «Ту-ки, ту-ки» — мерно цокали ослиные копыта, и в воздух взвивались густые облака едкой и въедливой пыли, которая тут же опускалась на вспотевшие лица спутников Фикри-эфенди, с трудом поспевавших за ослом. Солнце немилосердно поджаривало их макушки, припекало их спины и забиралось даже под длиннополые одежды. Фикри-эфенди обвязал голову платком, превратив свою феску в подобие некоей диковинной шляпы, поддал ослу в бок пятками да еще вытянул его между лопаток хлыстом, на конце которого специально с этой целью был прикреплен небольшой гвоздик. Впрочем, осел вряд ли нуждался в том, чтобы его понукали,— он и так мчался как ветер.

Небольшая кавалькада в молчании двигалась по дороге — крошечная черная точка, затерявшаяся среди бескрайнего простора полей. Спешит осел, задыхаясь, спешат люди. И все обливаются потом. Даже Фикри-эфенди — единственного, кто ехал верхом,— и того пот прошиб.

Так они бежали и ехали, но только вдруг старый уста Мухаммед, видно, смекнул, что ему нет до всего происходящего никакого дела, и решил, что с него хватит. Тяжело пыхтя и отдуваясь, он остановился и присел у края дороги, там, где из земли пробивалась коротенькая травка. И, подобно этой травке, чьи корешки свисали в канал, уста Мухаммед тоже свесил ноги в воду в надежде, что влажная прохлада хоть немного освежит его тело, доведенное до изнеможения палящим зноем. Остальные, всецело занятые каждый сам собою, своей усталостью и потом, даже не заметили, что старик отстал.

Много раз приходилось Фикри-эфенди проезжать полем верхом на осле. Собственно говоря, это случалось ежедневно. И всякий раз он получал удовольствие, чувствуя, что осел под ним не идет, а словно танцует и в каждом движении его ощущается порода. Но сегодня управляющего не занимала ни радость езды верхом, ни усталость, ни жара, ни те, кто, высунув язык, бежал следом. Мысль его неотступно возвращалась к утреннему происшествию. Впервые он, управляющий большого поместья, размышлял совсем не о том, что обычно составляло предмет его повседневных забот — о семенах, поливке полей, об удобрениях и о том, что пришла пора сдабривать ими землю. Он думал о пришлых и думал совсем не так, как обычно. Ведь обычно он думал о них как? Рабочая сила, нужная для того, чтобы давить хлопкового червя, собирать хлопок да чинить плотины. И стар и млад, и мужчины и женщины — все были для него на одно лицо, у всех истощенные босые заскорузлые ноги и потные, опаленные солнцем руки. У всех хмурые суровые лица, которые не меняют выражения ни в радости, ни в печали. И одевались они тоже все от мала до велика на один лад. Время стерло разницу между ветхими, облезлыми и заношенными до дыр длиннополыми рубахами, которые носили мужчины, и вылинявшей от старости, темной, оборванной одеждой женщин. Нередко случалось и так, что иной пришлый наденет рубаху своей жены, а она — его рубаху, и разницы никакой.

Привыкнув так думать о пришлых, Фикри-эфенди по сути дела не видел среди этого гигантского человеческого стада ни одной женщины. Они — пришлые, чужаки, рабочая сила, но и только. А ведь он сам предположил, что преступницу надо искать среди пришлых, сам сказал об этом людям, сам отправился в их лагерь за сарай и лично все обыскал. Но проделал все это Фикри-эфенди как-то машинально. И хотя он был совершенно убежден в том, что преступницу надо искать именно здесь, среди пришлых, разум его отказывался поверить в то, что у пришлых тоже есть женщины и они тоже рожают законных или внебрачных детей.

И, ежась под палящими лучами солнца, которое немилосердно пекло голову сквозь платок и феску, Фикри-эфенди решил, что придется, видно, поверить и взглянуть на пришлых другими глазами. Правда, легче ему от этого не стало. Ведь нелегко было вдруг так, сразу, привыкнуть к мысли, что пришлые такие же люди, как все, и что среди рабочего скота тоже есть женщины, которые спят с мужчинами и рожают детей. Но не такой был человек Фикри-эфенди, чтобы, не удостоверившись во всем самолично, считать туманные предположения истиной. Пусть будет так, пусть преступница — одна из пришлых. Но он сам разыщет ее, увидит ее воочию и узнает, как же ухитрилась она такое сотворить. Однако нетерпеливое воображение, не дожидаясь, пока Фикри-эфенди доберется до поля, где работают чужаки, вдруг заторопилось и, обгоняя ход истории, стало рисовать ему события, предшествовавшие тому, что произошло сегодня утром. Что и говорить, события эти были не лишены известной пикантности, и Фикри-эфенди, давши волю воображению, чувствовал в душе немалое смущение и был готов прервать свои нескромные размышления в любой момент. Но мысли его нет-нет, да и возвращались вновь к любовной истории, героиней которой была, без сомнения, какая-нибудь молодая девчонка из пришлых, а героем — парень с литыми мышцами, обнаженной грудью и загорелым лицом. И управляющий снова и снова представлял себе, как этот парень тайком пробрался к ней однажды ночью и потом...

Осел споткнулся и чуть было не упал. Разгоряченное воображение Фикри-эфенди тоже споткнулось, налетев на весьма неприятное препятствие: управляющий вдруг подумал, что грех-то совершен на земле вверенного ему поместья. Правда, поместье принадлежит не ему и следить за нравственностью совсем не его дело. Но все равно, сама мысль об этом привела Фикри-эфенди в такое раздражение, что он со всей силой огрел осла хлыстом — вот тебе, не будешь спотыкаться! Впрочем, сильное раздражение не помешало управляющему припомнить, что младенец, найденный утром, был нормальный, а не какой-нибудь недоносок. А пришлые объявились в поместье всего два месяца назад, не больше. У него отлегло от сердца. Значит, грех совершен все-таки не в поместье. Должно быть, девчонка приехала уже «того», а когда подошло время, родила ночью, потихоньку от всех, да и придушила новорожденного.

Вот ведь потаскуха!

Больше того, чтобы скрыть от всех содеянное, она как ни в чем не бывало еще вышла с зарею в поле. Ну и здорова же, дрянь!

Фикри-эфенди подхлестнул осла, смахнул с носа крупные капли пота и проворчал:

— Аллах, помилуй нас и спаси!..

VII

Осел заревел. Ревел он особенно, не так, как другие ослы. Все в поместье знали этот ни с чем не сравнимый рев, могли бы отличить его в тысячеголосом ослином хоре и, заслышав, пугались и суеверно отплевывались: «Чур-чур, не меня!»

Вот и теперь при звуках ослиного рева Фикри-эфенди вздрогнул и досадливо поморщился. В его глазах этот противный рев был единственным недостатком осла, как будто животное вместе с подрядчиками, надсмотрщиками и чужаками было в заговоре против него, управляющего. Скажем, захочет Фикри-эфенди устроить своим подчиненным сюрприз, задумает нагрянуть, когда его не ждут, а у осла и свой сюрприз готов: заорет так, что на краю света слышно, перебудит всю округу, и, глядишь, народ в поле уж наготове. Мол, пожалуйте, господин управляющий, милости просим.

Осел бежал вдоль полей, засеянных хлопком. Позади остались пшеничные нивы, такие бескрайние, что, глядя на них, трудно было себе представить, что все это владения одного человека, и очень хотелось быть на его месте. Красота полей наводила на мысль о рае. Посмотришь в одну сторону — и перед тобой, как на ладони, канал, глянешь в другую — и отчетливо видишь каждый стебелек хлопка, каждую коробочку, листочек... Все новые и новые кусты хлопчатника выплывают навстречу, пока, наконец, не сливаются в сплошной зеленый прямоугольник.

Земля разбита на квадраты, и каждый отделен от соседнего небольшим арыком. Вблизи границы между квадратами видны, но стоит отъехать подальше, как они пропадают, и перед тобой, насколько хватает глаз, простирается безбрежная темно-зеленая гладь, сверкающая бесчисленными желтыми огоньками хлопковых цветов.

Поле, где работали пришлые, было видно издалека. Оно, может, ничем не выделялось бы среди сочной густой зелени, которая, чем дальше к горизонту, становилась все темнее и темнее, но его выдавали столбы дыма, поднимавшегося от ям, где пришлые сжигали зараженные червем листья хлопчатника.

Обессиленный осел, напрягая натруженные легкие, взревел из последних сил.

Фикри-эфенди не имел обыкновения много читать: чтение утомляло его, и, как ни старался он, поднося написанное к самому носу, буквы так и прыгали перед глазами. Другое дело — в поле. В поле Фикри-эфенди становился зорким, как ястреб. Поэтому даже ненавистный ослиный рев не помешал управляющему разглядеть, что надсмотрщики, дотоле безмятежно сидевшие в тени, вдруг разом повскакали с мест, в воздухе замелькали хлысты, защелкали, захлопали по спинам, по кустам хлопчатника, и даже издали слышны были окрики: «А ну, работать!.. Работать, вам говорят!..»

Старый надоевший спектакль... Фикри-эфенди подъехал поближе, и тут его ожидал второй спектакль, приевшийся не меньше, чем первый. Со всех ног навстречу ему кинулись надсмотрщики, и каждый спешил опередить другого и удостоиться чести подержать под уздцы осла, пока их милость господин управляющий будут слезать на землю.

Выдернув из-под фески платок, Фикри-эфенди вытер пот и сказал:

— А, Арафа!..

Арафа, главный надсмотрщик, иными словами, старшой над всеми пришлыми, удостоился, как и всегда, чести держать осла под уздцы.

— Добро пожаловать, ваша милость!

Управляющий смешался. Ответить на приветствие — еще подумают, что заискивает перед ними. Не ответить — вроде бы невежливо. Он не сделал ни того, ни другого. В конце концов, он приехал сюда по важному делу. И чтобы не вызывать лишних подозрений, Фикри-эфенди решил ограничиться обычным вопросом:

— Ну как, много червя?

— Совсем нет, ваше превосходительство!

Скрывая тщеславную гордость от сознания, что его величают «превосходительством», Фикри-эфенди прорычал:

— А если я найду?

Арафа наклонил голову и ребром руки стукнул себя по шее:

— Никак нет, голову даю на отсечение!

— Черт бы тебя побрал вместе с твоей головой!

Фикри-эфенди произнес это так, что нельзя было понять, сердится он всерьез или шутит. Ему почему-то всегда казалось, что эти люди бывают искренне рады, когда он осыпает их бранью. Больше того, они, по-видимому, даже испытывали при этом какую-то своеобразную гор-

дость, как будто, бранясь, Фикри-эфенди раздавал им высокие должности и звания. В их представлении эта ругань была неизменным знаком дружеского расположения и снисхождения со стороны управляющего, того, кто был властелином и вершителем судеб огромного поместья, или имения, или латифундии, как его иногда называли. Целые две тысячи фиданов плодороднейших земель, с людьми, домами, машинами, урожаем и скотом — и всем распоряжается он один. Шутка ли сказать — десять надсмотрщиков, шесть писарей, из них один главный, мастеровые, сторожа, батраки, крестьяне и арендаторы, и над всеми хозяин — Фикри-эфенди. Кого захочет — возвеличит, кого уволит, а кого и штрафом обложит. Может перевести крестьянина с одного участка на другой и либо даст ему землю, либо не даст — как вздумается. Может и вовсе прогнать из поместья, и никто ему в том не помеха, и ни один не посмеет на него пожаловаться. С управляющим разговоры коротки — кому пощечину, кому зуботычину, а иного и пинком угостит. А то еще и так бывает, что арестует человека и отправит его под конвоем в район. И нет на него управы, и никого он не боится.

Собственно говоря, боится Фикри-эфенди только двух людей — инспектора, которому он подчинен, да хозяина поместья. Инспектор наведывается в поместье раз в месяц, а хозяин и того реже, не чаще одного раза в два или три месяца.

Побудут часок-другой, да и уедут, а настоящий хозяин все тот же, Фикри-эфенди. Так удивительно ли, что для простого люда, для надсмотрщиков и пришлых любая брань его — высшая милость и благоволение?

Эти мысли едва не отвлекли управляющего от основной цели его посещения. Но ведь не пристало же серьезному человеку с таким положением, как Фикри-эфенди, тратить время на пустяки, забыв о серьезном деле, ради которого он сюда пожаловал. И коль скоро он уже здесь, нельзя терять времени понапрасну.

Ни один человек, ни надсмотрщики, ни пришлые, не догадывается об истинной цели его визита. И Фикри-эфенди, поколебавшись немного, перешел к делу:

— Скажи-ка, Арафа, все пришлые вышли в поле?

— Как один! — с готовностью отвечал Арафа.

— Ты в этом уверен?

— Да, клянусь тремя своими женами, все до единого на месте!

Но Фикри-эфенди все равно не поверил. Известное дело, безбожники, готовы за грош чем угодно поклясться. Поэтому он приказал:

— А ну-ка, пересчитай их!

— Слушаюсь!

И Арафа принялся вслух считать пришлых, не забывая при этом усердно щелкать хлыстом по их спинам, дабы лишний раз доказать кое-кому свое рвение.

Он пересчитал их раз, потом другой, и чем дальше он считал, тем явственнее звучал в его голосе страх и сомнение — а вдруг соврал, а вдруг не все вышли?

Да нет, все верно. Не соврал старшой. Фикри-эфенди только диву давался. Это что же получается? Мать подкидыша — одна из пришлых, он абсолютно в этом уверен. А они, вон, все до единого в поле. Значит, преступница и вправду все-таки вышла на работу. Ну да ничего, от него она не скроется. Уж он-то сумеет отличить женщину, которая родила не далее как прошлой ночью. Он пройдет по меже и подметит «червячка». Он отыщет ту, которая, убив родное дитя, как ни в чем не бывало стоит теперь вместе со всеми, согнувшись над межой, и принимает удары хлыстом. Просто не люди, а оборотни какие-то!

Фикри-эфенди вошел в квадрат и двинулся по меже навстречу пришлым, щурясь от солнца и пристально всматриваясь в каждую женскую фигуру. Возле старух он не задерживался, те, что казались средних лет, тоже не очень его занимали. Но вот молодые — этих управляющий разглядывал с особым пристрастием. Впервые он, наконец, заметил, как одеты чужаки. Оказывается, женщины у них ходят в длинных, до самых пят, шароварах, свисающих сзади мешком, и почему-то всегда эти шаровары непременно желтого цвета.

Фикри-эфенди дошел до середины межи, и вот уже конец показался, а той, которую он искал, все не было. И вдруг он оживился. Среди сутулых спин он заметил одну, которая, без сомнения, принадлежала женщине. Тонкая талия, широкие бедра... Да и голова, безусловно, была женской — цветной платок, из-под которого виднелись черные блестящие густые волосы, какие бывают только у женщин.

«Она!» — подумал управляющий и, прикрикнув: «А ну, нагнись! Ниже!» — огрел и без того согнутую спину хлыстом. Удар получился сильный, женщина, не удержавшись, громко охнула и, схватившись рукой за поясницу, на мгновение выпрямилась. Воспользовавшись этим, Фикри-эфенди быстро заглянул ей в лицо. Обыкновенное лицо здорового человека, никаких следов болезни или недавних родов. Правда, лицо исказилось от боли, но это боль, причиненная ударом хлыста, и никакая другая. Ничего не поделаешь. И Фикри-эфенди пошел дальше, пристально разглядывая одну спину за другой, пока межа не кончилась. Управляющий был вне себя от ярости. Парад окончен, преступница ускользнула, и, выходит, он остался в дураках!

Он накинулся на старшого:

— Прекрати работу!.. Пусть выстроятся и гуськом пройдут передо мной!

Растерявшийся Арафа не сразу понял, чего от него хотят, и только повторный окрик управляющего привел его в себя. Казалось, пришлые обрадовались внезапному приказу. Да и как не радоваться, когда им по десять часов кряду приходится стоять, согнувшись в три погибели. А тут, по крайней мере, можно хоть передохнуть и ненадолго разогнуть спину.

Пришлые выпрямились и все как один принялись потирать поясницы. Придя немного в себя от неожиданно свалившейся на них радости и поняв, что́ он них требуется, женщины обрадовались еще больше. В душе у каждой зашевелились самые радужные надежды, и каждая была уверена, что выбор падет непременно на нее, и каждая уже мечтала о том, как будет жить припеваючи в доме управляющего и работать служанкой, подавать и убирать. Работы мало, а тени много, и еды тоже хватает. Никаких тебе надсмотрщиков, ни хлыстов, ни палочных ударов...

Мужчины шли мимо равнодушные и безразличные, словно приговоренные к вечной каторге...

Фикри-эфенди пристально вглядывался в лица пришлых... Старые и молодые... красивые и безобразные... тупые и истощенные болезнью... Он внимательно разглядывал пришлых с ног до головы. Стройные тела и сутулые... хромые и с упругой походкой... худые и полные... тела тех, кто уже прощается с жизнью, и тех, у кого вся жизнь еще впереди...

Но ни одно из этих лиц и ни одно из этих тел не могло принадлежать той, что совершила грех.

И Фикри-эфенди приказал Арафе вернуть людей на место, и на этот раз уже не в шутку, а всерьез разразился отчаянной бранью.

Занося ногу в стремя и готовясь вскочить на осла, он мучительно раздумывал, какое из двух невозможных возможнее: допустить, что мать подкидыша не из пришлых, или считать, что она все-таки из них, хотя он только что сам убедился в обратном.

VIII

Тем временем уста Мухаммед по-прежнему сидел у дороги, свесив ноги в арык, и, как мальчишка, блаженно болтал в воде пятками. Но, завидев приближающуюся кавалькаду, он тем не менее незамедлительно вскочил и поспешил примкнуть к остальным. Он не стал задавать вопросов. И без слов было ясно, что управляющий возвращался ни с чем. Некоторое время уста Мухаммед, высунув язык, молча бежал вместе со всеми, старательно уклоняясь от облаков пыли, но потом все же не выдержал и пробормотал взволнованным старческим голоском:

— А вы бы, ваша милость, сделали, как в свое время праведный халиф Омар!

Говорят, что утопающий за соломинку хватается. Фикри-эфенди, слегка натянув поводья, придержал осла и, когда уста Мухаммед поравнялся с ним, спросил:

— А ну выкладывай, болтун, что такое сделал праведный халиф Омар?

И уста Мухаммед принялся долго рассказывать и кончил только тогда, когда добрались до дома. Оказывается, святой халиф Омар, да пребудет с ним милость аллаха, имел обыкновение тайком гулять по Медине, дабы знать все дела своих подданных. И случилось во время одной из прогулок, что натолкнулся он на труп юноши, в расцвете лет заколотого кинжалом. Долго разыскивал халиф убийцу юноши, да только все было напрасно. И когда он уже совсем отчаялся и потерял надежду, один мудрый старец сказал ему: если хочешь найти преступника, подожди девять месяцев, и убийца сам о себе заявит. Ну, халиф, конечно, посмеялся и не принял всерьез слова старца. А через девять месяцев, глядь, и поползли по Медине слухи, что какая-то девица родила младенца, не будучи ни за кем замужем. И тогда-то сказал мудрый старец халифу: вот тебе и убийца! И спросил халиф: почему? И ответил старец: да потому, что юноша, должно быть, над ней надругался, вот она и убила его, отомстив за свою честь.

И хотя притча в общем-то понравилась Фикри-эфенди и даже немного позабавила его, все-таки она не имела к происходящему ни малейшего отношения. Так просто, еще одна побасенка пустомели уста Мухаммеда, у которого на любой случай готова притча, как будто болтовней можно разрешить нелегкие задачи, которые иногда задает жизнь.

Что там ни говори, а Фикри-эфенди решительно отчаялся удовлетворить свое любопытство и отыскать мать подкидыша. В конце концов, какое ему до всего этого дело? Он сообщит в уезд, и пусть себе там разбираются, как хотят. Для пущей важности он лично продиктовал Масихе-эфенди, главному писарю, текст донесения, с особенной тщательностью подбирая при этом выражения, чтобы ни сам он, ни вверенное ему поместье ни за что не были в ответе.

И приехала полиция.

И приехал следователь.

И приехал инспектор здравоохранения.

Разместили их в зданиях конторы. Следователь занял кабинет Фикри-эфенди, полицейские разбрелись вокруг дома, покуривая кальян да потягивая чай, сыщик в открытую торчал возле лавки Гунеди, а жители поместья, стоя поодаль, наблюдали, перешептывались и обменивались последними слухами.

Фикри-эфенди был занят по горло. Еще бы! Такой редкий случай — все районное начальство пожаловало в поместье. Надо принять, угостить как следует, мало ли чем и когда они могут быть ему полезны? Поэтому он без конца сновал туда и обратно между собственным домом, стоявшим рядом с главной фермой, и конторой, лично следил за тем, как

жарится индейка, и то и дело пробовал домашний хлеб, испеченный специально по случаю банкета. А обитатели поместья изумленно глядели издали, как суетится их управляющий, безгранично счастливый от сознания, что он один из всех удостоился чести беседовать с начальником полиции и с самим его превосходительством господином следователем, не говоря уже об инспекторе здравоохранения.

Потом началось следствие...

Пригнали всех пришлых, женщин и девок, и надавали им пинков — авось сознаются с перепугу. Привели Набавию, которая упорно не желала расстаться со своей корзиной с яйцами, уверяя, что в ней все ее богатство. Допросили караульщика Абдель Мутталиба и старого уста Мухаммеда... Было неоспоримо доказано, что новорожденный младенец задушен, но за отсутствием улик преступницу поймать не удалось. Следователь приказал захоронить труп младенца на местном кладбище, и Абдель Мутталиб вызвался сделать это по всем правилам. Власти отобедали и отбыли восвояси. На том следствие и прекратилось.

IX

День кончился, повергнув обитателей поместья в великое сомнение. Еще едва узнав об истории с подкидышем, они твердо решили: чужаки, и никто другой. Но вот перед ними факты, а факты говорят об обратном. Это что ж получается, выходит, чужаки тут вовсе ни при чем?

Даже управляющий, который первым предположил, что преступницу надо искать среди пришлых, и тот заколебался. И все-таки, встречая пришлых, когда они шли на работу или возвращались с поля, Фикри-эфенди невольно провожал взглядом их женщин: а вдруг невзначай подметит в ком-нибудь признаки греха и разврата?

Поначалу он глядел на них с отвращением и даже с некоторым страхом, но проходили дни, и Фикри-эфенди обнаружил, что всякий раз при виде женщины или девки из пришлых он испытывает какое-то странное смятение. Больше того, однажды, к своему удивлению, он вдруг начал с одной из них заигрывать, а другую, как бы в порыве гнева, даже толкнул рукой в грудь.

И сам испугался: грудь была молодая, упругая и крепкая, как мяч. А девка — вот чудеса!— вздрогнула, побелела, как полотно, а потом залилась краской по шею, засмущалась и даже вроде бы рассердилась. Скажите пожалуйста! Пришлая, а туда же, стыдится, как обычные люди.

А с «обычными людьми» дело меж тем обстояло совсем не так уж просто. Как круги от камня, брошенного в стоячее болото, поплыли подозрения и обвинения, не миновавшие ни одну женщину в поместье. Конечно, все доподлинно знали, что виновной среди них нет. Но раз есть грех, должна быть грешница, а раз есть преступление, должен быть и злодей, совершивший его. Преступление известно, спрашивается, кто же злодей?

Мало-помалу подозрения заползли из низеньких крестьянских домишек в высокие хоромы конторских служащих. Червячок сомнения закрался и в душу к Масихе-эфенди, главному писарю. А что, если срам случился именно в его доме? Масиха-эфенди всю жизнь боялся сраму. Он вообще всего на свете боялся.

Среди служащих поместья он был старожилом и помнил еще те времена, когда владелицей была княгиня-иностранка. Сам он вышел из поденных рабочих. Отец устроил его учиться грамоте и счету у муаллима * Кайсара, который в те дни был старшим писарем и прослыл великим зна-

* Муаллим — учитель, ученый человек.

током арифметики, проникшим во все ее тайны. Смиренно и почтительно сидит, бывало, Масиха у ног муаллима Кайсара, по-собачьи ожидая, когда хозяин кинет ему косточку — прикажет что-нибудь сосчитать,— и он с трепетом в сердце бросается исполнять поручение, смертельно боясь, что ошибется, и тогда старший писарь, разгневавшись, не откроет ему сокровенных тайн ремесла.

Поэтому он был ниже воды и тише травы, прислуживал муаллиму в доме, ходил для него за покупками в город и дрожал над бутылкой изюмной водки для хозяина, словно она была величайшим сокровищем мира. А когда муаллим Кайсар принимался говорить, Масиха весь превращался в слух и жадно ловил каждое слово, боясь что-нибудь забыть или пропустить. А забывать и пропускать не следовало, потому что именно наставления муаллима Кайсара должны были превратить Масиху из деревенского парня, обученного только работать мотыгой, в эфенди, который сидит за конторкой и имеет дело с волшебной мудрой палочкой, называемой Карандаш.

Каждое слово, сказанное муаллимом, западало в душу и оставалось там — живое, нетленное и не подвластное времени. Даже притчи покойного и те Масиха хранил в памяти, в особенности одну, ставшую для него чем-то вроде компаса в жизни. Как-то вечером муаллим Кайсар спросил: «Скажи-ка, сынок, сколько будет дважды два?» Масиха, как достойный ученик, не сморгнув ответил: «Четыре, учитель!» К его великому изумлению, муаллим Кайсар вздохнул и сказал: «Нет, Масиха, видно, вовек не бывать тебе главным писарем!» Масиха страшно опечалился и огорченно спросил: «Почему?» На что муаллим Кайсар рассказал ему такую притчу.

Какому-то богатому человеку потребовался писарь. Он объявил об этом людям, и со всех сторон повалили к нему те, кто хотел занять должность. Хозяин принимал их по одному, но никого не спрашивал ни как его зовут, ни что он умеет делать, ни где работал прежде. Он только задавал каждому один и тот же вопрос: сколько будет дважды два?

И конечно каждый поспешно отвечал: четыре! И тогда хозяин говорил: «Можете быть свободны!» Так продолжалось до тех пор, пока не зашел к нему пожилой человек, державший под мышкой тетрадь, а в руке мешочек с чернильницей и гусиным пером, как было принято в старое время. И хозяин задал пришельцу все тот же вопрос: сколько будет дважды два?

— Дважды два? — переспросил тот.

— Так точно, дважды два — сколько?

И человек ответил:

— Одну минутку, ваша милость, сейчас я вам скажу.

С этими словами он открыл тетрадь, достал перо и чернила, написал «$2 \times 2 = 4$» и только после этого сказал:

— Если я не ошибся, ваша милость, дважды два будет четыре!

И тогда хозяин воскликнул:

— Все! Я беру тебя на службу!

Быть осторожным, осмотрительным и никогда не полагаться на случайность — вот чему учил Масиху муаллим Кайсар, упокой аллах его душу! Благодаря этому и занял Масиха после смерти учителя его должность и вот уже сорок лет бессменно служит в поместье. Менялись управляющие, приезжали и уезжали инспектора, поместье переходило от одного владельца к другому — и только Масиха-эфенди неизменно сидел на своем месте, согнувшись над огромным столом и обложившись кучей приходных и расходных книг, самая малая из которых весит килограммов десять, не меньше.

Масиха-эфенди — живой хранитель истории поместья, он всегда в курсе всех событий и дел. Он знает всех крестьян по имени и фамилии,

помнит наизусть, кому какая ссуда выдана, и, несмотря на долгие годы тесного общения, относится к крестьянам с величайшей осторожностью. Конечно, он часто беседует с ними, шутит, а порой даже бывает их советчиком по делам самого интимного свойства, но все равно всегда и во всем он остается для них Главным писарем.

И вот, когда по деревне поползли слухи, а особенно когда дело коснулось его собственной семьи, Масиха-эфенди встревожился.

У него было трое сыновей. Двое еще учились, а старшего он взял из школы и устроил на службу писарем в соседней деревне. И еще была у Масихи-эфенди дочь, которую он тоже забрал из школы, едва она выучилась грамоте, и посадил дома — ждать жениха! А женихов мало. Ведь откуда знать женихам, что где-то на севере сидит и поджидает их дома девица, хотя бы и самая прекрасная во всем поместье?

А Линда по сравнению с крестьянскими дочерьми и впрямь была красавица. Белая, как чесаный хлопок, она за один цвет своей кожи могла бы считаться королевой красоты. Правда, когда она ездила с матерью в Каир, та своими ушами слышала, как родственницы и соседки шушукались и говорили, что у Линды и нос великоват, и рот шире, чем положено, и фигура тоже малость подкачала, да и волосы грубые и курчавые, как у барана.

Но то было в Каире. А в поместье Линда не знала соперниц, и не у одного парня начинало взволнованно биться сердце, когда он издалека видел ее в окошке или поглядывал, как она вместе с родителями и семьей управляющего прогуливается вдоль арыка.

Между обеими семьями не все шло гладко. Дело в том, что жена управляющего Умм Сафват была простой крестьянкой или, во всяком случае, такой казалась рядом с Афифой, женой главного писаря, которая росла и училась в Каире и набралась там всяких городских манер. Но поскольку Умм Сафват была женой управляющего, Афифа никогда не упускала случая подпустить ей шпильку и показать всю глубину ее невежества и неотесанности. Она делала это по-городскому тонко и с осторожностью, присущей супруге Масихи-эфенди. А Умм Сафват негодовала, приходила в ярость и долго еще потом отводила душу с крестьянскими женами, браня и проклиная на чем свет стоит жену главного писаря.

Но дело не только в женах. У Фикри-эфенди был единственный сын, Сафват, двадцатилетний парень. Избалованный родителями и всеми обитателями поместья, он трижды проваливался на экзаменах на аттестат зрелости и теперь, щеголяя в простой белой рубахе, вроде тех, что надевают крестьяне по праздникам, в желтой панаме и темных очках, он день-деньской слонялся по полям с ружьем на плече и стрелял голубей. Охота на голубей была любимым его занятием. И почему-то охотился он именно у арыка, неподалеку от дома главного писаря. Эту слабость Сафвата знали все. Уже давно по поместью ходила шутка об охотнике и голубке. Горячая молодая любовь, разделенная арыком, различием веры * и отсутствием удобного случая, пылала в груди Сафвата и заставляла тревожно биться сердце Линды. Но иногда их чувство прорывалось наружу: Линда подходила к окну и поднимала руку, будто бы затем, чтобы открыть щеколду. На самом же деле то был робкий знак внимания. Поговаривали, что в золотом медальоне сердечком, что висит у нее на мраморной шее, Линда хранит записки Сафвата, которые приносит ей Махбуб, местный почтальон.

Почтовой конторы в поместье не было, и Махбуб ходил за письмами на станцию, в другой конец поместья.

Дождавшись, когда маленький паровозик, шедший в Дельту, подка-

---

* Сафват — мусульманин, а Линда — христианка.

тит к станции, Махбуб, подтянувшись на руках, просовывал голову в окошко почтового вагона и отдавал служащему деловую и частную корреспонденцию, а заодно получал и письма, адресованные в поместье. Роста Махбуб был крошечного, не более ребенка, с маленькими ножками и маленькой, размером с кулачок, мордочкой. Поэтому, стараясь избегать людских насмешек, он подшучивал над собой первым. Но при этом Махбуб был удивительным почтальоном. Не умея читать, он по опыту знал — кстати, писем в поместье приходило не так уж много,— что если письмо из Мансуры, значит оно для управляющего, а если из Гаафарии и адрес написан чернильным карандашом, а буквы с наклоном, то это, скорее всего, для шейха Шаабана.

Так он и работал — служебные письма отдавал Масихе-эфенди, а остальные разносил по адресам, никогда не ошибаясь.

Сумка у Махбуба тоже маленькая, из темной сморщенной кожи, вроде той, что у него на лице. Почтальон был женат на Закие, одной из самых высоких и толстых женщин поместья. Мужчины частенько от нечего делать обступали Махбуба и начинали допекать его расспросами о том, как он ухитряется спать с такой огромной женой, а бедняга терялся и смущенно что-то лепетал, приводя честную компанию в неистовый восторг. Самое удивительное, что Закия не в пример мужу знала грамоту и была единственной в поместье женщиной, которая читала газеты. А газета в поместье приходила всего одна — «Аль-Мукаттам». Почему именно «Аль-Мукаттам», никто толком не знал. Может быть, потому, что так решило управление в Каире — ведь это оно выписывало газеты. А может, потому, что «Аль-Мукаттам» чаще других газет печатала всякую сельскую информацию, или потому, что издатели газеты тоже были иностранцы, как и владелец поместья. Закия читала газету из номера в номер и обычно, подкараулив мужа, сдергивала его с осла, бесцеремонно отнимала газету и не отдавала, пока не прочитывала ее всю от корки до корки. Махбуб же беспомощно стоял рядом и не смел возражать — жены он боялся больше, чем управляющего. От управляющего можно отговориться, сославшись на то, что поезд опоздал. А от Закии так просто не отделаешься. К тому же еще и деревня, в которой они живут, лежит между станцией и конторой. Так что хитри не хитри, а мимо Закии не проедешь. Где уж тут отвертеться!

Ходили слухи, что Сафват и Линда переписываются через Махбуба. Передаст ему Линда письмецо, а он вместо того, чтобы нести его на станцию, прямехонько бежит туда, откуда доносятся выстрелы, хоть на другой край поместья, и в награду получает сладости, убитых голубей и другой какой-нибудь бакшиш.

Обо всем этом знал Масиха-эфенди. Но сколько раз ни ловил он Махбуба и ни обыскивал его сумку под предлогом, что ищет нужное письмо, ни разу ему ничего не попалось. Бывало, даже карманы обшарит, но все напрасно.

Сегодня, когда приключилось в поместье это странное событие, Масиха-эфенди с утра не мог найти себе покоя. Ему не возбранялось кончать работу, когда вздумается, но он, как правило, уходил из конторы не раньше чем к обеду. Однако сегодня он против обыкновения не досидел до положенного часа и через каменную плотину прямым ходом направился домой, сквозь зубы отвечая на приветствия встречных крестьян. Впрочем, несмотря на свою озабоченность, Масиха-эфенди не забывал на ходу бережно приподнимать край одежды, чтобы невзначай не запачкать ее по дороге. Он был одет как всегда: белая европейского образца рубашка без воротника, белое пальто и феска тоже белая. И все это даже не белое, а белоснежное, без единого пятнышка. Сколько раз Умм Сафват, жена управляющего, упрекала мужа, когда он возвращался домой, забрызгав глиной и грязью свои желтые брюки.

Брал бы пример с Масихи-эфенди! У того в жизни не бывало на одежде ни пятнышка! Главный писарь и в самом деле был очень аккуратен с одеждой, в особенности, когда приходилось куда-нибудь ехать и надевать единственный имевшийся у него костюм. Вот уже десять лет, если не больше, носит Масиха-эфенди этот костюм, а тот до сих пор выглядит как новенький. И все потому, что, надевая его, Масиха-эфенди подкладывает за ворот платок и даже не один, а целых два, чтобы нечаянно не засалить ворот.

Сутулый и бледный от вечного сидения в конторе, аккуратненький, с густой красивой бородкой, главный писарь по ступенькам поднялся в дом. Дверь была отперта — в деревенских домах вообще редко запирают двери.

Обычно появление Масихи-эфенди было шумным, потому что, едва он переступал порог, как на домашних сыпался дождь вопросов:

— ...Эй, где вы там?.. Что делаете?.. Овощи нам сегодня не приносили?.. А почему обед еще не готов?.. Мясо старое?.. Нет, ничего... А ты что киснешь, Линда?.. Зуб, что ли, болит?

При этом он крутил носом, будто что-то вынюхивал, а серенькие глазки его так и бегали по сторонам, стараясь ничего не пропустить и влезть во всякую мелочь.

Но на этот раз Масиха-эфенди не сказал никому ни слова. Мрачно вошел он в гостиную, освещенную больше, чем положено, и здесь взорам его предстала жена, Афифа, которая вместе с Умм Ибрагим, женой местного богослова, и Димьяном, братом Масихи-эфенди, готовила лапшу. Димьян одной рукой месил тесто, а в другой держал чашечку и гадал Умм Ибрагим на кофейной гуще, приговаривая:

— На пороге у тебя удача... Скажи: «О, господи!»

Масиха-эфенди с трудом удержался, чтобы не накричать на брата. Это не входило в его привычку. Как и все в поместье, он знал, что брат придурковат. В свои тридцать пять лет Димьян обладал рассудком десятилетнего ребенка, тщедушным, таким же, как у брата, телом и черной, густой и жесткой, как щетка, бородой, которую он почти никогда не брил. Ходил он всегда в длинной до пят рубахе, а на голове носил тюбетейку с твердым околышем, сшитую из той же материи, что и рубаха. Димьяну вменялось в обязанность делать кое-какую работу по дому — чистить медную посуду, щупать кур и метить лапки цыплятам, чтобы не перепутались с соседской птицей, стирать, ходить в лавку, присматривать за детьми и следить за тем, чтобы у них были начищены ботинки. Димьян охотно все это делал и жил в своем собственном радостном детском мирке. Бывало, встретишь его на улице: «Ну как живешь, Димьян?» Он остановится, вежливо поблагодарит: «Благослови тебя господь!» — а потом поднимет глаза к небу, как будто читает там свою судьбу, послюнит большой и указательный пальцы правой руки, помажет ими тыльную сторону левой и скажет: «Даст бог, будешь счастлив!..»

Женщины поместья, а иногда и мужчины, часто спорили — годится ли Димьян для семейной жизни или нет. Одни говорили, что жена главного писаря, Афифа, нисколько его не стесняется, потому что не считает за мужчину, но другие им возражали и в доказательство приводили густую Димьянову бороду: раз борода есть, значит, сомнения быть не может. «Димьян, отчего не женишься?» — спрашивали его люди. В ответ он как-то странно хихикал, словно подражал детскому смеху, и стыдливо отмахивался: «Да вы уж скажете!..» Иные в своих шутках заходили так далеко, что предлагали Димьяну принять ислам. Но он отвечал: «А я и так мусульманин и верую в аллаха единого». И в доказательство даже читал фатиху и стих о троне *. Были такие, которые считали, что Димьян

* Суры (главы) из корана.

вовсе не глуп, а просто из хитрости прикидывается дурачком. Но так или иначе, а Димьян все-таки был братом Масихи-эфенди, и смеяться над родным братом главного писаря неприлично. Но что может быть приятней для крестьянина, чем возможность в открытую посмеяться над начальством, хотя бы и в лице придурковатого брата главного писаря!

Масиха-эфенди стрельнул глазами по гостиной и бросил быстрый взгляд в соседнюю комнату. Линды нигде не было. Делать нечего, пришлось спросить жену. Та отвечала, что дочери немного нездоровится. Масиха-эфенди не выдержал:

— Нездоровится?.. А что с ней?.. Почему мне ничего не сказала?.. Ох уж эти бабы!.. Где она?

Афифа отвечала, что дочь прилегла отдохнуть у них в спальне. Спотыкаясь, Масиха-эфенди поспешил туда. Спальня... Ветхая древняя мебель — приданое Афифы, с которым она много лет назад выходила замуж за Масиху-эфенди. Шкаф без одной створки... Много раз перекрашенная, засиженная мухами кровать... Сетка от москитов, привязанная с трех сторон и оборванная с четвертой... Сетка была опущена, и Масиха-эфенди, с дрожью в голосе спросил:

— Линда, что с тобой? — Он был встревожен не на шутку.

Но Линда спокойно спала. «Притворяется!» — решил про себя Масиха-эфенди и, встревожившись еще больше, отдернул сетку.

Линда тщательно следила за своими волосами и, стремясь скрыть их природную жесткость и придать им мягкий шелковый блеск, всегда была аккуратно причесана. Но сейчас курчавые волосы ее в беспорядке разметались по подушке, непокорный локон свисал на лоб, а веки покраснели и опухли. Казалось, девушка недавно плакала.

Нет, отец может не беспокоиться, с ней ничего не случилось. Просто немного болит живот.

Может быть, тон, каким это было сказано, не понравился Масихе-эфенди, а может, непривычным был вид растрепанной и заплаканной дочери, но так или иначе, а он вдруг окончательно и бесповоротно понял, что во всем виновата именно Линда и никто другой. Эта страшная мысль положила конец дальнейшим расспросам. Масиха-эфенди в упор уставился на дочь. Впервые в жизни он глядел на нее так, будто перед ним было не родное дитя, а чужая распутная девка. Она или не она? Терзаемый сомнениями, он изо всех сил старался изобразить сочувствие, а маленькие острые глазки настороженно ощупывали Линду — ее руки, живот... Как будто непохоже, чтобы она могла родить прошлой ночью. Но ведь болит-то живот! С чего бы это?

По природе своей человек недоверчивый, Масиха-эфенди привык сомневаться во всех окружающих — в крестьянах, управляющих, служащих конторы. Но только не в себе и не в тех, кто был ему подвластен дома, особенно в дочери. Вся ее жизнь была как на ладони. Даже тайная почта взглядов и жестов между ней и Сафватом и та не была ни для кого секретом. Вот и все. Так неужели же у Линды есть другая жизнь. Ах, если бы можно было вот так, просто, расспросить дочь обо всем! Но волнение Масихи-эфенди было так велико, что лишило его дара речи и отняло способность рассуждать трезво. Правду ли говорит Линда или лжет? Может, посоветоваться с женой? Впрочем, лучше не надо — начнет тараторить и трещать языком, так что сладу не будет. Да и сама Афифа... Он-то знает, что она верная и преданная подруга его жизни. Ну а вдруг все это ложь? Вдруг она заодно с дочерью? А может, она и сама не лучше?..

Масиха-эфенди почувствовал, что задыхается. Не в силах вымолвить ни слова, он поспешил в гостиную, где те же трое по-прежнему занимались своей лапшой. Заметив по лицу мужа, что он взволнован,

Афифа обеспокоенно спросила, в чем дело, но так и не добилась толку: невнятно пробурчав что-то себе под нос, Масиха-эфенди приказал брату следовать за собой и стремительно направился к двери. Димьян покорно поплелся за ним.

Мост, что был переброшен через арык у дома главного писаря, стал свидетелем самого странного и удивительного разговора двух братьев. День был жаркий. Раскаленное солнце палило вовсю, нещадно поливая землю огнем своих лучей. И вот такое-то время Масиха-эфенди выбрал, чтобы впервые в жизни поговорить с Димьяном по душам. Поговорить серьезно, по-братски. Не замечал ли Димьян что-нибудь... эдакое... между Линдой и Сафватом? Ну, грех, что ли, или как его там называют? Не замечал?..

И Димьян, смущаясь, доверительно поведал брату странную историю. Оказывается, одна из кур — он щупает ее каждый день — все время носит в себе яйцо и никак его не откладывает.

Дело тут ясное: яйцо-то ведь не простое, а с секретом. Не иначе как в нем разгадка какого-нибудь клада. Одно только страшно: как бы не зарезали курицу, и тогда погибнет яйцо и навеки унесет с собой тайну. Или вот еще: ну как соседи украдут курицу? Что тогда, а?

Это было уже слишком! Весь гнев, всю ярость, накопившуюся в душе, Масиха-эфенди вылил на голову брата, обругал его крепким словом, плюнул и пошел прочь. А Димьян растерянно остался стоять на мосту. Сперва он даже не понял, что брат его обругал — такого еще никогда не случалось! Когда же понял, то горько разрыдался и, стянув с головы тюбетейку, принялся размазывать ею слезы.

Так он стоял и плакал, а солнце весело гляделось в его сверкающую плешь...

X

А в это самое время сын управляющего Сафват пребывал в приятной истоме и, развалившись в кресле, сидел в доме Ахмада Султана, местного писаря. Сафват очень любил эти послеобеденные часы, когда Ахмад возвращался после работы домой, и оба они покуривали кальян или потягивали кофе, а иногда развлекались с какой-нибудь девицей. Ведь среди конторских служащих Ахмад был единственным холостяком и один занимал целый дом по соседству с домом Масихи-эфенди. В отличие от других служащих Ахмад нравился Сафвату. Во-первых, он тоже был молод, а во-вторых, что важнее, он все-таки был старше Сафвата, опытнее его и знал всю подноготную обитателей поместья. Впрочем, назвать отношения молодых людей дружбой было бы не совсем правильно. Ахмад Султан никогда не забывал, что Сафват — сын управляющего, то есть того, кто приходился ему начальником и кому подчинялось все поместье. А Сафват, в свою очередь, держался с приятелем весьма сдержанно и с большой долей снисходительности. В конце концов этот самый Ахмад Султан умел всего лишь писать и читать. Просто диву даешься, как он только получил такую должность? Куда ему до Сафвата, который готовится поступить в университет и поедет скоро в Каир!

Но так или иначе, все эти соображения не мешали молодым людям вечно бывать вместе, к великому огорчению Фикри-эфенди, которому писарь не внушал большого доверия. Но как ни гневался управляющий и как ни кричал на сына, а сомнительная дружба с писарем продолжалась.

Итак, Сафват, развалившись, сидел в кресле и дымил сигарой. Молодые люди курили одну сигару, затягиваясь по очереди, и при этом

зорко следили за тем, чтобы с кончика ее не упал пепел — тогда вся прелесть пропадет. И, конечно, вели беседу. А поскольку главным событием дня был подкидыш, разговор, естественно, шел о нем. Впрочем, беседы, собственно, не было, потому что говорил один Сафват. Ему до смерти хотелось узнать, какую роль сыграл во всей этой истории Ахмад. В том, что он сыграл здесь известную роль, Сафват не сомневался, его интересовали подробности. Но, боясь показаться любопытным мальчишкой, он изо всех сил старался задавать свои вопросы как бывалый мужчина, который многое видел в жизни и многое испытал. Должно быть, поэтому же он с преувеличенной уверенностью развалился в кресле — ведь именно так сидят умудренные жизнью мужчины. И именно так они улыбаются: мол, знаю, знаю, меня, брат, не проведешь! Даже усы — едва заметные мальчишеские усы, которые начали пробиваться всего лишь в этом году, да и то благодаря неустанным заботам Сафвата, полагавшего, что они придают ему недостающую солидность,— даже усы он подкручивал сейчас неторопливо и важно, как подобает настоящему мужчине.

Но Ахмад Султан молчал. Молчал и улыбался. Глядя на эту улыбку, Сафват всегда чувствовал, что сколько ни болтай он о своих похождениях, а все-таки далеко ему, жалкому и робкому новичку, до высот совершенства, достигнутых премудрым учителем. И хотя у Ахмада и в мыслях не было потешаться над ним, улыбка приятеля почему-то казалась Сафвату насмешливой и презрительной.

Так они и беседовали — один говорил без умолку, а другой помалкивал и улыбался. Наконец Сафват, видимо, иссяк и, не найдя подходящей темы для разговора, спросил напрямик:

— А все-таки, чей же это ребенок, как ты думаешь?

Ахмад Султан расхохотался. Смеялся он так громко, что слышно было в соседнем доме, и Масиха-эфенди всякий раз, заслышав этот хохот, с отвращением передергивался, кривил рот и злобно ругался себе под нос. Сафвату тоже почему-то не очень понравился смех приятеля. Ну вот, опять насмехается! И он не утерпел:

— И скрытный же ты человек, скажу я тебе... Что, не правда?

Ахмад перестал смеяться, но улыбка по-прежнему не покидала его лица.

— Почему?

Да потому, что заводит втайне от лучшего своего друга разные интрижки, о которых он, Сафват, ничего не знает.

Чтобы перевести разговор, Ахмад сам стал расспрашивать Сафвата. Как продвигаются у него дела с Линдой? Говоря по правде, это была излюбленная тема Сафвата, никогда ему не надоедавшая; без нее не обходилась ни одна его встреча с Ахмадом Султаном. Ведь несмотря на все, несмотря на любимое ружье и похождения в Каире и в районном центре, несмотря на мимолетные связи кое с кем из местных женщин, Линда всегда жила в его сердце, занимая там особое, одной ей принадлежавшее место. Он встречался с ней не часто. За долгие годы знакомства и дружбы между семьями молодые люди обменялись всего лишь каким-нибудь десятком фраз. Но было между ними что-то неуловимое, чего нельзя выразить словами. И, читая это самое «что-то» во взглядах Линды, Сафват чувствовал, как сердце его сжимает тайная грусть, и ему хотелось и смеяться и плакать одновременно, и ломать и крушить все, что попадется под руку. Иногда, гуляя вдоль арыка у дома Масихи-эфенди, он издалека видел Линду, стоящую у окна. И когда он глядел на ее белое лицо в темной раме окошка, странный ток пробегал у него по телу, рождая желание взлететь высоко-высоко и запеть во весь голос. Всю бы жизнь стоять вот так, украдкой поглядывать на Линду и ловить ее взгляд! Он вскидывал ружье

или перебрасывал его с одного плеча на другое — это был условный знак приветствия. А Линда поднимала руку и тянулась к верхнему шпингалету окошка, что означало ответный привет. И тогда земля плыла у него под ногами, и весь день и всю ночь потом он вспоминал заветный миг и перебирал в памяти каждую мелочь и каждый жест, унесясь в мечтах далеко-далеко, совсем в другой мир, где нет ни родственников, ни поместья. И так радостно было это забытье, что хотелось пребывать в нем вечно.

Ахмад Султан был посвящен в тайну. В его спальне, где не было почти никакой мебели, Сафват давал себе волю и, не таясь, выкладывал все свои новости, если таковые имелись. И всякий раз заканчивал свой рассказ одним и тем же вопросом — любит ли его Линда?

И Ахмад Султан каждый раз заверял его, что любит. Но если бы он еще не улыбался при этом! Ах, эта улыбка — она портила все.

В другой раз Сафват, наверно, пустился бы в разговор о Линде. Но сегодня его занимало не это. Сегодня ему до смерти любопытно было самому послушать приятеля и узнать подробности его похождений, хотя бы той интрижки, которая, может, и послужила причиной истории с мертвым подкидышем.

Настойчивость Сафвата сделала свое дело, и на третьей сигаре Ахмад Султан, наконец, развязал язык.

Удивительные истории слышала в тот вечер комната Ахмада Султана. У Сафвата только волосы дыбом вставали. Нет, куда ему до Ахмада! И все его похождения тоже не более как капля, жалкая, ничтожная капля в безбрежном океане авантюр, о которых поведал ему Ахмад. Но самое главное не это. Самое главное, что Ахмад рассказал не только о себе, но постепенно, слово за слово открыл ему правду о тайной жизни поместья, той сложной, запутанной и страшной жизни, которая проходит вдали от людских глаз: связи молодых жен с сыновьями мужей, добропорядочных женщин с развратниками и развратниц с теми, кто слывет добродетельными, связи достойнейших богофилов-хаджи с простыми батрачками,— никого не пощадил Ахмад Султан, даже мертвым и тем от него досталось.

Наконец после долгого предисловия, смысл которого сводился к тому, что ему, конечно, все равно и он спрашивает об этом просто, как посторонний человек, Сафват перешел к делу, ради которого он, собственно, и пришел к Ахмаду в этот вечер. Во имя всего святого, пусть Ахмад Султан скажет ему правду — не знает ли он чего-нибудь такого о Линде?

Тут впервые за все время Ахмад стал серьезным и со всей решительностью заявил, что Линда вне подозрений и ничего зазорного за ней не водится. И сколько ни домогался Сафват, иного ответа он не добился.

И все-таки, когда уже на закате он собрался уходить, на душе у него почему-то не было прежнего покоя.

Оставшись один, Ахмад Султан долго сидел в том же жестком кресле с подлокотниками и, задумавшись, глядел то в потолок, то в окно. Внезапно глаза его загорелись то ли безумным, то ли хмельным блеском, и Ахмад беспокойно заерзал на стуле, словно озабоченный неожиданно возникшим препятствием. Потом он вскочил и стремительно вышел из дома.

Некоторое время он бродил по главной улице и с опаской посматривал по сторонам, что, в общем-то, было странно. Ведь среди всех конторских служащих один он открыто не признавал закона, запрещавшего государственным чиновникам общаться с крестьянами. Поэтому чье-чье, а уж его-то появление в неурочный час в самом центре деревни или даже в одном из ее домов вряд ли привлекло бы внимание.

■

Возле дома с распахнутой дверью Ахмад на миг задержался. Едва заметный взмах одеждой, слабый знак рукой — и женщина, сидевшая в доме, уже знала, что нужно Ахмаду, и поняла: он будет ждать ее у мечети.

Мечеть находилась в западной части деревни — простое здание из необожженного кирпича, с невысоким минаретом, торчавшим вверх, как обрубок пальца. Дорога, которая туда вела, почти всегда бывала пустынна, потому что в мечети молились только по пятницам. В обычные же дни крестьяне ходили в молельню к арыку. Прежде молельня была на берегу канала, как раз напротив дома, где жил управляющий, но он запретил ею пользоваться, приказал разрушить и велел построить новую, в другом месте. Уж очень раздражало его зрелище молящихся крестьян, сидящих прямо напротив его окон. Он считал, что своим присутствием они как бы оскверняют дом и порочат его обитателей. Да и вообще противно было глядеть, как они, явившись ранним утром, стаскивают с себя одежду и принимаются нырять и кувыркаться в канале: так сказать, в качестве омовения перед молитвой...

Ахмад Султан немного походил взад и вперед у мечети. Скоро в слабом вечернем свете мелькнула широкая темная одежда. Ахмад сразу узнал подошедшую — это была Умм Ибрагим, жена местного богослова и муэдзина. Высокая, светловолосая, Умм Ибрагим умела мастерски подводить сурьмой глаза, как-то по особому повязывать платком лоб и расхаживать, кокетливо подхватив подол и горделиво покачивая на ходу бедрами.

С Ахмадом Султаном ее связывало старинное знакомство. Еще бы: ведь она была одной из первых, кого он отметил своим вниманием, едва появился в поместье.

Со временем знакомство превратилось в своеобразную дружбу — Умм Ибрагим иногда готовила писарю, а случалось, угощала его сливками, хотя хорошо знала, что прошлого не вернуть никакой ценой.

Ахмад Султан обрадовался приятельнице и даже ласково ущипнул ее в живот, как бывало. За этим последовали долгие упреки и укоры, от которых писарь отбивался как мог, и наконец сказал:

— Дело есть...

— Говори...

— Линда...

Сказал и умолк. Она тоже молчала, напряженно ожидая, что́ он скажет дальше, и одновременно боясь, что он ничего не скажет. Да и к чему слова? И так все было ясно. Подождав еще немного и полюбовавшись писарем — красивый малый, одна улыбка чего стоит! — Умм Ибрагим первой нарушила молчание:

— Трудновато будет, пожалуй, и не получится!

— Скажешь тоже!

И Ахмад снова ущипнул ее в живот. Она согнулась, отстраняясь, и заискивающе заглянула ему в лицо — может, передумает? Нет, все было напрасно. Уж она-то знала лучше, чем кто-нибудь другой: если Ахмад Султан чего захочет, непременно своего добьется, а желание его равносильно приказу. Поэтому, немного подумав, она улыбнулась и поднесла указательный палец по очереди к одному глазу и к другому — мол, будет сделано.

В это самое время издалека донесся сиплый надтреснутый голос, призывавший верующих к вечерней молитве. И хотя Абу Ибрагим был далеко, там, в молельне, тем не менее одного звука его голоса оказалось достаточно, чтобы положить конец свиданию. Словно застигнутая с поличным, Умм Ибрагим подхватилась и побежала домой, торопливо

постукивая по дороге деревянными подошвами сандалий. А Ахмад Султан не спеша побрел по деревне, разглядывая огоньки, мелькавшие там и сям, вдыхая аромат риса, рыбы и лука, перемешанный с едким запахом гари, любуясь бескрайней ночью и... думая о Линде. Он шел и мечтал, как однажды вечером, испуганная и робкая, она войдет в его дом, и он развеет все ее страхи и превратит ее смущение в смелую и дерзновенную нежность.

XI

Вечер тянулся как никогда долго. Впервые обитатели поместья ложились так поздно. При свете керосиновой лампы Гунеди торговал почти до полуночи, а мужчины, собравшиеся на каменном барьере плотины поболтать перед сном, никак не могли разойтись, и все говорили и говорили о подкидыше.

От батраков, которые ходили в поместье на работу, о происшествии узнали в соседних усадьбах и в окрестных поселках. Еще бы, ведь дело-то не шуточное! Раньше как бывало? Текла себе жизнь, тихая, безмятежная, разве что приключится драка или что-нибудь украдут. Но мертвый подкидыш — такого не случалось. И люди не расходились, и судили, и рядили, и спорам не было конца.

А поговорить в поместье умели. Округа вообще славилась своим красноречием. Если уж начнут рассказывать, то обстоятельно, с подробностями, со всеми за и против. И выговор у них от большой практики приятный, чистый, не то что у других. Да, любили поговорить в поместье. Что называется хлебом не корми, только поговорить дай. Имелись даже свои корифеи, кому за бойкость языка был почет на всех сборищах. К примеру, уста Мухаммед или, скажем, Мухаммед Абу Талаба. Но самым непревзойденным считался, конечно, шейх Абдель Варис. Надо сказать, что шейх Абдель Варис умел не только поговорить, но и отлично разбирался в земледелии. А в земледелии, как и во всякой профессии, встречаются умельцы и лентяи, есть люди знающие, но попадаются невежды. Иной сам знает, как поливать землю, а иной поливает только потому, что так делает сосед. Так вот, шейх Абдель Варис был в поместье, пожалуй, самым большим знатоком земледельческого искусства и непременным советчиком тех, у кого что-нибудь не ладилось. Всегда в чистой чалме, смуглый, кареглазый, с усами не слишком густыми и не слишком редкими, Абдель Варис говорил спокойно и неторопливо, но зато уж как скажет, будто ножом отрежет. Ни одно важное дело в поместье — шла ли речь о сроках посева риса или о распашке земли под кукурузу, что прежде была под пшеницей,— управляющий не решал, не спросив Абдель Вариса, которого ценил больше всех прочих советчиков.

Но сегодня шейх Абдель Варис, хоть и сидел, как всегда, посередке, явно не знал, что сказать. Всякий раз, как спор достигал особой остроты и люди вопрошающе поглядывали на шейха — что же он скажет? — Абдель Варис только смущенно покашливал и твердил одно: «Бог его знает!»

А потом и вовсе ушел, сославшись на то, что хочет перед сном помолиться... И долго еще на плотине и в домах поместья не умолкали споры. Чужаки вроде бы не виноваты, деревенских женщин тоже всех перебрали и как будто убедились, что виновной среди них нет. Остается думать, что ребенка подкинул кто-нибудь из соседней деревни. Но тогда спрашивается, зачем понадобилось идти так далеко, когда можно было попросту бросить его в поле?

И только в двух домах не говорили в тот вечер о скандальном происшествии. Когда за обедом Умм Сафват спросила мужа про подки-

дыша, он что-то угрюмо пробурчал, и супруга поняла: Фикри-эфенди не желает разговаривать. Не желает, и все! Ведь он женился не за тем, чтобы приобрести подругу жизни. Он женился, чтобы иметь дома женщину, которая прислуживала бы ему, была недурна собой, умела готовить и ничего не знала о том порочном и злосчастном мире, который начинается за порогом ее дома.

Поэтому Фикри-эфенди ужасно не любил, когда жену звали в гости к Масихе-эфенди или когда Афифа, жена главного писаря, вместе с детьми приходила в гости к ним. Он считал эти визиты непозволительной вольностью. Кому это надо? Жена принадлежит ему, и нечего другим пялить на нее глаза! И разговоры про всяких там подкидышей тоже до добра не доведут. Лучше держаться от них подальше... Подальше от этого распутного мира, который начинается там, за порогом...

А в доме главного писаря никто даже и не отважился начать этот разговор. Глава семейства был почему-то мрачен как туча, а Линда мучилась от боли в животе. Но вечером, в спальне, когда жена уже спала крепким сном, Масиха-эфенди, обуреваемый сомнениями, с трудом удержался, чтобы не растолкать Афифу и не пуститься с ней в откровенности. Долго глядел он на спящую, на ее длинную худую шею, которую она днем прикрывала платком, на ее короткие курчавые черные волосы... Сказать или нет? И наконец решил: нет. Никому, даже собственной жене, не станет он рассказывать о своих тайных догадках, что лишили его покоя и сна. Болезнь Линды так взволновала его, что он уже начал подумывать, не повезти ли ее завтра в район к врачу. Пусть проверит, действительно ли она больна, и если больна, то чем. Вообще-то девчонке давно уже пора замуж. И здоровьем бог не обидел, и собой не дурна, а живет как затворница. Тут и до греха недалеко.

Всякий раз, когда Масиха-эфенди доходил в своих раздумьях до этого места, у него падало сердце. Он просто физически ощущал, как сердце вдруг куда-то проваливалось. Но безжалостные мысли не оставляли его и рисовали картины, одну страшнее другой. Не приведи господь, предположения его оправдаются. Тогда — скандал, позор, конец всем надеждам... Не бывать тогда Линде замужем за сыном управляющего... А он, Масиха-эфенди, что будет с ним? Как он посмотрит людям в глаза?..

И он ерзал и возился в постели, не зная, куда деваться от мучительных мыслей, и с ненавистью глядел на безмятежно спавшую Афифу, которая видела уже, наверно, десятый сон, и давился скупыми невыплаканными слезами.

И вдруг, в самый разгар этого кошмара, Масиху-эфенди осенило: а может, он все-таки ошибается? Что, если подкидыш окажется ребенком какой-нибудь пришлой? Выходит, из ума ты выжил, Масиха-эфенди, если можешь так думать о собственной дочери!

Масиха-эфенди уцепился за эту мысль, словно увидел в ней свое спасение. И чем дальше он думал, тем спокойнее становилось у него на душе. Дыхание сделалось неторопливым и ровным, и наконец он уснул.

Наутро, не успев прийти в контору, Масиха-эфенди спросил, здесь ли управляющий, и когда ему сказали, что тот у себя, осторожно постучал в дверь и вошел. Фикри-эфенди хмуро ответил на приветствие и смерил главного писаря долгим взглядом. По опыту он знал, что столь ранний визит не предвещает добра. Масиха-эфенди посещал его редко, всегда только по делу, и никогда еще эти посещения не оборачивались ничем хорошим. Но на этот раз управляющий не знал, что и думать: Масиха-эфенди был на диво немногословен! Он посидел, поговорил о том о сем и между прочим спросил, чем же закончилась история с подкидышем. Фикри-эфенди развел руками. Каково же было его изумление, когда

в ответ на это Масиха вдруг обрушился на чужаков, уверяя управляющего, что преступницу надо искать среди них — и только! Он горячился, доказывал, чуть не клялся, а потом вдруг, так же внезапно, встал и, сославшись на дела, ушел к себе. А управляющий сидел и ломал голову и никак не мог понять, с чего это Масиха вдруг так взъелся на пришлых. Однако долго раздумывать ему не пришлось, потому что в дверь легонько постучали. «Войдите!» — рявкнул Фикри-эфенди и оторопел. В дверях стоял Махбуб: синяя форменная фуражка съехала на лоб, на глазах слезы. Почтальон жалобно всхлипывал. Управляющий едва не прыснул.

— Ты чего, Махбуб?

Вместо ответа Махбуб сунул руку в сумку, вынул оттуда письмо в аккуратно взрезанном конверте и все так же молча подал его управляющему.

Фикри-эфенди повертел конверт в руках и прочел написанный чернильным карандашом адрес: «Танта, улица Мечети аль-Ахмади, дом № 34, досточтимому господину Абдель Муниму-эфенди в собственные руки».

Адрес как адрес. Чего тут реветь? Непонятно. Но Махбуб, кое-как овладев собой и наскоро утерев слезы, принялся рассказывать удивительную историю. Оказывается, не зря он засомневался в этом письме. Дело было так. Саадат, жена шофера Абдо,— они живут в той же деревне, что и Махбуб,— остановила его по дороге на станцию и попросила захватить вот это письмо. Когда же он спросил, от кого письмо,—ведь вряд ли его могла написать Саадат,— она сказала, что это письмо мужа его родственнику в Танте. Махбуб и поверил. А отчего бы и не поверить? Он знает, у ее мужа и вправду есть родственник в Танте, от него иногда еще и письма приходят. Взял он письмо и поехал дальше. Но только отъехал от деревни, как почувствовал, что письмо — именно это, а никакое другое —так и жжет ему бок. И как-то случилось, что рука сама залезла в сумку и вытащила злосчастное письмо. Он взглянул на конверт. И хотя он, Махбуб, человек неграмотный и в почерках не разбирается, какой-то внутренний голос шепнул ему в этот миг: «Это писала твоя жена!» И как это не пришло ему в голову раньше! У Закии, его жены, тоже был в Танте какой-то родственник. Несколько недель назад он приезжал к ним в гости и прожил у них три дня. И родственник-то этот не из простых, а эфенди. Закия говорит, он учится в техническом училище. Правда, Махбуб подумал, что тот староват для студента — усы, борода и все такое,— но все-таки поверил Закии. Студент так студент. Теперь же, когда он держал в руках это письмо и мысленно видел перед собой Закию — ее лицо, ее улыбку,— ни о каком доверии не могло быть и речи. Он повернул обратно и вместо того, чтобы ехать на станцию, приехал к шейху Али Абу Ибрагиму, богослову, и, осторожно вскрыв конверт, попросил шейха прочитать, что там написано.

Шейх внял его просьбе, достал очки и стал придирчиво изучать письмо, а едва дочитал, накинулся на Махбуба:

— Ах ты разбойник! Это что за гадость ты мне подсунул?

У Махбуба подкосились ноги. Не зря, значит, он беспокоился! Он бросился целовать шейху руки и со слезами умолять его ради всего святого прочитать письмо вслух. И шейх прочел. Так и есть, письмо оказалось любовным, и писала его Закия. Мало того, негодная еще вздумала посмеяться над мужем. Мол, неграмотный, не поймет что к чему, пусть-ка отправит ее письмо любовнику!

Слушая Махбуба, Фикри-эфенди все время испытывал невыносимое желание расхохотаться. И чем больше распалялся почтальон, тем сильнее хотелось ему фыркнуть. Когда же одураченный бедняга, кончив свой рассказ, залился горючими слезами, управляющий дал себе волю.

Хохоча во все горло, он нажал кнопку звонка, вызвал к себе Масихуэфенди, Ахмада Султана и старшего надсмотрщика, зачем-то оказавшегося в конторе, пересказал им всю историю, и они тоже хохотали, а несчастный Махбуб стоял рядом и плакал.

Вдоволь насмеявшись, управляющий вытер слезящиеся глаза и сказал:

— Закатил бы ты ей хорошую трепку, Махбуб!

— Я, ваша милость? Да разве ж я с ней справлюсь?

Новый всплеск рыданий, и новый взрыв смеха. Да и как тут не смеяться? Огромная, как слониха, Закия и щупленький, слабенький Махбуб!

Наконец все успокоились, и Фикри-эфенди заверил почтальона, что займется этим делом и как следует проучит Закию. В доказательство он тут же послал за ней, но на всякий случай все-таки спросил:

— Ну, будешь разводиться?

Махбуб тут же перестал плакать.

— Да уж как будет угодно вашей милости!.. Вообще-то говоря, дрянная она женщина, распутная... И не иначе, как подкидыш этот ее ребенок... Ведь она уже давно хотела родить и считает, что детей у нас нет из-за меня... Дрянь, что и говорить...

Но управляющий уловил в ответе Махбуба нерешительность и понял, что разводиться тому не хочется. Поэтому он еще раз заверил почтальона, что посвятит Закии целый вечер и проучит ее так, что век помнить будет.

■

А в это самое время Димьян, которого послали купить рыбы к обеду, зевая по сторонам, шел по деревне. Дойдя до плотины, он остановился и широко открытыми глазами уставился на солнце, висевшее в небе прямо над головой. Надо сказать, что в отличие от всех людей Димьян обладал загадочной способностью смотреть на солнце, не жмурясь. Потом вытянул зачем-то левую руку и стал перебирать рукав пальцами правой, приговаривая при этом:

— Мансура... Ей-ей, это Мансура...

А кто такая эта самая Мансура и с чем ее едят, одному богу было известно.

Дом управляющего стоял на берегу, и с маленького балкончика было отчетливо видно все, что происходит на плотине. И жена управляющего Умм Сафват заметила Димьяна.

Умм Сафват было лет под сорок. Светлая, пышнобедрая, с толстыми икрами, она, не взирая на высокое положение своего мужа, одевалась, как простые деревенские щеголихи — тот же платок, те же цветастые широкие платья. Димьян давно уже занимал ее мысли. Однажды она спросила о нем жену Масихи-эфенди, но та уклонилась от ответа. Сегодня же, когда все поместье было взбудоражено разговорами про таинственную историю с подкидышем, любопытство Умм Сафват достигло предела. Что за жизнь! День-деньской сидеть взаперти, никуда не выйти и никого не видеть. Правда, иногда приходят гости, но уж лучше бы их и не было! Надо притворяться, ублажать жен подчиненных Фикри-эфенди, прикидываться воспитанной и образованной. А это нелегко, и частенько обман выходит наружу. И тогда ох как стыдно бывает — иной раз даже заплачешь! Да и муж, если что не по нем, по головке не погладит. Ведь хотя они женаты уже больше двадцати лет, Умм Сафват до сих пор величает мужа не иначе, как Фикри-эфенди, и редко-редко когда осмеливается назвать его просто по имени.

С какой тоской вспоминает она детские годы в родном доме. Как бы ей хотелось быть обычной крестьянской женой, купаться в арыке и самой, как бывало в отцовском доме, печь вкусные круглые лепешки. Фикри-эфенди родом из Нижнего Египта, а она — из Верхнего. Он приехал как-то навестить своего родственника, увидел ее, понравилась, взял да и женился. И с тех пор оборвались ее связи с родным домом. Правда, иногда приезжает проведать ее брат, но Фикри-эфенди так стесняется его деревенского вида, его кафтана и высоких сапог! Он объявил всем, что это батрак ее отца, которого посылают узнать, как она живет. Ни одну свою прихоть не смела осуществить Умм Сафват. Всегда и во всем надлежало ей играть роль важной и уважаемой жены господина управляющего. И только одно ей разрешалось безнаказанно — дружить с Димьяном. Последний часто забегал к ней то за кастрюлей, то за ситом, то просто затем, чтобы передать привет от Афифы. И всякий раз она находила предлог, чтобы задержать Димьяна и поболтать с ним. В такие минуты она бывала счастлива. С Димьяном ей не надо было притворяться. Он гадал ей на кофейной гуще и, что самое удивительное, бывал очень разговорчив и, не таясь, рассказывал про свои неурядицы с курами, свои ссоры с женой брата, а случалось даже плакал как ребенок, и Умм Сафват плакала вместе с ним.

Крикнув Фатиму, одну из многочисленных девок, которые служили в доме управляющего, а числились на работах в поле, она приказала ей пойти и привести Димьяна.

Появился Димьян — на лице блаженная улыбка, в руке корзина, из полуоткрытого рта текут слюни. Умм Сафват встретила его с распростертыми объятиями, насильно усадила в спальне на тахту: Димьян ненавидел сидеть в присутствии других людей. В спальню же он заходил не впервые: ведь никому не придет в голову заподозрить его в чем-нибудь дурном.

Итак, Димьян сел на тахту. Умм Сафват села рядом и, как обычно, попросила погадать. Димьян послюнявил пальцы, повозил ими по тыльной стороне руки и задумался.

А еще через несколько минут люди увидели, как Димьян пулей вылетел из дома управляющего и сломя голову кинулся бежать. Напрасно пытались иные остановить его и узнать, в чем дело. Куда там!

Но ведь не зря же он бежал? Тут что-то не так, тут скрывается какая-то тайна. А там, где тайна, там и разговоры и слухи.

Вообще, много в те дни развелось в поместье тайн, и многое, что было тайным прежде, стало известно всем. Всего лишь несколько дней прошло с тех пор, как нашел Абдель Мутталиб подкидыша, а жизнь перевернулась вверх дном. Ведь должна же быть у подкидыша мать, и если не известно, кто она, то любая напраслина может угодить в точку, а любая небылица, того и гляди, окажется правдой.

И языки работали без устали, и густой пеленой ползли по деревне слухи.

XII

Не в пример халифу Омару, Фикри-эфенди не пришлось ждать девять месяцев. Не прошло и десяти дней, как он наткнулся на преступницу. Впрочем, сказать «наткнулся» было бы не совсем верно, потому что немалая заслуга в том принадлежала его собственной проницательности и смекалке.

Дело в том, что несмотря на все усилия Фикри-эфенди, яички хлопкового червя не только не исчезали, а появлялись во все возрастающем количестве. Управляющий встревожился — того и гляди, вылупятся из

яичек личинки, и тогда придется затопить весь хлопок. По чести говоря, среди девяти тысяч человек, обитавших в поместье, Фикри-эфенди был единственный, кого беспокоили эти черви. Крестьянам не было до хлопка решительно никакого дела. Правда, они сеяли его и выращивали, с них взимали поборы на расходы по его уборке, очистке и борьбе с червями, даже на очистку арыков, но ведь урожай-то шел владельцу поместья. А крестьянин, хотя и положена ему треть урожая, не получал ничего, так как его доля целиком уходила в уплату всяких расходов, на покрытие ссуды, которую он брал для покупки семян, и на наем пришлых. Но даже если крестьянину и доставалось кое-что, то все равно это «кое-что» шло в счет будущего года. Так какое ему дело до этого хлопка? Управляющему поручено — пусть у него и болит голова. А хлопок — дело дорогое, от него основной доход поместью, и если урожай съедят черви, то их превосходительство потеряет тысячи фунтов. Да и сам Фикри-эфенди при этом пострадает. Именно так и случилось, когда он служил у прежнего хозяина: проморгал, черви вылупились да и сожрали лист. Весь урожай пропал. Потому-то Фикри-эфенди ничего на свете так не боится, как хлопкового червя и хозяина поместья. Но особенной силы достигает этот страх в ту пору, когда черви еще в яичках. Эти дни бывают тяжким испытанием для Фикри-эфенди, для его духовных и физических сил, его надежд и вообще всего, что у него есть. С одной стороны — злорадствующий главный писарь с его вечными интригами и послания инспектора, в которых за каждой буквой скрыто коварство и угроза, а некоторые строчки, выделенные красными чернилами, еще подчеркнуты жирной чертой. С другой — безразличные крестьяне, нерадивые пришлые и жуликоватые надсмотрщики. Беда с ними, да и только! С раннего утра уезжает управляющий в поле и возвращается, когда муэдзин уже возвестит время вечерней молитвы. Но и при этом Фикри-эфенди не устает просить аллаха, чтобы тот оградил его он напасти, и пуще всего боится, как бы не прозевать и не дать вылупиться личинкам. Тогда погибель! Прогонят Фикри-эфенди со службы, и придется ему жить в ненавистной бедности, которая горше самой смерти. Ведь управляющий не может уйти из поместья, пока не подыщет себе новое место. Вот и приходится уволенному умолять да упрашивать хозяина, чтобы тот разрешил его семье на время остаться в казенном доме, а сам идет куда глаза глядят, по друзьям, по знакомым искать себе работу. И самое страшное, если пожалует в это время новый управляющий с семьей и всем домашним скарбом. Куда прикажете деваться?

Потому-то и боится Фикри-эфенди червей больше смерти. И если ведет он себя праведно, так это из убеждения, что существует прямая связь между каждым его проступком и адским воинством, которое всевышний напускает на него раз в год, дабы испытать его твердость и жестоко наказать за грехи. Ну, а раз человек не виновен и чист, то черти, сколько бы их там ни было, возвращаются восвояси ни с чем.

И до того усердствовал Фикри-эфенди, что каждый день выходил из дому еще до зари и объезжал хлопковые поля, старательно нюхая воздух: не приведи аллах, червем запахнет. Яички-то не пахнут, а вот уж как вылупятся черви... Всевышний, помилуй нас и спаси, до чего гнусная вонь! У Фикри-эфенди замирает сердце, если случается, что чуткий нос его вдруг уловит ненавистный дух, странный и необъяснимый в ранний предутренний час в поле, среди цветущего хлопка... Миллионы маленьких хищных существ с невероятной жадностью пожирают все зеленое и свежее, что встречается на пути. А вокруг разносится могильный тяжелый запах. Как будто сама смерть, отобедав, очищает желудок... Пахнет умирающим зеленым листом, пахнет тленом...

При одной только мысли об этом Фикри-эфенди бросает в холодный пот. Ах, что будет, если учует этот запах хозяин поместья, господин

Жипп! Фикри-эфенди так волнуется перед приездом хозяина, что, когда посылает скотников и подрядчиков подметать и поливать дорогу, ведущую во дворец, голос его начинает невольно дрожать.

Говорят, что поместье сначала принадлежало какой-то знатной даме, и она продала его господину Жиппу-старшему, отцу нынешнего владельца.

Молодой хозяин, здоровенный рыжий верзила с волосатыми руками и волосатой грудью, появляясь в поместье, объезжает свои владения верхом. В рубашке, бриджах и белом пробковом шлеме, он восседает на коне, величественный и неподвижный, как изваяние, за всю дорогу ни разу не улыбнется! Рядом с ним Фикри-эфенди на своем ослике выглядит жалкой старой обезьянкой. Не спуская с его превосходительства глаз, он, не умолкая, трещит языком, стараясь хоть чем-нибудь развеселить хозяина, и без устали работает руками: то укажет на арык, что заботами управляющего недавно вычистили и сделали поглубже, то на новую дорожку — мол, глядите, до чего хороша работа. Те же руки в любой миг готовы отвлечь внимание господина, случись, что на пути вдруг встретится какой-нибудь непорядок. А он непременно встретится. И тогда Фикри-эфенди будет про себя заклинать всевышнего и всех пророков и ангелов, чтобы его превосходительство ничего не заметил. Но он, конечно, заметит, как будто аллах дал ему глаза, чтобы подмечать все плохое. И хуже всего, что, заметив, будет молчать. Уж лучше бы что-нибудь сказал! Но нет, он молчит, будто воды в рот набрал.

Хозяин был женат на француженке. Она редко приезжала в поместье, а когда приезжала, управляющий спешил порадовать ее корзинкой спелых тутовых ягод, до которых она была большая охотница. При этом у Фикри-эфенди был свой расчет: кто знает, может, она при случае и замолвит за него словечко перед мужем, пусть даже на том языке, которого не понимает управляющий и на котором она всегда говорит с его превосходительством. Люди говорят, что у хозяина есть любовница и нет детей и что, если бы не его католическая вера, он давно бы развелся с женой и женился снова. Ведь нужен же наследник, кому оставить это огромное хозяйство. А еще говорят, собственно, говорит сам Фикри-эфенди, что у господина есть вилла с видом на море в Сиди-бишр в Александрии, а в ней — комната, вся отделанная под золото, позолоченные стулья, а посуда — так просто из чистого золота. Ходят слухи, что Жипп-старший купил их перед тем, как пригласить к себе на ужин короля, еще в ту пору, когда он назывался султаном. Еще рассказывают, что нынешний хозяин после смерти отца разорился и продал поместье какой-то бельгийской земельной компании, у которой сам теперь его арендует. А еще говорят, что Ахмади-паша, местный миллионер, собирается купить поместье и уже ведет об этом переговоры с его превосходительством и с компанией. Досадно будет. Известно, что Ахмади-паша до первой мировой войны был носильщиком на рисоочистительной фабрике, потом стал торговать рисом, нажил денежки, разбогател да и купил фабрику. Теперь у него склады, дома и огромные деньги в банках. Так что, может, и правда, что он задумал купить поместье. И самое поразительное: он, говорят, готов хоть сейчас уплатить всю сумму наличными.

Много чего говорят о поместье и его хозяине. Но как бы то ни было, пока он по-прежнему остается грозным владельцем, и у Фикри-эфенди всякий раз трясутся поджилки при одной мысли, что может приехать его превосходительство, который всегда молчит, но уж если что не по нем, то держись! Тут он и штрафует, и прогоняет, и распекает на чем свет стоит, а бывает, что и руку поднимет. А рука у него тяжелая — недаром он всю жизнь ест одну курятину и индюшатину да голубиное мясо, запивая их вином, и горе тому, на кого он замахнется!..

Так что Фикри-эфенди не зря волновался, видя, что червей на полях

становится все больше и больше. А это могло означать только одно: нерадивость подчиненных. Видно, пришлые ленятся, а надсмотрщики водят его за нос. Доказательств тому могло быть много, но Фикри-эфенди в них и не нуждался. У него было одно неоспоримое доказательство — ослиный рев. Да, да, тот самый ослиный рев, заслышав который издалека, они узнавали о приближении Фикри-эфенди и начинали свой хорошо отрепетированный спектакль: «А ну, работать!.. Работать, вам говорят!» Поэтому управляющий отказался от поездок в поле на осле и стал ходить добрый десяток километров пешком: авось, хоть так удастся застигнуть подчиненных врасплох и поймать их с поличным.

Уже не раз он таким образом заходил с тыла, но все было напрасно. Работа шла своим чередом, и никаких непорядков как будто не было. Правда, однажды он накрыл старшого Арафу, когда тот сидел в холодке под смоковницей и играл в шашки со старым уста Мухаммедом. А в другой раз поймал караульщика Салеха, когда тот послал одну из работниц в поместье себе за обедом. Но даже и тогда работа в поле шла как обычно, словно старшой мог и впрямь прохлаждаться в тени, играя в шашки, а караульщик Салех имел право ради своего обеда оторвать от работы пришлую девку.

И все-таки Фикри-эфенди не терял надежды. Ведь должен же быть у них непорядок? И уж кто-кто, а он этот непорядок найдет! Поэтому, обнаружив в тот день навес, устроенный в конопле, что росла по краю пшеничного поля, Фикри-эфенди чуть не подпрыгнул от радости: наконец-то! Сейчас под этим навесом он накроет пришлых, которые во что-нибудь играют или просто бьют баклуши. Не пропали, значит, даром его старания! Не зря он, стало быть, мучился, шагая пешком в такую даль! И не говоря ни слова Арафе и ни о чем его не спрашивая, управляющий, едва завидев навес, прямым ходом направился к нему. «Ага, голубчики, наконец-то вы мне попались!..»

Навес был устроен из старого мешка, привязанного по углам к стеблям конопли. Фикри-эфенди раздвинул заросли... и остановился как вкопанный. Пришлых под навесом не было, точнее, был только один пришлый — женщина, спавшая на боку.

Разочарование Фикри-эфенди в миг сменилось яростью.

— Это еще кто такая? Почему лежит здесь? Почему не в поле? — Глаза управляющего метали молнии.

Криво усмехнувшись, так, что Фикри-эфенди стало не по себе, старшой ответил:

— Это Азиза, ваша милость!..

— Азиза? Какая еще Азиза? — Гневу управляющего не было границ.

— Азиза, ваша милость,— Арафа снова ехидно усмехнулся,— это, с вашего позволения, такое имя. Зовут ее так...

XIII

И тут Фикри-эфенди вдруг осенило: а что, если это она, та преступница, которую он так долго искал и уже отчаялся найти? Туманная, ни на чем не основанная догадка, и вряд ли старшой поможет ему докопаться до истины, недаром он так ехидно улыбается. Напрямик его спросить об этом, конечно, нельзя — еще заупрямится со страху, как осел перед канавой. Фикри-эфенди хорошо знал, как ведут себя эти люди, когда что-нибудь скрывают и боятся проговориться. Нет, тут надо действовать с умом! Лучше всего схитрить и сделать вид, что ничего не заметил. Только так можно раскрыть этот сжатый в ехидной улыбке рот Арафы.

И, встав в обычную позу управляющего, который заметил непорядок, Фикри-эфенди строго спросил:

— А она что, тоже из пришлых?

Арафа, испугавшись, что за ложь ему достанется еще больше, чем за обнаруженную оплошность, не решился соврать:

— Так точно, ваша милость, из пришлых.

— А чего же она не в поле?

— Захворала бедняжка, не под силу ей, ваша милость, стоять сейчас не меже! — В голосе старшого звучали жалобные нотки.

Но Фикри-эфенди не разжалобился:

— Раз так, то и платить ей нечего!

— Как прикажете, ваша милость! — покорно ответил Арафа.— Прикажете не платить — не заплатим.

— А ты как думал?

Фикри-эфенди уже приготовился нанести решающий удар. Это что же за порядки такие? Лежат себе тут, прохлаждаются, а поденные, знай себе, текут в карман? Старшой, видно, смекнул, что дело плохо. В лучшем случае прогонят с работы, а то, глядишь, и в тюрьму упрячут. Что тут будешь делать? И, поколебавшись немного, Арафа выложил все как есть. Начал он издалека, с рассуждения о бедности вообще и о несчастных людях, которым приходится работать за гроши. А потом рассказал про Азизу и про то, что она мать убитого подкидыша, и про то, что они, когда про это узнали, решили ее не выдавать: все-таки жалко, пожилая женщина, а мы ведь тоже люди. А потом, когда заболела она горячкой, надумали положить ее здесь же в поле, под навесом. Мол, пусть считается, что она на работе. Деньги ей нужны, как никому другому. Бедняжка, больной муж у нее да трое детей...

Управляющий слушал, и суровое выражение на лице его постепенно смягчалось, пока наконец не исчезло окончательно, сменившись изумлением. Самое поразительное в этой истории, что преступница-то, оказывается, замужем. Зачем же ей, в таком случае, понадобилось душить своего ребенка?

— Да разве ж узнаешь, ваша милость! Мало ли горя на свете!

— То есть как это «да разве узнаешь»? Ты, наверно, рехнулся, не иначе! Замужняя женщина ни за что ни про что убивает своего ребенка, а ты говоришь «мало ли горя на свете»... А муж-то ее жив?

— Жив, ваша милость.

— А дети от него?

— От него, ваша милость.

— И она никогда не убивала своих детей прежде?

— Никогда, ваша милость.

— А чего ж теперь убила?

— Не могу знать, ваша милость.

Старшой, казалось, даже и не задумывался над тем, какая это странная история, а если и задумывался, то, видно, не понял, что дело тут не простое и требует ума. Ему что? Пришлые попросили его помочь, он и разрешил Азизе во время работы лежать под навесом. Он сделал все это от чистого сердца, потому что знал и Азизу, и ее мужа, и ее отца. Единственно, о чем он тревожился, так это о том, как бы не проведал о больной управляющий или кто-нибудь из его людей. Теперь же его мысли были заняты другим: как бы перехитрить Фикри-эфенди и заговорить ему зубы. И он молил и упрашивал, чтобы управляющий простил его провинность. Дескать, грех попутал, ваша милость, вы уж не взыщите... И прочие слова, которые обычно говорит старшой, попав впросак.

Но управляющему было не до него. Хотя предположения его и не оправдались и преступница оказалась вовсе не прелюбодейкой и не де-

вицей, которую соблазнил легкомысленный парень, история Азизы по-прежнему не давала ему покоя. Что могло заставить замужнюю женщину, вот эту, что валяется здесь в черных лохмотьях, своими руками задушить родное дитя?

Похоже, что Арафа ничего не знает и истина известна только всевышнему да самой Азизе. Но Фикри-эфенди все-таки спросил:

— А вы хоть узнавали, зачем она это сделала?

— Да разве от нее добьешься? Сами видите, ваша милость, в каком она положении. Попробуйте, может, вам удастся!

Но управляющий уже и так решил, что непременно зайдет под навес и допросит убийцу.

Азиза спала на дне небольшого сухого арыка, одного из тех, какие разделяют поле на квадраты. Она лежала, скорчившись, на боку, поджав колени к животу и обхватив голову руками. «Совсем как ребенок в утробе матери»,— подумал Фикри-эфенди. С виду она ничем не отличалась от других пришлых женщин. Та же смуглая кожа, вернее, даже не смуглая, а обожженная до черноты палящими лучами солнца. Однако Фикри-эфенди все-таки заметил, что под коленками кожа у нее светлая, а сквозь черную, порванную во многих местах одежду, проглядывают ярко-белые пятна, точно кружки света, падающего на землю через отверстия в крыше.

Долго и пристально глядел управляющий на лежащую, уверенный, что она рано или поздно почувствует его присутствие и поднимется. Но этого не случилось. Азиза спала как мертвая. Тогда Фикри-эфенди приказал: — А ну, встань-ка! — и легонько подтолкнул ее носком сапога.

Она не ответила и не встала, а только повернула голову и взглянула на управляющего. Уж лучше бы она этого не делала! Багровое лицо, глаза, налитые кровью, вот-вот выскочат из орбит, зубы выстукивают дробь... Машинальным движением Фикри-эфенди приложил ей ко лбу свою потную волосатую руку и, как ужаленный, отдернул ее.

— А ведь и верно, горячка у нее!

— Вот уже два дня, как не встает,— поддакнул старшой.— Плохо ей! Да ваша милость и сами видят!

— А что толку, что вижу? Ведь помрет она!

Арафа смекнул, что момент подходящий и ввернул:

— Так что, если прикажете удержать с нее, то как будет угодно...

Расчет оказался верным. Фикри-эфенди яростно замотал головой и забормотал:

— Что с вами поделаешь? На все воля божья!

Это означало, по крайней мере, что Азизе разрешается лежать и что деньги ее останутся при ней.

Долго еще стоял управляющий, не трогаясь с места, словно не знал, что ему теперь делать, и то глядел на женщину, скорчившуюся черным комочком у его ног на голой земле, то на пришлых, то вдруг уплывал взглядом в отвратительно яркое безбрежье полей.

И в этот самый миг женщина дико вскрикнула, как, бывает, неожиданно резко свистнет паровоз, и, вырвав из земли конопляный стебель, яростно вцепилась в него зубами.

— Клубень батата* во всем виноват, миленькие! — завопила она.

Фикри-эфенди в страхе попятился, а старшой, немного придя в себя от неожиданности, объяснил:

— Вы уж не взыщите, ваша милость... Она у нас... того... заговаривается. Горячка ей в голову ударила... Ничего не помнит... День и ночь вот так бредит... По всему видать, тяжело ей в жизни пришлось... да поможет ей аллах!..

---

* Сладкий картофель.

XIV

Даже будучи в полном здравии, Азиза не могла бы сойти за красавицу. Высокая, худая, с неизменной черной повязкой на голове, длинноволосая, с ввалившимися глазами, на одном из которых к тому же еще бельмо — последствие давней трахомы,— такою знали ее люди. Но не всегда Азиза была такой. Когда-то и она была миловидной девушкой, с мохнатыми ресницами, густыми волосами и высокой грудью, когда-то и она подводила сурьмой глаза, и на нее заглядывались парни, если она, задорно постукивая деревянными подошвами своих башмаков, проходила мимо. Да, так было, пока не выдали ее замуж за Абдаллу. И сговор у нее был, и хна*, и пир, и брачная ночь, и подарки гостей, и горячая вода, которую свекровь принесла ей в первое утро ее медового месяца, а он всего-то и продолжался одно-единственное утро. Уже на следующий день она вышла в поле. У мужа своей земли не было, и в аренду он тоже не брал. Он нанимался поденно — сегодня есть работа, завтра нет. Только и жил надеждой на сезонные работы, когда его нанимал подрядчик хаджи Абдель Рахим и вместе с другими отправлял на повозках в далекие поместья — в Дакахлию или Шаркию, а бывало, даже в аль-Фаюм или Бени-Суэйф. Вот куда случалось забираться!

Ну а как женился Абдалла на Азизе, один уже больше не ездил, а брал с собой жену. И получали они теперь не на одного, а на двоих. Долгие счастливые годы провели они так, разъезжая на повозке по белу свету: не много нажили, зато многое повидали. Потом пошли у них дети — маленький Абдалла да две девочки, Нахия и Зубейда. Так и жили: что заработают в сезон уборки хлопка, тем и сыты целый год. Нелегко, конечно, приходилось, еле-еле концы с концами сводили. Бывало, на одном хлебе да соли сидели, однако ничего, не жаловались.

Но, как всегда бывает, случилась беда: муж занемог. Началось с того, что закололо у него в животе с левой стороны, потом с правой, и вскоре живот раздулся, как барабан. Велели ему прижигать, он прижигал. Сначала сказали, что это бильгарциоз, потом — что воспаление селезенки. Из сил выбился ходить в район, в больницу, где его поили какой-то отравой и кололи иглой в руку, да так больно, что порой он на крик кричал, а иной раз падал без памяти, и на него брызгали водой, чтобы пришел в себя. Ходить туда надо было через день. Вставать приходилось засветло, чтобы к семи часам уже быть на месте, а не то очередь пройдет. Возвращался Абдалла только к вечеру. Бывало, плетется еле-еле, уцепившись за седло какого-нибудь осла, или пройдет шаг-другой и отдыхает по часу.

Но несмотря на лечение Абдалла таял на глазах, как будто умирал медленной смертью, и никакая сила на земле не могла возродить его к жизни. А потом окончательно слег от водянки. Но по правде-то говоря, не болезнь подкосила его и уложила в постель. Во всем виноват был подрядчик хаджи Абдель Рахим. Вот кто окончательно его добил, прогнав однажды с повозки. Не помогли ни мольбы, ни просьбы. Да и зачем подрядчику такой работник, которого все равно забракуют в поместье? Азиза заплакала и тоже слезла с повозки. Люди говорили: «Поезжай хоть ты!» Но она отказалась. Решила: пусть уж этот год так пройдет, а на следующий опять вместе поедут. Абдулла рассердился и тоже сказал: «Поезжай хоть ты!» Но она ответила: «А на кого я тебя оставлю?» Так и не поехала.

Ходила по соседям печь хлеб, собирала и продавала навоз, возила на базар дрова и, бывало, выручала куруш, а то и два. Каждую неделю

* Египетский народный обычай: после сговора жениху и невесте мажут ладони и ступни ног хной.

или раз в десять дней получала поденные. Дома ее ждал Абдалла. Он лежал в крытом дворике, и голос теперь у него был слабый, а живот непомерно большой. Обхватив одной рукой, желтой и потной, маленького Абдаллу, а другой — его сестер, он думал о том, какой стал больной и слабый, и если б не Азиза, все бы они померли с голоду. С этим он никак не мог примириться. Он стонал, сжимал кулаки и, глядя на прохудившуюся крышу большими глазами, которые от болезни стали еще больше и горели странным блеском, бормотал:

— Так, значит, господи... Выходит, угодно тебе, чтобы жена меня кормила...

Эта мысль не давала ему покоя. Азиза тоже вначале страдала, видя, какой он лежит желтый, раздутый и беспомощный. Но время — великий лекарь. И скоро Абдалла уже не мучился мыслью о том, что его кормит жена, а Азизе перестал казаться странным и отвратительным вид больного мужа. Жизнь пошла своим чередом. Для Азизы вошло в привычку уходить с рассветом и никогда не возвращаться домой с пустыми руками, для Абдаллы — караулить пустой дом, смотреть за ребятишками и, улучив момент, глотнуть воды, которую прятала от него Азиза, когда бывала дома: ей сказали, что, если не давать мужу пить, он поправится.

Все это стало настолько обычным, что однажды Абдалла даже сказал жене капризным тоном, каким, бывает, говорит человек, измученный и истощенный болезнью:

— Азиза, сил нет, до чего батата хочется...

Просьба больного — святое дело, ему ни в чем не должно быть отказа. Может, человек на поправку пошел, а может, в последний раз хочет поесть перед смертью. И Азиза сказала:

— Родной ты мой... да я сейчас... Да я в минуту...

А батата в деревне не было. Собственно, был на одном поле, у Амарейна, но его давно выкопали, продали и собирались засеять поле кукурузой. А если все-таки попробовать? Она знала, что уже после того, как вырыли батат, жители деревни перекопали все поле вдоль и поперек,— вдруг где-нибудь да недоглядел хозяйский глаз, вдруг попадется клубень-другой? Так что надежды на удачу у нее не было никакой. И все-таки, решила она, раз Абдалла просит, она достанет ему батат, чего бы это ни стоило.

Азиза взяла мотыгу, заржавевшую от редкого употребления, отправилась на поле Амарейна и, выбрав место, где как-будто немногие копали до нее, принялась за работу. Выкопала яму глубиной в метр — ничего. Перешла в другое место, поковыряла там — тоже ничего. То есть, вернее сказать, попадалось многое — корешки старых растений, разбитые черенки, реже — кусочки железа, только батата не было.

И пока она, подвернув подол и подвязав его у пояса, рыла мотыгой землю, задыхаясь от усталости, перед ней вырос всадник.

— Ты что тут делаешь, а? — услышала она.

Еще не поднимая головы, она поняла, что это Мухаммед, сын Амарейна. Она опустила мотыгу, вытерла пот со лба и, честно рассказав ему обо всем, попросила разрешить ей поискать еще. Мухаммед долго говорил о том, как это нехорошо копать поле — мол, портится почва, погибнет урожай. Но она опять стала просить и умолять и под конец даже заплакала. Мухаммеду, видно, стало ее жаль, и он не только разрешил ей копать, но великодушно предложил:

— А ну-ка, отойди, я сам!

Он скинул рубаху, взял у нее мотыгу, опытным глазом огляделся вокруг и, выбрав подходящее место, принялся копать. Азиза сидела поодаль и наблюдала. Что и говорить, мужская сноровка не чета жен-

ской! В ее руках мотыга и тяжела, и неподатлива, а в мужских руках совсем другое дело. Ишь как ловко держит, сразу видно — мужчина! Вот так же и Абдалла работал, когда был здоров. У него тоже вот так раздувались икры и перекатывались упругие шары мышц на руках. И он тоже тяжело дышал, как дышит мужчина, когда работает,— степенно, сильно и ровно..

Мухаммеду Амарейну было двадцать лет, и люди уже поговаривали о его предстоящей женитьбе на какой-то родственнице. Жил он скромно. Сидел дома или работал в поле, не знал никаких кофеен и не чесал попусту языком, как это водится у парней и прочих деревенских бездельников. Но при этом славился Мухаммед своей дикой грубостью. Не моргнув глазом, он мог, например, осыпать женщину самой скверной бранью. Слава всевышнему, с ней он обошелся по-хорошему, не ругался, да еще молодец какой: сам вызвался помочь ей искать клубни!

Мухаммед замахнулся посильнее, ударил пару раз и засмеялся. Еще никогда не приходилось Азизе слышать, как он смеется.

— Держи!

И протянул ей маленький клубень, которому она обрадовалась, как дару с неба, и уже кинулась было бежать с находкой к Абдалле, но Мухаммед сказал: «Подожди!» Копнул разок-другой и вынул еще клубень, да такой, что Азиза оторопела — огромный, размером с кулак, а может, и больше!

Рассыпаясь в благодарностях и пожеланиях всяческого добра Мухаммеду, Азиза бережно завернула клубни в шаль и, не помня себя от радости, заторопилась домой. Солнце уже почти село, на землю опускался вечер, и пока она доберется до деревни, станет совсем темно. Поглощенная своей радостью, она не заметила возле себя яму и, к ужасу своему, вдруг провалилась по пояс в землю.

Что случилось потом, она так и не поняла до конца — все произошло слишком быстро. В одно мгновение он был уже рядом. Сильные руки подхватили ее, и она вздрогнула, вдруг почувствовав себя в объятиях чужого мужчины. Правда, мужчина этот был всего лишь улыбавшийся Мухаммед, и она зря перепугалась. Но в душу ей почему-то закралось сомнение, которое стало еще сильнее, когда она поняла, что Мухаммед и не собирается помогать ей. В ужасе Азиза пыталась оттолкнуть его, сопротивлялась как могла. Но сама понимала, что сопротивляться бесполезно. Она не знала, чем объяснить внезапную слабость, охватившую ее, когда она оказалась в его объятиях. Она хотела бороться и не могла, была готова драться до последнего и не находила в себе сил. Закричать? Но тогда сбегутся люди, и она будет навеки опозорена. Молчать? Кусаться? Даже платье, единственное ее платье, и то он изорвал в клочья. И она, сжав зубы, перепуганная и потрясенная, в бессильном отчаянии скулила, пока он не встал. В ярости она обрушилась на него с бранью, но что толку браниться?

Не говоря ни слова, он огляделся по сторонам. Кругом не было ни души, только где-то вдалеке гнали скот. И он набросился на нее снова. На этот раз она успела бы вскочить и убежать от него, а если надо, могла бы и мотыгой ударить. Но она почему-то не сделали ни того, ни другого, а лишь по-прежнему жалобно скулила, как будто понимала, что в случившемся есть и доля ее собственной вины.

■

Абдалла обрадовался батату, и дети тоже ели, да и самой Азизе достался кусочек. Несколько дней ее преследовали воспоминания о случившемся, и она стыдливо прикрывала лицо, проклиная себя, и молодого

Амерейна, и Абдаллу с его бататом... Слава аллаху, что еще никто не видел, а Мухаммед, если и начнет болтать языком, никто ему все равно не поверит. Еще через несколько дней она и вовсе перестала об этом думать. Ничто так не отвлекает, как вечные заботы о куске хлеба. Пусть занимаются праздными воспоминаниями те, кому нечего делать. А она как угорелая мечется день-деньской, стараясь хоть как-нибудь прокормить семью. Вечером, разбитая от усталости, она возвращается домой и без сил валится на соломенную подушку, погружаясь в тяжелое забытье, которое крепче, чем сон. Валится, чтобы с зарей вскочить снова, повинуясь тайному зову безотказного будильника — мыслям о куске хлеба, которого нет, о доме, который пуст, и голодных утробах, которые надо насытить.

Даже когда в положенное время не наступило обычное женское недомогание, она не встревожилась и не насторожилась. Такие вещи случались и прежде — несколько месяцев нет, а там, глядишь, опять все в порядке. Она спохватилась только, когда уже начала ощущать беременность. Но и тут, хотя все признаки были налицо, она упорно отказывалась верить. Да разве ж так бывает, чтобы случайно, от одного или двух раз?.. И подумать только, все из-за несчастного клубня!

Но больше всего ее страшила мысль об Абдалле. Он не прикасался к ней с тех самых пор, как родилась младшая дочь Зубейда. И все об этом знают. Что скажет Абдалла, и что подумают люди? Конечно, он не убьет ее — для этого он слишком слаб. Люди тоже ее не убьют — не посмеют. Но, наверно, смерть была бы легче, чем позор, когда все станет известно.

Выходит, во что бы то ни стало надо избавиться от нежданной напасти, что сидит где-то там, в животе, растет с каждым днем и не успокоится, пока не погубит ее, Азизу.

Она перепробовала все средства — и стебли проскурняка, и жернов, которым мяла живот. Даже с крыши прыгала — все было напрасно. Проклятый змееныш, ничто его не брало, и он рос себе и рос, а там еще и брыкаться начал, того и гляди выдаст! Единственное спасение — толстый пояс, и Азиза яростно перетягивала себе живот, как будто хотела задушить гаденыша еще в утробе и прикончить его, пока он сам ее не прикончил.

Пояс очень помогал ей. Азиза никогда не забывала надеть его так, чтобы черная широкая рубаха свисала впереди, образуя большой напуск. Правда, этот же пояс доставлял ей немало мучений. Но что поделаешь, приходилось терпеть. А уж как хотелось подчас отвести душу и кому-нибудь пожаловаться! Но она, стиснув зубы, молчала. И только ночью украдкой, как вор, она забиралась на крышу и там, развязав пояс, дышала полной грудью и воздевала руки к небу, моля всевышнего о спасении если не ради нее самой, то хотя бы ради беспомощного, прикованного к постели Абдаллы.

Она молила об этом каждую ночь, каждую минуту, но все мольбы оставались без ответа. А потом настал сезон работ, и побежали по деревне глашатаи: «Поденные по семь курушей... Получка каждые полмесяца... Кто слышал, пусть скажет тем, кто не слышал!..»

На этот раз она должна была ехать, иначе всем им конец. В прошлом году они узнали, почем фунт лиха — едва не передохли все с голоду. Нет, нет, теперь она обязательно поедет! — И Абдалла тоже так считал, и люди ей советовали. Да она и сама, без их советов решила: поеду и все тут!

Она собрала еды на дорогу, пожала на прощанье руку Абдалле, обняла и расцеловала детей, всплакнула, дети тоже заплакали и стали приставать, чтобы она взяла их с собой до аль-Халазона.

Люди набились в повозку, возница крикнул: «Поехали!» — и повозка тронулась. Заревели глотки, полились песни про любовь, разлуку и жестокую судьбу. Самое странное, что Азиза, которая сперва судорожно всхлипывала, вскоре успокоилась и принялась петь вместе со всеми, все яснее сознавая, что покидает край нищеты, болезней и всяких там клубней батата и едет навстречу новой спокойной жизни.

А потом — потом началась работа, и Азиза забыла и себя, и Абдаллу, и родную деревню. Иногда, правда, она вспоминала про свой живот, стянутый тугим поясом, но чаще и об этом забывала в бесконечном однообразии будней: на заре стояла в поле, согнувшись над межой, на закате жевала хлеб. Днем — черви, пот, тонкий хлыст и резкие удары до боли в костях, ночью — тяжкое забытье, усталость и непонятные страшные сны.

Но однажды в полдень ей пришлось вспомнить обо всем. Мысль сверкнула, как острие предательского кинжала, занесенного над жертвой: схватки! Они дали о себе знать тянущей болью, которая рождалась где-то в пояснице, а потом опоясывала весь живот, сжимая его как тисками. Проклятый змееныш, которого она носила в себе, бился внутри и рвался на свет, рвался настойчиво и упорно, не утихая, и с каждым разом бил все больнее, как будто решил разорвать ее на части.

Никто из ее товарок ничего не заметил. Да и как заметишь, если все они привыкли видеть друг друга только со спины, или когда спали вповалку, или когда брели на работу, не успев протереть как следует глаза, или возвращаясь с поля, полуслепые от усталости и грязи. И потом, у каждого свои заботы, и каждый занят сам собой. Иной раз и охнуть некогда, не то чтобы по сторонам глядеть.

Они узнают обо всем завтра. Но самое страшное не это. Самое страшное ждет ее впереди, когда она вернется вместе со всеми в деревню, к Абдалле, вернется как мать ребенка, рожденного не от мужа. Кажется, сама смерть была бы легче, чем такой позор!

А схватки все учащались. Когда раздался свисток старшого, возвещая окончание работ, Азиза была бледна как полотно. Но даже и тогда соседка ничего не заметила: превозмогая муки, Азиза молчала. Вместе со всеми она покинула поле, помылась и отправилась домой. Изредка она останавливалась, пережидая боль, и снова шла дальше. Она даже поужинала вместе со всеми. Ей хотелось только одного — поскорей развязать тугой пояс, который мучительно давил живот, и от этого всякий раз, как начинались схватки, Азиза испытывала невыносимую, нечеловеческую боль. Она сама не понимала, откуда взялись у нее силы терпеть, не выдавая себя ни звуком, ни жестом. И подумать только, все из-за несчастного клубня! Клубня? Нет, все случилось потому, что на какой-то миг она раскисла. Миг, один-единственный миг, но он неотступно преследует ее вот уже семь месяцев. И зачем только она позволила Мухаммеду такое над собой сделать? Она пробовала успокоить себя, говорила, что все произошло против ее воли. И сама же себе отвечала: но ведь я даже не сопротивлялась. А теперь поделом мне. Всевышний меня за это накажет!

В отчаянии она упрекала себя: ведь я же знала, знала, что это грех! Знала, а все-таки не защищалась, как сделала бы другая на моем месте. И кричать не стала, позора испугалась. Ну а теперь, вот тебе позор пострашнее! Срамись, Азиза, упивайся своим позором! Если б не твоя минутная слабость, ничего бы не случилось. Миг, всего лишь миг слабости... И кто стал жертвой? Ты, которая долгие ночи боролась сама с собой, подавляя в себе желание, потому что Абдалла был прикован к постели. Не потому ли наступил этот миг, что у тебя не осталось больше сил бороться, и Мухаммед Амарейн сумел без труда тобой овладеть?

Надо было дождаться, пока все улягутся спать, уйти подальше и там родить. Но в таком деле, как роды, загадывать трудно. Жестокая сила, бушевавшая внутри, в любую минуту могла вырваться наружу. А соседки еще не спят, да и вообще почти никто не ложился. И вот уже какие-то женщины спрашивают, что с ней такое, почему одежда на ней влажная и почему сама она горит, как в огне? Азиза сослалась на головную боль, но про себя решила, что ждать больше нельзя. Еще, чего доброго, не успеешь уйти и родишь прямо здесь, у всех на виду!

Она с трудом поднялась. Никто не обратил на нее внимания, решили: отправилась по нужде.

Не прошла она и нескольких шагов, не успела скрыться в темноте, как новая жестокая схватка скрутила ее. Но все-таки она не забыла захватить с собой обгорелую ивовую щепку.

Она добралась до канала, но не остановилась, а пошла вдоль берега. Надо было отойти подальше. До нее все еще доносились голоса, и, если бы не мрак, отделявший ее от лагеря, люди без труда могли бы ее заметить и обо всем догадаться.

Наконец она поняла, что больше идти не может. Тогда она присела на корточки, взяла щепку в зубы, и всякий раз, как новая схватка настигала ее, заставляя корчиться от боли, она изо всех сил вгрызалась в щепку и царапала землю руками, выжимая досуха сырую прибрежную глину.

..Наконец ребенок выскочил... И сразу Азизу покинули последние силы. У нее помутнело в глазах, и на минуту она лишилась чувств, но тут же пришла в себя, явственно услышав жалобный писк. Это он, ее ребенок, кому же еще пищать в такой час? Потом он закричал, и, хотя крик был слабый, он показался ей громом — не приведи господь, услышат! Она растерялась. До сих пор все ее существо жило одной мыслью, одним желанием — поскорее избавиться от подлого червяка, который столько времени точил ее изнутри, бросить его, а там будь, что будет! А теперь, когда она наконец от него избавилась, он кричит — того и гляди, опозорит перед людьми! Семимесячный, а туда же, горланит! Дрожащей рукой она коснулась комочка, лежавшего рядом, нащупала его рот и бессознательным движением сунула туда мизинец. Рот. Обычный беззубый рот новорожденного, который, едва почувствовав ее палец, задвигался, зачмокал и принялся сосать. Всего лишь мгновение, но этого было достаточно. Из маленькой нежной живой норки какой-то неведомый ток пробежал по пальцу, по руке, по всему телу, рождая странное, непонятное ощущение. И вдруг — будто молния сверкнула — Азиза поняла, что, несмотря на все трудности, на все тяготы и страдания, это ее сын, ее собственная плоть и кровь! Она не думала и не понимала, что делает. Рука сама по себе, повинуясь безотчетному чувству, ласково потянулась к новорожденному, но тут же испуганно отдернулась — ребенок опять закричал. И тогда рука торопливо зажала его рот. Маленькое отверстие отчаянно дергалось, стараясь высвободиться, но пальцы сжимали его все крепче и крепче: Азиза боялась убрать руку — неровен час, опять закричит!

Внезапно она опомнилась — ребенок перестал шевелиться и как-то странно затих... Не удержавшись, она хрипло вскрикнула и в ужасе попятилась. Еще некоторое время, оцепенев, она стояла поодаль, не в силах сдвинуться с места, а потом, дрожа от страха и спотыкаясь, со всех ног кинулась прочь...

...Она заползла на свою подстилку из рисовой соломы. Все уже спали. Камень, служивший ей изголовьем, не видел ее слез, а Умм Хасан — ее соседка, не слышала стонов... Она так и не заснула: всю ночь

огромный паровоз, шедший в Дельту, настигал ее сзади и сплющивал, прижимая к платформе...

А на рассвете нечеловеческим усилием воли она заставила себя выйти в поле и, согнувшись над межой, помутневшими глазами искала червей.

■

Все случилось именно так, как ей хотелось. И хотя, когда приехал управляющий, у нее похолодели руки и ноги, а сердце часто-часто забилось, она и тут сумела овладеть собой и прошла перед ним так, что он даже не остановил на ней взгляда. Никому и в голову не пришло заподозрить ее, когда приехала полиция. К следователю и то ее не вызвали. Вечером, когда она вместе со всеми возвращалась с поля, ей почему-то захотелось пойти не той дорогой, как обычно, а по берегу канала. Зачем? Этого она и сама не знала. И она пошла, но на полпути вдруг испугалась и повернула обратно.

Вместе со всеми она поужинала. Странно, в тот вечер у нее вдруг появился аппетит. Потом она забралась на свою подстилку, положила под голову камень и целиком отдалась счастливому сознанию, что ускользнула, что все сошло как нельзя лучше. И эта радость была так велика, что усыпила ее крепче снотворного, заставив позабыть про все печали.

На заре она проснулась вместе со всеми, и, когда на землю упали первые лучи солнца, ей показалось, что все ее невзгоды остались позади. Она чувствовала себя свободной и легкой, как перышко. Никто не будет над ней злорадствовать и попрекать ее змеенышем, который едва не свел ее в могилу. Жизнь прекрасна, все будет так, как ей захочется, и вообще всевышний, видно, не покинул ее в беде.

По дороге в поле она первый раз за все это время вышла из состояния постылого одиночества, на которое сама себя обрекла. Она словно опьянела от мысли, что стала опять такою же, как все, что больше не нужно никого бояться и ни от кого прятаться, что можно со всеми разговаривать, смеяться, шутить.

Может быть, впервые за многие месяцы она вымыла голову и распутала волосы. Против обыкновения, она, не умолкая, болтала и была так весела, что, когда пришлые затянули на поле песню, в запеве которой парень перекликается с девушкой, а припев подхватывает хор, Азиза пела вместе со всеми.

■

Однако случилось не совсем так, как ей хотелось.

Дня через два она почувствовала жар и острую боль в суставах. На третий день жар превратился в пылающий огонь, буквально сжигавший ее изнутри и снаружи.

Началась горячка...

Азиза этого не знала. Больше того, она решительно не видела никакой связи между своими родами в открытом поле, на берегу и тем, что с ней происходило. Она знала одно: тело предательски отказывалось ей повиноваться, и вряд ли она сумеет выдержать свою роль до конца.

Но никакие страдания и никакой жар не могли заставить ее бросить работу. И она, как прежде, вместе с другими выходила в поле и, согнувшись, стояла над межой. Свет мерк у нее перед глазами, она чувствовала, что вот-вот упадет, но собиралась с силами и заставляла себя работать, работать... Она не знала в точности, когда это случилось,— на

четвертый или на пятый день. Стоя, как всегда, на меже, она вдруг услышала: «Что с тобой, Азиза?» Но не ответила, потому что упала. Придя в себя, она обнаружила, что лежит под навесом, и подняла крик, что они нарочно ее сюда положили, чтобы не дать ей работать. Но она все равно работать будет, будет, и никаких! Она даже пыталась встать, но силы изменили ей, ноги у нее подкосились, и она опять упала. Очнулась она от того, что кто-то брызгал ей в лицо водой.

И хотя ее бил озноб, в горле пересохло, а все тело ломило от жара, она не переставала радоваться.

Как-никак, а все-таки она их перехитрила, и никому даже в голову не пришло, что она-то и есть мать подкидыша.

■

Но хитрость ее раскрылась, потому что случилось то, чего Азиза никак не могла предвидеть: она стала бредить...

Умм Хасан, спавшая рядом, с удивлением услышала непонятные слова о каком-то клубне, о Мухаммеде Амарейне, Абдалле и новорожденном, который никак не желал молчать и все кричал. Женщины подхватили эти бессвязные слова, стали перешептываться, кое-что добавили от себя, и в конце концов тайна Азизы стала известна всем.

Новость побежала от соседа к соседу, поползла между корзинами, запрыгала от очага к очагу, зашуршала по соломе, залетая в каждое любопытное ухо. А недостатка в любопытных ушах, надо сказать, не было. И каждый, узнав новость, раздумывал и сомневался, не зная, чему здесь верить, а чему нет. И все-таки новость не вышла за пределы лагеря. Все дружно скрывали ее, как будто это была общая тайна или общий позор, который надо хранить в секрете, подальше от людских глаз, языков и ушей. Да и между собой они говорили об этом сдержанно и осторожно. Мужчины только сокрушенно щелкали языками — с них было достаточно того, что произошло и происходит с Азизой, а лишние слова — что в них толку? Женщины же, позабыв обо всем на свете, принялись ухаживать за больной, кормить ее и поить, подменяя ее на работе в поле, и только, если появлялся надсмотрщик или управляющий, выпускали ее для виду на межу.

Когда новость дошла до Арафы, он держал совет с мужчинами постарше, и было решено Азизу на работу не брать, а положить ее под навесом. Она же — ни в какую. И только после того, как ей сказали, что деньги ее не пропадут и она получит все сполна, Азиза согласилась. Больше всего боялась она, что заработок пропадет, и тогда Абдалла и дети помрут с голоду.

И вот тут, когда все страхи, казалось, были уже позади, болезнь обрушилась на нее с новой силой, словно только и дожидалась этой минуты. И Азиза впервые поняла, что больна не на шутку и так слаба, что не может пошевелить ни ногой, ни рукой.

XV

Хотя управляющий и узнал правду раньше других, к тому времени, как он добрался до дома, там все уже было известно. Слишком долго люди ждали этой новости, слишком велико было их нетерпение. Обитатели поместья ликовали. И не только потому, что тайна, мучившая их, была наконец разгадана, но и потому, что опасения их оказались напрасными и все случилось именно так, как им того хотелось. Теперь можно спать спокойно. Они вновь обрели веру в самих себя, в доброде-

тель своих жен, стойкость собственной морали, веру, которую едва не пошатнули сомнения и на которую посягали языки с той самой минуты, как караульщик Абдель Мутталиб наткнулся на подкидыша.

Радость, с какою новость встретили в поместье, была так велика, что, казалось, не будь в природе никакой Азизы и никакого клубня, кто-нибудь непременно придумал бы эту Азизу и приписал бы ей историю если не с клубнем батата, то с початком кукурузы. Все равно, какая-то версия в конце концов оказалась бы правдой. Ведь людям надо во что-то верить, хотя бы в небылицу — неважно, силой веры даже небылица неизбежно превращается в истину.

Ликование охватило всех — и крестьян, и мастеровых, и служащих конторы. Прохожие, встречаясь на улицах, кричали друг другу:

— Ну, что я тебе говорил? Клянусь, я первый сказал, что это чужаки, не иначе... Так оно и вышло!..

Собеседник тоже клялся и тоже бил себя в грудь, и разговор переходил от подкидыша к чужакам, которые одни во всем виноваты.

Не успев еще успокоиться за себя, обитатели поместья занялись чужаками, которых прежде и не замечал никто — живут себе и живут, и никому нет до них никакого дела. Теперь же после истории с Азизой и подкидышем чужаки стали притчей во языцех.

О них говорили все поголовно, даже самые солидные арендаторы и крестьяне. Гадливость и скрытое отвращение, которые они питали к чужакам, теперь прорвались наружу, и само упоминание о пришлых неизменно сопровождалось ругательствами и плевками. Да что там говорить, одно слово — зараза, и никуда от нее не денешься! И подумать только, эти подонки, совершив такой грех, еще пытались приписать его честным людям! Да, эти пришлые — они все дети греха, а чего хорошего можно ждать от тех, кто рожден в грехе? А женщины, те не только соглашались во всем со своими мужьями и отцами, но, самое удивительное, негодовали при одной мысли, что пришлые тоже, видите ли, рожают детей, как будто это уже само по себе было смертным грехом.

■

В тот день Масиха-эфенди вернулся домой как никогда веселый и на радостях даже впал в безрассудство: велел жене зарезать курицу и приготовить обед побогаче.

Услышав это, Димьян подпрыгнул от восторга. Не в том дело, что ему, как всегда, достанутся и крылышки, и шейка. Нет, он ликовал потому, что будет щипать курицу и, самое главное, вскроет ножом ее зоб. А уж как это приятно, вынуть у курицы или у утки потроха, взять зоб, осторожненько вспороть его ножичком, наощупь выбрать оттуда маленькие камешки и потом руками снять пленку — легонько так, аккуратно, и всю сразу, чтобы не порвалась. Зобик станет чистенький, мягонький — ну как тут удержаться и не проглотить его сырым?

Масиха-эфенди и Линду приласкал. Та засмеялась — отец редко ласкал ее — и, воспользовавшись случаем, тут же попросила разрешения проведать Умм Ибрагим, жену богослова. Бедняжка заболела и присылала за ней. И хотя обычно Линда ходила в гости только в дом управляющего или на свадьбу к богатым крестьянам, когда ее приглашали, Масиха-эфенди был сегодня в таком настроении, что готов был разрешить ей все что угодно, даже самую последнюю глупость. Он косо взглянул на жену, как бы спрашивая ее мнение на этот счет. Та подняла брови, отчего ее длинная шея, казалось, стала еще длиннее, и сказала:

— Как хочешь...

И Масиха-эфенди весело распорядился:

— Ладно... Ступай, Липда, только смотри, не заразись!.. У этих крестьян полным-полно микробов...

■

Больше всех должен был радоваться открытию Фикри-эфенди. Ведь это он первый смекнул, что виноваты пришлые, это он не покладая рук доискивался истины и не успокоился, пока наконец не нашел преступницы среди чужаков. И все-таки управляющий отнюдь не ликовал и не радовался. Напротив, чернее тучи возвращался он в поместье и, казалось, был чем-то разочарован и озабочен.

По пути ему встретился Махбуб, местный почтальон.

Он опять был со своей Закией после того, как управляющий сам, что называется, вправил ей мозги и помирил с мужем, заставив при себе целовать Махбубу ноги, а тот в ужасе сопротивлялся, крича, что она потом за все отыграется на нем дома, когда никого не будет. Хотя рабочий день его кончился еще тогда, когда прошел четырехчасовой поезд, Махбуб нес под мышкой свою неизменную сумку: он почему-то не любил с ней расставаться. Как-никак, а такой сумки не было ни у кого другого в поместье, и сознание этого наполняло сердце почтальона особой гордостью.

Завидев озабоченного управляющего, Махбуб, по обыкновению, захотел развлечь его и рассказал, что с того самого дня, как приключилась с ним эта история, он учится грамоте у самого шейха Абу Ибрагима, богослова. Так что теперь уже Закие не удастся его одурачить!

Но управляющий не улыбнулся и даже не ответил почтальону. Приехав домой, он спрыгнул с седла и тут же распорядился, чтобы жена подала ему кофе. Однако когда она вошла, Фикри-эфенди спал крепким сном, и она решила его не будить.

...И приснился Фикри-эфенди странный сон. Будто лежит он с Азизой под навесом, а все пришлые на них смотрят. И муж ее, с огромным раздутым животом, тоже стоит здесь же и тоже глядит на них, но ничего не делает, а только приговаривает:

— Ай-яй-яй, ваша милость... И не стыдно вам?.. Ведь она же больная!..

Фикри-эфенди проснулся в холодном поту...

■

Целый день проклятия так и сыпались на головы пришлых. Даже Гунеди, владелец лавки, единственный человек, кому пребывание чужаков в поместье давало доход,— даже Гунеди и тот проклинал их на чем свет стоит и с отвращением морщился, уверяя, что ему противно дотрагиваться до их гнусных никелей и миллимов, как будто даже деньги чужаков были порождены грехом, для греха созданы, и касаться их было тоже грешно.

И лишь ребятишки имели на этот счет свое собственное мнение, правда, только вечером. Днем они, как и все, встречали пришлых женщин улюлюканьем и свистом. Но наступал вечер, и все менялось. Как и все дети, ребятишки поместья любили играть по вечерам. Вечер — это когда все вокруг озаряется лунным светом, вечер — это таинственные шорохи, лягушачье кваканье и удивительные запахи, которые появляются только с наступлением темноты. Даже посевы в поле и те благоухают, словно приберегают для вечера самые сладкие свои ароматы. В этот час детвора забывает минувший день с его ссорами и не думает про огорчения грядущего дня. В этот час ребята чувствуют, что они дети

этого вечера, братья лягушек и звезд, возлюбленные луны, и... играют... Играют в жмурки, в салочки, в солдат и разбойников, в «стук-стук, я первый!». Сыграют в одну игру, надоест им, и они с шумом и смехом переходят к другой, беспечные и веселые.

Но в тот день кому-то из мальчишек пришла в голову смелая мысль: а не пойти ли к пришлым, не посмотреть ли, как играют их ребята? Предложение было встречено таким ревом одобрения, что парень даже смутился. Честно говоря, он сам немного трусил, потому что детям поместья строго-настрого запрещалось не то что играть, но и близко подходить к пришлым. Никто из ребят не спрашивал о причине запрета и не вступал на этот счет в пререкания с родителями. Сказано нельзя — и все! Да разве посмеешь спорить с отцом, если он сказал — грех? Когда говорят такие слова, детям положено слушаться, а не спрашивать отчего да почему.

И все же ребята, ликуя, поддержали затею своего товарища, хотя знали, что нарушают запрет. Когда же оказалось, что в своем ликовании они едины, энтузиазм возрос еще более, словно грех, получив всеобщую поддержку и одобрение, переставал быть грехом, а становился самым что ни на есть распрекрасным деянием.

И вот они, сгорая от нетерпения, уже мчатся наперегонки к лагерю чужаков, убежденные, что увидят там чудо или хотя бы ту женщину, которую их отцы с матерями поливают самыми грязными ругательствами и обвиняют в самых ужасных преступлениях.

Они пересекли каменную плотину, что отделяла деревню от зданий конторы, господского дома, лавок и тока с амбарами, добрались до последнего амбара и тут увидели корзины и кувшины, разбросанные будто бы нарочно, чтобы в темноте можно было отыскать лагерь чужаков.

Ребята притихли и дальше пошли уже крадучись, на цыпочках, по одному. Надо было пробраться туда, где играют пришлые мальчишки, а они-то, конечно, играют в риге. Страшнее всего было, когда шли мимо спящих пришлых: как будто джины раскинули свой лагерь. Но, несмотря на страх, ребята просто умирали со смеху: со всех сторон доносился нестройный храп, очень похожий на кваканье лягушек в канале. Самое смешное, что лягушки, наверно, перекликались с храпящими чужаками. Стоит кому-нибудь захрапеть погромче, как ему сразу отвечает лягушачий хор.

Пришлые мальчишки и впрямь играли в риге, подальше и от спящих родителей, и от того места, где играют ребята поместья. Им никто не запрещал играть с местными ребятами, но они по поведению взрослых сами раз и навсегда поняли, что лучше этого не делать, и старались держаться подальше и от поместья, и от его детворы.

Некоторое время местные стояли и смотрели издалека, словно боялись: а вдруг чужаки рассердятся? Когда же этого не случилось, они осторожно и робко подошли поближе и принялись разглядывать ригу. Огромный сарай, и в нем такие же огромные стога соломы, и молотилка, такая высокая, что почти упирается в крышу. И снопы пшеницы, тоже огромные, и норати * тут же стоят: если кто не хочет, чтобы его зерно молотили машиной, молотят норагом, хотя это и дольше по времени. Но люди верят, что зерно, смолотое норагом, лучше, да к тому же машина так быстро вертится, что, поди, добрая треть зерна ни за грош пропадает.

Чужаки выбрали для своих игр пустую, довольно обширную площадку, со всех сторон окруженную снопами пшеницы и стогами соломы. За этими-то стогами и попрятались местные и принялись наблюдать. Долгое время они ничего не понимали: и чужаки какие-то не такие, как все, и

* Нораг — сельскохозяйственное орудие, предназначенное для молотьбы.

говорят непонятно, и игры у них чудные, и даже смеются они и то не по-людски.

Понемногу привыкнув, они стали понимать происходящее. Чужаки давали представление. Один из них поставил на голову корзину, в которых носят хлеб, и изображал торговку сыром, а другой был, как видно, полицейским. Разговор между ними шел в виде песни. Полицейский приставал к торговке и требовал денег, а она пыталась отделаться от него куском сыра, который бойко расхваливала. Полицейский не хотел брать сыр и опять сердито требовал денег, обзывая ее обманщицей и плутовкой.

Местные глядели с удивлением: и игра какая-то странная, и язык такой, что ничего не поймешь. Если бы не слово «шыр», которое, как они поняли, означало «сыр», ни за что бы не догадались, в чем тут дело. Значит, у пришлых есть даже свои игры, которых они, местные, не знают? За что же, в таком случае, их так презирают взрослые в поместье? Как было бы хорошо, если бы чужаки сейчас приняли их поиграть!

Такая мысль пришла в голову всем местным одновременно и, как обычно водится, тут же была высказана вслух. Сказано — сделано! Покинув свое укрытие, они подошли к чужакам. Договариваться долго не пришлось. «Играть будете?» — «Будем!» И поднялся восторженный визг, заслышав который караульщик Абдель Мутталиб прибежал с канала и шуганул их всех из риги. Но местные были ребята смекалистые и предложили чужакам пойти играть к насосу. Места там много, Абдель Мутталиб далеко, и никто их не услышит — ни в деревне, ни в лагере пришлых.

Началась игра, и все переменилось. Местные обнаружили, что чужаки, оказывается, вовсе не на одно лицо и совсем уж не так похожи друг на друга, как казалось раньше. И вообще они очень славные ребята, к тому же и веселые! И имена у них тоже есть, как у всех людей. Местные даже запомнили кое-кого по имени. Вот, например, Мисбах, и Бадави, и Хасан. А того чернявого зовут Сингар. И чудила свой у них тоже есть, длинный такой, тонкий, как жердь, но может уморить со смеху.

В тот вечер ребята неохотно возвращались домой. Уж очень здорово было играть с чужаками! Даже новым играм они у них научились. Например, в «двадцать и десять», есть такая игра. Кто-нибудь кладет на землю тюбетейку, и от нее отмеряют в одну сторону десять шагов, а в другую — двадцать. По сигналу бегут. Если тот, кому бежать до тюбетейки десять шагов, успеет, схватив ее, вернуться на свое место и другой его не догонит, значит, он выиграл.

Молча улеглись они спать, твердо уверенные в том, что каждый вечер теперь будут потихоньку от родителей бегать к чужакам и играть с их ребятами. Все равно будут, даже если караульщик Абдель Мутталиб и наябедничает.

XVI

Стекло керосиновой лампы, стоявшей на деревянной полочке, под потолком, было начищено до блеска, дабы не пропадало ни капли света. Комната сверкала чистотой, а это не так уж часто случается в крестьянских домах. Кровать из стеблей тростника, такая высокая, что, казалось, без лестницы на нее не взобраться, была заботливо и аккуратно застелена; домашняя утварь и съестные припасы запрятаны в «нижний этаж», а «верхний» горделиво украшала москитная сетка. Трещины в зеркальной дверце гардероба, искусно обвсденные белилами, превратились в деревья с причудливыми плодами. Возле кровати — кресло с подлокотниками, накрытое куском белой ткани, застиранной до блеска.

Земляной пол тщательно подметен и присыпан песком. Железные жбаны расставлены на окне, накрыты крышками и для пущей важности еще и марлей. Короче говоря, каждый предмет в комнате являл себя с самой лучшей стороны.

В комнате было двое. Умм Ибрагим возлежала на кровати, и, судя по ее цветущему виду, иной бы подумал, что она в полном здравии. Но бедняжка так отчаянно стонала и кряхтела, что не поверить в ее болезнь было просто невозможно. Рядом на стуле сидела Линда, оробевшая в непривычной обстановке, и по-женски придирчиво оглядывала комнату. Все здесь казалось ей в диковинку. Ведь не часто доводится выйти из дома, а тем более побывать в гостях. Тут и визит к шейху Абу Ибрагиму покажется целым событием. Мудрено ли оробеть?

Умм Ибрагим изо всех сил старалась поддержать разговор. Однако беседа явно не клеилась, и скорее всего по вине хозяйки — то ли она чего-то ждала, то ли была чем-то озабочена. А Линда почти все время молчала и только изредка вставляла словечко или смеялась коротким нервным смехом, в котором звучал испуг, может, искренний, а может, и поддельный.

Надо сказать, Линда сегодня была хороша, как никогда: порозовевшее лицо присыпано едва заметным слоем пудры, блестящие волосы аккуратно причесаны, и только один непокорный локон падает на лоб. Все в ней привлекало. К тому же Линда надела сегодня одно из трех своих нарядных платьев — то, что сшила, когда в последний раз гостила у родственников в Каире. Однако присутствие этой красивой изнеженной девушки в скромном крестьянском доме казалось странным и нелепым.

С того вечера, как Ахмад Султан у мечети шепнул свое заветное словечко, Умм Ибрагим не знала ни минуты покоя. Трудностей предстояло немало. Как поговоришь с Линдой, когда приходится ломать голову даже над тем, чтобы просто повидать ее с глазу на глаз! А поговорить нужно, и не наспех, а обстоятельно, по душам. Ведь Линда хотя и засиделась в девках, а в делах такого рода, поди, мало что смыслит. Но вокруг пальца ее тоже не обведешь — она образованная, не чета Умм Ибрагим, которая не умеет ни читать, ни писать и вовек никуда из поместья не выезжала. Вот и получается, что разговор с Линдой для нее вещь нелегкая, в особенности если речь пойдет о вопросах тонких и деликатных.

Но все оказалось много проще, чем она думала. Вопреки ожиданиям, Линда поддалась сразу, да так охотно, что Умм Ибрагим только диву давалась. Правда, она пустила в ход испытанный способ: завела разговор про мужчин и про их тайны. Мужчины! Загадочный, непонятный народ... Они совсем не похожи на отца Линды и на ее младших братьев. Нет, мужчины — это грубые, сильные и жестокие существа, при встрече с которыми становится почему-то страшно и хочется бежать. Вот о них-то и принялась рассказывать Умм Ибрагим, да не просто рассказывать, а со знанием дела рассуждать о самом сокровенном, о чем мужчина никогда не осмелится говорить с женщиной, а женщины, если и говорят между собой, то шепотом и когда рядом никого нет. Но ни одно средство не действует так безотказно, если надо развязать язык и побороть излишнюю робость. С первого же слова Линда превратилась в слух, хотя отчаянно старалась казаться безразличной. Однако очень скоро она, прикидываясь, что не понимает, стала задавать вопросы. Может, она и вправду не все понимала, а может, ей хотелось еще раз посмаковать услышанное. Потом она смущенно начала вставлять в разговор слово-другое, а Умм Ибрагим пристально следила за ней с коварством искусного рыбака, который терпеливо поджидает, пока его жертва схватит наживку, а потом осторожно, потихоньку, чтобы не спугнуть добычу, принимается тянуть леску.

Оказывается, мужчина мужчине рознь. В этом месте разговор требовал пояснения, и Умм Ибрагим вполне естественно припомнила кое-кого из заметных в поместье людей. Дошла очередь и до Ахмада Султана. Здесь уж Умм Ибрагим не пожалела красок. Вот кто настоящий мужчина! Этот свое дело знает! Линда только краснела и затыкала уши, но Умм Ибрагим не унималась. Опыт подсказывал ей, что рано или поздно девичье смущение уступит место любопытству. И она то говорила, то внезапно умолкала, чувствуя, что Линда с нетерпением ждет продолжения, но потом, заметив по лицу своей слушательницы, что та не на шутку испугалась, перевела разговор на другую тему. Она хорошо понимала, что время — верный помощник и долгие часы одиноких раздумий сделают свое дело. Запретный плод сладок. Настанет день, когда железо станет мягким и податливым, как воск, а то, что вызывало отвращение, покажется желанным и доступным.

И Линда многому поверила. Она поверила, что может позволить себе все то, что делает замужняя женщина. Да, теперь она знает, что несчастна и что ее лишают счастья! И так будет, пока она не выйдет замуж, а когда это случится — одному богу известно. И вообще, женщина не может жить без мужчины... Думая об этом, Линда всякий раз невольно вспоминала Ахмада Султана — Умм Ибрагим старалась не напрасно.

Заметив, что рыбка клюнула, она затеяла новую игру. Теперь она то и дело передавала Линде приветы от писаря. Сначала Линда удивлялась. С чего бы это вдруг? Который год Ахмад Султан живет в поместье, но никогда прежде не посылал ей приветов. Кроме того, единственным человеком, чьи приветы доставляли Линде радость, был Сафват, но он так редко это делал!

Но Умм Ибрагим действовала искусно и тонко. Сперва приветы писаря казались случайными, о них говорилось мимоходом, потом они стали звучать многозначительно. Наконец Умм Ибрагим объявила, что ей известна великая тайна, о которой не должна знать ни одна живая душа. Правда, если Линда захочет, она готова с ней поделиться, только пусть сначала поклянется священным писанием и именем Христа, что будет свято хранить молчание. Чтобы успокоить Умм Ибрагим, Линда повторила клятву дважды. И тогда Умм Ибрагим, задыхаясь от волнения, как мужчина, когда он объясняется в любви, поведала ей, что Ахмад Султан влюблен в нее без памяти. Бедняга знает, что надеяться ему не на что, поэтому любовь его чиста и бескорыстна. Он и проговорился-то об этом случайно. Умм Ибрагим как-то недавно зашла его навестить, когда у него болел бок, и Ахмад, поддавшись минутной слабости, открылся ей, но взял с нее строгую клятву, что об этом не узнает ни один человек, особенно Линда. Но у дружбы свои законы, и Умм Ибрагим, узнав о таких серьезных вещах, просто не имела права скрывать их от голубушки Линды.

И тут Линда в первый раз за все время расхохоталась. Глядя, как она покатывается со смеху, Умм Ибрагим не на шутку встревожилась. Не приведи аллах, Линда увидит в этой истории лишь повод повеселиться! Тогда пропали все труды!

А Линда и в самом деле не придала словам Умм Ибрагим значения. Ее мыслями владел Сафват, сын управляющего. Это он будет глядеть на нее влюбленными глазами, от него она услышит желанные слова. А то какой-то Ахмад Султан, писаришка, подчиненный ее отца! Очень он ей нужен!

Умм Ибрагим не стала ее разубеждать и тотчас заговорила о другом. Однако на следующий день она мельком припомнила вчерашний разговор, затем снова вернулась к нему, и снова... А потом всякий раз, встречая Линду, она только и говорила что об Ахмаде Султане, который совсем высох от любви. И Линда поверила. Что ж, видно, писарь дей-

ствительно ее по-настоящему любит. Но она ничем не может ему помочь. Она так прямо и сказала Умм Ибрагим. Та не стала возражать, но продолжала твердить про писаря при каждой встрече. И вдруг однажды даже и не вспомнила о нем. Линда удивилась. Подмываемая любопытством, она попыталась издалека навести Умм Ибрагим на разговор об Ахмаде Султане, но та не поддалась и говорила о чем угодно, только не о писаре. Умм Ибрагим совсем было собралась уходить — еще обед не готов, а муж, наверно, давно уже дома! Но Линда усадила ее снова и безразличным тоном, будто это ее нисколько не касалось, сказала, что отец собирается просить управляющего, чтобы Ахмада Султана переселили куда-нибудь подальше от их дома. Умм Ибрагим, конечно, сразу разгадала ее хитрость, но как ни в чем не бывало улыбнулась, и прерванная беседа продолжалась, только теперь каждая делала вид, будто стесняется напрямик заговорить о том, что занимало обеих. Но Умм Ибрагим все-таки добилась своего: Линдой овладело любопытство. А когда женщиной овладевает любопытство, оно становится главной движущей силой, которая управляет всеми ее поступками. И Умм Ибрагим не забывала давать этому любопытству все новую и новую пищу и без устали говорила об Ахмаде Султане, подогревая воображение Линды, разжигая в ней беспокойство. Правда, иногда Линда начинала сомневаться. Да полно, так ли уж Ахмад влюблен в нее, как твердит об этом Умм Ибрагим? Однажды она поделилась своими сомнениями с Умм Ибрагим, и та поняла: плод созрел. Пришло время и к делу перейти.

— Если не веришь мне, возьми да проверь сама!

— Как?

— А ты с ним встреться!

— Что ты, что ты, господь. с тобой! — Линда только руками замахала.

Умм Ибрагим не стала ее уговаривать. Если Линда не хочет, ее дело. Во всяком случае, стоит ей только захотеть, такая встреча состоится, и ни одна живая душа об этом не узнает. Нужно только, чтобы Линда под каким-нибудь предлогом пришла к ней в дом, а уж об остальном она сама позаботится.

Больше Умм Ибрагим к разговору о писаре не возвращалась. Она вообще теперь говорила с Линдой только урывками. Читая в глазах Линды тысячи вопросов, она понимала, что вопросы эти лишили ее покоя и сна, но притворялась, что ничего не замечает, и ловко уклонялась от ответов. Вскоре она и вовсе перестала бывать в доме Масихи-эфенди. Прошел день-другой, и Линда встревожилась. Она послала Димьяна справиться, в чем дело, и тот, вернувшись, рассказал, что Умм Ибрагим тяжело захворала. За обедом Линда попросила у отца позволения проведать жену богослова, отец был в хорошем настроении, разрешил, и она отправила Димьяна сказать, что зайдет к вечеру...

И вот теперь она сидит у постели Умм Ибрагим. На ней открытое платье японкой, которое подчеркивает красивые плечи и другие прелести, но несмотря на все ее старания не скрывает густых рыжих волос под мышками. Время от времени она оглядывает комнату и вздрагивает: почему-то кажется, что чистота и порядок наведены здесь не случайно, а так, будто в доме готовились к встрече невесты. Линде страшно. А ну как и в самом деле случится то, чего она ждет? Умм Ибрагим глядит на нее и тоже вздрагивает. Ишь, как вырядилась! Сразу видно: знала, что не больную идет проведывать! Не зря, значит, старалась Умм Ибрагим! А все-таки почему-то боязно — неужели получится?

Но ведь нельзя же все время молчать, надо и поговорить для приличия. Вспомнили про то, что нашлась мать подкидыша. Оказывается, она замужем, но родила не от мужа. Тут, позабыв про болезнь, Умм Ибрагим села на постели и принялась рассказывать Линде про чужаков. Эти

на все способны, грязные, преступные создания, ни стыда у них, ни совести. Не люди, а скоты какие-то. А Линда слушала и поддакивала, но на душе у нее было неспокойно, и, соглашаясь с Умм Ибрагим, она всякий раз приговаривала, что господь бог простит им их прегрешения, потому что они сами не ведают, что творят. Она твердила о господнем прощении с таким упорством, что Умм Ибрагим наконец встревожилась и сочла за благо переменить тему разговора.

Заметив кафтан Абу Ибрагима, висевший у изголовья кровати, Линда спросила про хозяина и услышала в ответ, что он отправился в соседнюю деревню праздновать рождение ребенка. И в самом деле, если бы Линда вышла на крышу и всмотрелась повнимательнее вдаль, она увидела бы там к югу яркий огонек газовой лампы и в общем хоре дервишей, поминавших всевышнего, уловила бы голос не только шейха Абу Ибрагима, но и самого имама Бари.

Разговор прервался, и в комнате опять было воцарилось взволнованное ожидание. Но в этот самый миг в дверь уверенно постучали — пришедший, видимо, не сомневался, что его ждут.

— Кто там? — простонала Умм Ибрагим, хотя отлично могла бы этого не спрашивать. Линда вздрогнула и побледнела.

Дверь распахнулась, и вошел Ахмад Султан — темная феска лихо сдвинута набок, почти на бровь, поверх шелковой выглаженной рубахи накинуто черное пальто, подбородок тщательно выбрит, усы подстрижены и кокетливо подкручены, глаза сверкают.

— Добрый вечер, Умм Ибрагим. Что это с тобой, никак захворала? — Писарь улыбался во весь рот и старательно не замечал Линды.

Умм Ибрагим с готовностью поддержала игру:

— Добрый вечер, Ахмад... Да, видишь, занемогла я что-то... Сама не пойму, что со мной... А почему ж ты не здороваешься с моей гостьей?

Ахмад театрально обернулся, высоко поднял брови и с напускным изумлением воскликнул:

— Госпожа Линда?.. Что ж ты меня не предупредила, Умм Ибрагим?

И, повернувшись на каблуках, он решительно направился к двери. Но Умм Ибрагим удержала его:

— Так ты ведь не чужой нам, Ахмад, тебя можно не стесняться...

Линда сидела ни жива ни мертва и со стыда не знала, куда деваться. Писарь не заставил себя долго упрашивать, кашлянул и, отступив от двери, пробормотал:

— А я-то гадаю, с чего это у тебя так красиво в доме... Добрый вечер, Линда-ханум!

Вместо ответа Линда только беззвучно пошевелила губами. Умм Ибрагим поспешила на помощь:

— Добро пожаловать, гость дорогой! Всегда вам рады!..

Писарь протянул руку, и Линда смутилась еще больше. Что делать? Потом, понимая, что ничего другого ей не остается, робко протянула свою. Всего один лишь миг длилось это рукопожатие, но какой это был миг! В руке Ахмада Султана дрожащая ручка Линды совсем утонула. Да и не мудрено. Рука писаря — сильная, крепкая, с волосатыми пальцами. Такая рука умеет успокоить любую девушку и подловить ее как раз тогда, когда она наверняка знает, что никто и не собирается ее подлавливать. А у Линды ручка нежная, с длинными тонкими пальцами, хрупкими и дрожащими — точь-в-точь перезревший плод, готовый сам по себе упасть с дерева. И вот руки встретились, и Линда поняла: это реальность, пусть не та, о которой она думала и мечтала, но зато живая, неподдельная, ощутимая. Синица в руках лучше журавля в небе. Сафват — мираж, далекая мечта. А Ахмад Султан — вот он, рядом, и вот его рука, пусть чужая и совсем не такая, как хотелось бы, но зато

она настоящая, мужская, и ее прикосновение будит в душе удивительные, незнакомые прежде ощущения.

Всего один только миг длилось рукопожатие, но когда Линда отняла руку, ладошка ее была мокрой от пота.

■

А совсем неподалеку, на том берегу арыка, Сафват, сын управляющего, мучительно старался заснуть; когда же понял, что заснуть не удастся, притворился спящим. Беда надвигалась неотвратимо. Краем уха он слышал разговор в гостиной, где отец принимал Масиху-эфенди, удивляясь его неожиданному визиту в такое позднее время. Но сейчас он перестанет удивляться... Вот опять голос Масихи-эфенди. Слов разобрать нельзя, но он говорит, говорит о чем-то и никак не кончит. Вот отец кашлянул. До сих пор он еще не сказал ни слова. Ага, вот Масиха наконец замолчал, и, наверно, сейчас отец что-нибудь скажет.

Будь оно проклято это письмо и день, когда он затеял с Ахмадом Султаном нелепый разговор о Линде. Беседа с писарем подняла в душе Сафвата целую бурю, и он решил: довольно с него ожидания, пора наконец во всем открыться Линде.

Целых два дня после этого он обдумывал письмо и, испортив добрый десяток черновиков, сооружал признание. Потом еще пару дней таскал письмо в кармане и все раздумывал: посылать или нет? И если посылать, то как?

Потом вспомнил о Махбубе, том самом, про которого болтали, будто он тайком передает Линде его записочки. А почему бы, собственно, не поручить этого Махбубу?

Вначале Махбуб, не подумав, согласился, но, разобравшись в чем дело, заколебался. Все-таки как-то боязно. С того самого дня, как он перехватил письмо собственной жены к любовнику, он дал себе зарок вовек не носить таких писем. Сафват грозил, уговаривал, пытаясь задобрить, даже дал реал. Против реала почтальон не возражал, но продолжал упорно твердить, что боится. А ну как попадется он с этим письмом, тогда что?

Сафват клялся и уверял, что заранее берет всю вину на себя. И Махбуб согласился. Но кто знает, может, он и согласился только из хитрости, а про себя решил предать Сафвата? Не может же быть, что он просто по глупости отправился в дом к Масихе-эфенди и прямо у двери спросил Линду! Масиха-эфенди, конечно, сразу насторожился, припер почтальона к стенке, обыскал его, и пожалуйста, вот оно, письмецо-то! Нет, вряд ли это была просто глупость! Скорей всего безбородый коротышка Махбуб, зарекшись носить любовные письма, нарочно устроил подлость, а когда Масиха-эфенди раскрыл всю затею, с невинным видом заявил: «А мне-то что? Господин Сафват приказал отдать, я и понес. Все-таки ведь не кто-нибудь, а самого управляющего сын!»

Но если бы дело было только в письме! Сафват, беспокоясь за успех своей затеи, целый вечер неотступно следил за домом Масихи-эфенди. Но он так и не дождался Махбуба, потому что едва зашло солнце, как из дома, разряженная и расфранченная, выскользнула Линда. Вначале Сафват подумал, что она за чем-нибудь идет к ним, но Линда вместо того, чтобы перейти арык, почему-то повернула в сторону деревни. Сафват украдкой последовал за ней, гадая, куда бы она могла направляться. Впрочем, гадать долго не пришлось, потому что Линда, дойдя до дома шейха Абу Ибрагима, постучалась и вошла в дверь. Зачем ей понадобилось идти к шейху Абу Ибрагиму?

Сафват долго ломал над этим голову и под конец решил: не иначе как Линда просто захотела повидать Умм Ибрагим. И тут у него мелькнула шальная мысль: а что, если... Шейх Абу Ибрагим празднует сейчас рождение младенца в соседней деревне, и в доме только Линда да Умм Ибрагим. Недурной случай посылает ему судьба! Взять да и зайти сейчас туда. Мол, мне нужно видеть шейха по личному делу. Ведь они частенько вечерами беседуют на плотине или у лавки Гунеди и спорят на извечные темы: есть ли бог и что движет человеком — смирение или гордыня? Шейх Абу Ибрагим всегда так охотно и терпеливо выслушивает его, а потом они спорят до бесконечности и никогда не приходят к согласию.

Так он сейчас и сделает — войдет и спросит, дома ли шейх. И если Умм Ибрагим предложит, останется посидеть. Начнется какой-нибудь разговор, и, конечно же, он сумеет, улучив минутку, остаться с Линдой наедине и все ей скажет. Может, потом даже удастся проводить ее домой.

Что и говорить, план был неплох. И все-таки Сафват колебался. Шагнет в сторону дома — и остановится. Дурацкое положение! Мимо проходят люди, здороваются и дивятся — чего он торчит на дороге? Но ведь дело-то щепетильное, тут надо все хорошенько обдумать и взвесить. К тому же теперь, когда он решил начистоту объясниться с Линдой, его охватила внезапная робость при мысли о том, что сейчас он ее увидит. И, облюбовав себе место за углом глиняного забора, подальше от любопытных глаз, Сафват стоял, грыз ногти и, обуреваемый сомнениями, так и не мог ни на что решиться. И в этот момент он увидел Ахмада Султана. Конечно, это был он — его феску и пальто ни с чьими другими не спутаешь. Писарь шел по улице прямо в сторону амбара. Сафват еще плотнее прижался к стене. Неровен час, заметит, так потом изведет насмешками! Но, к его удивлению, Ахмад на полпути вдруг остановился у дома шейха Абу Ибрагима и, постучав в незапертую дверь, вошел. Сердце Сафвата в волнении забилось, перед глазами пошли круги. Но все-таки он разглядел, как женская рука изнутри плотнее прикрыла дверь, и услышал, как щелкнула задвижка. Кровь бросилась ему в голову; как ужаленный выскочил он из своего убежища и помчался прочь. Сотни безумных мыслей носились в голове. Что делать? Сбегать домой за ружьем, ворваться к ним и уложить их на месте? Или, может, подождать: кто знает, а вдруг это простая случайность? Нет, лучше он сделает, как и хотел: постучит и спросит, дома ли шейх Абу Ибрагим. Вот переполошатся!.. Но сколько он ни думал, а решиться на что-нибудь так и не смог. Ужасно хотелось плакать. Но нет же, он не поддастся слабости! Теперь самое главное разыскать Махбуба и забрать у него письмо. Письмо уже ни к чему, какой толк в письмах...

И он, как одержимый, кинулся искать почтальона, как будто от этого зависела вся его жизнь. Но поиски ни к чему не привели. Сокрушенный новой неудачей, он опять почувствовал неудержимое желание заплакать. С этим он и явился домой, упал на кровать, но слез не было. Сон тоже не шел, и Сафват лежал в темноте с открытыми глазами, пока не услышал, как хлопнула входная дверь и голос Масихи-эфенди сказал, что хочет видеть управляющего по срочному делу. Отец встал с постели, пригласил Масиху в гостиную, и дальше Сафват своими ушами слышал, что Масиха-эфенди рассказал отцу про то, как пришел Махбуб и спросил, дома ли Линда. Еще немного — и отец пожалует сюда. Тогда держись!

Вот сейчас раздадутся знакомые шаги. Ну и пусть! После того, что случилось, какое имеют значение любые обвинения и родительский гнев? Но когда за дверью и в самом деле послышались шаги отца,

Сафват неожиданно для самого себя поспешно закрыл глаза и притворился спящим. Держа в одной руке лампу, отец вошел в комнату и остановился. Видимо, он заколебался — стоит ли будить парня сейчас, среди ночи? Может, не поздно будет наказать его и утром? И решил отложить до утра — утро вечера мудренее.

■

Но и утром наказание не состоялось, потому что, проснувшись спозаранку, Фикри-эфенди уже не нашел Сафвата. Зато он нашел записку, в которой сын писал, что уезжает на каникулы искать работу в Каир, чтобы быть подальше от поместья и от родителей. Они все равно бы на это никогда не согласились, а спорить с ними бесполезно. Он очень сожалеет, что ему пришлось «занять» у матери все, что было у нее в кошельке. Конечно, он непременно вернет эти деньги в первую же получку. Самое смешное, что бумага, на которой Сафват нацарапал свою записку, была, по-видимому, одним из черновиков его письма к Линде: на обороте стояло «Любовь моя!», старательно перечеркнутое несколько раз. Фикри-эфенди внимательно перечитал письмо, а затем порвал его. Он был доволен. По правде говоря, Сафват оказал ему хорошую услугу, избавив от тягостной повинности — наказывать взрослого сына. А для Фикри-эфенди эта повинность была тяжелее всякой другой и доставляла ему страдания едва ли не большие, чем самому Сафвату.

XVII

Теперь, когда управляющий разрешил Азизе не выходить на работу в поле, ей устроили навес рядом с «бабкой пришлых». И тотчас навес стал местом паломничества любопытных. Обитатели поместья вообще довольно странно вели себя в истории с Азизой. Вначале они беспокоились только о том, как бы доказать, что преступница — одна из пришлых. Когда доказали и беспокоиться стало не о чем, до смерти захотели узнать все подробности. Узнали подробности. Узнали и про то, что виновница тяжело больна и лежит в лагере пришлых. Тут уже каждый понял, что смысл его жизни в том, чтобы хоть краешком глаза увидеть эту женщину, посмотреть, какая она да на что похожа. И они шли, большие и малые, в одиночку и целой толпой, и каждый делал вид, что идет по своим делам в поле, на ток или на водокачку, а подойдя к навесу, замедлял шаги, вроде заинтересовался: что там такое, и, остановившись, подолгу разглядывал лежащую под навесом женщину.

Так было вначале. Потом надобность притворяться отпала, всякий, кому была охота поглазеть на Азизу, не стесняясь, шел прямо к навесу и дожидался, пока она закричит или повернется во сне. Первое время кое-кого еще смущало присутствие других пришлых женщин, но потом на них перестали обращать внимание. Их просто не замечали. Ведь теперь Азиза принадлежала не им, а была, так сказать, общая, и каждый отныне имел право глядеть на нее, сколько ему вздумается. И надо сказать, чужаки удивительно покорно с этим мирились.

Но когда Азиза начала кричать в горячечном бреду и товарки принялись успокаивать и уговаривать ее, будто она была в здравом уме и твердой памяти, лед, отделявший местных жителей от чужаков, стал постепенно таять. Кто-то сочувственно зачмокал языком, а кто-то подал совет, и вот уже мужчины из поместья о чем-то беседуют с пришлыми мужчинами и озабоченно переговариваются друг с другом женщины.

На третий день беспамятства у Азизы начались судороги. Тело ее сделалось жестким, как доска, зубы до крови кусали язык. Тут уж обитатели поместья не могли оставаться в стороне и вместе с пришлыми кидались на помощь и силой разжимали ей зубы и растирали тело и давали нюхать луковую воду. Судороги перемежались припадками безумия. С диким воплем Азиза срывалась с подстилки и кидалась в канал, словно вода могла погасить пылавший в ней огонь. И тогда местные вместе с пришлыми вытаскивали ее из воды, несли обратно под навес и потом долго сидели рядом, и, как обычно, вначале все говорили об Азизе, а потом каждый о себе.

Но об Азизе уже говорили по-другому. Если раньше о ней судачили, не скрывая при этом отвращения ко всем пришлым, то теперь по какому-то молчаливому уговору о ней говорили скупо, избегая подробностей, так, будто в них было что-то непристойное, недостойное внимания порядочного человека. Даже зеваки, прибегавшие поглазеть на Азизу, и те присмирели. Когда больной стало еще хуже, все дружно принялись носить ей акрихин, и лавочник Гунеди за полцены продал для нее пришлым бутылку уксуса. А Набавия принесла ей в собственной кастрюле в подарок от себя и своих детей, как она сказала, жареного кролика и отдала его «бабке пришлых», чтобы та накормила больную. Да, да, та самая Набавия, которая сама-то ничего не имеет за душой! Правда, потом, когда ей вернули кастрюлю, она мыла и терла ее песком и глиной и семь раз подумала, прежде чем отважилась вновь что-нибудь в ней варить, но это уже мелочи.

Так понемногу навес, под которым лежала Азиза, стал местом общения местных с пришлыми. И пусть общение это было вначале осторожным и сдержанным, люди узнали, что у чужаков, оказывается, тоже есть своя деревня и дом, и тоже есть родственники, и они тоже сеют и пашут, и ссорятся между собой, и терпеть не могут своего старшого, и ненавидят управляющего и поместье. Местные ребятишки уже открыто играли с пришлыми в пятнашки, и им теперь никто этого не запрещал. Единственное, что наказывали им родители: стараться, чтобы пришлые не дышали им в лицо. Так оно будет вернее. А то, кто их знает, еще занесут какую заразу!

Надо сказать, Фикри-эфенди в эти дни не на шутку беспокоился о сыне. Правда, Сафват уже не первый раз удирал в Каир под предлогом, что хочет поработать на каникулах, но все-таки было бы неплохо узнать, как он там и что с ним. Да и потом денег у него с собой немного и необходимо послать еще.

Но несмотря на тревогу о судьбе сына, Фикри-эфенди был немало озабочен болезнью Азизы. К своему собственному удивлению, с того момента, как он обнаружил, что преступница и Азиза — одно и то же лицо, он почему-то чувствовал себя в какой-то степени ответственным за ее жизнь. Идя в поле, он всякий раз останавливался у навеса и подолгу глядел на Азизу, которая металась и что-то бормотала в беспамятстве. К сожалению, он мог себе позволить только это. Везти ее в уезд к врачу или класть в больницу было рискованно: еще догадаются, что она мать убитого подкидыша. Тогда — беда. Тогда и Азизе придется туго, да и его, Фикри-эфенди, по головке не погладят за то, что укрыл убийцу от властей. Единственное, на что он решился, это тайком призвал к себе уста Заки, местного цирюльника (уста не только стриг и брил, он делал младенцам обрезание, лечил людей от лихорадки и прописывал лекарство тем, кому надо вернуть утраченную молодость), и шепотом, с оглядкой, словно боясь, что его застанут в этот миг душевной слабости, поручил уста заняться лечением Азизы. И хотя цирюльник взялся за дело всерьез и на нем была белоснежная чалма и борода и усы были аккуратно подстрижены, а во рту блестел золотой

зуб, Азизе становилось все хуже и хуже. Припадки безумия учащались, и, видя это, Фикри-эфенди распорядился, чтобы Арафа, старшой над пришлыми, освободил Умм Хасан, соседку Азизы, от работы в поле и приказал ей неотступно следить за больной. Разумеется, поденные будут ей начисляться.

И еще одно событие приключилось втайне, так, что о нем не узнала ни одна живая душа.

Дружеские отношения, связывавшие управляющего с его главным писарем, вдруг разом порвались. Но, говоря по правде, письмо, что перехватил Масиха-эфенди, было всего лишь последней каплей. Давно уже он добирался до управляющего, дожидаясь только удобного случая, чтобы поймать его с поличным. И тогда — дело ясное! Сочинит бумагу, отнесет шейху Абу Ибрагиму, чтобы тот ее переписал своей рукой, потом подпишет каким-нибудь именем да и пошлет в управление в Каир. И вот выясняется, что управляющий начисляет двоим пришлым, Азизе и ее соседке, поденные за так, без работы. Это ли не долгожданный случай? Само небо посылает его Масихе-эфенди!

Расспросив обо всем подробно Ахмада Султана и удостоверившись, что поденные обеим женщинам начисляются, Масиха-эфенди не спал целую ночь. Сочинял бумагу. Так, мол, и так. Управляющий завышает число сезонных рабочих, делит выручку с подрядчиком, подделывает конторские книги. И есть в поместье живой свидетель всех этих преступлений, и чтобы убедиться в правильности вышеизложенного, его превосходительству достаточно послать сюда своего ревизора.

Перечитав написанное, Масиха-эфенди остался доволен. Все как надо. Теперь можно и поспать. Бумагу он положит вот сюда, в наволочку, а утром шейх Абу Ибрагим перепишет ее — и тогда можно будет отправлять.

Но теперь, когда все самое главное было уже позади и готовое письмо лежало под головой, в душу Масихи-эфенди вдруг закралось какое-то сомнение. Странное дело! До сих пор никогда еще не случалось ему колебаться, когда речь шла об отправке какой-то бумажонки. Так отчего же он оробел сейчас? И почему это ему вроде бы как-то стыдно, а перед глазами так и стоит навес с больной Азизой, и не выходят из памяти ее крики и бессвязное бормотание?

Проснувшись поутру, он все еще колебался — отправлять или не отправлять? И наконец, ничего не объясняя, спросил брата:

— Димьян, а ну, скажи-ка, отправлять мне или не отправлять?

Димьян послюнил пальцы, поднял глаза к потолку и изрек:

— Не отправляй, братец, господь тебе за это воздаст!

Так и осталась бумага в наволочке.

■

Азиза по-прежнему лежала под своим навесом. Солнце немилосердно припекало, и его палящие лучи без труда проникали сквозь тонкую дырявую ткань. Ни уксус, ни растирания, ни лечение уста Заки не помогли. Горячка становилась все сильнее, и всякий раз, когда Умм Хасан дотрагивалась до больной, она явственно ощущала дрожь, которая непрерывно сотрясала тело бедняги. Пот лил с нее ручьями, вокруг роем носились мухи, и припадки буйства становились все продолжительней и страшнее. Она теперь почти все время кричала, а однажды, едва очнувшись, яростно ударила себя кулаками в грудь, охнула и в остервенении принялась царапать лицо и рвать на себе одежду. Перепуганная Умм Хасан с помощью случайных прохожих пыталась успокоить и унять ее, но все было

напрасно. Наткнувшись на сопротивление, Азиза пришла в еще большее неистовство и утихла только тогда, когда снова потеряла сознание.

Навес перестал быть для пришлых клеймом позора, которого надо стыдиться. Теперь, когда история Азизы во всех подробностях стала известна всем и каждому, прятать и скрывать было нечего. Да они и не пытались. Они не стыдились Азизы, как не стыдились своего говора или своей нищеты. А обитатели поместья, которые прежде толковали об Азизе украдкой, словно стыдясь чего-то, теперь говорили об этом естественно и просто. Их интересовала уже не история с Азизой, а сама Азиза, та безумная несчастная женщина, что лежит в мучениях под навесом. Навес стал чем-то вроде шатра деревенского святого, и каждый, проходя мимо, бросал в его сторону взгляд, в котором было не любопытство и не злорадство, а сочувствие и искреннее желание облегчить бедняге страдания.

Об Азизе теперь думали все. Она же, если и приходила в себя, начинала неистово царапаться и кусаться, как зверь, а когда вновь погружалась в беспамятство, лежала бездыханным трупом, и только жар доказывал, что она еще жива.

На десятый день, проснувшись утром, Умм Хасан сразу заметила, что Азизе стало легче. Жар пропал, глаза глядят разумно, дышит, хотя и медленно, но ровно и спокойно. Азиза пошевелила губами, пытаясь что-то сказать, и Умм Хасан с большим трудом поняла: пить просит. Со всех ног кинулась она исполнять просьбу и поднесла больной целый ковш воды. Азиза пила с остановками, отдыхала, но все-таки выпила все до капли. Умм Хасан спросила, не нужно ли еще. Азиза опять пошевелила губами, и на этот раз Умм Хасан уже явственно разобрала: «Пить!» Она принесла еще целый ковш, Азиза выпила и его тоже. После этого она закрыла глаза и погрузилась в сон, которого была лишена столько времени.

Умм Хасан глядела на нее и не могла нарадоваться. Она приложила руку ко лбу больной. Лоб холодный. Спит спокойно, и, если бы не страшная бледность, ее, пожалуй, нельзя было бы отличить от здоровой.

В полдень, когда вся жизнь замирает, а люди, отобедав, погружаются в сон, от которого пробуждаются только к вечеру, Азиза вдруг открыла глаза, словно бы вовсе не спала, и что-то прошептала. Решив, что она снова просит пить, Умм Хасан послала сынишку старшого Арафы принести воды — ее кувшин был уже пуст. Мальчишка ушел, и в это самое мгновение Азиза вдруг, резко выпрямившись, села, вскрикнула и, прежде чем Умм Хасан успела что-нибудь сообразить, вскочила, сорвала навес и с воплем устремилась к каналу. Громко причитая, Умм Хасан кинулась за ней. На крик сбежались люди — кто из поместья, кто с тока, кто с молотилки.

— Держите ее,— кричала Умм Хасан,— держите, не то утопится!

Люди схватили Азизу, но она принялась кусаться и царапаться с такой неудержимой злобой, что им ничего не оставалось как отпустить ее. Однако, когда ее отпустили, она не бросилась в воду, а прямехонько побежала к тому месту, где нашли мертвого подкидыша и где на земле еще виднелись темные пятна засохшей крови. К великому удивлению и смущению всех, кто был при этом, Азиза села на корточки, будто снова собралась рожать, и принялась кричать и корчиться, как от боли. Пошарив вокруг рукой, она нащупала обгорелую щепку, которая почему-то здесь оказалась, и изо всей силы впилась в нее зубами. Лицо ее зверски скривилось, глаза налились кровью. Теперь она уже не кричала, а урчала сдавленным жалобным голосом и сжимала зубами щепку, крепче, крепче... На губах у нее выступила кровавая пена, глаза горели, волосы растрепались, как у ведьмы, руки царапали землю... И вдруг в ней будто что-то оборвалось, она опрокинулась навзничь и застыла.

Все это произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел,

и только когда Азиза упала, люди наконец спохватились, бросились к ней и увидели, что она мертва.

Загудели мужчины: «Что поделаешь, на все воля аллаха, все мы смертны». Запричитали женщины. Надрывно голосила Умм Хасан, пытаясь с помощью мужчин разжать стиснутые челюсти покойной и извлечь у нее изо рта обгорелую щепку.

Неся ковш с водой, подошел сынишка старшого, поглядел и поплелся обратно, но, отойдя немного, обернулся, с сердцем швырнул ковш в канал и почему-то заплакал.

В поле узнали обо всем уже после обеда. Глухое волнение прокатилось по длинному ряду пришлых, и тут оказалось, что старшой и надсмотрщик бессильны что-нибудь сделать. Когда же в воздухе засвистели хлысты, то впервые за все время спины разогнулись и впервые на надсмотрщиков глянули глаза, в которых горела ненависть, неугасимая, глубокая, какую знают только те, кто слишком долго терпел и молчал. И удивительное дело! Под этими взглядами надсмотрщики съежились, притихли и, забыв про хлысты и пинки, стали юлить и заискивать: мол, они люди подневольные, им тоже надо чем-то кормить детей.

Окончив работу на час раньше обычного, пришлые, перегоняя друг друга, устремились к лагерю...

К вечеру у амбара собралась толпа. Здесь были и те, кто жил в главной усадьбе, и жители окрестных деревень. Пришли и женщины. Пришли, чтобы по-человечески выразить пришлым свое сочувствие. Азиза лежала на прежнем месте, укрытая холщовым мешком, одним из тех, в которые собирали червей. Вокруг толпились женщины, пришлые и местные. Некоторые плакали молча, другие причитали, жалея Азизу за то, что померла на чужбине, вдали от мужа и детей, а третьи вели разговор, какой обычно ведут женщины на поминках: эта жалуется на мужа, та сетует, что поизносилась одежонка, иная ругает сорванцов-мальчишек, а иная сокрушается, что посватался к дочке жених, да голодранец попался: всего два феддана земли.

Неподалеку, возле тока сидели пришлые мужчины и принимали соболезнования. Все в галябиях *, на многих чалмы, и трудно отличить, кто здесь хозяин, а кто явился на поминки. Тем временем шейх Абу Ибрагим, взобравшись на порог, чтобы быть повыше, сиплым надтреснутым голосом затянул суру «Жóны»**. Багровый диск солнца медленно проплыл над стогом соломы и скрылся где-то там, за молотилкой.

■

А в стороне от всего этого сборища, у дома управляющего, повесив на руку корзину, бродил Димьян, тщетно ожидая, что хозяйка дома, Умм Сафват, выйдет на балкон и окликнет его. Но хозяйке было не до этого. Она сидела в гостиной и упоенно слушала девку из пришлых, которая, расположившись на полу, растирала ей ноги и развлекала рассказами про Азизу, ее мужа и про то, как они живут у себя в деревне.

Димьян побродил, побродил и вдруг, осмелев, решил войти в дом с черного хода, через дверь, что вела в кухню.

— Умм Сафват! — робко позвал он.— Умм Сафват! Не надо ли погадать на кофейной гуще? — И захихикал своим странным, похожим на детский, смехом, в котором, на этот раз, слышалась некоторая дрожь.

Через несколько минут Димьян покинул дом уже с парадного хода, провожаемый крепкими проклятиями, и побрел куда глаза глядят. Ноги сами привели его к току, где взору его предстала толпа. Он поколебался

---

* Галябия — широкая длинная рубаха.

** Глава из корана, посвященная женщинам.

немного, не зная, к кому подойти — к мужчинам, стоявшим на току, или к женщинам, толпившимся возле покойной, и все-таки выбрал последних.

И так он убивался и плакал, что многие не выдержали и зафыркали: уж очень было смешно.

А возле конторы управляющий держал совет. Вокруг на старых ободранных стульях восседали Масиха-эфенди, Ахмад Султан, уста Мухаммед, старый шейх Абдель Варис, лавочник и старший надсмотрщик. Поодаль толпились местные сплетники, любители новостей и те, кто просто привык совать нос не в свое дело.

Управляющий решал важный вопрос: что теперь делать? Смерть Азизы поставила перед ним сложную и совершенно непредвиденную задачу. Как быть? Сообщить о ее смерти властям — нельзя, похоронить ее в поместье — тоже нельзя. Если сообщить, то неизбежен медицинский осмотр, и кто знает, не обнаружится ли при этом, что он покрывал убийцу? Начнется следствие, то да се... Собственно, выход оставался один: покойницу надо отправить домой. У них в деревне есть подрядчик хаджи Абдель Рахим, он ее нанимал, он за нее и в ответе. Пусть договорится со старостой — он ему первый друг и приятель — и скажет, что она не ездила с партией пришлых, или что поехала, а потом захворала, вернулась обратно да и померла дома. Словом, пусть придумывают, что им вздумается, лишь бы поместье и управляющий были ни при чем. Но так или иначе, одно ясно — труп надо срочно увозить.

Да, но как? Фикри-эфенди долго ломал над этим голову и наконец придумал. Два раза в месяц в деревню, откуда родом пришлые, ходит грузовик и привозит им в поместье лепешки, сыр, лук, чечевицу и прочую снедь. Правда, срок очередного рейса еще не наступил, но это дело поправимое.

Управляющий послал за уста Абдо, шофером грузовика, а когда тот появился, не терпящим возражения тоном, так, чтобы сразу было ясно, что поручение равносильно приказу, объяснил, что от него требуется. Шофер стал было что-то возражать, но уста Мухаммед разом отмел все его возражения. И все-таки Абдо колебался и окончательно согласился только после того, как сам управляющий заверил его, что он один будет за все в ответе, если — не приведи аллах! — случится что-нибудь не так. Тогда только Абдо стянул с себя рубаху, в которой ходил в поместье, и велел отнести ее домой, жене, а себе принести рубашку цвета хаки, которую обычно надевал, когда уезжал в рейс. После этого он отправился в гараж готовить грузовик. Путь предстоял долгий и нелегкий — ехать придется по немощеной дороге, в объезд, чтобы невзначай не напороться на дорожную полицию.

Когда все приготовления были окончены, уже спустилась ночь, и для пришлых настала пора идти в поле. Дело в том, что на полях соседней деревни вылупились личинки хлопкового червя и пришлые теперь работали не только днем, но ночью — разумеется, за дополнительную плату. Ночью они отряхивали кусты хлопчатника и собирали червей, которые днем прятались в землю. Работа шла при свете фонарей, и пришлые любили эти часы. Прохладно, дышится легко, горят фонари, звенят песни... Да и потом, в темноте, не грех побаловаться с соседкой. В темноте ведь не на свету, соседка может и смолчать.

Словом, пришлые любили работать ночью. Правда, при этом они почти не спали, если не считать коротких мгновений на заре и на закате. Но все-таки двойная плата не шутка. А что устали — так это пустяки. Главное, быть бы сытым. Как же не радоваться такой счастливой возможности подработать?

Но сегодня они не торопились. И хотя им давно уже надлежало быть в поле, они не двигались с места. Они никуда не пойдут, пока не проводят Азизу.

Наконец настала минута прощания. Пришел грузовик, и уста Абдо долго сигналил и разворачивался, проклиная на чем свет стоит ребятишек, которые так и лезли под колеса и никак не давали ему подогнать машину поближе к тому месту, где лежало тело Азизы. Мужчины молча сгрудились вокруг, женщины подняли было вой, но управляющий прикрикнул на них и пригрозил, что собственноручно свернет шею каждому, кто пикнет. Все надо делать спокойно, без шума и крика.

При свете отчаянно мигавшей лампы Гунеди покойницу завернули в мешок, а поверх мешка — в старую циновку, которую пожертвовал шейх Абдель Варис. Под причитания женщин труп, завернутый в циновку, положили в кузов, собрали все порожние кувшины и корзины, заботливо помеченные хозяевами, чтоб не спутались с чужими, и завалили ими труп. Так будет незаметно. Старшой Арафа полез первым, за ним еще кое-кто из мужчин. Умм Хасан подняла крик и стала требовать, чтобы ее взяли тоже. Не годится так делать! Покойница — женщина, а в грузовик одни мужчины набились. Она кричала до тех пор, пока ее наконец не посадили. И тут оказалось, что караульщик Абдель Мутталиб непременно должен ехать тоже, потому что он, видите ли, не может отпустить уста Абдо одного с таким опасным поручением. Чувствуя, что терпению его приходит конец, Фикри-эфенди приказал:

— Давай, уста, трогай!

Абдо завел мотор.

— Ну, поехали, с богом!

Грузовик взревел и медленно пополз между рядами пришлых. При слабом свете бледные лица казались еще бледнее, и кто-то невольно прошептал:

— Прощай, Азиза... Прощай...

■

Грузовик выехал на широкую проселочную дорогу. Шофер молчал и хмуро курил сигарету, которой его угостил старшой Арафа. Караульщик Абдель Мутталиб тоже молчал. А в кузове люди сбились к одному борту, изо всех сил стараясь держаться подальше от груды корзин и кувшинов, под которыми лежало тело покойной.

И пока грузовик, урча и переваливаясь на ухабах, медленно таял в ночи, цепочка людей с фонарями на шеях снова выстроилась в поле. И снова взвились над согнутыми спинами хлысты и снова посыпались окрики: «А ну работать!.. Работать, вам говорят!..»

Современные поэты Австралии

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

КЕННЕТ СЛЕССОР

СЕВЕР АВСТРАЛИИ

На севере руками машет лес,
Он спорит, борется, волхвует
И, кажется, скрывает
От посторонних глаз,

Что вертикален строй его стволов,
Как ливень одеревеневший;
Он словно что-то ищет,
Что именно — забыл.

Расселись ядовитые хвощи
На оловянном буреломе;
Гниющими зубами
Торчат из почвы пни:

Неровными рядами полегли
Все неестественно прямые
Как бы на поле боя
Застывшие стволы.

Деревья втайне умирают здесь
И в одиночестве болеют;
Здесь ветви прекращают
С целебным ветром связь.

Но лесопилки там и тут гудят,
В чащобах пролегли дороги,
И на лугах коровы
Презрительно жуют.

На севере руками машет лес.
Он здесь идет на древесину —
По каждому распилу
Густые капли слез.

ЮГ АВСТРАЛИИ

Ты миновал края речных излук,
Безликих эвкалиптовых лесов,
В кровь изодрался о шипы кустов,
И вот ты видишь юг.

Окончился деревьев древний спор,
Их треволненья, распри — все давно
Само собой уже разрешено,
Их примирил простор.

Над плоскою страной пустынных
ферм
Качается воздушный материк,
Гниющий солнца свет в него проник
И грозовая чернь.

Огромный воздух, обретая вес,
Швыряет оземь светоносный дождь,
И ты, объятый безднами, идешь
По берегу небес.

А крошечные холмики вокруг,
Как люди, погребенные песком,
Распавшимся белеют костяком.
Таков наш юг.

ДУГЛАС СТЮАРТ

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Под этой плитой он землею едва прикрыт.
Ломайте же памятник, прочь все цветы и флаги —
Вот Человек, голый и обыкновенный.
Честным молчанием приветствуйте воскрешенного,
Ибо слишком много лгали о нем ораторы.
И пусть он в новеньком хаки побродит по городу,
Где люди, так быстро привыкшие к виду смертников,
Не заметят того, кто идет умирать за нас.
«Вы видите — парень в уже поношенной форме
Поглядывает на пиво и на девчонок.

Тихо! Это и есть Неизвестный Солдат.
Его хоронят под грудой цветов и флагов.
Но, говорят, он вечен, и, если нужно,
Его призывают: кому же еще воевать?»

■

Сотни штыков устремляются в Ма́ртин-плейс,
На Джордж-стрит и, на солнце сверкнув, исчезают.
Но он, способный вернуть уведенных солдат,
Может вернуть продавщицам их вопли восторга
И вспять устремить стрелки часов на почтамте,
Чтобы вновь настало время аборигенов
И травы пробили асфальт, а деревья — крыши.
Солдаты ушли, и, как прежде, ревут машины,
Но пусты улицы, полные рева машин,
И гавань пуста, ибо транспорты все ушли,
И пусты сердца и дома. И мы в Австралии
Ждем, как ждут мертвецы в сиротливых могилах,
Уже не надеясь услышать трубный глас,
Зовущий рассвет, прошлогодние травы, людей.

■

Люди будущего, за которых мы гибнем,
За которых парень в хаки с блестящим штыком,
Неизвестный Солдат, убитый в тысячах войн,
С проклятьем и песней снова идет воевать;
Забываемый всеми, когда на планете затишье,
Отправляется в пекло, спасая свет над землей,—
Помяните его, когда солнце взойдет над миром,
Ибо и сам этот парень был искрой во мраке.

«Вы видите — там в саду счастливый мужчина
Играет с ребенком в ивовом свете вечера?
Это его когда-то ораторы слали
На смерть. Он не любит, когда вспоминают об этом.
Он воевал, проливал свою кровь, погибал,
Но свет его вечен. Имя его — Человек».

ДЖЕЙМС ДЕВЕНИ

ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ В ДЖУНГЛЯХ

О серые, серые дни, когда ливень в деревьях ярится!
И что только будут делать сегодняшней ночью птицы?
Бойкую трясогузку и то разбирает страх —
А что же сказать о размокших гнездах и о птенцах?

Вчера прилетала и каркала, пророчила дождь ворона,
Всю ночь бесновались лягушки у сохнущего затона;
А сегодня все небо в тучах и не наставал рассвет,
Тяжелые воды падают с неба, и солнца нет.

О серые, серые дни, когда тучи ползут, чередуясь!
Но я совсем не о тучах — за ласточку я волнуюсь:

Я видел ее гнездо и трех желторотых в нем —
А сейчас не слетаешь за кормом под проливным дождем.

Бездомный маленький дрозд, что станет теперь с тобой?
Средь мокрых листьев, нахохлясь, сидишь ты ночной порой.
И жаворонка судьба сегодня меня тревожит,
Ведь он свой маленький домик теперь достроить не сможет.

О серые, серые дни, когда в небесах темно!
Не жаль мне старую галку — ей все на свете равно;
Когда крапивники бедные в страхе жмутся друг к другу,
Она сидит на ветке и хохочет на всю округу.

Но серые дни пройдут, и с неба спадет покров,
И в зарослях станет светлее от мелких жадных цветов.
А пока я в надежной палатке от непогоды укроюсь.
Я ведь не о себе — о птицах я беспокоюсь.

РОЗМЕРИ ДОБСОН

РЕБЕНОК С КАКАДУ*

«За сей портрет миледи Анны с птицей
В пейзаже вместе с рамой двадцать футов
Я получил сполна. К сему Верельст».

Художник поклонился и ушел.
Миледи Анна улыбалась в раме,
Кокетливо показывая ножку,—
Серьезный, очень маленький ребенок
На фоне бури, вздувшей занавески.
Миледи плакала, ей было скучно
Стоять часами и смотреть, как кисть
Мелькает меж палитрой и холстом,
В то время как доносятся из сада
Играющих сестренок голоса.
И кто-то в утешение миледи
Дал попугая с желтым хохолком,
Сурового и мудрого, как Время.

В его глазах, глубоких, как колодцы,
Таилось неожиданное чудо,
Открытое лишь через сотню лет.
Он знал неведомый огромный остров,

Terra Australis. К этим берегам
Нас вел не Вильям Дэмпиер, пират,
Не Кук, который, устремясь на запад,
Из шлюпки прыгнул в пенистый прибой,

* Портрет дочери герцога Бедфордского с австралийским какаду, написанный английским художником Верельстом за сто лет до открытия Австралии.

Чтоб флаг свой над заливом водрузить.
Terra Australis, тайный материк...
Лишь тот желтоголовый попугай
Мог рассказать о темнолицых людях,
Неслышно движущихся меж деревьев,
О молчаливых зорях, черных землях
И долгом золотом сиянье полдня.

Бродяга-птица в руки моряка
Свалилась с неба где-то в океане
Едва живая — и попала в клетку.
Отчаянный моряк, вернувшись в Лондон,
Пошел на Стрэнд и продал какаду
В таверне герцогскому мажордому.
И старый попугай с циничным взглядом
Жил в Англии, храня свои секреты,
И был как непрочтенный иероглиф.

Так можно отыскать метеорит
И не увидеть в нем частицу солнца
Иль монолог произнести на сцене
Задолго до начала представленья.

ДЖУДИТ РАЙТ

ЛЕГЕНДА

Сын кузнеца пустился в путь с ружьем
И собаку с собой позвал.
Путалась злая паутина в ногах,
Реки разливались на пути,
Ветками шиповник хлестал по глазам,
Все темнее и мрачнее становилось кругом,
А сын кузнеца не унывал:
— Я умею плавать, я могу ломать ветки и взглядом вселять
в паучишек страх,—
Он шел и разговаривал с собакой и ружьем.

В старой черной шляпе с широкими полями
Сын кузнеца по лугам шагал.
Горы вырастали на пути,
Камни срывались с круч,
Старый ворон карканьем смерть предвещал,
Дождь молотил по спине цепами,
А мальчишка напевал:
— Я могу ходить по кручам, уклоняться от лавин и выстрелом
ворону полклюва снести,—
И шагал в своей шляпе с широкими полями.

А на склоне дня солнце долу клонилось,
И ночь наступала, чтобы в гуще мрака
Ружье пропало,
И черная шляпа,

И верная черная голодная собака.
Голубка рыдала, сорока бранилась,
Травы на землю полегли от страха.
Сломалось ружье, улетела шляпа и верной черной собаки
не стало,
А солнце давно уже за горы склонилось.

Но среди ночи радуга зажглась на горé,
За ней-то мальчишка и шел в поход.
Быстрый, словно заяц,
Ловкий, словно лис,
Он схватил ее руками — многоцветный лед,
Золотое кольцо, небеса на заре,
Огоньков хоровод.
Голубка и сорока прилетели, удивляясь, изумляясь,
И снова травы поднялись на горé.
А он повесил радугу через плечо,
Где раньше висело ружье.
Змеи уползали с пути,
Ящерки сбегались любопытной толпой —
Радуга в ночи ярче солнца горела,
И весь мир говорил: — Он смелее всех, ведь никто еще
На подобное дело
Не отважился пойти.— А он легкою походкою шагал
к себе домой,
И радуга висела у него через плечо.

МАРЧЕЛЛО ВЕНТУРИ

Отпуск одного немца

ПОВЕСТЬ

Перевод с итальянского
Г. БОГЕМСКОГО

Я немец из Франкфурта-на-Майне, и зовут меня Ганс Вассель. Свое желание снова побывать в Италии и провести там месячный отпуск я решил осуществить летом 1956 года. Я соскучился по местам, где воевал со своим эсэсовским батальоном «Герман Геринг», особенно же мне хотелось вновь побывать в селении, где погиб Карл, посетить то место, где он был ранен и умер. Навестить его могилу.

Вот уже несколько месяцев мысль об этой могиле, затерянной где-то в лесистых Апеннинских горах, не давала мне покоя. Не раз по ночам я на цыпочках, чтобы не разбудить Марту, подходил к окну и подолгу смотрел на деревья, растущие вдоль набережной реки. Марта продолжала спать в нашей широкой двуспальной кровати, я слышал у себя за спиной ее мерное, легкое дыхание, и этот контраст между теплом, покоем, которыми само ее присутствие наполняло комнату, и воспоминаниями, которые роились за окном, где веяло холодом от реки, заставлял меня еще сильнее ощущать тоску по Италии.

Иной раз днем, даже во время работы, воспоминания неожиданно вытесняли все остальное, и я застывал с вытянутой рукой или умолкал на полуслове.

— У меня что-то не в порядке, доктор? — испуганно спрашивал пациент.

Тогда мне приходилось делать усилие, чтобы вновь овладеть собой и с улыбкой заверить пациента, что он совершенно здоров или во всяком случае у него нет ничего серьезного.

Больных я принимал на первом этаже нашего домика на Фридрихштрассе; целый день с раннего утра до позднего вечера я проводил в кабинете. У себя над головой я слышал легкие шаги Марты: сначала она оправляла в спальне постель, затем переходила в гостиную, и я мог представить себе каждое ее движение — вот она вытирает пыль с книжной полки, обмахивает искусственные цветы в большой голубой вазе венецианского стекла, стоящей посреди стола, протирает изразцы... А вот она уже в кухне — негромкий стук посуды, щелкание выключателя электрической плиты, густой аромат кофе.

Потом до меня доносился шум воды в ванной комнате. Потом я представлял себе, как Марта, распустив по плечам свои длинные светлые

волосы, расчесывает их гребенкой. Через несколько минут Марта, чистая и свежая, появится на пороге приемной, чтобы, перед тем как уйти на рынок, попрощаться со мной. С кожаной сумкой под мышкой она больше походила на студентку, чем на домашнюю хозяйку; она поглядит на меня сияющими от радости глазами и мгновенно исчезнет. А вернувшись, так же стремительно, чуть не бегом, поднимется по лестнице наверх и пройдет в кухню. С этой минуты и до самого обеда я мог проследить каждое ее движение у плиты.

Марта, казалось, забавлялась, словно все это было какой-то детской игрой — игрой в мужа-доктора и его жену. Мне было веселее с ней и не так одиноко во время работы, ее невидимое присутствие отвлекало меня от нудных жалоб и убогих пациентов, помогало преодолевать физическое отвращение, которое я всегда испытываю, прикасаясь к больному.

Все это было вначале...

Но в последнее время я больше не следил за каждым движением Марты и не прислушивался к ее шагам. Все чаще меня захлестывали воспоминания о горах Италии, ее равнинах и селениях. Многие годы эти воспоминания были затеряны где-то глубоко в моей памяти, а теперь неожиданно вырвались наружу вместе с именем Карла.

Я пытался не думать ни о войне, ни о Карле, ни об оставшейся там, в горах, могиле. Быть может, моя женитьба на Марте тоже была попыткой забыть о войне, вновь войти в колею прежней жизни скромного буржуа. Но теперь, стоя у окна и глядя в ночную мглу, поглотившую и реку, скованную льдом, и деревья, я должен был признать, что моя попытка провалилась.

Не то чтобы я не любил Марту, но одной ее мне было мало, она не могла целиком заполнить мою жизнь. Приходилось признать и то, что бесцветное существование врача не по мне, так же как и семейная жизнь, даже с молодой и красивой женой.

Здесь, под серым покровом немецкого неба, без звезд и без солнца, во мне вновь проснулась жажда иных просторов, новых мест — это стало чисто физической потребностью, которая в свое время уже заставила меня вступить в ряды эсэсовцев и отправиться вместе с моим другом Карлом в чужие страны, под чужие небеса, к берегам Средиземного моря.

■

О моей дружбе с Карлом мне никогда не приходилось говорить с Мартой подолгу, лишь мельком я как-то упомянул о ней в связи с фотографией, неизменно стоявшей у меня на столе в приемной. Марта сама всегда обрывала разговор, едва только речь заходила о том, что было во время войны.

Мое прошлое, прошлое эсэсовца, ее не интересовало, вернее, она упорно не желала ничего о нем знать, словно для нее не существовало этой части моей биографии. Она познакомилась со мной как с врачом, врачом она и хотела меня видеть. Все мои попытки рассказать ей о приключениях в далеких краях Марта всегда встречала смущенным молчанием, сразу же заговаривала о другом или совсем прекращала разговор. Так я в ее глазах продолжал оставаться бледным, худощавым провинциальным доктором, к тому же начинающим уже стареть — на ночь она мне подавала домашние туфли и чашку горячего настоя ромашки и каждый раз как-то по-детски и вместе с тем по-матерински заботливо вынимала у меня изо рта сигарету — последнюю, которую я выкуривал на ночь. Ее заботы в первое время вызывали у меня чувство нежности, и я отказался от попыток заставить ее узнать другого жившего во мне человека, того, кем я был раньше. В четырех стенах нашего домика на

Фридрихштрассе я пребывал в какой-то сладкой дреме до тех пор, пока незадолго до рождества я не начал все более отчетливо сознавать, как я томлюсь в пределах своей приемной, своей улицы, города, где я живу, как ограниченна жена моя Марта.

С тех пор Карл в черной форме эсэсовца смотрел на меня с фотографии, стоявшей на моем письменном столе, все пристальней и дольше: у него были четкие черты лица и ясный взгляд героя. И, глядя на его портрет, я все чаще вспоминал дороги войны, по которым мы вместе шагали под ветром, завывавшим в лесных чащобах, под холодным зимним дождем, под палящим летним солнцем.

В канун рождества 1956 года ко мне на прием явился какой-то еврей. Расовую принадлежность пациента я определил сразу же. Щуплый еврей снял верхнюю рубашку и фуфайку, он стоял предо мной обнаженный до пояса, белокожий и костлявый, и ждал, чтобы я за плату прослушал ему легкие.

Не имея возможности отказать, я вынужден был побороть чувство отвращения и прикоснуться к нему, приложить к его спине стетоскоп.

Карл глядел на меня с фотографии бесстрастно, безотрывно. На лбу у меня выступил холодный пот, еле ощутимый запах, который издавала кожа этого еврейчика, вызывал тошноту.

Не отвечая на его вопросы, я дрожащей рукой выписал рецепт, а он, надевая фуфайку и рубашку, следил за мной растерянным взглядом. Кончиками пальцев я отодвинул деньги подальше, на самый край стола, и не двигаясь смотрел на него. Он поднял воротник пальто и направился к двери. Прежде чем выйти на улицу, он оглянулся и окинул меня быстрым взглядом.

Это не мог быть кто-нибудь из проживавших на Фридрихштрассе или в нашем квартале, иначе он бы знал, кто я. А может, он жил именно в нашем квартале и пришел специально для того, чтобы меня унизить.

То, что я не смог отказать ему, заставило меня остро почувствовать, сколь жалко мое теперешнее существование. Я бросил деньги на пол и стал под взглядом Карла топтать их, но даже это не помогло мне избавиться от дурного настроения. Так произошло наше первое столкновение с Мартой.

Я тщательно вымыл руки, поднялся на второй этаж и молча сел за накрытый к обеду стол — на свое обычное место, которое занимал на протяжении стольких лет. Марта, едва взглянув на меня, сразу почувствовала, что я не в духе, и робко улыбнулась.

— Сегодня утром я встретила госпожу Бруммер,— сказала она, прекрасно зная, что меня это совершенно не интересует.

— Очень хорошо,— ответил я.

— Она приглашает нас к себе,— продолжала Марта, усаживаясь напротив.— В следующее воскресенье.

Марта отличалась поистине необычайной способностью подолгу обсуждать какой-нибудь абсолютно пустячный вопрос. Теперь она словно почуяла, какая опасность таится в предстоящем объяснении.

Она самым подробнейшим образом продолжала рассказывать о госпоже Бруммер, о ее здоровье, о нелепом платье, в котором та была, и даже о делах ее мужа — адвоката Отто Бруммера.

Я не перебивал Марту, думая совсем о другом; еще больше, чем вся ее дурацкая болтовня, меня выводило из себя то, как она боится что-нибудь узнать о неизвестной ей стороне моей жизни.

Наконец я сказал:

— Хватит!

Марта покраснела, над разделявшим нас столом повисло гнетущее молчание. Я долго ждал, что она спросит меня, в чем дело, но тщетно. И чем дольше я ждал, тем растеряннее становилась Марта, тем сильнее

дрожала вилка в ее руке. Я перестал есть и резко отодвинул от себя тарелку.

— Мне противно,— медленно произнес я.— Ты не ожидала этого?

— Знаю, что я плохая повариха,— пробормотала Марта, пытаясь улыбнуться. Она лгала, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, надеясь вновь оттянуть объяснение.

— Речь идет совсем о другом,— сказал я.

Я хотел услышать вопрос, самый обычный, естественный вопрос, который жена задает своему мужу. Поэтому я не добавил ничего больше и стал терпеливо глядеть на нее.

Марта чувствовала, что попалась в расставленные мной сети, ей не удалось отвести взгляд, и она смотрела мне прямо в глаза, как завороженная.

— О чем же другом? — наконец спросила она. Марта произнесла эти слова так, что в них не слышалось вопроса; она произнесла их так, будто они и не нуждались в ответе, словно она вовсе и не желала этот ответ получить.

— Ко мне на прием явился еврей,— сказал я и поглядел на нее.

Вся она как-то подобралась, поза ее стала напряженной, кровь отхлынула от лица. Хотя Марта по-прежнему сидела на противоположном конце стола, теперь казалось, будто она где-то очень далеко, так далеко, что сразу и не представишь.

— Да?..— донесся до меня откуда-то ее голос.

— Мерзкий еврей пришел ко мне на прием,— сказал я.

Я нагнулся над столом, чтобы лучше разглядеть, как она побледнела.

— Разве это не противно? — спросил я.

Марта была не в силах ответить, она сделала движение, словно собиралась встать, но не смогла подняться со стула. Потом как-то неопределенно покачала головой.

— Скажи же мне, что ты об этом думаешь, а то я тебя не понял,— продолжал я.— Ведь ты согласна со мной, не так ли?

У нее на глазах выступили слезы.

— Может быть, ты, чего доброго, любишь евреев? — спросил я.

Казалось, она вот-вот разревется, а я просто не выношу ни женских, ни детских слез. Я еще ни разу не видел, чтобы она плакала. Ей и теперь удалось сдержаться.

— Я люблю всех людей,— проговорила Марта так тихо, что я едва услышал.

Я ждал этого, я понял это еще раньше, когда она так боялась объясниться со мной. Я вышел из-за стола и спустился в приемную. Прежде чем выйти на улицу, я широко распахнул окна.

■

Это было печальное рождество. Зима тянулась нескончаемо долго. Солнце не показывалось на низко нависшем сером небе, даже днем в приемной приходилось зажигать свет. На грязный снег, покрывавший нашу улицу и набережную, рано спускалась ночь, и в ночной темноте вой пароходных сирен звучал еще пронзительней, еще более зловеще.

Марта поблекла, завяла, как цветок под порывом ветра, в уголках рта залегли две тонкие морщинки. Мне не удавалось объясниться с ней. Она не раз пыталась заговорить со мной, будто между нами ничего не произошло, но наши беседы превращались в нелепый монолог — я отвечал все короче и односложнее, ибо не мог, как, впрочем, и Марта, забыть того, что случилось в канун рождества. Между нами словно выросла

стена: Марта не была больше моей женой. Это была внешне привлекательная чужая женщина, которая ненавидела меня, вернее, ненавидела во мне другого человека, неведомого ей.

Мы еще иной раз ходили вместе в кино, что на углу нашей улицы. Шли мы под руку, но всю дорогу молчали, и каждый из нас был погружен в свои мысли. Мы смотрели на леденящий душу зимний пейзаж вокруг и замедляли шаги, чтобы оттянуть ту минуту, когда окажемся снова вдвоем в четырех стенах нашей квартиры. В лучшем случае мы говорили об увиденном фильме, или же Марта что-нибудь рассказывала о госпоже Бруммер, встреченной нами в кино.

Большинство вечеров я проводил за чтением в гостиной, в то время как Марта возилась в кухне. Склонившись над книгой, я ждал, пока она уляжется спать; в спальню я входил только тогда, когда был уверен, что она уже уснула. Не зажигая света, раздевался и, стараясь ее не разбудить, как можно осторожней укладывался рядом.

Иногда я уходил из дому и шел в бар распить бутылочку пива со старыми друзьями. Это были самые приятные вечера, но и они нагоняли тоску. Мы пели хором песни, подолгу и дружески беседовали; расходились поздно ночью и снова возвращались к новой для каждого из нас жизни семейного человека. В минуты прощания мне казалось, что все мы, старые друзья, напялили на себя выходные костюмы, которые совсем не для нас, привыкших носить военные мундиры.

После таких вечеров, проведенных в баре, я подолгу стоял в неосвещенной спальне у постели и смотрел на Марту. Голова у меня кружилась от пива, хотелось разбудить жену и все рассказать о себе. Пусть она еще больше страдает, пусть еще сильнее ненавидит меня!

Я зажигал свет, раздевался, швырял одежду на стул, а ботинки на пол и валился в кровать. Марта открывала глаза. Я молча заключал ее в объятия, снимал, вернее, чуть ли не срывал с нее ночную рубашку. И, погасив свет, по-прежнему не произнося ни слова, обуреваемый скорее злобой, чем страстью, овладевал ею.

В минуты наших редких объятий и в Марте просыпалась какая-то ярость. Словно она дожидалась этого только как женщина — и не больше. Она утрачивала свою мягкую покорность и, стиснув зубы, чтобы сдержать привычные слова и даже вздохи, по-своему скорее брала, чем давала.

Потом, усталые и чужие, мы лежали, далеко отодвинувшись друг от друга на нашей широкой двуспальной кровати: я пристально глядел на оконные стекла, в которых отражался свет фонарей с набережной, и прислушивался к глухому рокоту моторов и завыванию гудков на реке, к звуку чьих-то поспешных шагов по снегу.

Кровать делалась все шире и шире, а Марта отступала все дальше и дальше. Я был один. Увидев, что Марта уснула, я вставал и подходил к окну. Город каменным кольцом все сильнее сжимал мой дом, с севера дул ветер; я не мог оторвать взгляда от раскачивавшихся в тумане верхушек деревьев. Никогда еще не видел я во Франкфурте такой тьмы, слякоти, такого тумана и такого ветра на реке. Никогда еще зима не казалась мне такой долгой и суровой.

Может быть, потому, что спящая Марта больше не была мне близка, может быть, потому, что я слишком долго просидел в этом доме, в этом городе, в этой западне. Но прежде всего потому, что наши надежды, наш боевой дух мы оставили там, в итальянских горах, похоронили его в Апеннинах, в могиле Карла. У меня, у моих старых друзей осталось в жизни совсем немного — лишь костюм для торжественных церемоний, солидная профессия, жена...

«Я куплю тебе холодильник,— мысленно обращался я к Марте, неподвижно стоя у окна,— И малолитражную машину. И мы будем сча-

стливы, хотя у нас будет только это. Быть может, у нас еще родится сын. Он благополучно вырастет, и у него тоже будет солидная профессия, жена, холодильник, малолитражная машина. Так мы доживем до конца своих дней в этих самых четырех стенах, среди теней и туманов, и любой еврей сможет ежедневно приходить ко мне на прием, оставляя на письменном столе смятую купюру».

Ночная темнота все более сгущалась вокруг моего дома; ночь без исхода, без огней, кромешная тьма, от которой захватывало дух. Я не испытывал больше ни тоски, ни сожаления — осталось одно только отчаяние. Я завидовал Карлу, который пал в бою и теперь спал сном героя.

Хотя его гибель и осталась неотомщенной.

■

Весной я купил мотоцикл, мне хотелось сделать сюрприз Марте. Но я купил его не только из-за этого.

Я затормозил под окнами нашего дома и погудел, чтобы она выглянула, и лишь когда она, раскрасневшаяся, сбежала по лестнице и появилась на пороге приемной, я выключил мотор. Я остался в седле, спустив ноги на землю и держа руки на руле. Марта прислонилась к косяку двери, она смотрела на меня удивленно и доверчиво, будто ребенок увидя новую игрушку.

— Это твой? — спросила она наконец робко.

— Наш,— ответил я.

На губах Марты появилась улыбка, которой я уже давно не видел. Вдруг она очнулась от оцепенения, выбежала на улицу и приблизилась ко мне.

— Может, прокатимся? — спросила Марта, остановившись в нескольких шагах от меня.

Я велел ей сесть на заднее седло и включил мотор. Раздался мерный металлический звук. Мотор был мощный, для дальних поездок, машина сверкала никелем и черным лаком на баке и щитках. Блестящая и новенькая, нарядная машина походила на невесту, идущую к алтарю.

Я повез Марту на небольшой скорости вдоль реки. Мне хотелось выехать из города. Мотоцикл послушно подчинялся каждому движению руки; из-за сильного уличного движения мне приходилось сдерживать его, хотя я чувствовал, как мотору не терпится набрать скорость. Он казался живым существом, да и действительно был им.

Оставив позади последние дома окраины, мы понеслись по прямой, как стрела, автостраде, прорезавшей нежную зелень лугов. День был прекрасный — первый весенний день после долгой зимы. Бледное неяркое солнце мягко светило на блекло-голубом, почти белесом небе. В полях то там, то здесь виднелись еще по-зимнему одетые крестьяне, но воздух был уже весенний, теплый.

Навстречу нам попадались мотоциклы, легковые машины, грузовики; люди будто пробудились вместе с солнцем и землею от зимней спячки, из-за которой все выглядело каким-то нелепым, нереальным.

Встречный ветер бил в грудь, до отказа наполнял легкие. Марта своими тонкими руками обхватила меня за плечи. Потом я почувствовал, как руки ее разжимаются: она обняла меня за талию и прижалась лицом к спине. Марта сделала это, не только чтобы крепче держаться в седле,— в этом ее движении я чувствовал возвращение былой нежности.

Я был доволен своим приобретением: мотоцикл поможет нам развлечься, как-то заполнит нашу жизнь; его покупка, быть может, внесет разрядку в наши отношения. Я радовался также тому, что купил мотоцикл, а не малолитражную машину: я вновь испытывал удовольствие от

быстрой езды — более непосредственное ощущение скорости, более тесное соприкосновение с природой, чем в машине.

Именно так во время войны мы с Карлом, по очереди ведя мотоцикл, исколесили пол-Европы.

Я глубоко вдохнул запах бензинного перегара, и мне вспомнились те сотни километров, что мы прошли по равнинам, горам, побережьям на мотоциклах нашего эсэсовского батальона.

Марта, сидевшая у меня за спиной, что-то сказала, но я не разобрал. Свернув с автострады на какой-то проселок, я остановился у первого трактира. Мотор замолк, и сразу же нас охватила тишина полей, повеяло ароматом влажной свежевспаханной земли.

Марта пошла по дороге, чтобы немного размять затекшие ноги. Веки у нее припухли от ветра, лицо раскраснелось, губы улыбались.

— Как хорошо! — сказала она.

В глазах ее светились радость и восхищение. Я отвел мотоцикл под навес, мы вошли в трактир, держась за руки, и стали искать свободный столик.

— Закусим? — спросил я ее.

Марта утвердительно кивнула, после проделанного пути у нас обоих разыгрался аппетит.

После рождества мы впервые сидели рядом, не испытывая чувства неловкости, смотрели друг другу в глаза и смеялись.

Мне вновь показались вкусными и хлеб, и сыр, и пиво; все было прекрасно, все вселяло в меня надежду, что я заблуждался относительно Марты. Быть может, я ошибался и в оценке своей новой жизни — сытой жизни обеспеченного врача.

Совсем рядом, в двух шагах, за дверью деревенского трактира, под почти уже весенним солнцем бежала вдаль дорога. Быть может, мы еще нужны в этом мире. Быть может, Марта, проявив терпение, узнает меня и поймет. Ведь она, в сущности, тоже немка.

Я сказал:

— Мы хорошо проведем в этом году летний отпуск.

Марта с трудом проглотила слишком большой кусок хлеба. Отхлебнула пива.

— На мотоцикле? — спросила она.

— На мотоцикле,— сказал я.— Для этого я его и купил.

Марта погладила меня по руке. Потом отняла руку и наморщила лоб.

— Мы должны как-нибудь его назвать,— сказала она.

— Придумай сама.

Меня забавляла серьезность, с какою Марта пыталась найти подходящее имя. Она блуждала взглядом по потолку, перестала есть. Я молча ждал.

— Назовем его «Котенок»,— проговорила она.— «Котенок».

Я был разочарован, и она это поняла.

— Мне больше понравилось бы «Тигр». Разве это не лучше? — предложил я.

Марта сделала гримасу и опять уставилась в потолок.

— «Ослик»,— сказала она наконец.— Наш «Ослик».

Я расхохотался. Терпеть не могу ослов и вообще всех животных, лишенных сообразительности. Но голос Марты звучал так убежденно, что я приподнял стакан.

— За здоровье «Ослика»,— провозгласил я.

Марта тоже выпила, и мы продолжали наш обед.

За окном солнце светило все слабее, постепенно отступая перед серой мглой, возвещавшей приближение сумерек. Дни были еще короткие,

надо было возвращаться, пока не стало холодно и темно. Но я еще не сообщил ей, как мы проведем это лето. Марта словно прочла мои мысли.

— Куда же мы отправимся отдыхать на нашем «Ослике»? — спросила она.

— Мы поедем в Италию,— ответил я, стараясь произнести это как можно более безразличным тоном. И повернулся к стоящему за стойкой буфетчику, прося подать счет. Когда я вновь посмотрел на Марту, то увидел: она так возбуждена и взволнована, что не может даже говорить, но при этом вовсе не испытывает страха. Только на улице, тесно прижавшись ко мне, она поблагодарила меня. И пока я заводил мотор, протянула руку к фонарю мотоцикла и легонько погладила его.

Мы возвращались в город, когда уже зажигались первые огни. На свинцово-сером небе виднелись кое-где редкие, бледные звезды; пустынные поля уже тонули в темноте.

«В Италии,— думал я,— ты поймешь меня и станешь мне настоящей подругой».

■

В Италии произошел разрыв. Во всяком случае, поездка внесла ясность в наши отношения, и сегодня я ничуть об этом не жалею.

Мы проехали через Бреннерский перевал и первую остановку сделали в Вероне. Потом пересекли Падуанскую низменность и, достигнув селений Эмилии, сделали вторую остановку в Парме. Оттуда мы направились к перевалу Чиза.

Перед отъездом я тщательно разработал весь маршрут, отметив город за городом на старой географической карте; но я мог бы мчаться по этим дорогам и без всякой карты, настолько все было свежо в памяти.

Первых отрогов Апеннин мы достигли, когда солнце стояло уже в зените. Мы начали подниматься по дороге, шедшей среди зеленых каштановых рощ, и у меня от волнения сдавило горло. Справа от нас, переливаясь под лучами солнца, в широком каменистом ложе текла река, исчезавшая в тесной горной долине. Мне казалось, я узнаю каждую излучину, каждый метр дороги, каждый уступ гор, все домики и селения на склоне.

На вершине перевала я остановил мотоцикл. Марта, глазам которой до сих пор еще никогда не открывались такие просторы, сплошь залитые ослепительным светом, подбежала к парапету над кручей и, приподнявшись на носки, застыла, повиснув над пропастью, словно готовая взлететь птица. Я подошел к ней, медленно шагая по теплому асфальту; в глубине души я испытывал тайное наслаждение от того, что вновь ступаю по этому асфальту, он был тот же, что и прежде, тот же мягкий итальянский асфальт. Я вдыхал его еле уловимый запах, смешанный со знакомым ароматом деревьев, трав, бегущей внизу реки.

Я рассеянно обнял Марту за талию, она продолжала как зачарованная смотреть на долину и вершины гор. Мы долго стояли молча.

— Вот по этой дороге,— сказал я,— шли тогда наши.

Марта вздрогнула и поглядела на меня отсутствующим взглядом, словно не слыша моих слов.

— По этой дороге,— повторил я,— мы отступали. Все войска фронта Гарфаньяны прошли здесь. И мой батальон тоже.

Марта вновь устремила взгляд на долину, прислонившись головой к моей груди.

— Да? — спросила она.

— Мы шли пешком,— продолжал я, следя за ее взглядом.— Шагали в затылок друг другу двумя длинными цепочками по обочинам дороги.

Она обернулась назад, к дороге, бежавшей под нами вниз по склону, к морю. Я показал рукой на тонкую темную полоску, то появлявшуюся, то исчезавшую среди густой листвы деревьев,— хотелось объяснить ей, в каком направлении мы шли, шли днем и ночью, преследуемые пулеметным огнем англо-американских истребителей и бомбардировщиков.

Я рассказывал Марте, а сам снова видел нескончаемые колонны усталых солдат, медленно бредущих под звяканье болтающихся на груди автоматов, крики команды, рокот моторов на дороге, остро и едко пахнущей отработанным бензином. Сейчас, с высоты, я вновь увидел всю пришедшую в движение долину, весь фронт Гарфаньяны, еще не прорванный, еще могучий, ползущий вверх по дороге, прямо к невообразимому поражению, а внизу на равнине — англо-американские войска, остановившиеся в растерянности перед отрогами Апеннин...

Двери домов были заперты, ставни закрыты, селения казались вымершими. А по ночам было светло от огней ракет, гроздьями падавших с неба, и на каждом шагу нас поджидали в засаде партизаны.

С боями мы добрались до этого перевала, но не остановились, приказ предписывал нам идти дальше, к берегам По, хотя мы и могли удержать эту дорогу.

Почему мы отступали? Теперь, когда я рассказывал обо всем Марте, вопрос этот вновь стал терзать меня с такой же силой, как терзал тогда.

Я замолчал, Марта изумленно глядела на дорогу, залитую солнцем и тишиной. Я указал ей на остроконечные вершины и голубые скалы Апуанских гор, видневшиеся вдали, над отрогами, спускавшимися к морю.

По ту сторону этих гор остался Карл.

— Просто трудно поверить,— сказала Марта.— Все так красиво. Трудно поверить, что здесь прошла война.

На лугу, под террасой, где мы стояли, появилась отара овец. Ее гнал мальчик-пастух. Мальчишка бросал камешки в заросли колючего кустарника. Позади стада с лаем бежала черная овчарка.

В лепившемся на крутом склоне селении празднично звонили колокола, жители выходили из церкви и останавливались поболтать на площади.

Под руку мы перешли через дорогу и направились к единственному в селении бару — «У перевала». Именно таким мне и помнился этот домишко, сложенный из потемневших от времени речных камней. Но в дни отступления этот бар был закрыт. На маленькой площади перед баром стоял большой красно-желтый грузовик с прицепом, двое шоферов, облокотившись о стойку, пили вино. Когда мы вошли, они, не отваливаясь от стойки, обернулись и, окинув меня беглым взглядом, стали молча разглядывать Марту. За стойкой хлопотал высокий старик, сутулый и худой, в очках, перевязанных веревочкой.

— Выпьем вина,— сказал я.

Марта, оробев при виде иностранцев, растерянно огляпулась вокруг, взгляд ее задержался на приколотых к стене пожелтевших олеографиях и на распятии. На картинах были изображены различные библейские сцены.

— Вина,— заказал я по-итальянски.

Шоферы подвинулись, освободив немного места у стойки, на них были синие замасленные комбинезоны. Оба они были смуглые, черноволосые и темноглазые.

— Это немцы,— шепнул один из них, нагнувшись к буфетчику.

— Да,— сказал я.

Шоферы смущенно улыбнулись, старик за стойкой, ставя стаканы на мраморную доску и наливая вино, тоже улыбнулся.

— Далеко? — спросил старик.

— Повторите, пожалуйста,— сказал я.

— Далеко едете? — переспросил он.

— В Тоскану,— ответил я.

Марта дрожащей рукой взяла стакан и сделала глоток. Вино ей не понравилось, но она попыталась скрыть гримасу отвращения. Я же осушил свой стакан залпом.

— Браво,— сказал один из шоферов, он внимательно глядел на меня, кивая головой в знак одобрения.

В том, как держались эти трое итальянцев, сквозило замешательство, но вместе с тем было в их поведении что-то подобострастное, испуганное. Это было то же подобострастие и тот же страх, какие я ощущал вокруг себя во время войны. И я вновь испытал чувство горечи и вместе с тем удовлетворения.

— Смешной народ эти итальянцы,— сказал я Марте.

Марта покраснела, торопливо сделала еще глоток вина и поставила стакан на стойку. Быть может, она боялась, что итальянцы понимают наш язык.

— Пойдем,— прошептала она и поспешно направилась к выходу.

Мы поехали по той же дороге, что привела нас сюда,— теперь она незаметно спускалась к руслу реки. Солнце стояло высоко над горами, и небо было чистое, как зеркало. За одним из поворотов неожиданно открылась долина Луниджаны. Над зеленеющими полями, словно серебряные облачка, стояли оливковые рощи. От сверкавшей на солнце листвы олив все вокруг казалось еще светлей. Апуанские горы высоко вздымали свои вершины, а внизу, там. где река, теряясь в зарослях кустарника, исчезала из виду, смутно угадывалась близость моря.

Я пустил мотоцикл под гору. Мотор «Ослика» тоже вдыхал свежий морской воздух. Я чувствовал, что кровь у меня быстрее струится по жилам, и мне казалось, что Франкфурт, четыре стены моего жилища, приемная со щуплым евреем, долгие безмолвные ночи, проведенные рядом с Мартой,— лишь смутное воспоминание о какой-то далекой, нереальной жизни, кошмарный сон, после которого просыпаешься с облегчением, будто из темноты подземелья вышел на солнечный свет.

Все чаще стали попадаться навстречу городки и селения. По обе стороны дороги и на отрогах гор то там, то здесь в разрушенных домах виднелись внутренние стены с выцветшими обоями. Груды битого кирпича, рухнувшие балки уже успели кое-где густо порасти травой.

Мы приближались к линии фронта, здесь мы держались несколько месяцев до тех пор, пока не наступила катастрофа. А теперь каждый клочок земли был тщательно возделан, маленькие прямоугольные лоскутки крестьянских наделов — огороды, виноградники, оливковые рощи — были густо засеяны и засажены. Но хотя поля покрывала растительность, нетрудно было разглядеть воронки от бомб и снарядов — они по-прежнему зияли, словно незажившие раны.

На равнине, за Сардзаной, рядом с новыми и, видимо, совсем недавно отстроенными поселками чернели остовы разрушенных домов, тянулись покинутые селения. Вот здесь, на этих самых улицах, из-за этих стен прогремели наши последние выстрелы.

Вокруг Каррары, сверкая белоснежным мрамором, высились Апуанские горы — последний бастион Готической линии *. Теперь море уже было близко — мчась по широкой, обсаженной деревьями дороге, мы уже чувствовали его дыхание, доносимое свежим утренним ветерком.

Что испытывала сидевшая у меня за спиной Марта? Догадывалась ли она о моих мыслях, об охватившем меня волнении?

---

* Линия обороны немцев в Центральной Италии.

Я помчался с предельной скоростью, и вот в конце аллеи блеснул узкий просвет, неподвижный, как полоска неба. Средиземное море неслось нам навстречу сквозь толпу, машины, дома, запыленные деревья. Оно становилось все шире, все голубее, теряло свою неподвижность, вздымаясь и трепеща, как живое существо.

Я остановил мотоцикл на шоссе у прибрежных скал. Марта сошла и сделала несколько шагов навстречу солнцу, ветер развевал ее волосы.

Она посмотрела на море, и ее глаза наполнились слезами.

Мы долго бродили вдоль скал, обвеваемых ветром, потом мы спустились на узкий песчаный пляжик, о который с тихим плеском мягко ударялись волны. Марта наклонилась потрогать морскую пену, набрала немного в ладонь и поднесла ко рту. Смеясь, она плеснула водой себе в лицо. Она набирала целые пригоршни пены, погружала руки в воду, смеясь, глядела на меня и тянула за рукав, ей хотелось бегать и кричать от радости. Чтобы успокоить Марту, мне пришлось крепко обнять ее, я уже не понимал, продолжает ли она шутить или же в самом деле так взволнована. Она поцеловала меня, я почувствовал, что у нее подкашиваются ноги, она устала и вся сникла, как после большого физического напряжения.

— Успокойся,— сказал я.— Нам прежде всего надо найти гостиницу.

— Да,— сказала Марта.

Я начал карабкаться вверх по скалам, туда, где оставил мотоцикл. Она следовала за мной, все время оглядываясь, не в силах оторвать глаз от моря. Я показал рукой на горный склон, казавшийся совсем близко.

— Видишь вон там наверху серое пятно? — спросил я.

Марта прищурилась, посмотрела в том направлении, куда я указывал, и ничего не ответила.

— Это Форни,— сказал я.— Маленькое селение. Я отвезу тебя туда.

■

Семь дней продолжался наш счастливый отдых. Я терпеливо ждал. На восьмой день — это было воскресенье — с моря подул сильный юго-западный ветер. Море потемнело, уже утром не было видно ни одного паруса, с горизонта надвигались низкие черные тучи, вскоре они закрыли небо сплошной пеленой, приглушив все краски и звуки.

Настал долгожданный момент.

— Мы поедем наверх, в горы,— сказал я Марте.

— Разве уже кончилось лето? — спросила она.

Я рассмеялся, чтобы подбодрить ее.

— Нет, не кончилось, тут оно никогда не кончается: это единственное, чем богаты итальянцы,— сказал я.— Но завтра утром мы поедем туда, в горы.

И вот мы оставили позади море и равнину и двинулись по дороге, которая ведет вверх по горной круче к каменоломням,— по старой немощеной дороге, зажатой между отвесными склонами гор.

Вскоре вокруг нас были лишь дикие скалы, глыбы мрамора, густой лес. Мерный стук мотора далеко разносился в тишине, особенно гулко и отчетливо он отдавался в туннелях.

Мы миновали селения с приземистыми, сложенными из камней темными домами, крытыми шифером. Потом дорога стала пустынной, все реже и реже попадалось человеческое жилье; казалось, дорога кончится тупиком, упрется в гору. Но вот третий, затем четвертый туннель, и впереди открылась маленькая горная долина. Мы забирались все

выше и выше, и перед нами возникали все новые вершины и горные цепи, тонувшие в густом тумане.

За мостом через Поджо, над деревьями и галереями заброшенных каменоломен стлался грязный, как дым пожарища, туман. Ржавые тросы бездействующей подвесной дороги прорезали небо, на маленьких огороженных канатом площадках лежали разбитые глыбы мрамора.

Воздух был свежий, наполненный знакомыми мне запахами: приторным запахом тумана, едким запахом мраморной пыли и особенно остро ощутимым ароматом леса, смешанным с запахом земли и прелых листьев.

На одном из поворотов нам повстречался спускавшийся в равнину старый голубой автобус. Мне пришлось затормозить, автобус весь трясся и отчаянно гудел. Из окошечек глядели пассажиры, кто-то помахал нам, и Марта ответила, подняв в знак приветствия руку.

Мы подъехали к развилке. Внизу под нами два горных потока соединялись в один и устремлялись по общему руслу к морю. Впереди открылись две зажатые горами долины; не глядя на указатель, я свернул на дорогу, взбирающуюся вверх по правому склону. Я был доволен: прошло немало лет, но я не забыл этого так хорошо знакомого мне маршрута.

Селения попадались все реже. Они прятались в лесу и выглядели не совсем обычно, ибо здесь вперемежку со старыми почерневшими от огня домами, глядящими на дорогу пустыми глазницами выбитых окон, стояли новые дома с белыми, свежеоштукатуренными фасадами.

Теперь я уже узнавал тропинки вдоль лесных опушек, повсюду находил следы нашего пребывания — пулеметные гнезда, дзоты, просеки, которые мы вырубали, чтобы легче было вести артиллерийский огонь. Я поехал медленнее, мне хотелось разглядеть все получше, посмотреть, не валяется ли еще где-нибудь под деревьями ящик из-под патронов, но нигде ничего не было видно — земля была чистой, как паркет в зале, который только что подмели после танцев. Меня это поразило: значит, в самом деле прошло много лет, а мне казалось — всего несколько дней!

Я еще больше замедлил ход — мы въезжали в селение.

Форни стоит на вершине горы, дорога здесь перестает лезть вверх и идет почти совсем ровно по плоскогорью. Это кучка жалких домишек, какие можно увидеть в каждом селении, с площадью посередине, украшенной фонтаном и церковью. Форни господствует над склоном, спускающимся к морю, в хорошую погоду отсюда видны и равнина, и простор моря. В туман же селение походит на затерявшееся в облаках воронье гнездо, камни его домов становятся черными, как грифельная доска, и горизонт исчезает.

Жители Форни одеваются в черное даже летом, пожилые женщины повязывают голову платком, мужчины работают в лесу или на каменоломне, вечером, возвращаясь домой, они молча спускаются группами по горным тропинкам с перекинутыми через плечо пиджаками.

За все время пребывания нашего батальона здесь, на горе, я ни разу не видел, чтобы эти люди смеялись, и, пожалуй, не слышал, чтобы они разговаривали. Даже дети. Они запомнились мне как тени, тени, мелькавшие у нас за спиной, перебегавшие из дома в дом, и то главным образом ночью.

Потом я понял, что за их молчанием кроется ненависть рабов, страх и бессилие. Эти тени пытались поднять на нас руку, убивали нас под покровом ночной темноты, наносили свои удары наугад. Так погиб Карл. Форни было сожжено. Оно пылало ночью, как огромный костер, а внутри домов метались тени — не все жители успели спастись. Интересно, сколько их уцелело и жив ли еще кто-нибудь из них?

Я остановил мотоцикл у церкви на пустынной площади. Когда я выключил мотор, раскрылось несколько окон, распахнулась дверь, из-за угла дома показались трое мальчишек. Они медленно и боязливо приблизились и остановились в нескольких шагах от нас.

Марта минуту колебалась, потом, оглянувшись вокруг, подошла к фонтану, вымыла руки, попила воды и осталась стоять у невысокой ограды. Она улыбалась мне, но делала это с видимым усилием. Я посмотрел на нее. Золотоволосая и загорелая, со светлыми глазами, стройной фигурой, она резко отличалась от итальянских женщин, с их нищетой и смирением. Я был уверен, она поймет меня, и радовался тому, что привез ее сюда.

Из леса продолжал ползти туман. На площади собирались группами мужчины, женщины, дети. Они молча наблюдали за нами.

Я подошел к стоявшей у фонтана Марте и тоже выпил студеной воды Апеннин. Марта взяла меня за руку. Она говорила шепотом.

— Вернемся к морю,— сказала она.

Она искала взглядом море внизу, в долине, за окружавшими площадь домами, но долина исчезла, словно ее поглотило низко опустившееся небо. Внизу сплошным покровом расстилались облака, отделявшие селение от всего остального мира, превращая его в оторванный от земной тверди, вознесшийся в небо остров.

— Холодно,— прошептала Марта и прижалась ко мне.

Я ей ничего не ответил, я внимательно разглядывал мощенную булыжником площадь. Здесь тоже новые дома стояли вперемежку со старыми — чернота закопченных огнем стен и белизна свежей штукатурки. На многих фасадах остались следы от пуль, их заштукатурили, но они были еще заметны. Люди были все теми же, что и несколько лет назад,— женщины в черных платках и платьях, на лицах мужчин то же отрешенное выражение, они были все так же погружены в свои мысли, и взгляд у них остался тот же.

Стайка детей приблизилась к мотоциклу. Они окружили его и рассматривали в полном молчании. От толпы в глубине площади вдруг отделилась девушка с кувшином для воды, пересекла площадь и подошла к фонтану. Она неотрывно смотрела на нас, когда приближалась, и после — когда набирала в кувшин воду. Но вот кувшин наполнился и вода полилась через край, девушка поставила его на голову и, осторожно ступая, пошла обратно.

Марта улыбнулась ей, но девушка не ответила на улыбку.

Я услышал, как она сказала стоявшим рядом с ней людям:

— Это немцы.

— Поедем,— настаивала Марта, хотя и не поняла ее слов.— Вернемся к морю.

Я взял ее за руку и потащил за собой в глубину площади, туда, где толпились мужчины и женщины. Они перед нами расступились, а потом разошлись, и мы остались одни посреди улицы.

— Осмотрим селение,— предложил я Марте.

■

Осматривать, собственно говоря, было почти нечего. Такое селение в Апеннинах, как Форни, можно осмотреть за пять минут. Все его дома вытянулись по обе стороны дороги, и едва только кончается селение — сразу же начинается лес, выгоны для скота да крохотные виноградники.

Не успели мы сделать и несколько шагов, как заморосил мелкий, почти невидимый дождик. Мы шли, держась за руки, вернее, Марта

крепко ухватилась за мою руку. Вокруг царила мертвая тишина, на порогах домов не было видно ни души — совсем как во время войны. Чем дальше мы шли по деревне, тем сильнее мной овладевало странное, но однажды уже испытанное чувство: за закрытыми окнами низких домишек я ощущал чье-то присутствие, кто-то беспощадный и враждебный следил оттуда за каждым нашим движением.

Я заметил также, что походка Марты сделалась неуверенной, словно она ступала по минированному полю, и по тому, как она озиралась вокруг и смотрела на окна, я понял: ей страшно.

Моя светловолосая, сильная жена, немка, испытывала страх перед жителями итальянской деревушки!

У одного из домов мы остановились. Сердце у меня учащенно билось, лицо было мокро от дождя, каждый мускул и нерв напряжен, как когда-то.

— Что с тобой? — спросила Марта.

Я указал на мраморную мемориальную доску, выделявшуюся белым пятном на темном фасаде; опуская руку, я увидел, как ставни окна рядом с мемориальной доской приоткрылись, но никого в окне не заметил. Казалось, ставни открылись сами собой.

— Надпись на этой доске касается и меня.

Марта сжала мою руку и отвернулась. Она стала глядеть куда-то вверх, в темное, затянутое облаками небо, словно не хотела видеть доски.

— Ничего хорошего нет в этом селении,— сказала Марта,— оно мне не нравится! И в доске этой тоже нет ничего хорошего.

Я почувствовал, что она вся дрожит, но не понял, чем вызвана эта дрожь: боится ли она или возмущается тем, что я ее сюда привез. Ясно мне стало только одно: скоро мы с ней поговорим начистоту. Я удержал Марту рядом с собой.

— Видишь следы пуль? — спросил я.

— Вижу.

— А следы огня?

— Да.

— Так вот, в этом селении, где, по-твоему, нет ничего хорошего, мой эсэсовский батальон стоял целых полгода.

С площади до нас донесся перезвон колоколов. Он наполнил всю улицу и, дрожа, повис между стенами домов. В дверях показались дети, мужчины, женщины. Они были одеты по-праздничному — в черных костюмах и платьях, в черных платках и шляпах. Все они направились к площади. Не глядя на нас, они поспешно проходили мимо.

— Скоро начнется месса,— сказал я.

— Почему мы не едем вниз, к морю? — спросила Марта. Она с волнением и испугом наблюдала за проходившими мимо нас жителями Форни. И улыбалась то какой-нибудь женщине, то ребенку, но и женщины и дети опускали глаза, делая вид, что не замечают улыбки, замиравшей на ее побелевших от холода губах. Люди исчезали за углом, мы же пошли дальше и, пройдя все селение, оказались в лесу, там, где дорога вновь начинает подниматься вверх. Марта молчала, ни о чем не спрашивала, ее мокрое от дождя лицо будто окаменело, на нем застыло то жесткое выражение, какое я видел уже в зимние ночи во Франкфурте. В ее упрямом молчании я вновь почувствовал нежелание узнать все до конца.

На обочине дороги я сорвал несколько цветов и шел, держа их в руке.

— Это для Карла,— сказал я.

И я и она обернулись одновременно. По дороге за нами медленно шли, засунув руки в карманы, двое молодых парней. Они шли, глядя

друг на друга, но ни разу не взглянув в нашу сторону. То и дело раздавался их смех, но в том, как они между собой разговаривали, как смеялись, было что-то неестественное, точно все это они делали, чтобы обмануть нас.

Марта ускорила шаг, мы миновали поворот дороги — я отчетливо его помнил. Еще несколько метров — и появится тропинка, которая вела в расположение нашей батареи. Ночью там был убит Карл, и там же он спит вечным сном, еще не отомщенный. Я свернул на тропинку. Марта, смирившись, нехотя брела за мной. Я обвел взглядом маленькую лужайку с мокрой от дождя травой, заросшую по краям терновником и кустами дикого лавра. Запах земли и зелени ощущался здесь еще сильней, он опьянял, от него кружилась голова.

— Вот,— сказал я, подняв руку, в которой держал букетик лесных цветов.

Марта остановилась, словно послушное животное.

Прямо перед нами мягкий зеленый ковер чуть заметно вздымался, образуя неправильной формы холмик метра в два длиною. Могила Карла была такой же голой, как и земля вокруг,— без креста, с каской, без дощечки или могильного камня с написанным на нем именем. Ни одного цветка, только несколько опавших листьев каштана, а вокруг заросли колючего кустарника.

Не знаю, сколько времени я — и Марта тоже — неподвижно стояли под дождем. Молчание гор казалось мне еще более глубоким, еще более необъятным, его усиливали молчание смерти и необозримый простор воспоминаний.

Наконец поборов оцепенение, я бросил цветы на покрывавшую холмик сырую траву и, достав из кармана складной нож, расчистил кустарник вокруг могилы, убрал сучья и листья. Потом срезал две ветки каштана и, смастерив из них крест, поставил его на заросшей травой могиле.

Когда я кончил, дождь лил как из ведра. Но я этого не замечал. Марта не отходила от меня ни на шаг, она и не пыталась укрыться от ливня. Как завороженная, уставилась она невидящим взглядом на этот бугорок, мысли ее витали где-то далеко, по лицу у нее стекала струйками вода, золотые волосы прилипли к шее и ко лбу, лицо стало как-то меньше, и голубые, совсем светлые глаза казались на нем огромными.

— Это Карл,— проговорил я, подходя к ней.— Его предательски убили темной августовской ночью жители этого селения. Он был моим лучшим другом.

Эти слова не вывели Марту из оцепенения, и она, погруженная в мир ей одной ведомых мыслей и чувств, казалось, совсем меня не слышала. Она продолжала глядеть на блестевшую от дождя траву — зеленый покров могилы, на котором теперь ярко желтел букетик принесенных мною цветов и покачивался кривой крест из необструганных веток.

— В наказание мы сожгли все это селение,— сказал я.

Но и это не заставило Марту даже пошевельнуться, и она ничем не показала, что поняла меня. Все мои слова, казалось, падали куда-то в пустоту, и их сразу же заглушали шум дождя, обступившие нас горы, низко нависшее небо...

В душу закрадывалось какое-то чувство вины — причиной тому, несомненно, было невыносимое молчание Марты.

— Мы уж постарались, чтобы сгорело как можно больше людей,— сказал я.

Только тогда она повернула голову в мою сторону и посмотрела на меня по-прежнему отсутствующим взглядом. Глаза ее были влажны, то ли от дождя, то ли от слез. Она поглядела на меня так, словно увидела впервые. Наконец посеревшими губами она пробормотала всего несколько слов:

— Поедем вниз, к морю.

Теперь я испытывал уже не чувство вины, а холодную злобу, лоб мой покрылся испариной, и руки начали дрожать.

— Так... Ты даже не хочешь узнать, как был убит Карл? — спросил я.

Стараясь заглушить шум дождя, я произнес это громко, почти кричал.

— Ты не хочешь знать и того, как мы сожгли селение?

Марта, не ответив, пошла по тропинке. Я видел, как она карабкалась вверх к дороге, хватаясь руками за мокрые ветки кустарника. В том, как она шла одна, я почувствовал спокойную решимость.

Вот почему я не мог отвести взгляда от ее удаляющейся фигуры. Она поднималась все выше и выше, оставив меня у забытой могилы Карла. «И это моя жена-немка, и это моя жена-немка»,— повторял я про себя.

И вдруг я увидел, что она уже почти у самой обочины дороги замедлила шаги и остановилась. Неподвижный ее силуэт четко вырисовывался на фоне неба. Потом я увидел нахмуренные лица двух приближавшихся к ней молодых итальянцев. В кожаных куртках они шли, глубоко засунув руки в карманы.

Я побежал вверх по тропинке, но Марта, преодолев робость, вновь начала подниматься. Выйдя на дорогу, она с прежней спокойной решимостью направилась в сторону селения.

Парни, не прячась от дождя, уселись на каменном парапете у дороги и, делая вид, что не замечают меня, принялись разговаривать, по-прежнему держа руки в карманах и зажав в зубах потухшие сигареты. Когда, ускорив шаги, чтобы догнать Марту, я вышел на дорогу, то еще долго чувствовал на себе их взгляд.

■

Мы шли рядом до самой площади, не говоря друг другу ни слова. Мотоцикл блестел под дождем на черных камнях мостовой, тоже блестевшей от дождя. Вокруг не было ни души. Под дождем, продолжавшим лить с затянутого тучами неба, фонтан с бьющей вверх тоненькой струйкой воды выглядел нелепо. Двери домов были заперты, окна плотно закрыты; казалось, все жители, как и тогда, покинули селение.

И я и Марта промокли до костей, у меня зуб на зуб не попадал от холода и сырости.

— Не зайти ли в остерию,— сказал я, не обращаясь к ней прямо.— Там можно переждать дождь, а потом спустимся к морю.

Я поглядел на небо, глубоко вдохнул горный воздух. С севера подул легкий ветерок, привел в движение тучи и открыл в них голубой просвет. Затянувшая небо сырая завеса здесь и там прорвалась, сразу сделалось светлее, струи дождя стали прозрачней, воздух чище.

Марта шла по площади впереди меня. Мы вошли в остерию. Это было помещение с голыми стенами, уставленное длинными столами и скамейками. Я сразу ощутил хорошо знакомый резкий запах итальянского табака и кофе — мне его никогда не забыть. С потолка свисала запыленная электрическая лампочка без абажура, отбрасывавшая тусклое пятно желтого света на красный кирпичный пол. Мы сели рядом на скамью у стены. Старая Тереза наблюдала за нами, стоя у маленькой внутренней дверки; ее плотная приземистая фигура заполняла весь дверной проем. Потом она подошла к стойке и облокотилась на нее рядом с машиной для варки кофе.

Тереза состарилась и потолстела. Волосы у нее совсем поседели, лоб покрылся морщинами, в углах рта залегла горькая складка. Она

смотрела на меня из-под полуопущенных век, глаза ее напоминали две узкие полоски жести.

Сколько раз я сиживал в этой комнате вместе с Карлом и другими товарищами по батальону, сколько спели мы здесь наших песен о войне и любви, мы приходили сюда перед тем, как отправиться в бой, и сразу же после боя. Одни пели стоя, другие сидели на скамьях и столах, пели до хрипоты, пока совсем не обессиливали и не начинали бить о стены бутылки. А Тереза неподвижно стояла так же, как сейчас, облокотившись о стойку рядом со своей машиной.

Потом мы выходили в ночную тьму на пустынные улицы селения, освещенные лишь сиянием звезд и вспышками залпов наших батарей,— и топали по камням мостовой так, что все селение сотрясалось во тьме, а горы ходили ходуном, словно гигантский корабль на волнах разбушевавшегося моря. Но за наглухо запертыми дверями и закрытыми ставнями мы постоянно ощущали незримое присутствие жителей, которые только и ждали подходящего момента, чтобы поднять руку на Карла.

«Как много тут было спето песен!» — подумал я.

И какая глубокая тишина стояла теперь. Мне кажется, здесь было сейчас еще тише, чем когда-то, потому что царящую вокруг тишину усугубляло молчание Марты.

— Ты выпьешь кофе? — спросил я, не глядя на нее.

Она вытирала лицо и шею белым платком, незаметно следя сквозь открытую дверь, не кончился ли дождь,— покрытое облаками небо то прояснялось, то снова хмурилось, и тогда на землю ложилась тень. Вид у Марты был равнодушный, спокойный, ей уже не было страшно, она словно забыла о могиле Карла и о том, что побудило меня привезти ее в это селение. Казалось, она вообще забыла о моем существовании.

— Два кофе,— сказал я Терезе.

Тереза тяжело двигалась за стойкой; из краников кофейной машины с шипением вырывались облачка плотного белого пара. Потом она подошла к столу, неся чашечки на расписном жестяном подносе, и уставилась на меня в упор своими узкими, сверлящими, как буравчик, глазками. Это длилось всего одно мгновенье, но в холодном пламени ее взгляда я уловил колебание — она хотела задать вопрос и сразу же раздумала. И я ответил на этот мелькнувший в ее взгляде вопрос, чтобы она поняла, что не ошиблась, что это действительно так, что я и есть тот самый Ганс Вассель из эсэсовского батальона «Герман Геринг».

— Немец,— произнес я по-итальянски громким голосом, чтобы у нее не осталось никаких сомнений.

Тереза поставила поднос на стол; боясь уронить чашки, она слегка склонила голову набок. Складка в углах ее рта сделалась глубокой, как рана, руки у нее дрожали.

Она опустила глаза и, не произнося ни слова, покачиваясь на толстых ногах, медленно вернулась к стойке. Там она и осталась стоять, в тени, подперев рукой подбородок, словно чего-то ожидая.

Я чувствовал, что Марта тоже чего-то ждет. Она не притронулась к своему кофе. Он остывал на столе, а Марта курила сигарету, продолжая наблюдать за небом над площадью. Она тоже чего-то ждала. И не только того, чтобы перестал лить дождь, она ждала чего-то гораздо более важного.

■

Я допивал свою чашку кофе, когда в церкви зазвонили колокола, возвещая окончание мессы. Это был веселый взрыв в затянутом облаками полуденном небе — он заставил еще резче почувствовать мрачность, заброшенность селения, тишину, царившую в остерии.

Сквозь стеклянную дверь мы увидели первых выходивших из церкви мужчин и женщин. На мощенной камнем площади они останавливались и раскрывали зеленые клеенчатые зонтики. Взрослых окружали стайки детей; увидев мотоцикл, дети начали бегать вокруг него. Медленным шагом горцев, по одному мужчины направились в сторону остерии; молодые парни и девушки сбились в кучку посреди площади.

Вскоре все пространство заполнилось зелеными и черными зонтами, платками, загудели голоса, мне казалось даже, что сквозь их гул я слышу раскаты смеха — в Форни мне это довелось услышать впервые.

Марта бросила окурок на пол и раздавила его ногой. Продолжая сидеть на скамейке, она глядела на приближавшихся людей с каким-то волнением и нетерпением, словно хотела, чтобы как можно скорее окончилось ее тревожное ожидание. Тереза смотрела из-за стойки, вытянув шею.

Они вошли. Я увидел их грубые кожаные ботинки на темно-красном кирпичном полу и капли воды, падавшие с закрытых зонтов. Потом — темные, плохо выутюженные брюки, распахнутые пиджаки и наконец бесстрастные, лишенные всякого выражения, выдубленные на солнце лица. Все они были свежевыбриты и тщательно умыты ради праздника, и одежда на них была тоже праздничная, у некоторых на полосатых полотняных рубашках красовались нелепые яркие галстуки.

Они вошли и, прислонив к стене зонты, сразу уселись за столы. Жесты их были медлительны и неловки, и все они молчали, искоса поглядывая на меня и на Марту. Никто не сел за наш стол.

Марта закурила новую сигарету. Мужчины тоже закурили — кто сигарету, кто трубку, кто сигару. В тишине раздавалось только чирканье спичек, запахло серой, там и здесь замигали огоньки.

— Вина! — крикнул кто-то.

— Вина!

— Колоду карт!

— Кофе!

— Тереза! — неслось со всех сторон.

Голоса сливались в общий хор, люди разговаривали и кричали все одновременно, переводя взгляды с Терезы на стойку, со стойки на нас с Мартой, на фьяски и стаканы.

Запах пота смешался с табачным дымом и ароматом кофе, воздух в комнате стал тяжелым.

— Дождь скоро кончится,— проговорил я.

Я должен был что-то сказать, что-то сделать, я чувствовал, что Марта ждет от меня чего-то, слова или жеста, обращенного к жителям Форни; какого-то решительного поступка, который помог бы ей до конца понять, что я за человек. И я чувствовал, что от этого поступка или слова будет зависеть ее выбор между мной и чужеземцами, между ее мужем и жителями затерянного в Апеннинах, никому не ведомого итальянского селения.

Я был абсолютно спокоен.

Я сказал:

— Погляди хорошенько на рожи этих оборванцев.

Марта неподвижно сидела на скамейке, напряженно глядя перед собой.

Я говорил нарочито громко. Вокруг вновь наступила тишина. Люди перестали жестикулировать, их огромные, как лопаты, руки крепко сжимали стаканы.

Я продолжал:

— Взгляни-ка только на их руки. Сначала они обнимали нас в знак дружбы, а потом в нас стреляли. Может быть, одна из этих рук убила Карла, а я не знаю какая. Долгие годы я надеялся, что убийца погиб в огне вместе с другими. А он, может быть, здесь, и я этого не знаю.

Люди слушали, опустив головы, Тереза вернулась на свое место за стойку, нервным движением она откинула упавшую на лоб прядь седых волос.

Марта глубоко затянулась сигаретой.

— Это и впрямь немец,— пробормотал кто-то.

— Да, немец,— сказал я.

Все повернулись в мою сторону, будто деревья под порывом ветра. Но лица их были по-прежнему суровы, губы плотно сжаты, на этих каменных лицах жили только глаза. Я вновь увидел в них уже знакомый мне тусклый отблеск страха и вероломства, бессмысленный, безвольный, мутный взгляд, от которого меня тошнило.

Я поднялся. Медленно пересек комнату и подошел к стойке Терезы. Я ощущал на себе всю тяжесть этих взглядов. Я видел десятки, несколько десятков лежащих на столе рук.

— Дай мне стакан вина,— громко сказал я Терезе по-итальянски.

Женщина поставила стакан на стойку, наполнила его до краев, немного вина пролилось на серую мраморную доску. Взяв стакан, я повернулся к Марте; когда я подносил его к губам, еще немного вина пролилось на пол.

Марта, избегая глядеть на меня, с сосредоточенным видом гасила окурок в маленькой жестяной пепельнице.

— Ваше здоровье,— произнес я по-итальянски.

Никто не ответил. Я залпом выпил вино и, поставив стакан на стойку, пошел обратно на свое место. Вокруг по-прежнему было тихо, словно не только Марта и все сидящие за столиками, но и все селение за дверями остерии затаило дыхание. Опустившись на скамью, я испытывал знакомое чувство приятной усталости и вместе с тем необычайного подъема — совсем как после успешного исхода боевой операции. В такие минуты тебя охватывает не только непреодолимое стремление петь, но и дикое желание ломать, крушить все кругом.

Я был рад тому, что смог показать свое превосходство над этими людьми, а заодно и над сидящей рядом со мной жалкой женщиной.

Ибо теперь Марта казалась мне всего лишь жалкой женщиной.

Кто-то из мужчин закашлялся, кто-то сплюнул себе под ноги, но некоторые вышли, в клубах табачного дыма неловко задвигались руки, поднимая стаканы с вином. На середину комнаты, с трудом проталкиваясь среди сидящих, вышел старик в давно утратившей форму черной шляпе с широкими полями. Он шел, согнувшись чуть ли не пополам, тяжело опираясь на палку. Под полями шляпы я увидел его остекленелые глаза, пристально глядевшие на площадь, на лацкане его кургузого пиджака поблескивала полоска маленьких серебряных звездочек *. Старик широко распахнул входную дверь и вышел, оставив ее открытой настежь. Вслед за ним со скамей поднялись и тоже начали выходить на площадь все остальные, они проходили мимо меня совершенно безмолвно, слышался только неясный шорох их шагов. Комната опустела — так выглядит морской берег после того, как над ним пронеслась яростная буря. В остерии осталась только Тереза, застывшая у стойки.

Марта тоже ушла. Она стояла на мостовой и, запрокинув голову, смотрела в небо. Над крышами домов по-прежнему мчались облака, сквозь черные тучи то там, то здесь мелькали голубые просветы, дождь стихал, временами в лучах неожиданно проглянувшего солнца дождевые струи ярко вспыхивали и сразу же угасали.

Люди рассеялись по площади, словно опавшие листья под порывом ветра. Рядом со стоявшей у фонтана Мартой не было никого.

---

* Такие звездочки в Италии носят родственники погибших на войне; каждая звездочка обозначает одного убитого.

Я тоже хотел подняться и пойти вслед за ней к мотоциклу, но на пороге остерии появились двое парней в кожаных куртках. Один из них держал в руке букетик желтых цветов, который я положил на могилу Карла.

Я остался сидеть на своем месте.

■

Они приблизились к моему столу и швырнули через стол прямо мне в лицо букетик желтых цветов, которые рассыпались и упали между стаканами на поднос. Я удивленно поднял глаза и увидел их молодые лица, но это продолжалось всего одно мгновение, так как оба парня уже повернулись ко мне спиной и, выйдя на площадь, сразу исчезли.

На площади теперь уже не было ни души, ушли все, в том числе и Марта. Мотоцикл посреди мостовой казался каким-то странным, бесполезным предметом. Я обернулся к стойке — и там тоже никого не оказалось. Ушла даже Тереза.

Один за другим собрал я со стола цветы, машинально их пересчитывая: десять, двадцать, тридцать диких цветов итальянских Апеннин — я даже не знал, как они называются. Я долго их рассматривал, держа на раскрытой ладони; это действительно был тот самый букетик, цветы почти уже завяли.

Карлу не поможешь в его одиночестве, его не воскресишь, положив на могилу букетик цветов — неважно, свежих или увядших. И не для этого, конечно, сюда я приехал. Карл обретет бессмертие, перестанет быть одиноким лишь тогда, когда в один прекрасный день наши полки снова в полной боевой готовности победоносно пройдут по этим дорогам, предавая все огню и мечу, уничтожая этот народ притаившихся теней.

Когда я думал о мести, у меня начинали дрожать руки. Хорошо, что я вновь очутился лицом к лицу с нашим недавним врагом,— хорошо, потому что с тех пор, как я вижу, ничего не изменилось. Все тот же страх, то же молчание, все так же кто-то скрывается за закрытыми ставнями и дверьми в ожидании ночи.

Я был рад и тому, что Марта сделала свой выбор. Кончилась эта нелепая комедия с семейным уютом, приемом больных, осмотром щуплого еврея! Хоть Марта и немка, она, оказывается, тоже принадлежит к миру молчания и смирения.

Я прислушался. Ни шума шагов, ни голосов. Наверно, Тереза притаилась в комнатке позади стойки и ждет, пока я уйду. Наверно, все жители селения сидят по домам и вполголоса говорят обо мне, с нетерпением дожидаясь моего отъезда. Наверно, и Марта, спрятавшись за углом какого-нибудь дома, тоже ждет, когда я сяду на мотоцикл и двинусь, один, в обратный путь.

Мне вдруг захотелось во все горло захохотать, громким криком нарушить эту царящую вокруг неправдоподобную, мертвую тишину, кричать на всю площадь о том, как они нас боятся, в том числе и Марта, которая предала меня. Я чувствовал непреодолимое желание немедленно найти ее, чтобы швырнуть ей в лицо свое презрение.

Я поднялся из-за стола, подошел к двери и остановился на пороге.

Дождь перестал, неожиданно поднявшийся ветер разогнал тучи, и яркое, словно новенькое, солнце заиграло на черных, как грифельная доска, блестящих от влаги крышах, на сверкающих кронах каштанов. Форни предстало передо мной совершенно иным, оно уже не было серым, печальным, не походило на воронье гнездо в облаках. Мощенная темным камнем мостовая переливалась всеми цветами радуги, тоненькая струйка фонтана сверкала, как солнечный луч.

Ослепленный таким обилием света, я заслонил глаза рукой, неуве-

ренно побрел к мотоциклу и наконец оглядел площадь. Марты нигде не было. Без цели я сделал еще несколько шагов и вдруг ощутил какую-то необычную усталость. Лоб у меня покрылся легкой испариной, ноги подкашивались. Марта, несомненно, за мной откуда-то наблюдала, как, наверно, и многие жители Форни. Среди тусклых взглядов этих итальянцев я чувствовал, отчетливо чувствовал на себе также и взгляд ее голубых немецких глаз.

Я плюнул на камни площади и сделал это так, чтобы все увидели.

«До свидания,— мысленно произнес я.— Мы еще встретимся. И притом довольно скоро».

Я вскочил на мотоцикл и включил мотор. Селение вздрогнуло, словно внезапно пробудилось от сна. Стремясь вырваться из этих зажатых домами улиц, я помчался на полной скорости вниз, под гору. Вокруг все было залито солнцем, и яркие его лучи слепили меня. Внизу, подо мной, открывалась сверкавшая всеми красками долина, а за ней застыло в неподвижности море. Дувший с севера ветер был теплый, но вместе с тем освежающий, он доносил запах гор, рек, нагретого солнцем мрамора.

Я с жадностью глубоко дышал, стараясь набраться энергии; я чувствовал себя так, будто часть моих сил осталась там, за тем столом в остерии, так, словно я оставил частицу себя на голой могиле Карла.

«Мы еще вернемся, Карл,— подумал я.— Спи спокойно».

Дорога резко спускалась вниз. Она вилась длинной белой лентой среди зелени лесов и была видна почти до самой долины.

Далеко-далеко впереди, там, где лес по краям дороги сменялся пастбищем, я различил на обочине маленькую и почти неприметную фигурку Марты. Она шла, держа в руке развевающийся на ветру платок, ее светлые волосы были не покрыты.

Я прибавил скорость и потерял ее из виду, а потом снова увидел, все ближе и ближе, она все более и более становилась Мартой, пока наконец не оказалась прямо у меня под колесом.

Притормозив, я поехал совсем медленно, рядом с нею. Марта продолжала идти, не глядя на меня. Она пристально, не отрываясь, смотрела на равнину и море.

Я не сумел бросить ей в лицо, как хотел, слова презрения. Я вообще не смог заговорить с ней — до того меня поразило ее глубокое и полное ко мне безразличие.

Потом я увидел, что она, продолжая идти и по-прежнему не поворачиваясь в мою сторону, плачет, и тут мной овладело чувство удовлетворения, но вместе с тем и некоторой растерянности.

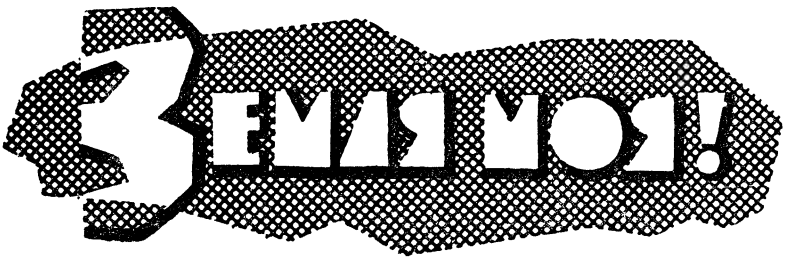
Я оставил ее на дороге. Гораздо ниже, у развилки, где встречались два горных потока, я затормозил. Оттуда я еще раз увидел ее — Марта шла вниз по дороге твердым и решительным шагом, а наверху, над нею, заходящее солнце освещало дома Форни с распахнутыми настежь ставнями. Стекла окон ослепительно сверкали, пламенея в отблесках заката, и издалека селение походило на объятый пожаром древний замок.

Я не мог вынести этого яркого света, у меня от него слезились глаза.

«Мы еще все свидимся»,— подумал я.

И снова включив мотор, помчался вниз по склону в сторону пустынной и замершей в тишине равнины, казавшейся такой далекой и полной опасностей, как земля, которую предстоит завоевать.

ВЕСНА ПАРУН



Я ЛЮБЛЮ

Земля, я люблю канонаду прибоя,
И шепот травы, и ликующий ветер.
И тучи, и небо люблю голубое,
И песни, проснувшиеся на рассвете.

Мне нравится поступь тяжелого стада —
О, теплый, приветливый дух молока!
Люблю исступленный полет водопада,
Люблю совершенное тело станка.

Земля моя! В небе орлиные стаи.
За счастье твое мне не страшно в огонь...
Я знаю — руке, что конспекты листает,
Сродни моряка волевая ладонь.

О, дух материнства, что в жите таится!
О, щедрое чрево беременных нив!
Страна статной юности, песен и слив!
Во мне твое сердце всегда будет биться!

СТАРЫЕ ОЛИВЫ

Столпились над морем старушки оливы,
Листве не сдержать лихорадочной дрожи.
Согнулись под ветром, глядят сиротливо,
На женщин-старушек похожи.

(Немало их в мире — согбенных, усталых
От вечных тревог и от вечных трудов...)
Зеленые сестры, вас матери-скалы
Рожали на ложе ветров.

Не надо печалиться, сестры-оливы:
Пусть стройные ваши стволы огрубели —
Для тысяч маленьких жизней счастливых
Вы стали зато колыбелью!

Перевод с сербохорватского ЮЛИИ ДРУНИНОЙ

НЕ СПРАШИВАЙ

Не спрашивай, за что тебя люблю. Спроси,
зачем растет трава, бушует море.
Спроси, откуда ветер прилетает,
кто управляет белым кораблем мечты,
когда над миром ночь бросает тени.

Не спрашивай, за что тебя избрало сердце.
Ты знаешь, как возник коралл на дне морском?
О красоте уснувшей шепчут волны,
но ты не слышишь голос их, ты далеко.
И мысль твоя — глубокая пещера,
в которой жизнь моя заточена.

Не спрашивай, за что тебя люблю.
Приди ко мне! Печаль сжимает сердце.
Ты и Луна — вот два цветка недостижимых
на уходящей ввысь горе забвенья.

ПЕСНЯ — ЗАРЯ

Песня — заря, первых красок броженье,
небо пурпурное в позолоте.
Песня — солдат в боевом снаряженье,
серое поле, мгла на болоте.
Песня — родник, детское горло,
чистый глоток молока из кувшина,
эхо, с вершины летящее горной,
берег зовущий, сказок долина.
Песня — людей порожденье, тревога,
блеск, отраженье мечты неизменной,
песня — усилье, знанье, дорога.
Бодрствует вечно подобно вселенной
голос свободы, которая борется,
борется в путах за истину века,—
кровью омытая песни история
это история человека.

Перевод с сербохорватского М. ПАВЛОВОЙ

ФРАНСУА МОРИАК

Шалый

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского
Н. ЖАРКОВОЙ и Н. НЕМЧИНОВОЙ

I

— ростите, сударь, поезд в Милас идет?

Толстяк, расположившийся в купе третьего класса, еще раньше заметил эту щупленькую девицу, когда она вышла в Бордо из вагона курьерского поезда и с трудом потащила два своих чемодана.

— Ну, понятно, поезд идет в Милас. А то как же? Не зря же я в него сел. Я ведь коренной миласец. Так что не ошибетесь! Ох и тяжелые же у вас чемоданы! В сетку не поместятся. Ну да ничего, на скамейку поставим, места свободного много.

Толстяк втащил в купе багаж и, побагровев от натуги, сел на свое место, вытирая платком лоб и внимательно оглядывая незнакомку. На ней был приличный, но уже поношенный английский костюм, лайковые перчатки, видимо, неоднократно чищенные домашним способом, куда более свежая, но дешевенькая шляпка, купленная, вероятно, в «Галери Нувель», и новенькие туфли. Несмотря на скромный наряд, услужливый пассажир наметанным глазом распознал в своей соседке «настоящую даму». Что ей вздумалось поехать в Милас? Подавшись вперед всем своим грузным туловищем, он с нескрываемым любопытством бесцеремонно разглядывал бледное личико попутчицы.

— Так вы, значит, в Милас едете?

— Да, сударь.

— У вас там, может, родственники проживают?

— Нет, сударь.

— Опять же, надо полагать, не для удовольствия едете. Веселого в нашем Миласе маловато. Только прирожденные жители приятность в нем находят. Должно быть, по делам едете.

— Не совсем так.

— Может, назначены к нам учительницей в школу?

— Нет, сударь.

— Оно ведь сразу видно, что вы из образованных.

Барышня покачала головой, и, так как поезд узкоколейки уже тронулся, стала смотреть в окно, надеясь оборвать этот назойливый допрос. Но она недооценила характера своего спутника.

— Порядочно у вас багажа. Верно, думаете пожить у нас подольше?

Незнакомка утвердительно кивнула головой, не отводя глаз от окна.

Погожий сентябрьский день клонился к вечеру. Шел сбор винограда. Сборщики, выпрямившись, смотрели на проходивший мимо виноградников поезд, ребятишки махали платками. На железнодорожном переезде у шлагбаума ждала телега, нагруженная высокими корзинами, доверху наполненными черным виноградом. На склонах холмов к виноградникам уже примешивались сосны.

— Вы, может, от какой-нибудь фирмы разъезжаете с образчиками товаров?

Барышня ничего не ответила. Толстяк сделал вид, что принял ее молчание за утвердительный ответ.

— Если остановитесь у Банкеев, так удобного ночлега не ждите. Хотя, говорят, у них в номерах чистенько. Сам я, разумеется, не имел случая в том убедиться: как вам известно, я — местный житель, уроженец города, торгую мясом по примеру покойного своего папаши. Наш дом на площади, вы сами увидите: «Мясная лавка Лукрока». Так вот, насчет ночлега не знаю, но по части кормежки у Банкеев хорошо, ничего не скажешь. Тетушка Банкей стряпает отменно, ее кроличье рагу славится по всей округе. Только смотрите не попадайтесь на удочку — не заказывайте у них марочного вина: нальют вам из бочки в бутылку — вот и вся недолга, а вино-то самая обыкновенная кислятина, какую они всем подают к обеду по дешевке. Имейте в виду — ихняя гостиница не на площади и найти ее не так-то легко, особенно в темноте. Я вас провожу.

— Благодарю, я не поеду в гостиницу. Меня, вероятно, встретят на вокзале...

Тут девица открыла саквояжик и достала из него журнал. Но если она вообразила, что можно отделаться таким способом от Лукрока, то вскоре убедилась в своей ошибке.

— Так вы, значит, остановитесь у кого-нибудь из жителей? Может, у нового священника? Говорят, у него сестра есть... Угадал? Стало быть, у священника?

Барышне надоело это приставанье. Она решила утихомирить мучителя.

— Я буду жить у господина Ромазиля.

— У Эзеба Ромазиля?

— Да. Я новая гувернантка.

Барышня снова взялась за журнал, но изумленный вид Лукрока заинтриговал ее. Мясник хлопнул себя по коленкам огромными ручищами.

— Вот так штука! — пробормотал он.— Новая гувернантка? Ах вы бедняжка! Так вы взялись Эрнеста воспитывать? Ах вы бедняжка!

Теперь уж барышня не думала прекращать разговор.

— Почему «бедняжка»? Меня уверяли, что это очень славные люди... И условия мне предложили на редкость выгодные.

И тут же прикусила губу, стыдясь, что у нее вырвалось такое признание.

— Славные-то они славные. Это сущая правда. Можно сказать — порядочные люди. Спорить не стану. Мы же с ними, с Ромазилями, старые знакомые. И наши отцы и деды знакомство вели. Вместе с покойным папашей Эзеба Ромазиля я на военную службу призывался, жребий тянул. В прошлом году его хватил удар, и старик помер на самую пасху.

Так что, видите, знаю я их. Хорошие люди, негордые, старик был простой, и Эзеб Ромазиль такой же. Никогда не откажется зайти выпить с тобой стаканчик... А уж насчет кормежки!.. Ежели вы у них останетесь, живо жирку нагуляете. А вам оно нелишнее будет, вон вы какая худенькая. Да только не останетесь вы у них... Ах бедненькая!

— Но почему я не останусь у них?

Поезд остановился на какой-то маленькой станции. Новых пассажиров не оказалось. Из товарного вагона вынесли клетку с курами и выкатили пустую бочку.

— Почему не останетесь? А вам рассказывали о выродке?

— О выродке?

— Ну да, об Эрнесте, о будущем вашем ученике.

— Меня предупредили, что он мальчик капризный...

Лукрок прыснул.

— Капризный? Да, уж капризы у него особенные!.. Вот что я вам скажу... Не знаю, как вас величать, дамочка или барышня...— вдруг добавил он с церемонным видом.

Гувернантка еле заметно пожала плечами и сухо ответила:

— Барышня.

— Отлично! Так вот, милая барышня, а вы знаете, сколько у Ромазилей за три года перебывало гувернанток? Семнадцать! Ни больше, ни меньше. И последняя гувернантка как приехала, так на другой же день обратно удрала. Можете себе представить?

— Я умею справляться с детьми. Это моя профессия.

— Справиться с Эрнестом Ромазилем? Ах вы бедная девочка! Послушайте-ка меня... Вы не брали обратный билет? Нет, конечно. А жаль!.. Если бы мы познакомились с вами раньше — ну, хотя бы на вокзале в Бордо, я бы вас уговорил взять сразу же обратный билет. Слушайте, вот как надо сделать: не выходите из поезда. Он пойдет обратно из Миласа в девять часов вечера, вы возвратитесь в Бордо к двенадцати ночи. Значит, восемнадцатая гувернантка так и не выйдет из поезда. Вот здорово будет!

И толстяк громко расхохотался, хлопая себя по коленкам. Гувернантка сухо ответила, что ее трудно запугать. Однако, когда она обратилась к нему с вопросом, голос ее предательски дрогнул:

— Все несносные мальчишки похожи друг на друга. Чем же ваш знаменитый Эрнест отличается от прочих озорников?

— Отличается? Вот уж верно, что отличается! Можно сказать, совсем особенный парень. Да, сколько ни рассказывай, все мало. Пока доедем до Миласа, я и четверти того не передам, что про него да про его фокусы рассказывают. И немудрено. Ведь с самого своего младенчества он не слыхал слов «нет», «нельзя». Все ему дозволяется, все прощается. Самым дурацким и даже опасным его прихотям потакают. Втемяшилось ему, например, в башку: «Хочу обедать на крыше свинарника». И что ж вы думаете? Целое лето ему подавали обед на крыше свинарника. А две недели назад такая история случилась. У нас была ярмарка, гулянье. Парнишка весь день катался на карусели, не слезая. Настал вечер, надо домой идти. «Хочу взять с собой лошадь с карусели!» Хозяин, понятно, не дает. Выродок вопит так, что у всех головы разламываются, он насчет этого мастер. Орет, даже музыку на танцах заглушил. Ну и что ж, папенька разжалобился и отвалил пятьсот франков за то, чтобы одну лошадку с карусели отвинтили и принесли дитятке в комнату. Верно, и сейчас там конь стоит — отец на месяц его напрокат взял. А придет срок, надо отдавать. Если только Эрнест разрешит. Не позволит — так отец опять выкладывай денежки...

— Но почему же господин Ромазиль так его избаловал?

— Да видите ли, жена у него померла в родах, остался сиротка Эрнест. Отец и бабушка (надо рассказать вам и о госпоже Гаруст — о бабушке, значит) души в нем не чаяли и давай баловать его напропалую. Божок он для них... Просто немыслимо! С ума они посходили, честное слово! Подумайте, барышня. В прошлом месяце, как раз перед открытием охоты, приходит ко мне в лавку Сегонда, кормилица этого самого Эрнеста (уж и достается ей от него, сами понимаете!) и заявляет, что ей обязательно нужна куропатка. Где же я ее возьму, отвечаю, еще не разрешено дичь стрелять. А она говорит: «Знаю, знаю. Но нам Эрнест велел, чтобы ему к завтраку куропатку зажарили. И бабушка просила передать, что за куропатку, мол, заплатим хорошо. Дадим, сколько запросят». Надо вам сказать, барышня, я сам охотник, и не годится мне поощрять браконьеров. А с другой стороны, мы завсегда поставляем Ромазилям мясо, и они привыкли на меня рассчитывать. Да и за куропатку как-никак получу пять франков... Ну, значит, сажусь я на своего конягу и еду за город. Но вот беда: у нас дичь-то совсем перевелась, только и водятся что вороны, да сороки, да сойки, да белки. А все ж таки к вечеру встретился мне один человечек, который землю у господина Бюрта арендует, и он сказал, что у него в поле есть выводок куропаток. Попробую, говорит, на рассвете подстрелить птичку и, если удастся, оседлаю велосипед и привезу вам в лавку. Ну вот, приезжаю я обратно в город, захожу в мясную, а уж меня там ждут — господин Ромазиль и бабушка.

«Ах, как же это, Лукрок! Не достали куропатку?» И как услышали, что, может быть, куропатку завтра и привезут, но наверняка не обещают, оба начали причитать. Просто слушать тошно. «Ах, что нам делать! Наш дорогой мальчик рассердится. Он и так уж весь день ворчал. А если мы придем с пустыми руками, просто не знаем, что тогда будет! Мы ему скажем, что оставили куропатку у вас в мясной, в погребе...»

На следующее утро в десять часов куропатки все нет и нет. А старуха бабушка с кормилицей ждут в комнате за лавкой, плачутся. «Мы ведь ему обещали зажарить куропатку. И вдруг он увидит, что мы его обманули...»

Эх, говорю, господин Ромазиль. А не можете вы хоть один разок задать своему сыну хорошую трепку? Но тут как раз арендатор привозит куропатку. Оказалось, не так-то просто охота обошлась: жандармы за ним гнались, и у него могли быть серьезные неприятности. Словом, немыслимую цену он заломил, вы просто не поверите: содрал за куропатку восемь франков. Истинная правда — восемь франков! Ну и мне перепало пять франков.

И вот двинулись мы всей компанией, понесли выродку куропатку. Поганца мальчишку нашли мы в саду, сидит верхом на спине другого озорника — Годрана, сына галантерейщика,— и колотит его по бокам пятками: «Но, кляча!» Госпожа Гаруст еще издали кричит: «Деточка моя, сокровище мое! Вот смотри — принесли тебе куропаточку!» А сокровище знай себе пришпоривает дурачка Годрана. На куропатку никакого внимания. «Да посмотри же, миленький, какая славная куропаточка. Какие у нее красивенькие перышки. Как тебе ее приготовить, миленький? С картошечкой? Или нашпиговать сальцем и на вертеле обрумянить? Или рагу из нее сделать?» Так представьте себе, барышня, повернул к нам выродок голову, весь красный от злости, да как заорет: «Не хочу куропатку! Колбасы хочу!»

И Лукрок снова залился смехом, он хохотал до слез, крупные слезы так и катились по его пухлым щекам, а он все твердил:

— Колбасы! Колбасы! Колбасы ему подавай! Ну, сами понимаете, барышня, после таких выходок (а про его штучки хоть до утра рассказывай, не кончишь) родным совсем невмоготу стало.

— Неужели им никогда не приходило в голову отдать его в пансион?

— Ну, конечно, приходило! Каждый год собираются. Как осень наступает, они уж обязательно договорятся с каким-нибудь коллежем, и там для него держат место. Но вот беда: придет пора ехать, выродок-то, глядь, и заболел. Он и вправду у них хворый, хоть и толстый, как откормленный поросенок. Оттого и хворает — уж очень много ест, целый день лопает, ну, значит, кишки да желудок, печенки, селезенки у него и не в исправности. А как только заболеет, родные — в перепуге, и в конце концов мальчишка остается дома. Да, впрочем, отец-то правильно говорит: нигде такого выродка держать не станут. А ведь ему всего двенадцатый год пошел. Представляете себе, каков он будет, когда подрастет... Родные прямо из сил выбились...

Мясник говорил еще долго, но гувернантка уже его не слушала. Она думала, что ее обманули, завлекли в ловушку, это совершенно очевидно. Польстившись на большое жалованье, она отказалась от других мест, и теперь они уже заняты. Но, может быть, толстый мясник просто хочет ее напугать, нарочно сгущает краски? Да и в конце концов было бы интересно показать этим мужланам, как скромная девушка, мадемуазель Тибо, возьмется за дело и укротит неподатливую натуру своего будущего воспитанника.

— Ну, в общем, вашему Эрнесту,— сказала она,— только еще двенадцатый год, он еще маленький...

— Маленький? — прервал ее Лукрок.— Конечно, не взрослый, а ростом повыше вас вымахал. Можно сказать, на особицу выдался — что телом, что душой. Хотите знать, отчего ушла от них последняя его гувернантка, проживши в доме всего-навсего сутки? Оказывается, он, голубчик, исподтишка лягнул ее, чуть не сломал ей берцовую кость. На такие дела он мастер, а уж сильный какой — просто молодой бычок! И как разозлится, себя не помнит. А знаете, почему ушла предпоследняя гувернантка? Она заперла Эрнеста на ключ в его комнате. Ну, он не долго думая выпрыгнул из окна, а комната-то на втором этаже. К счастью, упал на цветочную клумбу, земля там рыхлая. А гувернантка в тот же вечер — на поезд, и прощайте...

— И я так же сделаю...

На этот раз мадемуазель Тибо, по-видимому, поверила рассказчику.

— А вы лучше уезжайте, не повидав выродка. По крайней мере первая так поступите. После этого Ромазили, может быть, решат, что пора им взять мальчишку в ежовые рукавицы. Только, пожалуйста, не говорите им, что вы про Эрнеста от меня узнали. Скажите, будто слышали в вагоне разговор про него — разговаривали незнакомые, мол, люди. Ромазиль прекрасно знает, что выродок прославился в наших краях. Я вам оказал услугу, так уж вы, будьте добры, не подведите меня. А то еще из-за вас я потеряю постоянных своих покупателей. Умненько действуйте.

Мадемуазель Тибо ничего не ответила, она погрузилась в размышления. Близится осень, все хорошие места уже разобраны, остались только самые незавидные, которыми никто не соблазнился. А ведь она уже тронула свои скудные сбережения. Право, эти Ромазили сыграли с ней скверную шутку. Сама виновата! Зачем раньше не навела справки?

— А я вот что думаю,— сказал вдруг Лукрок,— лучше вы у них поживите недолго и возьмите денег в счет жалованья... Не съест же вас выродок.

Гувернантка ответила, что так поступать она не привыкла: раз решила уйти от Ромазилей, то обманывать их не станет.

— А они-то вас обманули!.. Вот и Милас. Эге, вижу автомобильные фары, стало быть, Ромазиль прислал за вами машину. Ну как, выносить ваши чемоданы или не выносить?

Что же окончательно перевесило в эту минуту? Голод. Мадемуазель Тибо ужасно хотелось есть. Наверно, для нее у Ромазилей приготовили обед. А на поезд она успеет попасть. Почему бы не посмотреть на «выродка»? Чем она рискует? Может быть, мальчишка не такой уж страшный зверь, каким его рисуют.

II

Автомобиль промчался через весь городок, уже объятый сном, миновал последние дома, остановился у решетчатых ворот. При свете фар мадемуазель Тибо увидела длинный двухэтажный корпус и по бокам два приземистых флигеля. Сердце у нее колотилось от волнения, когда она поднималась по ступенькам крыльца и вошла в вестибюль с каменным полом, холодный, сырой, пропахший кухонным чадом. Служанка в черном платке на голове приняла от шофера чемоданы и поздоровалась с гувернанткой.

— Вы, барышня, верно, проголодались. Ужин на столе. Не угодно ли руки помыть?..

С аппетитом поев супу и голубцов, гувернантка почувствовала себя сытой, а на столе появилась еще и жареная утка с зеленым горошком. Несмотря на протесты приезжей, служанка в черном платке наложила ей полную тарелку жаркого. Женщина эта, несомненно, была моложе, чем показалось мадемуазель Тибо с первого взгляда. Старческий вид придавали ей отсутствие зубов и ввалившиеся губы.

— Благодарю, это чересчур много!.. Как ваше имя, скажите, пожалуйста, мадам.

— Меня звать Сегонда. А только я не мадам и не мадемуазель, просто Сегонда.

— А-а! Вы — кормилица Эрнеста?

Сегонда явно была удивлена и недоверчиво сказала:

— Ох ты! А вы откуда знаете?

Выпив три рюмочки превосходного сотерна, который ей подливала кормилица, мадемуазель Тибо почувствовала прилив бодрости и пришла в боевое настроение.

— Мне очень хотелось бы поговорить с папой и с бабушкой моего ученика.

— Нынче вечером, пожалуй, нельзя.

— Они уже легли спать?

Сегонда замялась и ответила не сразу.

— Папашу, может, вам и удастся повидать... Если только мальчик пораньше уснет...

— Какой мальчик? Эрнест?

— Да. Он у нас заболел, бедняжка. Колики в животе. За обедом объелся сычугом. И, стало быть, пока не уснет ребенок, отцу нельзя от него отлучиться. Сами понимаете. Эрнест не отпустит.

— А бабушка?

— О, бабушку-то уж наверняка не увидишь до утра.

— Она уже ушла к себе в спальню?

— Э-э, нет... Она в комнате внука легла. Такой у нас обычай: коли Эрнест болен, так или бабушка или я будто тоже хвораем. Мальчик-то у нас особенный. Вот, скажем, к завтрашнему дню не поправится он, тогда я лягу в постель вместо бабушки... А когда ему дают слабительное, то и мне за компанию приходится столько же выпить... Может, и зря я вам все это рассказываю... Да нет, лучше предупредить вас. Мальчишка у нас не плохой, только избалован немножко...

— Действительно, немножко избалован,— с саркастической улыбкой повторила мадемуазель Тибо.

Но Сегонда не поняла ее иронии.

— Так вы доложите господину Ромазилю, что я хочу поговорить с ним сегодня же вечером?

— Попробую... Но если Эрнест не заснул — нельзя...

Ждать пришлось недолго. Служанка скоро вернулась и сообщила, что господин Ромазиль играет с Эрнестом в шашки, а мальчик, кажется, еще не собирается спать. Господин Ромазиль желает приезжей барышне спокойной ночи, завтра утром он с ней повидается.

— Или сегодня, или никогда! — сухо ответила гувернантка.— Если я немедленно не объяснюсь с вашими хозяевами, то первым же поездом уеду обратно.

— Это еще что! Какая командирша явилась! — возмущенно воскликнула Сегонда.— В чужом доме распоряжается.

Мадемуазель Тибо ответила, что она не желает ни командовать, ни подчиняться, а только хочет уехать, вот и все.

Сегонда всплеснула руками.

— Можно сказать, еще и не приехала, и уже уезжает. Да что это со всеми учительшами творится? Что их забирает? Ведь вы даже и не поглядели на своего ученика. Ведь он не какое-нибудь чудище! Вам, верно, заморочили голову... Люди по злобе невесть чего наговорят!..

Гувернантка не стала отрицать, что она слышала в вагоне кое-какие разговоры по поводу Эрнеста Ромазиля и у нее пропало всякое желание знакомиться с ним поближе. Сегонда пришла в ярость: послушать ее, так люди, у которых самые дурные, самые испорченные дети, больше всего и чернят ее дорогого питомца. Вот взять, к примеру, семью Парантисов. Уж кто-кто, а они бы лучше помалкивали.

— Я вам вот что скажу, барышня. Моя невестка служила у них в няньках, и она помнит (навсегда запомнила), как сынку этих самых Парантисов (ему было не то три, не то четыре года) захотелось по маленькой нужде и обязательно чтоб на жаркое попасть — как раз жаркое тогда подрумянивалось на вертеле. Все семейство собралось вокруг — просят, молят: «Деточка, милочка, душечка! Не делай, пожалуйста, на жаркое, делай на рукоятку вертела. На рукоятку!» Вот оно, барышня! Хотите верьте, хотите нет, а наш Эрнест никогда так не безобразничал. Никогда! Да я ни за что и не допустила бы... Нет, не позволила бы... А-а, вот и барин пришел.

Вошел низенький лысый человечек с круглым брюшком, с обвислыми щеками в лиловатых прожилках, в круглых его глазах застыло испуганное выражение, толстые губы лоснились, словно от жирного соуса. Появился он в халате и войлочных домашних туфлях.

— Сударь! — закричала Сегонда.— Она уехать хочет!..

— Кто хочет уехать?

— Да эта самая... новенькая. Честное слово!

Глаза низенького человечка стали еще круглее. Он встал в величественную позу.

— Мадемуазель, надеюсь, это шутка?

Гувернантка посмотрела ему прямо в лицо и ответила, что ее решение бесповоротно.

— Как же так, мадемуазель! Отказываетесь от своего слова? Я получил прекраснейшие отзывы о вас, и вдруг такая недобросовестность с вашей стороны...

— Простите, сударь, это вы поступили со мной недобросовестно: не предупредили, что намереваетесь поручить мне воспитание маленького деспота, будущего Нерона.

— Будущего Нерона? — с испугом повторил человечек.

— Да, чудовищного ребенка, нравственного урода.

Господин Эзеб Ромазиль закричал фальцетом:

— Запрещаю вам, сударыня, оскорблять моего сына. Он — жертва злобных сплетен в маленьком городишке... Он богато одаренный ребенок и, как все богато одаренные дети, трудно поддается шаблонам воспитания — вот и все. Совсем недавно, в прошлое воскресенье, наш приходский священник сказал про него: «Это породистый горячий конь, его трудно укротить, он не признает узды...»

— Зато умеет лягаться!

Эзеб Ромазиль повторил с негодованием:

— Умеет лягаться?

В эту минуту со второго этажа послышался пронзительный вопль:

— Папа! Папа! Папа!

Господин Ромазиль насторожился.

— Ответьте же ему,— взмолилась Сегонда.

— Нет... Я ведь ему сказал, что мне надо выйти... Словом, пусть он не знает, что я здесь стою...

Все трое замерли, прислушиваясь. Наверху звучал визгливый мальчишеский дискант, его прерывал другой — мягкий глухой голос. Возмущение господина Ромазиля как будто улеглось. Он посмотрел на гувернантку, она стояла с ехидной улыбкой, подняв глаза к потолку. И вдруг, набравшись духа, словно бросившись с разбегу в холодную воду, отец воскликнул:

— Да, сударыня, да! Вы совершенно правы! Этот ребенок — деспот, будущий Нерон. Я верю, что в нем еще не заглохли хорошие задатки, но, быть может, завтра уже будет поздно. Вы — наша последняя надежда. Все сведения о вас, какие я получил, сходятся, и я вижу, что вы и только вы можете спасти нашего несчастного мальчика, да и нас самих тоже. Оставайтесь! Неужели вы хотите, чтобы я на коленях умолял вас?

Отворилась дверь, и в комнату, шаркая шлепанцами, вошла старушка — тоже одетая в халат, словно она только что встала с постели. Жиденькие волосы, заплетенные в короткую тонкую косицу, были заложены узелком на темени, сквозь седые пряди просвечивала кожа. Хотя между господином Ромазилем и госпожой Гаруст не было кровного родства, их обоих роднил испуг, застывший в круглых вытаращенных глазах,— только у старухи глаза слезились и воспаленные веки покраснели.

— Это как же? — крикнула вдруг Сегонда.— Он вам позволил прийти?

Старуха приложила палец к губам:

— Тише! А то он услышит, что мы собрались тут, сговариваемся... Ну да, он позволил мне спуститься сюда. Он хочет посмотреть новую учительницу. Представьте себе!

— Хочет посмотреть? Наверно, боится, как бы его и в самом деле не отправили в пансион. Думает — не лишнее поглядеть, с кем ему придется дома иметь дело.

К великому удивлению новой гувернантки, господин Ромазиль, обратившись к Сегонде, произнес:

— Скажите госпоже Гаруст, что барышня собирается уехать завтра утром.

Сегонда, как терпеливый переводчик меж двух собеседников, говоривших, однако, на одном и том же языке, повторила старухе хозяйке:

— Барышня собирается уехать завтра утром.

Эзеб Ромазиль опять обратился к Сегонде:

— Скажите, что барышне наговорили про Эрнеста...

Сегонда довела эти слова до сведения госпожи Гаруст:

— Ей наговорили про Эрнеста...

Уж не страдает ли старуха глухотой? Но ведь служанка, говоря с нею, не повышала голоса, не старалась отчеканивать слова.

— Россказни, которые мне довелось услышать,— сказала мадемуазель Тибо,— не имеют никакого значения. Достаточно и того, что я сама услышала и увидела с той минуты, как вошла в ваш дом...

Госпожа Гаруст вдруг сорвалась с места и забегала по комнате, засеменила неслышными шажками у самых стен, как старая крыса. И горько причитала при этом:

— Она уже хочет уехать? А еще ничего и не видела. Да чем же мы прогневили господа бога, почему люди так дурно с нами поступают? Но ведь мальчик хочет на нее посмотреть... Вы же видите — он совсем не злой. Он хочет посмотреть... Разве это не любезно с его стороны?.. Он не всякому оказывает такую честь...

— Вы можете сами составить о нем представление, мадемуазель,— прервал старуху Эзеб Ромазиль.— Поговорите с ним. Ну что вам стоит! Как знать, вдруг он вам понравится! Если он будет в хорошем настроении... Да нет, куда там, мало надежды!..

— Что верно, то верно,— заметила Сегонда.— Уж коли он захочет, так прямо в душу влезет... Умеет, озорник, приворожить...

У мадемуазель Тибо, хоть она и твердо решила бежать из этого дома, разгорелось любопытство. Она ответила, что охотно познакомится с Эрнестом, но честно предупреждает господина Ромазиля — ее решение неизменно. И тут странная сцена повторилась: господин Ромазиль приказал Сегонде передать госпоже Гаруст, чтобы она пошла наверх и подготовила мальчика к приему посетительницы. Служанка повернулась к хозяйке и передала ей слова хозяина. Старуха ответила:

— Скажите господину Ромазилю, что лучше нам вместе с ним пойти...

Зять и теща, изъяснявшиеся друг с другом через толмача, вместе направились к двери. Госпожа Гаруст предупредила Сегонду, что она трижды постучит в пол, когда приезжей барышне можно будет подняться.

Оставшись наедине со служанкой, мадемуазель Тибо выразила удивление по поводу таких необыкновенных порядков: почему хозяин дома разговаривает с хозяйкой только через посредника?

— Так уже два года у них ведется,— благодушно ответила Сегонда.— Да, да, вот на святого Михаила как раз два года будет, как они из-за чего-то повздорили... Ах да, вспомнила, из-за чего... У нас барин очень любит жареных перепелок. И когда их ест, сует в рот всю птичку целиком, закрывает лицо руками и наслаждается. Терпеть тогда не может, чтобы за столом разговаривали. Малейший, говорит, шум сразу же отвлекает, портит удовольствие от такого лакомого блюда. А попробуйте помешать госпоже Гаруст разговаривать... Не родился еще на свет такой человек... Ну вот, значит, они и поцапались. С того дня и пошло — он не хочет мириться, и она не хочет. Не знаю уж, когда они кончат в молчанку играть. Два года не разговаривают.

Мадемуазель Тибо не могла прийти в себя от изумления. Сегонда пожала плечами.

— Да это еще что! Госпожа Гаруст восемнадцать лет не разговаривала со своим покойным мужем. А ведь не разлучались ни днем, ни ночью. И как стал старик Гаруст помирать, он сказал сестре милосердия, которая за ним ходила (она мне сама потом передала): «Сообщите моей жене, что я ее все-таки очень любил...» А жена-то, бедняжка, тут же рядом, у смертного одра была... Старики поцеловались на прощанье, но ни единого словечка не проронили... Не стоило уж начинать, раз они так долго были в ссоре... А теперь бабушка вот что говорит: «Самое,— говорит,— любопытное, Сегонда, что мы даже и не помнили, из-за чего у

нас ссора вышла... Помню только, что случилось это не то в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом, не то в восемьдесят пятом году». Она, видно, считает, что играть в молчанку очень даже удобно, недаром перестала разговаривать и с зятем. Зато с другими наверстывает — болтает без умолку со всей прислугой, с арендаторами. Тут ей лафа: они ее слушают и поддакивают. А у господина Ромазиля нрав такой же, как у тещи: оба любят, чтобы все по-ихнему думали и с ними соглашались... Сами понимаете, не соглашаться с господами трудно. Люди богатые, одной земли сколько, добра всякого...

В эту минуту в верхней комнате трижды стукнули в пол.

— Ага, знак подают! Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Во-первых, он в постели лежит... ничего вам сделать не может. Да ведь иной раз он очень даже ласковый мальчик... Ну, конечно, редко так бывает. Но как знать! Может, ваша личность ему приглянется... А уж если он кого полюбит, то крепко. Прямо жить без того человека не может.

— Прекрасно. Ну а если я с первого взгляда ему не понравлюсь?

— Да как сказать... Очень может быть,— ответила Сегонда, окинув гувернантку взглядом.— Он чахлых не уважает. Такой уж у него норов...

Произнося эти ободряющие слова, Сегонда сняла в прихожей керосиновую лампу и пошла впереди мадемуазель Тибо, дрожащей от холода, а может быть, и от страха. Обе поднялись по лестнице, покрытой потертым линолеумом.

III

Должно быть, на долгие годы запомнилось мадемуазель Тибо зрелище, открывшееся перед нею, когда она отворила дверь в спальню своего воспитанника. Комната была большая и загроможденная вещами. На круглом столике, придвинутом к кровати, горела лампа на высокой подставке. На ковре, застилавшем пол, застыв в недвижном галопе, лежала снятая с карусели деревянная лошадь в великолепной бархатной сбруе, расшитой золотом, и с ярко начищенной медной скобкой, венчавшей ее голову. По углам комнаты и на комоде вырисовывалось в полумраке целое стадо дорогих игрушек, верблюдов, коз, баранов и всяких зверей чуть ли не в натуральную величину. На подоконнике стоял, приткнутый к стеклу, Петрушка в пестром одеянии с золотыми блестками, а на полу валялась труппа кукольного театра. На большом столе в беспорядке отступала армия оловянных солдатиков, все вокруг говорило о полном разгроме, ибо рельсы заводного поезда разъехались в разные стороны, вагоны опрокинулись, паровоз лежал на боку.

Мадемуазель Тибо направилась к алькову, как вдруг откуда-то выскочил и с яростным лаем набросился на нее свирепый бульдог, к счастью, господин Ромазиль успел схватить его за ошейник. Черноносый бульдог лаял, не умолкая, широко разевая свою красную пасть с острыми клыками.

— Деточка, успокой же Динго, ведь он только тебя и слушается! — умоляла бабушка, повернувшись к постели внука.— Кликни его к себе.

Мальчик, до тех пор прятавшийся под одеялом, вдруг приподнялся и уставился на гувернантку, отступившую к двери.

— Кликни к себе собаку, кликни, душечка,— просил и господин Ромазиль.— Я не в силах его удержать. Помоги мне, Сегонда.

Но «душечка» хранил олимпийское спокойствие. Сегонда подошла к хозяину и, помогая удерживать Динго, стала гладить пса и успокаивала его, бормоча что-то ласковое на местном наречии.

— Сейчас мы запрем его в чулан,— сказала она.

Послышался ровный голос Эрнеста:

— Не смей запирать Динго. Он останется здесь на ночь.

Эрнест не спускал глаз с новой своей противницы, и она тоже смотрела на него. Мальчика, по-видимому, слишком раскормили, у него уже начиналось ожирение — пухлые щеки, казалось, вот-вот обвиснут, как у отца,— зато его очень красили волосы, густые, черные, как вороново крыло, изящный носик с горбинкой и большой красиво очерченный рот с ярко-красными губами. В общем, Эрнеста можно было бы назвать хорошеньким мальчиком, если б его не портило угрюмое выражение лица и какой-то недетский, взрослый вид. «Как это печально,— думала мадемуазель Тибо,— когда ребенок до того избалован, что ему и желать больше нечего». На первый взгляд она не нашла маленького деспота отталкивающим. А его горящий взгляд внушал ей некоторую робость. Несомненно, мальчишка пытался определить, какую силу сопротивления может проявить новый, еще незнакомый ему враг.

Вдруг он юркнул под одеяло, повернулся лицом к стене, съежился в комок, на подушке видны были только его черные вихры и красное ухо.

— Дорогунчик,— упрашивала бабушка сладеньким голоском.— Поздоровайся же с мадемуазель.

— Ну поздоровайся же,— уговаривала Сегонда,— а то барышня не захочет остаться у нас и придется отдать тебя в пансион.

Но мальчишка не шевелился, лежал как мертвый.

К постели подошел господин Ромазиль и, выпрямившись во весь свой мизерный рост, проговорил:

— Эрнест, прошу тебя и даже приказываю, исполни долг вежливости и поздоровайся с мадемуазель Тибо.

Бабушка и кормилица уставились на смельчака с восторженным удивлением и страхом. Но укрывшийся под одеялом сурок даже не шевелился.

— Ах, что я тебе дам, мой красавчик! — сюсюкала бабушка.— Вот если будешь умницей, поздороваешься, тогда получишь. А не будешь умницей, пеняй на себя...

Слащавым и вместе с тем угрожающим тоном она тянула нараспев:

— Моему золотенькому мальчику хотелось обезьянку мартышечку? Так не получишь ты мартышечку. Моему золотенькому мальчику хотелось живую гадюку? Так не получишь ты живую гадюку!..

Мадемуазель Тибо, не удержавшись, добавила вполголоса:

— Моему золотенькому мальчику хотелось двухголового теленка — так не получит он двухголового теленка...

— Что это значит, мадемуазель? — недовольно спросил Эзеб Ромазиль.

В эту минуту сурок ожил, приподнял одеяло с белоснежным пододеяльником, и присутствующие услышали сердитое ворчание:

— Захочу мартышку, и будет у меня мартышка!.. Захочу, так буду разводить гадюк и совать их вам в постель.

— Эрнест! — простонал господин Ромазиль.

Мадемуазель Тибо негромко произнесла:

— Очаровательное дитя! Богатая натура!

Но мальчишка внезапно выпрямился и замотал всклокоченной головой.

— Ну, чего вам? — заорал он.— Чего спать не даете? Зачем в мою спальню влезли? Мало вам, что ли, в доме комнат?

— Ах, не надо его волновать! — пролепетала бабушка.

Малолетний тиран, усевшись в постели, окидывал мрачным взглядом своих рабов.

— Сегонда, останешься здесь, пока я не усну. Но чтоб я тебя не слышал! Не шевелись, не сморкайся, не дыши... Можете увести Динго.

Объявив свое решение, он лег и повернулся лицом к стене.

Служанка покорно села на стул и словно окаменела, обратилась в статую. Отец, бабушка и гувернантка, не обменявшись ни словом, спустились на первый этаж и прошли в столовую.

— Как только он уснет, барышня,— робко сказала бабушка,— Сегонда придет и поможет вам развязать чемоданы.

— Не нужно, мадам. Я уеду с восьмичасовым поездом. Только будьте любезны распорядиться, чтобы мой багаж доставили на вокзал.

— Барышня, что вы! Не уезжайте. Как же это возможно?

— Неужели вы нас покинете?

Зять и теща ухватились за обе руки гувернантки.

— Я вам удвою жалованье! — воскликнул Эзеб Ромазиль.— Пусть это безумие, но я все-таки удвою!

Гувернантка холодно ответила, что, если он даже назначит ей тройное жалованье, она все равно не останется.

Бабушка закрыла лицо руками.

— Ну, значит, мы погибнем,— заохала она.— Да, погибнем! Я совсем измоталась, у меня ведь больное сердце, доктора говорят, что-то с аортой не ладно. Попросту сказать, того и гляди, разорвется сердце. Что ж будет делать мой зять, когда останется один с Эрнестом? Бедняга!

Гувернантка вежливо ответила, что мальчик с годами, возможно, станет умнее... А кроме того, почему бы не попытаться отдать его в пансион?

— Да для того, чтобы он там задержался, надо его отдать не в пансион, а в исправительное заведение... Несчастный мальчик! Он-то больше всех нас достоин жалости. По моей вине он стал таким. Да, по моей вине!

И вдруг низенький человечек разрыдался. Слезы ручьями текли по его обвислым щекам, лицо исказила жалостная гримаса, как у плачущего ребенка. Бабушка опять заохала, запричитала, вопрошая, чем они прогневили господа бога, за что судьба их так печальна.

К скорбному дуэту присоединилась вернувшаяся Сегонда и тоже затянула песню:

— Боже ты мой, господи! И подумать только, что же это делается. Барышня даже попробовать не хочет... А ведь есть же все-таки люди... Да что уж тут говорить...

— Послушайте...

Стенания стихли. Три тоскливых лика повернулись разом к мадемуазель Тибо.

— Может быть, еще есть возможность...

— Мы на все, на все согласны...

Но мадемуазель Тибо, покачав головой, промолвила:

— Нет, вы не решитесь...

— Скажите все-таки...

— Никогда вы на это не пойдете.

— Я готов на все! — воскликнул господин Ромазиль.— Хотите, еще прибавлю вам жалованья?

Мадемуазель Тибо досадливо отмахнулась: совсем не то. Ей пришла на ум одна мысль, но им эта мысль, несомненно, покажется нелепостью.

— Да что вам стоит... Скажите, ради бога!

Гувернантка посмотрела на заплаканное пухлое лицо господина Ромазиля, потом взглянула на обеих женщин: госпожа Гаруст уныло покачивала головой, Сегонда умоляюще сложила свои загрубевшие, натруженные руки. Мадемуазель Тибо отнюдь не была бессердечной, безжалостной, но после привычной для нее необходимости повиноваться, сносить иной раз унижения она впервые в жизни не без удовольствия чувствовала, что является сейчас особой важной, ибо в ней нуждаются, ждут милости от нее. Она повернулась к Эзебу Ромазилю:

— Скажите, у вас есть еще где-нибудь дом?

Ромазиль ответил, что в сорока километрах от Миласа в именье Кустистое у него есть охотничий домик.

— И если б не наш озорник, то я теперь уже был бы там, потому что вскоре начнется перелет вяхирей. Я всегда езжу в Кустистое охотиться. Но Эрнест не любит охоты — ведь он ни на минуту не может постоять спокойно, мальчишка живой, как ртуть.

— Так вот что я вам предлагаю. Завтра утром уезжайте в свое Кустистое все трое: и вы, и госпожа Гаруст, и Сегонда. Поживете там некоторое время. А я останусь здесь с Эрнестом одна.

— Одна с Эрнестом? — завопила Сегонда.— Каково же это Эрнесту будет жить без отца, без бабушки и без меня, без своей кормилицы?.. Что вы такое еще выдумали?

— Ну, вот видите, я же говорила, что вы не согласитесь. Однако это единственное средство...

— Почему бы нам не согласиться? — сказал господин Ромазиль.— Я одобряю ваш план, мадемуазель. Пока мы будем находиться здесь, вам не удастся сладить с Эрнестом.

Сегонда только тут поняла смысл слов гувернантки и вдруг раскричалась:

— Бросить моего озорника? Оставить его на чужую женщину? Да кто она такая? Откуда взялась? Ну нет, не поеду, хоть силком тащите меня из бельевой.

— Замолчи, бестолочь!

Но господину Ромазилю никак не удавалось ее утихомирить. Вскоре и госпожа Гаруст принялась хныкать вместе с кормилицей.

— Бедненький наш озорник! Ведь он так привык к нам... Кто же его по утрам одевать будет? Кто ему хлебца отрежет? Кто ему грушу очистит? Кто посмотрит за ним, позаботится, чтоб он не простудился?

Гувернантку, по-видимому, нисколько не смутило их сопротивление, и она спросила господина Ромазиля, как будет обстоять дело с прислугой.

— В Кустистом нас обслуживают наши арендаторы (а кормят они превосходно!). Значит, мы можем оставить вам кухарку Эмили и горничную Огюстину. А для разных поручений и на тяжелую работу можете звать крестьян.

— Ох нет,— простонала госпожа Гаруст, обращаясь к невидимому собеседнику,— нет, он этого не сделает, не бросит он своего злючку, которого на смертном одре поручила его заботам моя дочь...

— Обходились без барышень,— заорала Сегонда,— и сейчас обойдемся. Пускай обратно на вокзал едет! Небось, не побежим за ней следом. Да где же это видано? Приезжают тут всякие, в городе с хлеба на воду перебиваются, а здесь начинают свои законы устанавливать, распоряжаются, приказания отдают барину и барыне...

Но господин Ромазиль отвел гувернантку в сторону и сказал:

— Я вас отлично понимаю, мадемуазель: ваш проект именно своей смелостью внушает мне доверие. Мы все трое уедем завтра утром и не вернемся, пока вы не сочтете это для себя удобным.

— Да он рехнулся! — простонала госпожа Гаруст.— Сегонда, немедленно скажите ему, что он рехнулся!

Но Сегонда уже ничего не слышала, она вопила во весь голос:

— Бедняжка наш! Бедняжечка!

Если бы их драгоценный злючка вдруг скончался, то и тогда, пожалуй, старуха не подняла бы такой гвалт. Но хозяин, не обращая внимания на бурные сетования кормилицы, велел ей идти складывать пожитки и собрать вещи старой барыни.

— Особенно труден будет самый момент отъезда,— добавил он, повернувшись к гувернантке.— Эрнест устроит такую сцену...

— Никой сцены не будет, если вы уедете без шума и криков, пока он еще спит.

— Как так? Даже не поцеловав его на прощанье?

— Я прошу у вас у всех этой жертвы. Могу ли я рассчитывать на помощь крестьян? Мне хотелось бы держать ворота на запоре, чтобы мальчик не мог выйти без моего разрешения.

На этот вопрос ответила Сегонда:

— Еще бы не можете: Кастанье ненавидит мальчика, да для него мучить заодно с вами нашего невинного ангелочка одно удовольствие.

Но Эзеб Ромазиль вытолкнул служанку за дверь. Его охватило радостное возбуждение. Славу богу, гора с плеч! Наконец-то можно будет спокойно поохотиться на вяхирей.

— Завтра, мадемуазель, мы очистим дом к восьми часам утра, и вы сможете без помех приступить к делу.

Только очутившись в отведенной ей комнате, мадемуазель Тибо осознала всю глубину своего собственного безрассудства: Эзеб Ромазиль вообразил, что у нее есть какая-то непогрешимая система для обуздания трудных детей. На самом же деле плана у нее не было, не было даже какой-нибудь определенной идеи. Уже хорошо то, что удалось разлучить маленького деспота с его рабами. Но она остается одна, лицом к лицу с чудовищем. Какой метод применить, чтобы его укротить? Силу? Ласку? Хитрость?

Она открыла окно и с жадностью вдохнула ночной воздух, уже пропитанный всеми запахами осени. Луна освещала кряжистые старые дубы, заросли кустарника, крыльцо, посыпанную песком аллею. Динго сердитым рычанием отвечал на оголтелый лай соседских собак. Потом вдруг все собаки, как по команде, смолкли, тишину нарушало теперь лишь пение петухов.

«Жить одной в этом бараке, с этим малолетним разбойником...» — думала мадемуазель Тибо. В конце концов самое худшее, что может произойти, это то, что опыт не удастся. Не съест же ее, в самом деле, их злюка! А вдруг ей посчастливится прибрать его к рукам. Должен же существовать какой-то путь к его сердцу. Да, да, самое главное — найти этот путь. И все-таки для начала не мешает прибегнуть к крутым мерам... Конечно, почуяв узду, он начнет брыкаться... И все же любопытно попытать счастья.

Она задремала, проснулась. Бледный утренний свет пробивался сквозь щели ставен. «А сейчас самое главное — сделать решетку на окне его спальни»,— подумала она.

Она поднялась с постели и через минуту уже была готова.

IV

У крыльца запыхтел мотор автомобиля. Злюка открыл глаза, повернулся на другой бок. Ему снилась машина, снилось, что папа отправляется на прогулку один, не пригласив его с собой. Но что это — пыхтение мотора или голос Сегонды, а может быть, даже голос бабушки? Нет, вовсе это ему не со сна почудилось: звук переводимых скоростей был вполне реальным звуком, он различил также крики Сегонды, похожие на пронзительное квохтанье курицы, когда в нее бросишь камнем. Эрнесту захотелось позлиться, но и поспать еще немного тоже хотелось. Ничего, папа еще свое получит... Сын не допускал никаких развлечений без своего участия. Он закрыл глаза.

Его разбудил странный шум: по стене возле самого окна его спальни кто-то стучал молотком. Сначала Эрнест решил, что это снимают в

столовой шторы. Что же это такое, в конце концов! Теперь уж и его сном не дорожат.

— Я им покажу,— пробормотал он. День еще не наступил, а юный Ромазиль уже успел составить целый список претензий и разработать десятки планов мести. Стук молотка становился все громче. Пожалуй, только лень среди всех прочих пороков Эрнеста была сильнее злобы. Поэтому он даже не шевельнулся... Но в конце концов это переходит всякие границы. И потом ему почудилось (да полно, разве это возможно?), что стучат в двух шагах от его спальни, рядом с окном.

Он соскочил с постели, отдернул занавеску, открыл внутренние ставни и протер глаза: к его окну металлическими скобами была прибита крепкая решетка. Он узнал слесаря Ланосса, который не спеша слезал с приставной лестницы.

«Это еще что!» Злюка так удивился, что забыл даже завопить. Он позвонил. Сегонда всегда находилась где-нибудь поблизости; но сейчас никто не явился на его звонок. Тишина в доме показалась ему подозрительной. Он открыл дверь, выбежал босиком на площадку и злобно крикнул Сегонду. Ему ответила горничная Огюстина:

— Сейчас несу вам завтрак.

— А я с вами вовсе не разговариваю!

Дрожа от гнева, злюка улегся в постель. Сейчас придет Сегонда. Ну и покажет же он ей, старой карге! Только тут он заметил, что Динго, против обыкновения, не поскреб лапами в дверь спальни. Эрнест снова подскочил к окну, потряс решетку.

В дверь постучали: ни Сегонда, ни бабушка не имели такой привычки — обе входили к нему без стука. А что это еще за уродина тащит ему поднос? Что это еще за выдра, и волосы-то у нее такого цвета, как коровий хвост. Гувернантка! Мальчик грубо обратился к ней:

— Чего вы лезете не в свое дело! Живо позовите мне Сегонду! И что это такое вы мне принесли? Кофе с молоком? Мне всегда дают кофе с молоком и шоколад, неизвестно еще, чего мне захочется.

Гувернантка, не отвечая, поставила поднос на столик у постели и сказала:

— Шоколад вы больше пить не будете. Он действует слишком возбуждающе. С сегодняшнего дня мы займемся вашей печенью. Я хочу, чтобы мой ученик был совсем здоров.

На мгновенье Эрнест потерял дар речи, потом пробормотал:

— Кто... кто здесь распоряжается?

— Я,— спокойно ответила гувернантка.

— Вы?

Побледнев, как мертвец, угрожающе стиснув челюсти, зверски глядя на гувернантку, он приподнялся на кровати, встал на колени.

— Ах так? Для начала неплохо... только я папе пожалуюсь... Он вам покажет, как называть себя хозяйкой.

— Я вполне понимаю, что вы удивлены, бедное мое дитя, но отец передал мне все свои полномочия. Советую вам одуматься...

Мальчик ничего не ответил. Он прислушался: все та же непривычная тишина стояла в доме. Взгляд Эрнеста упал на решетку.

— А решетка?.. Кто посмел?

— Я хочу быть уверена, что вы выйдете из спальни только через дверь.

Мальчик одним прыжком соскочил с постели, выбежал на лестницу, стал звать своего отца, свою Сегонду, свою бабушку. Никто не ответил. Мальчик вернулся в спальню и спросил, прерывисто дыша:

— Где они?

— Уехали.

— До вечера?

— До тех пор, пока вы не станете хорошим мальчиком.

Она предпочла бы любые вопли этому упорному молчанию, этому взгляду, полному злобного раздумья.

— И вы надеетесь, вам удастся меня одолеть? — выдавил он наконец из себя.

— Я вовсе и не собираюсь вас одолевать, Эрнест... Я хочу только, чтобы вы стали таким же мальчиком, как и все прочие, счастливым мальчиком.

— Я только тогда буду счастлив, когда вы уберетесь отсюда... И надеюсь, уберетесь вы быстро. Вот возьму и вообще с постели не встану, не буду мыться, одеваться, покуда вы не смотаетесь отсюда.

— Для того чтобы умереть с голоду, Эрнест, требуется немало мужества!

— А кто вам сказал, что я собираюсь умирать с голоду?

— Как же так! Если вы не хотите спускаться в столовую...

— Мне будут сюда и обед, и ужин приносить, сейчас прикажу...

— Хочу вас заранее предупредить, что мальчик ваших лет исполняет приказания, а не отдает их.

— Это мы еще посмотрим.

— Нечего смотреть. В установленные часы вам будут подавать еду в столовой и утренний завтрак тоже.

— А если я к еде и не прикоснусь, значит, я умру?

— Ну, до этого еще далеко. В случае необходимости мы можем прибегнуть к искусственному питанию.

Тут только он понял, что уже ведет беседу с этой ужасной женщиной, отвечает, слушает ее. Он с размаху ударил кулаком по подносу с завтраком: с грохотом разбилась фарфоровая посуда, а кофе с молоком растекся по полу. После этого Эрнест повернулся лицом к стене и натянул одеяло на голову.

Казалось, мадемуазель Тибо ничего не заметила, она спокойно достала из сумочки сложенную вчетверо бумагу.

— А теперь выслушайте распорядок дня,— произнесла она.— В половине восьмого — подъем, гимнастика, душ, молитва. В восемь — первый завтрак. Отдых. До десяти — приготовление уроков. Прогулка. С одиннадцати до половины двенадцатого — занятия. Завтрак. Отдых до четырнадцати часов. Занятия до пятнадцати часов. Прогулка и чай до семнадцати часов. Приготовление уроков до восемнадцати часов. Обед. Чтение или беседа. Отдых. Занятия до девятнадцати с половиной. В двадцать один тридцать — спать. Оставляю правила на камине. А сама жду вас в классной комнате. До скорого свидания.

Когда за гувернанткой закрылась дверь, он поднялся, сел в постели и начал размышлять. Да, эту так легко не обломаешь, как всех прочих. В большинстве случаев он не испытывал настоящей злобы: просто разыгрывал перед домашними сцены, чтобы их запугать и чтобы они его слушались. А гувернантка своим безразличием лишила его этого наиболее грозного оружия, значит, надо изобрести что-нибудь новенькое.

Огюстина, не постучавшись, вошла в спальню, собрала осколки, вытерла тряпкой пол, залитый кофе с молоком. А сама тем временем искоса поглядывала на него, дивясь, почему это он такой тихий.

— Принесите мне другой завтрак да поживее...

— Теперь уж двух завтраков вам не положено, Эрнест. Ничего, зато к обеду аппетит нагуляете.

И поспешно отступила к двери. Очутившись на площадке, она осмелела и крикнула явно вызывающим тоном:

— Так барышня распорядилась, извольте слушаться!

И вновь — тишина. Впервые в жизни мальчик очутился один и сейчас испытывал какое-то странное чувство неловкости, схожее с испугом.

Он снова сполз с постели, тихонько отворил дверь и, свесившись через перила, вполголоса позвал:

— Динго! — потом погромче: — Динго! Динго!

Значит, они и собаку с собой взяли. Как только заводят машину, Динго тут же вскакивает на сиденье... Эрнест остался один, совсем один, но все-таки он их всех одолеет! Не решится же она уморить его голодом... Остается одно — лежать в постели. А вечером он встанет: в кладовой всегда полным-полно всяких вкусностей. Еще посмотрим, за кем останется последнее слово.

V

— Да уж поверьте,— разглагольствовал Лукрок перед кружком городских кумушек, собравшихся в его лавке,— уж поверьте, как я увидел в поезде эту фитюльку, сразу понял, что она маху не даст. Весь дом в одну минуту к рукам прибрала, а заодно и самого папашу, и бабушку Гаруст, и Сегонду. А теперь полная там хозяйка. Она-то знает, чего хочет. Пусть мадам Ланосс сама вам скажет: нынче утром, ровно в шесть явилась к ним и велела Ланоссу приколотить решетки к окошку комнаты Эрнеста. Огюстина мне рассказывала: как малый увидел решетку, так и обомлел. И кричать забыл. Вставать не встает, но и не кричит. Она его одолеет, измором возьмет. Лишила пищи, как паршивого пса какого-нибудь, а он самый настоящий пес и есть. Она его в два счета укротит! Видать, женщина с характером, даром что с виду худышка.

— Это уж как вам будет угодно, Лукрок,— возразила мадам Годран, галантерейщица,— но я-то своего дурачка чужой женщине не отдам. Неизвестно еще, откуда она взялась. И вот что я вам скажу, я, да и все мы обязаны в оба глядеть, чтобы она несчастного злючку до смерти не замучила. Почитайте-ка газеты, там таких историй полным-полно. Я, признаться, давно прикидываю, почему — если кругом столько преступлений совершается,— почему, говорю, мне ни разу не повезло хоть в свидетельницы попасть. А уж так бы мне хотелось в суде выступить. И знаете, что я вам скажу? Поверьте мне, добром все это не кончится. Значит, решетку поставили, чтобы его секвестрировать?

— Чего?..— переспросил Лукрок.— Уж вы всегда такое словечко найдете!

— Самое обыкновенное: секвестрировать, то есть заточить,— пояснила мадам Годран.— Во многих семьях, даже самых знатных, такое случается: запрут человека, сидит он себе без воздуха, без пищи и питья, а когда комиссар полиции его найдет и отопрет двери, так он прямо в нечистотах валяется.

— Что верно, то верно, мадам Годран! — подхватила мадам Ланосс.— Я всегда твержу: приезжие, то есть нездешние, не наши, это, поверьте, просто подонки; будь они приличные люди, сидели бы у себя дома. Если эта дамочка прикатила в Милас, значит, хочет что-то скрыть... И никогда вы меня в этом не разуверите.

— А чем же иначе, Лукрок, вы объясните, что она в два счета всю семью из дома выжила?.. Нет, как хотите, а, по-моему, тут дело нечисто... Околдовала их, и все тут.

— Ну и мысли у вас, просто-таки средневековые,— возмутился Лукрок.— Сейчас колдуний нет.

— Нету колдуний? А в Газине кто, по-вашему, орудует? А колдунья из Жуано, которая мне три бородавки свела? А вы говорите, колдуний нет! И я вам повторяю,— заключила мадам Годран,— раз семья Ромазилей решилась расстаться со своим обожаемым Эрнестом — а что его обожают, против этого вы, надеюсь, спорить не станете,— так вот, раз

семья ни с того, ни с сего уехала, значит, здесь дело нечисто. Вот я вам и говорю, мы обязаны быть начеку и следить за этой проходимкой. И потом, колдунья она, как утверждает Годран, или нет,— неужто Ромазили хотят, чтобы над их мальчиком измывались? У них и земли много, и деньги в банке есть, и всякого добра вдоволь, так что они могут делать все, что им заблагорассудится. При чем тут эта барышня? Чего она не в свое дело мешается? Ну посудите сами!

— Да уж, конечно, какая мне выгода, если дом Ромазилей будет стоять на запоре,— примирительным тоном заявил Лукрок, старавшийся ладить со своими клиентками,— да если лишат пищи этого Эрнеста, который за четверых жрет — и одно мясо, заметьте, потому что овощей он терпеть не может... В нашем Миласе не так уж много домов, где по два раза в день мясо едят. Пожалуй, вы и правы, чем больше я думаю, тем... Если я это сразу не сообразил, что все опять-таки из-за приезжей тли, а теперь вижу, что меня она по карману бьет... В самом деле, пусть не воображает, что мы ей позволим нашего злюку замучить. Ведь он всем нам дорог, в конце концов это наша миласская достопримечательность!

Возвратившись к себе домой, мадам Годран, галантерейщица, уселась за прилавок, достала большой лист бумаги в клеточку и начала строчить письмо:

«Дорогая Сегонда!

Не пришлось мне долго ждать удовольствия сообщить вам скверные новости. Из нижеследующего письма вы узнаете самую страшную весть: вместе с мадам Ланосс мы обнаружили, что эта ехидна околдовала Ромазилей. И я вот о чем думаю, как это вам удалось избежать заклятья, ведь вас-то, несчастная вы женщина, насильно увезли из дома! Разве это мыслимо, что в наш просвещенный век существуют еще такие чудовища, которые запирают малолетних и морят их голодом? А именно это и происходит в вашем доме, и Огюстина, эта тварь, прямо так и призналась Лукроку, что ваш несчастный Эрнест уже до того ослабел, что даже кричать не может и с постельки не подымается.

Хочу вам сообщить, что весь Милас прямо-таки приуныл, и все мы надеемся, что жандармы не замедлят вмешаться в это дело. Вот она какая история! Вы еще не уплатили за пуговицы и шнурок, которые брали у меня в среду, но пишу вам это вовсе не для того, чтобы напомнить, ведь с вами можно о долгах не беспокоиться.

Ваша подруга до гроба
Элоди Годран.

P. S. Если вам удастся уговорить ваших хозяев вернуться, зайдите сначала ко мне в лавку. Вам понадобятся свидетели, чтобы захватить колдунью с поличным, когда она мучает бедного нашего злючку».

VI

В тот же вечер, прежде чем сесть обедать, мадемуазель Тибо вышла на лестницу и прислушалась: из спальни Эрнеста не доносилось ни звука. Она села за стол в огромной сырой столовой, озабоченно глядя на пустующее перед ней место. Надо крепиться, нельзя терять мужество. Она обратилась к Огюстине:

— Вы из кладовки все убрали?

— Да, мадемуазель, сама все снесла в погреб, банки с вареньем, маринады, окорока, все, как вы приказали. Крыса и та корочки не отыщет.

Горничная отодвинула заслонку камина, где пылали сухие виноградные ветви. Огюстина была крепкая, здоровая девушка, и ее грубоватое лицо расплылось в улыбке, так как она терпеть не могла Эрнеста.

— Я в спальню к нему заходила, лежит, отвернувшись лицом к стене, и хоть бы что.

— А вы говорили ему, что сегодня на обед тушеная утка с репой и пирожное?

— Я даже добавила: бутылку, говорю, Грюо-Лароз из запасов хозяина поставила, ведь малый уже и сейчас винцо потягивает.

— И он даже не шелохнулся?

— Даже не шелохнулся.

— Ну что ж, подождем.

Перед горничной мадемуазель Тибо старалась сохранить полное спокойствие, но в действительности ее грызла тревога. Она решила не ложиться в постель и быть всю ночь настороже.

Часов в одиннадцать она услыхала, как на верхнем этаже, где помещалась спальня, открылась дверь, она спряталась под лестницу, у входа в подвал. Мальчик прошел совсем рядом, не заметив ее, в руках он держал свечу. На плечи он накинул, как плащ, красный пуховичок, в этом необычном наряде босоногий мальчик, хотя и с чуть одутловатым, болезненно-желтым лицом, с лихорадочно блестевшими глазами, действительно походил на Нерона-отрока, на маленького пленного цезаря, живущего под присмотром в своем дворце.

По коридору он прошел в кухню, направился прямо к кладовке и едва удержал крик, готовый сорваться с губ: ничего! Ни кусочка мяса, ни хлебной корки. Он вскинул глаза — с балок не свисали ряды окороков, и полка, где обычно стояли в ряд банки с маринадами, была пуста.

Мальчик озадаченно прислушивался к монотонному шуму осеннего дождя, барабанившего по крыше, струившегося по водосточным трубам. Тут только его взгляд, взгляд голодного волчонка, обнаружил на кухонном столе ломоть хлеба с сыром. У него хватило силы не наброситься сразу же на добычу, мальчик догадался, что это его врагиня из жалости оставила здесь на самом видном месте скудный паек узника, осужденного на смерть. Жалость эта оскорбила Эрнеста, но он не выдержал и, схватив хлеб, с жадностью стал его уплетать.

Но когда он дожевывал последний кусок, до слуха его долетел стон, идущий из-за двери в сад, тяжелое звериное дыхание.

— Динго,— позвал он вполголоса.

В ответ раздался визг. Мальчик открыл засов, толкнул тяжелую створку двери. В кухню ворвался Динго — мокрый, грязный Динго. Но Эрнест не обратил на это внимания: перинка свалилась с его плеч, и он, как был в одной ночной рубашке, дрожа от холода, прижал к себе Динго и даже не отстранился, когда тот лизал его в лицо.

Гладя собаку, он вдруг заметил, что к ошейнику привязана записочка: это было письмецо от Сегонды, он сразу узнал ее детский почерк и разорвал конверт.

«Любимый мой злюкочка, бедный мой обожаемый цыпленочек, я уверена, что Динго доставит тебе эту весточку, потому что он поумнее людей. Пишу тебе, чтобы ты знал: твою Сегонду увезли силой, а твоя бедная бабуся заболела с горя. Но твой папочка так радуется, что наконец-то может охотиться на вяхирей, что и думать забыл о своем сыночке. Если тебе уж очень невмоготу, надеюсь, у тебя хватит смелости убежать из дому. Беги прямо к мадам Годран, она тебя примет и даст тебе поесть. Мне удалось перед отъездом послать ей записочку.

Твоя кормилица по гроб своей жизни

Сегонда».

— Как бы не так! — буркнул Эрнест.— Пускай не воображают, что я пойду к этой Годранше...

Он задумался: в первом туре он проиграл — это ясно. Надо с честью отступить на заранее подготовленные позиции, дабы оттуда, по примеру маршала Жоффра, начать победоносное наступление.

Подбодренный появлением любимого пса, Эрнест решил отправиться к себе в спальню. Но Динго забился в угол и продолжал жалобно повизгивать. Ясно, он тоже голоден. Чем бы его покормить? На столе осталось несколько крошек, Динго их обнюхал, но, к великому удивлению хозяина, не прикоснулся к ним и снова забился в угол. Зато он жадно вылакал целую миску воды. Когда собака поднялась с места и подошла к миске, Эрнест заметил в углу, где она лежала, лужицу крови. Да и его рубашка тоже была перепачкана кровью. Обезумев от страха, он схватил свечку, нагнулся над Динго и обнаружил на задней лапе собаки глубокую рану. Динго прерывисто дышал и тихонько повизгивал, словно взывая к своему юному хозяину.

Эрнест привык, чтобы ему во всем и всегда услуживали, поэтому он растерялся, заплакал, закричал... Потом вдруг замолк: в кухню вошла его врагиня, неся лампу. Увидев на сорочке своего воспитанника кровавые пятна, она решила, что он ранен, и бросилась к нему.

— Это не я! Это Динго... Он околеет...

Ах, так это Динго! Мадемуазель Тибо, вздохнув с облегчением, приблизилась к собаке, которая сейчас вовсе не собиралась кусаться и, казалось, ждала от человека помощи. Налив в миску воды, мадемуазель Тибо вынула из кармана носовой платок и промыла рану, потом остригла ножницами слипшуюся от крови шерсть.

— Теперь вы, Эрнест, промывайте рану. А я пойду к себе в комнату, принесу бинт, и мы перевяжем Динго.

Она весело стала подыматься по лестнице и на площадке столкнулась с Огюстиной: ее разбудили крики мальчика. Рассказав ей в двух словах о происшествии, мадемуазель Тибо велела горничной спуститься в погреб, принести для Динго молока и еще какой-нибудь более существенной пищи.

Она спустилась в кухню, неся в руке бинты, воду и пузырек с перекисью водорода, и в мгновенье ока наложила повязку на лапу Динго. Эрнест, вновь закутавшийся в свою красную перинку, опустился на стул и сидел не шевелясь. Гувернантка на минуту выбежала в коридор, и он услышал, как она там о чем-то шушукается с Огюстиной. Потом мадемуазель вернулась и принесла целую миску молока. Динго с жадностью его вылакал.

— У него горячий нос,— сказала она,— значит, у него температура. Мы сейчас отнесем Динго к вам в спальню. Возьмите лампу и идите впереди.

Она взяла Динго, как ребенка, на руки и стала подыматься по лестнице, а впереди шел и светил ей злюка.

Когда процессия достигла спальни, Огюстина уже была там и, ворча себе что-то под нос, расставляла на ночном столике ужин: тут были ветчина, холодный цыпленок, пирожное, бутылка Грюо-Лароз.

— Это вам, чтобы подкрепиться после всех волнений,— пояснила мадемуазель Тибо.

Она уложила собаку на подушку, накинула на нее одеяльце.

— Он меня всю облизал,— сказала она.

Но Эрнест, приободрившись с появлением Динго, решил не отвечать. Он присел к столику и принялся за еду, даже не взглянув в сторону гувернантки.

Когда ужин был закончен, она сама собрала грязную посуду.

— Завтра утром вам принесут первый завтрак сюда, потому что вам следует хорошенько выспаться после сегодняшнего приключения. Покойной ночи, Эрнест.

Он буркнул что-то в ответ, но мадемуазель обрадовалась даже этому — все лучше, чем молчание. На башенных часах мэрии пробило час. И вновь в доме Ромазилей воцарилась тишина.

Однако мадемуазель Тибо так и не сомкнула глаз: на сей раз сон от нее гнала надежда. Она старалась не слишком обольщать себя иллюзиями: схватка еще не выиграна, это только начало. Но она уже не чувствовала себя такой одинокой, как прежде: произошел непредвиденный случай, от нее не зависящий, но без этого случая ей вообще не удалось бы установить с мальчиком контакт. Во внезапном появлении раненого Динго она видела доказательство того, что ей помогает кто-то невидимый. Да, у нее есть покровитель, нелегко достанется ей победа, но она уже не сомневалась, что победа будет за ней.

VII

В девять часов утра гувернантка вошла в спальню Эрнеста, неся на подносе завтрак. Мальчика в постели не было, он сидел на корточках рядом с Динго. Увидев ее, он крикнул:

— Мадемуазель, Динго выздоровел! У него холодный нос!

Но тут же спохватился и по привычке сердито нахмурился. Чувствуя, как громко бьется ее сердце, мадемуазель Тибо сказала:

— Когда вы будете готовы, выведете Динго в сад, потом придете ко мне в классную комнату. Я вас буду ждать.

— Ну и ждите! — дерзко бросил он.

— Ну конечно, Эрнест, я буду вас ждать сколько нужно.

Она тщетно прождала его до самого завтрака.

■

Когда Эрнест вошел в столовую, мадемуазель Тибо уже сидела за столом с книгой в руках. Она не подняла на своего ученика глаз, не сказала ему ни слова в течение всего завтрака. А он нарочно чавкал за едой, стучал стаканом о тарелку, ронял ножик, но все безуспешно: ему не удалось привлечь к себе внимание врагини.

А как бы ликовал мальчишка, если бы только он догадался, какое смятение скрывает под личиной глубокого равнодушия его гувернантка! Следует ли снова прибегнуть к вчерашнему приему, то есть лишить его пищи? Запретить ему прикасаться к вину и закускам, пока он не соблаговолит сесть за учение? Возможно, ей и придется прибегать к этим весьма жалким педагогическим приемам, но только нужно попробовать что-нибудь еще... Но что именно? Что? В крайнем случае написать ему письмо, воззвать к его уму и сердцу, нарисовать перед ним картину страшного будущего, которое он сам себе уготовил. Но только прочтет ли он письмо? Мадемуазель решила засесть за него сегодня же, сразу после полудня, а вечером, ложась спать, мальчик обнаружит его на подушке... «Да нет, не станет он читать»,— подумала она. Она знает, уверена, что первым движением мальчика будет порвать это письмо, да еще он непременно усмотрит в том, что она затеяла переписку, признак слабости, готовность сдаться, и все-таки надо попробовать, самое главное — это создать повод для спора, для объяснений между ними.

Так думала она, а дождь барабанил в окно кабинета, где Огюстина затопила камин. Столовая отделяла кабинет от маленькой гостиной, где

Эрнест, сидя у пианино, подбирал какой-то мотив, тыча одним пальцем в клавиши, он раза два попытался изобразить левой рукой нечто вроде аккомпанемента.

— А он берет уроки музыки? — спросила гувернантка Огюстину, когда та принесла почту.

— Тоже сказали! Никаких он уроков не берет. Но вот в такие дождливые дни с самого утра сидит за пианино, всех домашних до белого каления доводит, потому что, надо вам сказать, наш барин таких вещей не переносит: твердит, что нет шума надоедливее музыки. Да разве вы сами не заметили? У нашего барчука любые игрушки есть, а вот патефона нету. Хозяин запретил нам даже говорить с мальчиком о патефонах и проигрывателях, он, почитай, и не знает, что это такое. Чудаки все-таки ребята! Ему и в голову не приходит попросить себе патефон, а ведь он только музыку и любит. Лишь в церкви он тихо сидит, да и то потому, что там поют.

«Мальчик, безусловно, музыкально одарен,— подумала мадемуазель Тибо.— Достаточно послушать, как под его неуверенными пальцами рождаются мелодии».

Тем временем дождь перестал. Проглянуло солнце, и Эрнест, соблазнившись хорошей погодой, убежал в сад. В голове у девушки мелькнула было одна мысль, впрочем, больших надежд на свой новый план она не возлагала, но все же не мешает попробовать. Она вошла в гостиную, где Эрнест оставил дверь в сад открытой. Теперь уже она сама подсела к инструменту. Это было прекрасное эраровское пианино, но, видимо, его давно не настраивали.

Сначала она сыграла один прелюд Шопена, потом второй и не столько прислушивалась к Шопену, сколько к неуверенным шагам на ступеньках террасы. Она не обернулась, но была убеждена, что кто-то подслушивает под дверью. Она спиной чувствовала чье-то присутствие. Хорошо уж и то, что, услыхав первые аккорды, Эрнест прибежал из сада.

Войдет ли он в гостиную? Целых пятнадцать минут мальчик боролся с желанием войти. Девушка начала терять надежду, как вдруг услышала, что он вошел. Едва только мальчик уселся в кресло неподалеку от двери, как мадемуазель бросила играть и, хлопнув крышкой, отошла от инструмента.

— Почему вы перестали?

Она обернулась и сурово поглядела на Эрнеста, он сидел весь пунцовый и не спускал с нее глаз.

— Не стану же я играть для вас!

— А вы не можете запретить мне слушать... Пианино мое!

— Конечно, ваше, а играть я больше не буду.

— Никогда не будете? — переспросил он уныло.

— Играла бы после каждого урока, если бы вы стали учиться... но раз учиться вы не желаете... И вечером, после обеда... одним словом, когда буду вами довольна.

Она взглянула на часы.

— Уже два часа. Вспомните-ка наше расписание: до трех вы занимаетесь, а в три часа, если вы проявите добрую волю...

Мальчишка даже кулаки сжал:

— Нет, сейчас! Нет, сейчас!

— Урок быстро кончится, Эрнест. А ведь мне надо вам столько рассказать за уроком...

Она направилась к дверям. Он яростно твердил:

— Нет, сейчас! Нет, сейчас!

Она даже не обернулась и бросила через плечо:

— Я буду вас ждать в классной.

Она уселась перед закапанным чернилами столом, открыла тетрадь, очинила карандаши. Она ждала, но на сей раз ждать ей пришлось недолго. Он вошел, громко сопя, засунув в карманы руки и сердито подняв плечи.

ЭПИЛОГ

— Так вот что я вам скажу, мадам Гаруст, уже два дня Огюстина у меня мяса не берет: хвастает, что мадемуазель морит злючку голодом и укротила его, словно тигра какого-нибудь.

— Словно тигра! Лукрок! И подумать только, что Ромазиль отказался с нами приехать!

— Конечно, когда он на вяхирей охотится, нашего злючку можно на куски разрубить — отец и бровью не поведет! — завопила Сегонда.— Пойдемте скорее домой, может, она его сейчас как раз и дубасит...

— Я пойду вместе с вами в качестве свидетельницы,— заявила мадам Годран.— А вы тоже пойдете, Лукрок?

— Иду, только дайте фартук снять.

Мадам Годран предложила оставить машину у лавки.

— Надо все без шума делать, а то она услышит, как мы подъезжаем, и успеет замести следы.

На башенных часах мэрии пробило час.

Лукрок и три его спутницы направились к дому Ромазилей пешком. Слышалось тяжелое хриплое дыхание мадам Гаруст, еле поспевавшей за главными силами экспедиции.

В дом они проникли с узкого переулка через низенькую дверь, которую не сразу можно было заметить. Динго, не залаяв, побежал им навстречу и, бросившись к Сегонде, восторженно запрыгал вокруг нее.

— Эх, бедняга, вон ты где, оказывается! Да еще и лапа больна! Перевязанная! И тебя, значит, тоже мучают, бедный мой песик!

— Да помолчите вы! — обернулась к ней галантерейщица.— А то спугнете мамзель.

Неслышным шагом отряд вступил в вестибюль. В гостиной играли на пианино.

— Это, конечно, она, больше некому... Заперла его в погребе, а сама развлекается!

— Неужто в погребе, господи! — простонала старуха Гаруст.

Дверь в столовую была открыта, они осторожно заглянули внутрь. После обеда стол еще не был убран.

— Накрыто-то на двоих! — шепотом произнес Лукрок.

— И даже,— добавила Сегонда,— десерт был: пирожное и компот. Посмотрите сами на тарелки!..

— А может, она вовсе и не с Эрнестом обедала,— загадочно сказала мадам Годран.— Когда ты сама себе хозяйка, отчего не пригласить гостя...

Но тут бабушка развернула усеянную пятнами салфетку Эрнеста.

— Нет уж, это салфетка моего злючки. Тут ошибки быть не может. Только он, голубь наш, и может так измазать салфетку. Хоть всю округу обыщите, да что округу! Во всем департаменте,— настаивала она с каким-то упоением,— не найдете другого, который бы столько изводил салфеток и скатертей!

А тем временем мадам Гаруст, уже чуточку разочарованная, предложила пройти в сад и заглянуть в окно гостиной.

Но прятаться не пришлось. Когда, последовав совету мадам Гаруст, они прошли садом к стеклянной двери, то убедились, что и эта

дверь открыта, а в гостиной, спиной к ним, сидит за пианино гувернантка, рядом на стуле примостился Эрнест.

Сегонда заметила, что волосы у него аккуратно расчесаны на пробор, а воротник матросской куртки без единого пятнышка.

Не утерпев, бабушка воскликнула:

— Миленький ты мой! Мое сокровище!

Ученик и учительница в изумлении обернулись. Эрнест опомнился первым.

— Что вам здесь нужно? Вот они и помешали! Продолжайте, мадемуазель! Вы мне обещали...

— Эрнест, так-то вы встречаете вашу бабушку и Сегонду! Извольте их обнять, слышите!

Он повиновался без особого пыла, но все же повиновался. А гувернантка весьма сухо спросила мадам Гаруст:

— Вы что-нибудь забыли здесь?

— Мы зашли сюда по дороге,— пробормотала старушка.

— Чтобы посмотреть...— робко добавила Сегонда.

— Мы сейчас уйдем,— поспешила разъяснить бабушка.

— Можете пробыть с Эрнестом весь перерыв: мы снова начнем занятия в два часа.

— Ой! А как же музыка? — захныкал мальчик.

— Я сыграю вечером, после обеда. А почитаем поменьше.

— Да ведь мы хотели дочитать вторую главу Гектора Мало «Без семьи»!

— Хорошо, я разрешу вам лечь попозже... Конечно, при условии, что вы будете ласковы с бабушкой и Сегондой,— добавила она вполголоса.— Вы, кажется, что-то хотели сказать, господин Лукрок?

— Да нет, барышня! Или, правда, хотел... Разрешите вас поздравить от имени всего Миласа. Я ведь все время твержу, что вы женщина сильная и нечего по внешнему виду судить.

Не дождавшись ответа, мясник ретировался и в конце сада догнал галантерейщицу.

— Вот уж действительно, попали вы пальцем в небо!

— Пальцем в небо,— злобно прошипела галантерейщица.— Значит, по-вашему, если их злюка в два дня начисто изменился, ничего тут особенного нет? А я вам повторяю: околдовала она его. Никогда вы меня не разуверите. И увидите еще, что добром у них дело не кончится. Попомните мои слова. Мы еще таких страстей наглядимся.

— Очень возможно, мадам Годран,— подтвердил Лукрок.

ЖАН ФРЕВИЛЬ

НАШЕ ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ

Прошел год со времени XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

Для передовых людей западного мира его историческое значение и исключительная прогрессивная роль тем более очевидны, что мы повседневно наблюдаем жалкое и мрачное зрелище распада капиталистического строя, когда вскрываются его глубокая вредоносность и порождаемые им страшные бедствия, которые могут ввергнуть мир в гигантскую катастрофу. Тому пример недавно закончившаяся победой борьба алжирского народа за свою независимость. Кучка фанатиков-колониалистов, увлекая за собой определенные слои европейцев, разъяренных утратой своих привилегий, совершали в Алжире бессмысленные и мерзкие преступления, истребляли арабских тружеников, женщин, детей, расправлялись с французами, которые придерживались прогрессивных или хотя бы либеральных взглядов,— словом, шли на любые злодеяния, чтобы продлить свое ненавистное господство, отмеченное ста тридцатью годами немилосердной эксплуатации, жесточайшего угнетения, грабежей и убийств.

Программа КПСС, принятая XXII съездом, вызывает восторг и гордость не только у советских людей и граждан социалистического лагеря. В нынешних условиях она приобретает мировое значение, ибо помогает народам, борющимся за свою независимость, показывает им, что дело коммунизма и освобождение колониальных народов неразрывно связаны; она вселяет веру и мужество в эксплуатируемых всего мира, освещая им путь к социализму; она раскрывает перед взором тех, кто страдает и борется, лучезарные перспективы будущего, которое принадлежит им.

Программа КПСС дает научно обоснованные ответы на жизненно важные вопросы нашего века — вопросы войны и мира, борьбы против империализма и колониализма, классовой борьбы, борьбы за демократию в капиталистических странах и т. д.

В краткой статье невозможно даже перечислить все то новое и как нельзя более актуальное, что заключено в этой Программе, все плодотворные указания и уроки, которые она содержит, всю огромную массу накопленного исторического опыта, собранного и отраженного в ней. Мы ограничимся тем, что подчеркнем отдельные моменты, привлекшие особое внимание прогрессивной интеллигенции Запада, положения, обогатившие ее мысль и расширившие ее горизонты.

Всякий, кто внимательно изучает текст Программы и материалы ее обсуждения на съезде и в советской печати, прежде всего обращает внимание на тот новый вклад, который она внесла в развитие теории марксизма-ленинизма.

Основоположники марксизма в своих работах могли дать лишь общую картину общественного развития, наметить лишь в главных чертах этапы перехода от капитализма к социализму, а затем к коммунизму. Однако конкретные формы такого перехода можно было разработать только на практике, в процессе осуществления этих идей.

Строя социализм, Коммунистическая партия Советского Союза внесла в теорию решающий вклад, который позволяет установить общие принципы построения социализма, сохраняющие свою силу для всех стран.

На своем XXII съезде Коммунистическая партия Советского Союза, опираясь на обретенный опыт, смогла впервые за всю историю международного рабочего движения разработать программу построения коммунистического общества, программу, которая предусматривает создание в течение двадцати лет материально-технической базы коммунизма в Советском Союзе. В ней уже видны перспективы постепенного уменьшения роли государства и перехода советского общества к формам коммунистического самоуправления.

За двадцать лет Советский Союз предполагает увеличить промышленное производство не менее чем в шесть раз, а сельскохозяйственную продукцию — примерно в три с половиной раза. Таким образом, в Советском Союзе будет создана материально-техническая база коммунизма и достигнут самый высокий в мире уровень жизни.

Эти гигантские достижения в экономической области будут сопровождаться значительными изменениями во всех других областях. Будут созданы наиболее благоприятные условия для стирания граней между физическим и умственным трудом, для уничтожения различия между городом и деревней. Более глубокое и разностороннее образование, подъем культуры дадут новый толчок научным и техническим достижениям, а они, в свою очередь, будут способствовать всестороннему развитию человеческой личности, укреплению этических норм в новом обществе.

Таким образом, Советский Союз все больше приближается к намеченной Лениным цели — привлечь к участию в политической жизни всех граждан без исключения, с тем чтобы каждый научился выполнять функции, возлагаемые на государство. В Советском Союзе пролетарская демократия превратилась в общенародную демократию, в то время как в капиталистических странах власть монополий прилагает все усилия к удушению демократии в интересах диктатуры большого бизнеса, прибегает к авторитарным методам фашистского характера, чтобы эксплуатировать и угнетать народ.

Способствуя экономическому и научному прогрессу, всеобщему участию в управлении государством, формированию нового человека, Коммунистическая партия Советского Союза тем самым наиболее эффективным образом содействует торжеству коммунизма во всем мире. Ибо одно из важнейших условий победы коммунизма во всех странах заключается в том, чтобы он предстал перед взорами народов в своем истинном виде, как самый благородный идеал, к которому могут стремиться люди.

Сила примера, подлинный гуманизм, выражающийся на практике в обеспечении для всех самого высокого уровня жизни,— вот на что рассчитывает Коммунистическая партия Советского Союза, предсказывая торжество своего идеала в мировом масштабе.

Ей не нужна война для достижения победы. Важно завоевать сердца и умы, овладеть сознанием трудящихся масс всех стран, вселить во всех, кто хочет обеспечить людям светлое будущее, волю к борьбе за прогресс, счастье и мир.

Империализм, напротив, толкает народы к войне. Он неотделим от войны по самой природе своей. Историческая миссия мирового коммунистического движения заключается именно в том, чтобы преградить путь войне, уберечь человечество от ядерной катастрофы. Сегодня главная сила мира — это спокойная решимость и мощь Советского Союза.

Основным принципом его внешней политики был и остается ленинский принцип мирного сосуществования.

Мирное сосуществование — это отказ от войны, урегулирование разногласий между государствами путем переговоров, это — уважение территориальной целостности государств; это — экономическое соревнование; это — развитие торговых отношений.

«Принимая свою новую Программу,— сказал товарищ Хрущев в докладе на XXII съезде КПСС,— наша великая партия перед лицом всего человечества торжественно

заявляет, что она видит главную цель своей внешней политики в том, чтобы не только предотвратить мировую войну, но и навсегда исключить уже при жизни нашего поколения войны из жизни общества».

Еще XX съезд, состоявшийся в 1956 году, провозгласил, что войны между государствами не являются неизбежными в нашу эпоху. В основе этого тезиса лежат новые исторические факты: превращение социалистической системы в решающий фактор мирового развития; распад колониальной системы; общее ослабление капитализма.

Эти изменения в соотношении сил укрепляют нашу веру в борьбу, которую ведут социалистические страны и сторонники мира во всем мире против подготовки новых агрессивных актов, против новой войны. Предложения о всеобщем и полном разоружении, выдвинутые Советским Союзом, не могут не дать народам новый импульс к столь необходимой борьбе за мир.

Мирное сосуществование между государствами с различными социальными системами вовсе не означает мирного сосуществования социалистической идеологии с буржуазными концепциями.

«...Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология,— писал В. И. Ленин.— Середины тут нет. ...Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

Недопустимы никакое примирение, никакой компромисс коммунистической идеологии и морали с идеологией, оправдывающей порабощение трудящихся, милитаризм и колониальный гнет. Между ними возможна лишь ожесточенная борьба. Не срывать маски с антикоммунизма, не выбивать у него из рук отравленного оружия — значит капитулировать перед ним, значит предать дело народов.

Конкретным анализом практического опыта и теоретическими обобщениями явлений непрестанно меняющейся действительности Программа Коммунистической партии Советского Союза способствовала развитию марксистско-ленинской мысли.

Этот новый вклад в теорию марксизма-ленинизма стал возможен лишь после того, как были устранены злоупотребления, извращения и ошибки, вызванные культом личности.

Эти злоупотребления, извращения, ошибки, о которых с такой болью говорили коммунисты, необходимо было разоблачить и окончательно искоренить для того, чтобы здание коммунизма зиждилось на нерушимом фундаменте. И велика заслуга Никиты Сергеевича Хрущева, который с проницательностью и мужеством истинного борца за коммунизм раскрыл перед народом правду.

Маркс, Энгельс и Ленин, не отрицая того, что руководители рабочего класса занимают выдающееся место в истории, всегда восставали против их прославления и тем более против их обожествления. Они считали, что единственный творец истории — народ, а роль вождя принадлежит Партии, рассматриваемой как единое целое.

Марксизму-ленинизму чужд культ личности, который подкреплялся выдвинутой Сталиным теорией обострения классовой борьбы внутри страны в период строительства социализма, теорией проникновения врагов народа в ряды партии. Непримиримая и вполне оправданная борьба с врагами социализма не имеет ничего общего с произволом, самоуправством, нарушениями социалистической законности.

Но все это — прошлое, с которым окончательно покончено благодаря политическому мужеству нынешних руководителей Советского Союза.

Несмотря на культ личности — нарыв болезненный, но наружный,— организм Советского государства все больше набирал силы, и неизбежно должен был наступить день для вскрытия этого нарыва и уничтожения его следов. Этот день пришел. И не только оздоровилась атмосфера, но и было устранено все, что тормозило движение к коммунизму. Открыт путь для могучего развития творческих сил советского народа.

Невозможно также переоценить значение сформулированного XXII съездом нового тезиса относительно уже происшедшего преобразования Советского государства. В Советском Союзе, где государство диктатуры пролетариата завершило свою миссию, где социализм построен, возникает новый тип политической организации — общенародное государство.

Великое открытие Маркса — необходимость диктатуры пролетариата, глубоко демократической по своему содержанию и переходной по характеру, нашло блестящее

подтверждение в историческом сорокапятилетнем опыте первой в мире страны социализма.

«Полвека назад,— сказал в своей речи на XXII съезде КПСС товарищ Хрущев,— наша партия была единственной партией, которая включила в свою программу марксистско-ленинскую идею диктатуры пролетариата. Если мы смогли устоять в отчаянной борьбе против внутренней и мировой реакции, если мы смогли воплотить в жизнь вековую мечту человечества — социализм, то всем этим мы в огромной степени обязаны тому, что имели в своих руках мощный инструмент преобразования общества — государство диктатуры рабочего класса».

Диктатура пролетариата, осуществляемая в тесном союзе с крестьянством и другими социальными слоями трудящегося населения, выражает интересы огромного большинства. По своему содержанию она имеет всемирно-историческое значение.

Построение социализма в Советском Союзе и непрерывный рост сил социалистического лагеря привели к тому, что ныне можно считать возможным при наличии определенных, особо благоприятных условий мирный переход к социализму в других странах.

С того момента, когда социализм восторжествовал, когда в обществе нет больше эксплуататоров, когда исчезли условия, сделавшие необходимой диктатуру пролетариата, может измениться и государство диктатуры пролетариата: оно преобразуется тогда в общенародное государство.

Вот чему нас учит опыт борьбы, которую победоносно вели трудящиеся Советского Союза. Вот что отныне перешло из области практики, из области конкретной жизни в область теории марксизма-ленинизма. Общенародное государство представляет собой весьма важный этап в процессе преобразования социалистического государства в коммунистическое самоуправляемое общество.

Начиная с определенной ступени исторического развития, построение коммунизма уже не нуждается в диктатуре пролетариата. Достигнув этой ступени, рабочий класс продолжает играть руководящую роль, потому что он является самым прогрессивным, самым организованным классом, наиболее способным осуществить идеал коммунизма, но при этом он уже не пользуется методами принуждения по отношению к другим слоям населения, поскольку все трудящиеся равноправны.

Жизнь, всегда идущая вперед, ставит множество новых проблем, которые только марксизм-ленинизм может решить в интересах трудящихся масс. Прошлые победы — залог будущих. Мы стоим на пороге трудной, но самой величественной и прекрасной эпохи. Благодаря Программе, выработанной Коммунистической партией Советского Союза, мы уже ощущаем ее тепло и свет.

г. ПАРИЖ.

И. БЕРНШТЕЙН

В ПОИСКАХ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

Не многие явления в чешской литературе последнего времени привлекали такое внимание, как дебют группы молодых прозаиков в 1959—1960 годах, в связи с которым в Чехословакии заговорили о «наступлении молодой прозы», «новой чешской прозе» и т. д. Кто же и во имя чего повел это наступление? Чем оно ознаменовалось?

Прежде всего — возвращением к теме современности, которая несколько лет назад в чешской прозе занимала далеко не первое место. Наиболее талантливые произведения, вышедшие примерно между 1954 и 1959 годами, посвящены или войне, или времени оккупации, или событиям февраля 1948 года. И вот, начиная с 1959 года, появляется целая серия книг, повествующих о самой живой современности. Чаще всего это выступления молодых литераторов, порой — дебюты, хотя надо сказать, что к так называемой «молодой прозе» в Чехословакии нередко относят и произведения писателей вполне зрелых.

Новые явления в чешской литературе порождены теми процессами общественной жизни, которые были вызваны к жизни идеями XX съезда КПСС. Чешский критик М. Юнгман писал по этому поводу: «Новая чешская проза не является какой-либо новой школой, осуществляющей эстетические требования изменения литературной формы. Она в той же мере продолжает традиции прошлых лет и полемизирует с ними, в какой продолжает их и полемизирует с наследием прошлого сама наша жизнь, в той же мере, в какой преодолеваются ошибки и промахи прошлого».

Говоря о новых литературных явлениях, в Чехословакии часто вспоминают об извечной проблеме «отцов и детей». Но, конечно, в социалистических странах сущность этой проблемы коренным образом меняется. Нет и не может быть непримиримого противоречия между поколениями в обществе, объединенном одной ясной исторической целью, воодушевленном идеалами социализма. И дети вместе с отцами сражаются за осуществление этих великих идеалов. От глубокого и верного отображения этих новых отношений между поколениями зависит во многом успех молодой литературы, успех тех писателей, кто касается в своих произведениях проблемы молодежи.

Начало «наступления молодой прозы» было встречено почти единодушным восторженным признанием чехословацкой критики. Сейчас настало время, когда подводятся итоги первых боев и трезво оцениваются победы и поражения «Судя по всему, мы сегодня уже далеки от того безоблачного оптимизма в оценке достижений молодых авторов, который был нам свойствен еще два-три года назад. И не потому, что настал какой-то общий спад творческой энергии, а прежде всего потому, что общественная и политическая ситуация сегодня после XXII съезда предъявляет более серьезные требования к писателям, потому что в ней так много нового, живого и она так плодотворна для творчества. Придется нам, обогащенным новыми мыслями, вести новыми способами борьбу за постижение современности, за новый моральный облик коммунистического человека. Время с необычайной быстротой обгоняет литературу»,— пишет в журнале «Пламен» критик Зд. Кожмин.

И достижения, и слабости чешской литературы сегодняшнего дня, пожалуй, рельефнее всего проявились в изображении современника, и прежде всего молодого современника, который привлекает обостренное внимание писателей.

Образ молодого человека в произведениях чешской прозы последних лет многими чертами напоминает лирического героя молодых поэтов И Шотолы, М. Кундеры, М. Флориана и других, выступивших в середине пятидесятых годов. Этот герой отвергал абстрактные лозунги, он стремился проверить на опыте каждую истину, он настаивал на своем праве «играть на струнах собственной судьбы», а не быть, как это действительно случалось порой в чешской поэзии начала пятидесятых годов, только безличным «голосом масс», «рупором идей».

При этом нередко этот новый лирический герой с пылом доказывал истины которые не нуждались в доказательстве.

Не только в поэзии, но и в драме мы найдем черты «полемического» молодого героя Интересна в этом отношении, например, драма Павла Когоута «Такая любовь». Страстная защита настоящего чувства, требование бережного подхода к человеку без раз и навсегда изготовленного трафарета составляет пафос пьесы, и в этом ее притягательная сила для зрителя. Героиня драмы Лида Матисова хочет только одного — отстоять свое право на любовь, которое оспаривают — прямо или косвенно — и бездушный бюрократ, засевший в институтском отделе кадров, и подруга-ханжа, и эгоистичный мещанин-жених, и даже — из-за своей трусости — сам герой Лидиного романа Петр, испугавшийся скандала, который повлек бы за собой его развод и женитьба на Лиде Хотя автор стремится самим построением пьесы и введением образа судьи — Человека в мантии — придать ей характер объективного разбирательства дела, сам он не беспристрастен и не «объективен». Он горячо обвиняет всех, кто не признает прав своей героини на чувство. Он заранее на стороне Лиды.

Чешские критики не раз упрекали драматурга в обеднении образа героини, доказывали, что внутренний мир современной студентки не может быть замкнут рамками одних только личных переживаний, и это, конечно, верно. Верно и то, что автор, страстно отстаивая, так сказать, «права» личности, склонен порой забывать об ее обязанностях по отношению к обществу

То же можно сказать о многих пьесах последних лет, посвященных молодежи «Тема поколений» заняла чуть ли не первое место в чешской драматургии («Третья сестра» П Когоута, «Их день» И. Топола, «Опасный возраст» Ь Бржезовского и др.). Во многих из этих пьес создается своего рода трафарет — образ молодого человека, который осуждает (не завоевав на это права) действительные и мнимые ошибки прошлого во имя чрезвычайно расплывчатого и неясного нравственного идеала

Более глубоко и объективно подходит к этой проблематике талантливый драматург В. Блажек в пьесе «Слишком щедрый вечер». Молодой герой пьесы Блажека Томаш Ныблт переживает много разочарований. Еще в детстве, школьником, его потрясло одно событие: пионервожатая поступила несправедливо по отношению к его товарищу. Мальчик в знак протеста вышел из пионерской организации, и за ним укрепилась репутация индивидуалиста. Не сумев поступить в институт из-за равнодушия и формализма приемной комиссии, талантливый юноша идет работать грузчиком. Он затаил обиду на весь свет и находит своеобразное удовлетворение в своей позиции «гордого одиночества». Но автор

И БЕРНШТЕЙН.
В ПОИСКАХ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

стремится преодолеть этот штамп и, во всяком случае, не склонен умиляться своим героем. Он признает, что у Томаша были причины для морального негодования, но в то же время осуждает его позицию «непонятого одиночки», не желающего ни во что вмешиваться. В пьесе Блажека чувствуется авторская ирония и тот более мудрый и зрелый взгляд на вещи, которого порой недостает в других пьесах о молодежи. И представитель «поколения отцов» — старый коммунист директор завода Новак, в отличие от отцов и матерей в некоторых подобных пьесах,— человек честный, сильный, цельный, имеющий моральное право осудить Томаша и способный протянуть ему руку помощи.

Изобразив Новака с искренней симпатией, автор в то же время показывает, что он несколько упрощенно представлял себе, как будет осуществляться в реальных условиях торжество социалистических идеалов. Жизнь учит его. В «слишком щедрый вечер» («щедрым вечером» называют в Чехословакии сочельник) дочь Новака неожиданно приводит жениха — Томаша Нывлта. Отец, потрясенный этим сюрпризом и возмущенный нигилистическими суждениями новоявленного родственника, уходит из дому и бродит ночью по праздничной Праге. Он разыскивает людей, которые ранили душу Томаша. Новак беседует с бывшим лавочником, цинично хвастающимся тем, как ловко удалось ему устроить в институт бездельника-сына, которому в школе всегда помогал Томаш; встречается с карьеристкой-пионервожатой; он разыскивает и отца Томаша, внушившего мальчику абстрактные, фальшивые представления о нравственности, и членов институтской комиссии, отказавшей Томашу в приеме. И эта ночь многое меняет в душе Новака, обостряет в нем сознание ответственности за судьбу окружающих его людей. Теперь Новак находит в себе ту душевную теплоту и тактичность, которая необходима, чтобы помочь Томашу найти правильный путь.

В. Блажек, как и П. Когоут, сознательно стремится активизировать восприятие зрителя. Этому служит и форма судебного заседания в «Такой любви», и смещение планов действия, и элементы условности в обеих пьесах. Все это, по мысли авторов, должно подчеркивать полемическую направленность их произведений, обращенных против бездушия, карьеризма, невнимания к человеку, против мещанства, как в его «классическом», так и в «новейшем» воплощении,— мещанства, пытающегося «приспособиться» к социализму. Разумеется, мещане — это не только соседи Новака — «пан адвокат» с супругой, вздыхающие об отнятой у них конторе, но и те ханжи, которые, прикрываясь громкими «идейными» фразами, оплевывают чувство Лиды Матисовой.

Если присмотреться внимательно к лучшим пьесам, написанным за последние годы в Чехословакии, то видно, что существо изображенного в них конфликта не в «проблеме поколений». В конечном счете речь идет совсем о другом — о конфликте между разными общественными тенденциями, о борьбе с тем, что мешает построению социализма.

Но бросается все же в глаза, что во многих подобных пьесах полемическое начало гораздо сильнее утверждающего. Характерен в этом отношении образ работницы-коммунистки Либуши в пьесе «Третья сестра» П. Когоута. Беззаветная вера Либуши в социализм, ее честность и самоотверженность противопоставлены, по мысли драматурга, безоглядному скептицизму младшей сестры Петры. Но Либуша, вопреки воле автора, порой представляется не только сестрам, но и читателям воплощением уныло-назидательного догматизма, далекой от реального облика настоящих коммунистов. Это, как и другие художественные просчеты, конечно, не могло не сказаться на общем идейном звучании драмы.

Мы говорим о полемической направленности произведений драматургов. Но сражаются ли молодые герои многих из этих пьес против того, что враждебно их идеалам? В том-то и дело, что нет. Они наделены высокой моральной требовательностью, они уверены, что социализм должен осуществить их идеалы, но фактически не участвуют в этом осуществлении. Да и вообще они больше чувствуют, чем размышляют и осмысляют действительность. Они пассивны (в общественном смысле) и поэтому, в сущности говоря, бессильны, и Лида в «Такой любви» П. Когоута не находит иного выхода, как броситься под поезд, а Томаш Нывлт в «Слишком щедром вечере» В. Блажека «назло» обществу берется за самую неквалифицированную работу. Конечно, подобные герои были не только своего рода реакцией на чрезмерную рационалистичность и прямолинейность прежнего «идеального героя», но в них отразились и отдельные черты, свойственные части чехословацкой молодежи тех

лет. Однако запечатлеть облик «главного героя времени», активного участника социалистических преобразований, названным драматургам не удалось. Это отметила и чешская критика и сами писатели. И характерная особенность прозаиков, выступивших в 1959—1960 годах, заключается в том, что они стремятся более полно, правдиво изобразить жизнь и более глубоко заглянуть в душу современника Герои повестей И Климы, Я. Прохазки, В. Пшибского и других кое в чем сродни тем молодым людям, которые выступали в драмах Когоута, Блажека, Топола. Кроме острой реакции на отрицательные явления в жизни общества (именно в моральном плане), всем этим героям свойствен лаконизм в выражении собственных чувств, отвращение к фразе, их изображение проникнуто лиризмом. Авторы показывают их чаще всего в тот момент жизни, когда им приходится искать свое место в обществе Но они делают это гораздо активнее, чем Томаш Нывлт или Лида Матисова, они больше думают, более серьезно пытаются разобраться в действительности, у них более остро развито сознание ответственности.

Характерно, что эти новые черты молодой прозы впервые дали себя знать в репортаже И. Климы «Между тремя границами», посвященном перестройке жизни в отсталых в хозяйственном и культурном отношении районах Восточной Словакии. Можно говорить именно о лирическом герое репортажа, очень немногословном, подчеркнуто сдержанном, внимательно всматривающемся в будничную, повседневную жизнь и увидевшем в ней ростки нового.

Книги молодых прозаиков написаны чаще всего от первого лица, и нередки случаи, когда авторы отождествляют себя с героями. И дело здесь не только в реакции на «всеведущего и холодно-объективного рассказчика», как считают некоторые чешские критики, но прежде всего в самой тональности этих произведений, рассказывающих внешне сдержанно и вместе с тем взволнованно об исканиях молодого человека наших дней. Пожалуй, наиболее характерны в этом отношении сборники рассказов В. Пшибского «Целый день до конца недели» и И. Климы «Замечательный день». В сущности говоря, в центре обоих сборников очень похожие друг на друга герои, более склонные к рефлексии у Климы, более непосредственные у Пшибского. Порой они так же остро и так же пассивно, в общественном смысле, как и герои драм, реагируют на все, что не соответствует их представлению о гармонии человеческих отношений. Однако во многих рассказах этих сборников герой обогащается новыми чертами. Он уже не ограничивается пассивной констатацией «злого» и «доброго», а начинает сознавать свою ответственность.

Путь познания действительности для него — это прежде всего путь к коллективу. Этот путь порой сложен. Тяжело дается ломка привычного жизненного уклада Мартину Шубе, перешедшему работать из учреждения на производство, в рассказе В. Пшибского, носящем то же заглавие, что и весь сборник: «Целый день до конца недели». И поддержку нового коллектива, которая помогает ему перенести тяжелые семейные неурядицы, он не обретает внезапно, она приходит только после того, как Мартину удается преодолеть отчуждение, существовавшее вначале между ним и рабочими.

Писателей остро интересует моральная сторона вопроса, психологическое содержание общественного процесса. Это отчетливо проявилось и в повести И. Климы «Замечательный день», давшей название всему сборнику. Герои повести — студенты, работающие на стройке. Один из них размышляет так: «Вот наша бригада, каждый поддерживает другого... Все как один, все работают хорошо, все сознательные... Но, может быть, это только на поверхности, и настанет момент, когда каждый покажет свое истинное лицо». Пафос этой повести, как и многих других произведений молодых прозаиков, в настойчивом стремлении проникнуть в глубь явлений, распознать их истинное существо и моральный смысл.

Один из студентов воспевает в трескучих стихах «дружный коллектив образцовой бригады». Но это иллюзия. В действительности в бригаде идет столкновение мелочных интересов, атмосфера отравлена взаимными обидами и подозрениями, интригами карьериста Противы. Бригадир, от имени которого ведется рассказ, почти потерял надежду выйти из своего мучительного одиночества и сблизиться по-настоящему с товарищами. Но выясняется, что и это — не главное. «Истинное лицо» каждого открывается

в тяжелые для бригады дни, когда в результате наводнения чуть было не оказался затопленным вырытый ими котлован.

В повести есть одна сцена, которая кажется неожиданной. Когда бригадир осознает размеры катастрофы и понимает, что ее последствия могут быть ликвидированы только героическим трудом всей бригады, и в то же время чувствует, как близок к распаду и без того не очень слаженный коллектив, он созывает собрание и вопреки ожиданиям утомленных рабочих, полагавших, что услышат стандартную речь, он заводит разговор о том несправедливом обвинении, которое демагог Противка пытался возвести на честного человека и коммуниста Павла.

Перелом в работе наступает именно тогда, когда разоблачается несправедливость. Уходит Противка, под благовидным предлогом ретируется благополучный мещанин Лукасек. Каждый чувствует, что рождается тот подлинный коллектив, о котором они мечтали, и с готовностью, с настоящим энтузиазмом оставшиеся принимаются за тяжелую работу. И то, что происходит, все они воспринимают как торжество, трудное, но теперь уже несомненное, социалистического отношения к труду, к жизни.

Социалистический идеал освещает путь героев наиболее «объемных» произведений молодой прозы — Мартина Соучека в романе И. Кржижа «Большое одиночество» и агронома Ондрея в повести Я. Прохазки «Зеленые дали»*, хотя оба они, особенно Ондрей, вряд ли употребили бы столь высокие слова, говоря о себе и своей жизни. В романе Кржижа и в повести Прохазки много общего. Критика подчеркивает, что оба произведения создавались в полемике против схематического «сельскохозяйственного романа». И тут и там в отсталый сельскохозяйственный кооператив (у Кржижа) и государственное хозяйство (у Прохазки) приезжает человек, оставивший удобное, спокойное место в городе и готовый самоотверженно работать на этом трудном и ответственном участке. И Соучек, и Ондрей в нелегкой борьбе добиваются победы. Однако обоих авторов интересует не только трудный путь героев к победе, но прежде всего то, что происходит в их душах, их взаимоотношения с окружающими. Соучеку удалось вывести из прорыва отсталый колхоз на хуторе «Большое одиночество» ценой неумолимой строгости к людям. Он во всем надеется только на себя, доверяет только себе, не замечает, что рядом с ним трудятся люди, которые стремятся к тем же целям, что и он. Это постепенно отталкивает от председателя крестьян, друзей и даже невесту. В результате, хотя кооператив превратился в передовой, Соучек оказывается в изоляции.

Несомненно, что Кржиж обратился к очень важной проблематике современной чешской жизни. По существу, он коснулся вопроса о взаимоотношениях руководителя и коллектива, о методах социалистического руководства. Конечно, эти вопросы трудно решать в сфере чисто моральных категорий, которыми оперирует Кржиж, и к тому же на узком плацдарме одного уединенного хутора, как бы отгороженного высокими стенами от жизни страны. С этим связана и слабость изображения главных героев, недостаточность психологических мотивировок и колебания автора в оценке поведения Соучека и меры «вины» его и крестьян. С этим же связана неубедительность того всеобщего примирения, которым автор заканчивает свою повесть.

Прохазка сосредоточил свое внимание на «воспитании чувств» героя и сумел увидеть многие характерные черты молодого человека сегодняшнего дня. Ондрей полон ненависти ко всякому приспособленчеству и ко всякой демагогии, но в отличие от многих других героев он не принимает позу обиженного, а бросается со всем пылом юности в гущу жизни, чтобы переделывать ее, чтобы осуществить на практике свои идеалы. Он, как и другие герои, убеждается, что реальная жизнь выглядит иначе и много сложнее, чем книжные представления о ней. Но это открытие не деморализует Ондрея, а напротив — придает ему сил. Для Ондрея, как и для Мартина Соучека — и в этом их отличие от героев «Замечательного дня»,— речь идет уже о практических задачах социалистического строительства.

Первое знакомство с жизнью вызывает у Ондрея по-мальчишески обостренное недоверие к людям. И личная жизнь его не удалась — учительница Марта отвергла его ради инженера Ганичинца, к тому же противника рационализаторских планов Ондрея. Но он, стиснув зубы, с упрямством и энергией дерется,— кстати сказать, ему доводится и в самом деле драться — за те улучше-

* Повесть «Зеленые дали» опубликована в «Иностранной литературе» № 10 за 1960 год.

ния в хозяйстве, которые кажутся ему необходимыми, и за свое место в коллективе. При этом он движим искренним стремлением не только внести свою лепту в общее дело, но и более конкретно помочь тем самым людям, в которых он поначалу с такой юношеской непримиримостью разочаровывается Писатель в этой повести то как бы сливается со своим героем, то смотрит на него с известной дистанции и даже с легкой иронией. Вообще бросается в глаза, что легковесная полемичность некоторых произведений «молодой прозы» постепенно уступает место более глубокому анализу действительности социалистической Чехословакии, раскрывающей перед каждым человеком все более богатые возможности.

Ондрей, Мартин Соучек, рассказчик в «Замечательном дне» — это новая стадия в развитии образа молодого героя. Ее можно охарактеризовать словами чешского критика И. Гаека: «Эти молодые люди поняли, что социализм — их кровное дело, что это не подарок, заботливо приготовленный для них под рождественской елочкой, а великая задача, которая потребует все их силы и за выполнение которой они принимают на себя полную ответственность». Именно сознание ответственности придает книгам этих писателей боевой характер, делает их активными участниками жизни.

Мы отнюдь не хотим сказать, что такая активность может быть связана только с изображением человека в производственной обстановке. И в тихих старинных квартирах и деревенских домиках, где разыгрываются чисто личные «маленькие драмы», о которых повествует Индржижка Сметанова в своем первом сборнике рассказов «Концерт под платаном», порой рождается настоящее человеческое достоинство, социалистическое отношение к жизни и к людям. При этом Сметанова умеет сказать нечто значительное негромко, лаконично, с помощью немногих деталей.

Такое же умение есть и у другой дебютантки — Надежды Соховой, автора сборника «Запасная жизнь». Ее героям приходится преодолевать особенно трагические личные обстоятельства, чтобы утвердить свое достоинство и свое место в жизни.

Рассказы этих двух сборников современны по своей проблематике и в тех случаях, когда действие в них происходит не сегодня и даже не в последние годы. То же можно сказать об очень лаконичных, выразительных и психологически тонких рассказах молодого писателя А. Люстига о фашистских лагерях уничтожения (сборники «Алмазы ночи» и «Ночь и надежда»), в которых утверждается человеческая способность сопротивляться самому нечеловеческому угнетению.

Как мы видели, моральные проблемы приобретают в лучших произведениях чехословацкой литературы последних лет остро-общественное звучание. Это можно сказать и о тех произведениях, где автор изображает не такой уж распространенный, не часто встречающийся психологический конфликт, как, например, в интересной и глубоко антимещанской по духу повести И. Фрида «Цейтнот» * Рассказывая о сложных душевных исканиях знаменитого шахматиста Клички, автор касается одного особого аспекта проблемы индивидуализма — снобистского отношения к жизни как к игре, которое неизбежно заводит человека в тупик.

И, однако, порой все же приходится говорить о камерности и узости проблематики в некоторых книгах чешских писателей. И, повторяем, не обязательно потому, что в центре оказываются моральные вопросы, а не производственная деятельность человека. Все дело в том, что в некоторых последних произведениях молодой прозы Чехословакии сам герой, при всем внимании автора к его внутреннему облику, теряет свою индивидуальность, превращается в некий штамп. По справедливому и тонкому замечанию чешского критика Ф. Бенгарта, «столько сил было положено на то, чтобы герои обрели свою индивидуальность, что они порой утрачивают связь с общественной средой, а поэтому — и свою индивидуальность тоже».

Психологическая сложность при этом как бы становится самоцелью, а психологический конфликт перемещается в неуютную пустоту абстракции. Именно это произошло в последней повести Я. Прохазки «Сугроб», герой которой мечется между двумя женщинами, столь же «свободными» от каких-либо признаков человека нашего времени, как и он сам. Ф. Бенгарт считает «Сугроб» самым наглядным примером тенденции «разобществления» прозы, «герои которой живут только своим личным конфликтом, перенесенным

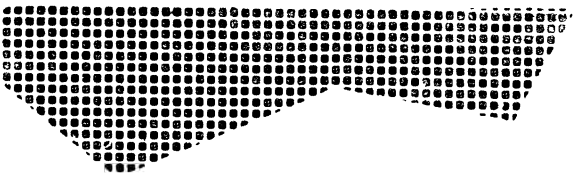
* См рецензию на эту книгу в «Иностранной литературе» № 4 за 1962 год.

И. БЕРНШТЕЙН
В ПОИСКАХ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

куда-то на пустынный остров Робинзона». Если автор сосредоточивает все свое внимание на скрупулезном раскрытии психологического конфликта вне времени и пространства, он не может достичь успеха. Это произошло и с А Климентом в повести «Мария» Чрезвычайно подробный анализ обстоятельств, при которых распалась молодая семья, оказывается слишком громоздким для узкого кусочка действительности, на который он опирается, внутренние монологи не прибавляют персонажам ни жизненности, ни убедительности. Так мстит за себя, как об этом говорил Ф. Бенгарт, пренебрежение конкретными явлениями общественной жизни.

«Новые художественные свершения ждут молодую прозу в том случае, если она постигнет индивидуальные и общественные проблемы наших современников во всей их сложности»,— пишет Иржи Гаек. Чешские критики справедливо связывают будущие ее успехи и с более серьезным усвоением положительного опыта недавнего прошлого. Речь идет, в частности, о достижениях чешской литературы в изображении человека — участника больших общественных процессов (вспомним, например, романы М. Пуймановой, В. Ржезача, Я. Отченашека, Б. Бржезовского и др.).

Ответить на большие требования современности стремятся все чехословацкие писатели без различия поколений — от зрелых, признанных мастеров до дебютантов. Нет сомнения, что достижения как «взрослых», так и молодых писателей найдут свое развитие в новых произведениях, в которых будет содержаться более полный синтез процессов действительности, в которых глубоко раскроется облик человека с цельным, сильным характером, творца и преобразователя, подлинного героя наших дней.



Д. ЗАТОНСКИЙ

СИЛА ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

(Заметки о творчестве Леонгарда Франка)

Недавно исполнилось восемьдесят лет со дня рождения Леонгарда Франка, одного из самых больших европейских художников нашего времни, одного из зачинателей немецкого критического реализма XX века.

Многие книги Леонгарда Франка переведены на десятки языков, его лучшие пьесы шли на подмостках всех европейских и многих заокеанских столиц. Но своим признанием и известностью Леонгард Франк обязан — может быть, более, чем кто-либо другой из его знаменитых современников,— именно тому, что был писателем глубоко национальным, специфически немецким. Он вошел в мировую литературу прежде всего как певец и критик своего родного Вюрцбурга, который был для него той малой сценой, где разыгрывались большие общегерманские трагедии.

Специфически немецкими являются не только пейзажи, колорит, место действия большинства произведений Франка; национальна и их проблематика, и характеры его любимых героев, и своеобразное сочетание фантазии и правды в его романах и новеллах. От Гиммельсхаузена, от поэтов «бури и натиска», от немецких романтиков тянутся нити к его творчеству, а через него далее — к новейшей литературе Германской Демократической Республики, например, к Эрвину Штриттматтеру, чей роман «Чудодей» возник под значительным влиянием автора «Оксенфуртского мужского квартета» и «Слева, где сердце».

Леонгард Франк не создал ни одного образа, ставшего нарицательным. И это не слабость его таланта, это его специфика. Он не столько множит в своих книгах разные характеры, сколько ставит сходный человеческий тип в разные условия. Поскольку Франка не очень заботила проблема индивидуализации характера, он весьма охотно переносил из книги в книгу и героев, и некоторые ситуации, и даже отдельные реплики, передавая их, так сказать, из уст в уста.

После выхода в свет автобиографического романа «Слева, где сердце» стало ясно, что не только главного героя, но и персонажей эпизодических он брал из жизни, по крайней мере, в большинстве случаев. Одного из своих друзей философа доктора Бука писатель заставляет действовать в новелле «Портрет» и в романе «Ученики Иисуса». Прототипом для «лишнего человека» Генриха-Христиана Гуфа послужил декадентский поэт Рудольф-Иоганн Шмидт — один из представителей берлинской богемы. Крестьянина из новеллы «В последнем вагоне», который сетует, что прорубил сапог, а не ногу («нога снова заживет, а сапог-то так и останется»), автор встречал, отдыхая летом в Шпессарте, и т. д. и т. п.

Романтические и экспрессионистские мотивы естественно — хотя иногда и причудливо — сочетаются в книгах Франка с самым строгим реализмом. Любовь к жизни побуждала писателя к неустанному и пристальному ее наблюдению. Он всегда стремился дать осязаемую, звучащую, движущуюся, переливающуюся красками картину

жизни. Отдельные, быстро сменяющиеся, как кадры на киноленте, эпизоды быта и нравов немецкой провинции, швейцарской горной деревушки или мировой столицы постепенно сливаются в единый широкий поток впечатлений. Короткая ясная фраза («работу должен делать писатель, а не читатель»), меткое сравнение оживляют целый художественный образ, графически четкий портрет или афористически сжатый вывод, сосредоточивая внимание читателя на главном и первоочередном.

Леонгард Франк принимал сравнительно мало участия в политической жизни: но симпатии и антипатии его были ясны и определенны — он всегда жил мечтой о социализме, о справедливом общественном строе, был большим и верным другом Советского Союза. Последние годы жизни, которые он провел на своей родине, в Западной Германии (где он жил уединенно, и практически в обстановке бойкота со стороны властей), были отмечены страстным интересом к жизни ГДР, первого в истории Германии рабоче-крестьянского государства.

Леонгард Франк скончался 18 августа 1961 года; он ничего более не напишет. Но еще не один десяток раз будут переизданы его романы, новеллы, пьесы; еще много статей и книг будет написано о нем — человеке и писателе. И уже сейчас хочется подвести хотя бы самый предварительный итог его долгого творческого пути, отданного служению правде, пронизанного бунтарской непримиримостью к буржуазному строю и уверенностью в победе добра над злом этого мира.

■

В разгар первой мировой войны, когда переделенная ходами траншей и опутанная колючей проволокой Европа истекала кровью, когда грязные, завшивевшие, отупевшие от усталости и вечного страха солдаты, сойдясь на ничьей земле, вонзали друг в друга штыки, когда подстрекаемые шовинистической пропагандой тыловые обыватели вопили от восторга, вычитывая из сводок, сколько батальонов противника задушено газами или вбито в землю ураганным огнем,— в эти трагические дни Леонгард Франк написал книгу под вызывающе-оптимистическим названием «Человек добр».

«Нужно хорошо знать атмосферу осажденной крепости, воцарившуюся на долгие годы в Германии,— справедливо писал Е. Лундберг,— чтобы реально представить себе, какое мужество и какая сила убеждения нужны были для такого выступления — не только духовное, но и физическое мужество...»*

Несколько экземпляров книги были нелегально переправлены Франком в Германию. Школьники читали ее, разбирая по листкам, социал-демократическая партия отпечатала на газетной бумаге полмиллиона экземпляров и отправила их на фронт. Сотням и тысячам людей книга Франка открывала глаза на правду об империалистической бойне. Пронизанная духом антибуржуазного бунтарства, она содержала призыв обрушить грозную силу ненависти на носителей социального зла.

Для современников книга «Человек добр» была ценна прежде всего своим антивоенным пафосом. Она не утратила своего значения и поныне. Ее основная идея, заключающаяся в том, «что надо создать условия, которые позволят человеку быть добрым; он и будет добрым, если ему дадут для этого возможность»,— не только остается в центре внимания гуманистической литературы Запада, но становится в 40-е и 50-е годы двадцатого века все более актуальной, животрепещущей.

Две мировые войны, по сравнению с которыми бледнеют самые страшные бедствия прошлого, фашизм с его рассчитанной жестокостью, его планомерно-методическими акциями истребления, а в последние десятилетия — угроза термоядерной смерти, нависшая над сознанием людей,— все это заставляло и заставляет европейскую интеллигенцию вновь и вновь возвращаться к проблеме, казалось бы, уже давно решенной гуманистами Возрождения и философами-просветителями: что такое человек? Диктуются его поступки внутренней природой или внешними обстоятельствами?

Фрейдисты объявляют человека рабом звериных, архаических инстинктов; экзистенциалисты видят в нем жалкий, трясущийся комочек плазмы, отданный на произвол стихиям чужого и враждебного мира; апологеты империализма славят в нем торжествующего убийцу, попирающего все этические заповеди.

Этим реакционным точкам зрения противостоят взгляды современного гуманизма,

* Е. Лундберг. Леонгард Франк как представитель реализма. «Новый мир», 1927, № 10, стр. 204.

в рядах которого Леонгард Франк занимает своеобразную и по-своему необычайно последовательную позицию. *От природы человек добр* — этот постулат, воспринимаемый Франком несколько абстрактно и идеалистически, является отправной точкой его художественного исследования мира, фундаментом его веры и надежды

Книга «Человек добр» не была первым воинствующим выступлением Франка в защиту ценности личности—это лишь его наиболее откровенно и ясно сформулированный гуманистический манифест того времени. И до и после книги «Человек добр» эта тема является ведущей в его творчестве.

Уже в первом своем романе «Разбойничья шайка» (1914) писатель страстно выступил против несправедливых общественных условий, калечащих человеческую личность, подавляющих или разрушающих индивидуальность. Его «разбойники» — группа мальчишек, учеников вюрцбургских ремесленников,— движимые смутным чувством романтического протеста, мечтают сжечь город, убить отвратительного садиста, учителя Магера, и бежать в Америку, к свободным и гордым индейцам. Но когда подросшие «разбойники» пытаются найти свое место в русле буржуазного бытия, они тотчас же превращаются в самодовольных и ограниченных мещан: жизнь мстит им за выбор пути компромиссов. Против течения устремляется только один из них — Олд Шэттерхенд. Он уходит из города и пытается стать художником. В ответ на рассказ о живописце, который пошел на сделку с совестью и зарабатывает много денег, малюя безвкусные открытки, Олд Шэттерхенд восклицает:

«Я никогда не стану рисовать поросят в автомобильчиках. Тогда я уж лучше застрелюсь».

Между ним и бывшими «разбойниками» ныне пропасть. Он одинок и затравлен, почти безумен. В этом состоянии герой кончает жизнь самоубийством.

Но Леонгард Франк не хочет верить в поражение добра Дело даже не в образах жизнерадостных и смелых мальчишек, о которых так и хочется сказать: создайте им иные условия, и они вырастут другими — хорошими, чистыми, добрыми. Главное — в интерпретации судьбы центрального героя На жизненном пути он постоянно сталкивается с некоей метафорической фигурой, Незнакомцем, своим alter ego, но постаревшим на десяток лет, закалившимся в борьбе, более мудрым и более сильным. И вот в сцене предшествующей самоубийству, Олд Шэттерхенд таинственным образом превращается в Незнакомца. Тот, прежний, Олд Шэттерхенд стреляется, а новый, ставший Незнакомцем, со спокойным и ясным лицом спускается по лестнице, выходит в большой мир. Здесь «Франк ставит рядом с действительной жизнью жизнь возможную и приоткрывает завесу будущего, которое осуществит все мечты «разбойников», — пишет немецкий критик Х. Руш.

В «Разбойничьей шайке» писатель приходит к выводу, что характеры людей формируются внешними условиями; но он словно готов на этом основании освободить их от всякой ответственности. Он колеблется между гневным осуждением и христианским всепрощением; его мышлению явно не хватает диалектичности.

Но в повести «Причина» уже нет настроений «непротивления злу насилием». Виновником зла, царящего на земле, Франк объявляет сложившиеся буржуазные общественные отношения.

«Гнетущая атмосфера школ, дурное воспитание, ханжество, погоня разбойников чековой книжки за новыми и новыми миллионами, а рядом вонючая нищета бедняков — все эти моральные язвы слагаются для каждого, кто не слеп и не глух, в слово «причина»,— провозглашает он устами своего героя.

В «Причине» магеры уже не только жертвы враждебного человеку мира, но и часть этого мира — орудия его насилия. С ними нужно бороться. Герой повести, нищий писатель Антон Зайлер, через много лет после окончания школы возвращается в родной город и убивает учителя Магера, истязавшего его в детстве.

Однако, чтобы бороться, рассуждает Франк, человек должен обладать душевной силой, волей к сопротивлению. Не случайно одно из основных обвинений, которые Зайлер выдвигает против Магера, состоит в том, что, унижая мальчика перед лицом всего класса, учитель разрушил его веру в себя, лишил его способности к протесту:

«Подумайте-ка, если бы тогда он не заставил меня стоять за забором трактира, может быть неделю спустя, когда солдаты, вместо того чтобы дать мне хлеба, окатили меня помоями, я стал бы еще кричать и

ругаться. Но я молчал. Я считал, что теперь со мной можно делать все что угодно... Это ведь самое ужасное, что я не ругался, а просто тихо ушел».

В приведенном эпизоде, да и во всей концепции повести «Причина» чувствуется влияние фрейдизма, которое, слабея или усиливаясь, сопровождает Франка большую часть его творческого пути. В данном случае это влияние проявляется в том, что писатель видит основу поведения Зайлера в психических комплексах, обусловленных душевными травмами ранних детских лет.

Позднее понятие «добра» приобретает у Франка более четкую социальную окраску.

В вагоне первого класса горной железной дороги собралось небольшое общество — банкир, его беременная жена, прокурор, университетский профессор, офицер и т. д. Сюда же случайно попадает уволенный с лесопильни рабочий. Вдруг небрежно прицепленный вагон отделяется от состава и с головокружительной быстротой мчится по рельсам вниз, навстречу неминуемой гибели. Страх смерти вынуждает сбросить маски. Образованные и благовоспитанные господа превращаются в диких зверей, заботящихся лишь о собственной шкуре. Единственным *человеком* среди них оказывается рабочий. Он принимает ребенка у преждевременно рожающей жены банкира, в то время как ее «заботливый и нежный» супруг визжит на полу.

Их спасителем также оказывается рабочий — машинист товарного поезда, которому с риском для жизни удается остановить вагон.

Все как будто снова становится на свои места. Но жена банкира никогда уже не сможет относиться к мужу по-прежнему. Ей кажется, что настоящий ее муж — рабочий.

Таково содержание одной из лучших новелл Леонгарда Франка «В последнем вагоне» (1925).

Положительный герой Франка всегда человечнее, нежнее, добрее своих противников, но он — и это не менее важно — как личность всегда сильнее их, торжествует над ними победу, если не физическую, то во всяком случае моральную. Олд Шэттерхенд перевоплощается в Незнакомца — сильного, мудрого, готового к жизненной борьбе. Зайлер казнен, но одноглазый присяжный — единственный, кто понял его на суде и все-таки предал,— терзаемый угрызениями совести, принимает яд. Письмоводитель и Стеклянный глаз — герои романа «Из трех миллионов трое» (1932) — проносят свой гуманизм сквозь все испытания, все пропасти морального падения и нищие, оборванные, голодные, но не сломленные возвращаются из своей трагической одиссеи в Вюрцбург.

Рупрехт, центральный персонаж комедии «Сторонний наблюдатель», написанной уже в эмиграции, в 1937 году, уходит из дома жены — дочери «короля шляп»,— ибо не в силах терпеть царящий там культ чистогана; он становится лесорубом и матросом. После своего вынужденного возвращения Рупрехт наводит страх на все семейство, так как независимость свободного человека делает его сильнее этих рабов денежного мешка.

Такие неожиданные повороты действия нередки в творчестве Франка. Его сюжеты сознательно не рассчитаны на то, чтобы им беспрекословно верить. Фабула носит у него характер почти *экспериментальный*: писателю нужно создать ситуацию, в ходе которой внутренняя сущность персонажей раскрылась бы максимально стремительно, резко. Для того, чтобы свести концы с концами, он часто прибегает к помощи своеобразного deus ex machina, не задумываясь над тем, типично ли придуманное им для этого событие, мыслимо ли оно вообще. Например, в романе «Из трех миллионов трое» Франку понадобилось перебросить своих безработных героев в Аргентину, чтобы показать, что и там свирепствует кризис, и он тотчас же ставит на их пути богатого англичанина, который, повинуясь минутной прихоти, дарит им сотню фунтов. Или писателю хочется заглянуть в душу замаскировавшемуся обывателю; он усаживает героев в последний вагон поезда, потом отцепляет вагон и, пуская его танцевать по рельсовым стыкам, наблюдает, кто же из них сохранит в такой ситуации человеческое достоинство. Эксперимент окончен, и автор чудесным образом спасает пассажиров от неминуемой смерти.

Леонгарду Франку важно проследить реакцию своих персонажей на невероятные, а порой и вовсе фантастические события его книг. Эта реакция почти всегда подается автором в одном и том же ключе — если человек творит «зло», то потому, что в нем извращено изначальное, присущее человеческой природе «добро».

Лишь в связи с этой стороной творчества

Леонгарда Франка становится по-настоящему понятной роль, которую в его книгах играют дети. Их много, но за редким исключением они всегда одинаковы — жизнерадостные, смелые до дерзости, вольнолюбивые и по-своему очень мудрые.

В символе веры писателя, высказанном на последних страницах романа «Слева, где сердце», есть такие слова:

«Он верит в человека, ибо верит взгляду невинного ребенка».

Ребенок для Леонгарда Франка и есть истинный человек, не испорченный дурным воспитанием и несправедливыми условиями жизни; он — как чистый колодезь. Потом вода нередко замутняется, и из юноши-идеалиста может вырасти имперский прокурор, а из веселого «разбойника» — туповатый мещанин.

Когда, скажем, Бертольт Брехт разрабатывал сходную тему в пьесе «Добрый человек из Сезуана» (1938—1940), он подходил к проблеме с совсем другой стороны. Ему важно было прежде всего доказать, что эксплуататорский строй враждебен личности. И, расщепив свою героиню на два образа — «доброй» Шен Те и «злого» Шуи Та, драматург показывает, что безотносительных к чему-либо порядочности и сострадания не существует, что человек, желающий утвердиться в мире волков, сам неизбежно должен стать волком. Поэтому слова «добрый человек» в названии пьесы звучат несколько иронически, во всяком случае, полемически. Самое главное для Брехта — привести читателя к выводу. *мир должен стать другим, тогда человек будет добрым.*

У Франка это выглядит несколько иначе. *человек в основе своей добр, и если сделать мир другим, его благородные качества раскроются полностью.*

Их позиции сходны, но не тождественны. Брехт непосредственно зовет к разрушению буржуазных порядков. Франк утверждает, что социалистический строй возможен; более того — он прекрасен и гармоничен. Как бы переступая через определенный исторический этап, Леонгард Франк силою романтической мечты стремится проникнуть в грядущее. При этом он никогда по настоящему не пытался показать конкретные пути завоевания будущего. Революция в книге «Человек добр» была изображена абстрактно-символически. Гротескное шествие калек перерастает во всегерманскую мирную демонстрацию. Колонна приближается ко дворцу. Стражники — они «поражены молнией любви» — переходят на сторону демонстрантов. «Человек, вошедший в комнату кельнера» (очевидно, Карл Либкнехт, поскольку его имя упоминалось страницей ранее), поднимается по лестнице дворца. Царит абсолютная тишина. Властители исчезают, и через несколько минут телеграф передает «имена новых людей: восход солнца свободы и любви над страной». При подготовке текста «Человек добр» для собрания сочинений 1957 года Франк несколько переработал конец, придав описываемым событиям некоторые реальные черты Ноябрьской революции в Германии. Однако общий абстрактно-символический характер повествования изменений не претерпел.

Естественно, что в книгах Леонгарда Франка много говорится о воспитании человека. Однако процесс воспитания понимается писателем несколько своеобразно: это не столько привнесение новых качеств, сколько создание наиболее благоприятных условий для сохранения и развития заложенных в личности добрых начал.

В романе «Оксенфуртский мужской квартет» (1927) носителями надежды на лучшее будущее являются образы Томаса и Ханны — молодого поколения, которое (в это твердо верит автор) пришло в мир, чтобы изменить его. Томас, студент, изучающий политическую экономию, является членом рабочей партии. Конечно, он не показан как партийный функционер и напоминает скорее «сильного одиночку», нежели человека, опирающегося на коллектив. Убедительно изобразить активного деятеля социалистического движения Франку не удавалось и ранее. Но как личность Томас, несомненно, рельефнее прежних аналогичных персонажей писателя — от героя «Бюргера» Кольбенрайера до социалистических агитаторов из новелл «В последнем вагоне» и «У проселочной дороги» (1925).

Томас предельно правдив в своем отношении к Ханне. Оба они, с точки зрения писателя, дети более счастливой эпохи: в их воспитание родители вкладывают терпимость, любовь и глубокое понимание юношеской психики; их не подавляют, как некогда «разбойников». Может показаться, что Франк ищет здесь каких-то компромиссных путей. Но это неверно. Он просто глубоко убежден в непрерывности духовного прогресса человечества, который не в состоя-

нии остановить даже преступный буржуазный строй. Конечно, характеры Томаса и Ханны — как то нередко бывает у Франка — несколько *экспериментальны*. Ведь их воспитатели — это превратившиеся в мещан бывшие «разбойники»; откуда же у них столько педагогического такта? Да и сам писатель позднее признавался, что «свою Ханну создал из ничего — просто она тогда была для него желанным идеалом женщины».

Еще четче концепция Франка проступает в романе «Матильда» Книга была задумана в 1937 году как «роман воспитания», прослеживающий жизнь женщины с тринадцатилетнего возраста до того времени, когда тринадцать лет исполняется ее дочери. Его героиня, выросшая среди швейцарских гор, в волшебном мире чудесных сказок, сначала неудачно выходит замуж за доктора Зиляффа, а затем встречает свою большую любовь — англичанина Вистона — и обретает истинное счастье Однако в процессе работы над романом в первоначальный замысел были внесены серьезные коррективы. Когда Гитлер напал на Польшу, Вистон уехал в Лондон и стал летчиком. С этого момента автор изображает не столько судьбу Матильды, сколько историю второй мировой войны, лишь пропуская ее сквозь восприятие героини и окружающих ее лиц. Лирически-интимная вначале, книга становится произведением настолько историческим, что в 1944 году Франк, «...сколь ни странно подобное положение, не мог,— по свидетельству Томаса Манна,— закончить свой роман «Матильда», не дождавшись развязки событий, конца войны...» (книга вышла в свет только в 1945 году).

Война многому научила Матильду и Вистона. После нее каждому из них вновь приходится отыскивать путь к сердцу другого· личное счастье уже немыслимо без счастья всеобщего К концу книги Матильда начинает понимать, что и в браке с Зиляффом, и в первые годы любви к Вистону она была «безрукой девушкой» — персонажем из ее любимой сказки,— то есть существом хотя и чистым, благородным, но слабым, беззащитным, неприспособленным И, воспитывая Барбару, она стремится «уберечь свою дочь от превращения в «безрукую девушку» и в то же время зажечь в ее сердце звезду, которая не должна потухнуть»

Но странное дело, при всем этом Матильда в основе своей очень мало изменилась Напротив, пройдя суровую школу жизни и познав ошибки юношеских лет, она осталась все той же, тринадцатилетней, которая лишь начинала свой путь на первых страницах романа.

То есть, по Франку, окружающая действительность (как положительный фактор воспитания) не столько способствует развитию, сколько раскрытию личности — об этом мы уже говорили.

Конечно, такую точку зрения писателя нельзя понимать слишком упрощенно. Франк не отрицает значения внешнего опыта в формировании личности; требование изменить условия жизни к лучшему — это для него непременное условие человеческого прогресса. И все-таки самым мудрым учителем человека Франк считает Мать-Природу, которая заранее позаботилась если не обо всем, так, по крайней мере, о главном.

Это — свидетельство безусловной ограниченности мировоззрения Франка.

Однако как бы мы ни относились к отдельным сторонам гуманистической концепции Леонгарда Франка, мы не можем не оценить и не восхититься беспримерным, вероятно, по своей настойчивости и последовательности откровенно полемическим подчеркиванием добрых начал человека. Франк никогда не проповедовал всепрощение. Его гуманизм — гуманизм боевой, активный, он органически включает в себя ненависть к войне, фашизму, эксплуатации человека.

■

Обычно творчество Леонгарда Франка принято делить на три периода (тройка в литературоведении стала числом почти кабалистическим!): до середины 20-х годов («начало творческого пути»), со второй половины 20-х годов до середины 40-х («период некоторого отхода от широкой социальной проблематики») и с конца 40-х до начала 60-х («последний период творчества»).

Эту схему деления творчества Франка можно признать верной, но лишь в первом приближении Если, с одной стороны, неправильно рассматривать путь этого писателя в качестве прямолинейного победного шествия «вверх», как то делает, например, Х. Руш, то, с другой стороны, следовало бы поостеречься и категорически негативных оценок всего среднего этапа его деятельности, этапа, продолжавшегося около двадцати лет.

Однако нет сомнений, что третий период

творчества Леонгарда Франка, начавшийся после второй мировой войны, представляет собой период наивысшего творческого расцвета, время идейной и художественной зрелости писателя.

В последние годы пребывания в эмиграции, еще оторванный от родины, и позднее, уже после возвращения на родину (в 1950 году), живя в Мюнхене в атмосфере отчуждения, очень старый писатель создал такие книги, как роман «Ученики Иисуса» (1947), повесть «Возвращение Михаэля» (1949), замечательный автобиографический роман «Слева, где сердце» (1952), и несколько интереснейших пьес на сюжеты своих же собственных романов.

В «Учениках Иисуса» молодая еврейка Рут Фройдехайм, которая всю войну находилась в публичном доме для солдат вермахта, по возвращении в Вюрцбург убивает фашиста Цвишенцаля, виновного и в ее трагедии и в смерти ее родителей.

Немецкий критик Г. Каспар полагает, что Франк, приведя в конце романа своих «учеников» в ряды социалистического движения, осудил тем самым анархистский путь борьбы с нацизмом, на который встала Рут. Однако это не совсем так. Писатель, конечно, понимает, что выстрел из пистолета не решает всех проблем антифашистского сопротивления. Однако убийство Цвишенцаля — не просто акт личной мести. Отправив на смерть родителей Рут только за то, что они не были «арийцами», Цвишенцаль совершил преступление против права и справедливости. Но он не был привлечен к ответственности и после того, как «третья империя» рухнула. В правовом государстве Рут не пришлось бы брать на себя роль судьи, убийца был бы наказан органами этого государства. Следовательно, героиня (а вместе с ней и автор!) *восстают* против той новой государственности, которая сменила на западе Германии нацистскую, но уже давно мало чем отличается от прежнего преступного режима.

Убийство Цвишенцаля вырастает до размеров символической акции, превращается в обвинение всего *социального* строя Западной Германии.

В произведениях последних лет Леонгард Франк неоднократно обращается к подобному сюжетному построению. В короткой новелле «Квартальный уполномоченный» (1946) он просто констатирует факт убийства, которое остается нераскрытым. В «Учениках Иисуса» Рут предстает перед судом, и ее процесс превращается в трибуну, с которой писатель разоблачает западногерманский неофашизм. Несмотря на старания прокурора, присяжные оправдывают молодую женщину. Годы спустя Леонгард Франк создал на материале романа «Ученики Иисуса» пьесу, положив в ее основу именно сюжетную линию Рут. Драма «Рут» существует в двух вариантах — 1958 и 1960 года. В первом варианте, если не считать перенесения времени действия в 1950 год, основные события романа оставлены без существенных изменений. Но во втором варианте, действие которого происходит вновь в 1947 году, присяжные не оправдывают Рут, а большинством в один голос признают ее виновной, и она в момент оглашения приговора принимает яд, отказываясь жить в преступном государстве.

Сходной теме посвящена и новелла «Возвращение Михаэля». Прибывший из Америки эмигрант Михаэль Фиркант убивает гестаповца, повинного в смерти его сестры. Но до суда дело не доходит. Благодаря не очень правдоподобному вмешательству начальника тюрьмы герой бежит: начальник тюрьмы, отупевший и разжиревший служака, под влиянием моральной чистоты Михаэля и его любимой — Марии внезапно сознает себя человеком, вспоминает о светлых идеалах юности и, устроив побег Михаэля, уходит на пенсию, чтобы писать научный труд по криминалистике.

Прошло два года со времени написания «Учеников Иисуса», и развитие событий показало, что, не нарушая жизненной правды, нельзя завершить новеллу судебным оправданием Михаэля, тем более что его дело должно было слушаться в Западном Берлине, а не в далекой баварской провинции. Не хотел писатель и обречь своего героя на долголетнее тюремное заключение. Михаэля и Марию он списал с себя самого и своей молодой жены Шарлотты в весеннюю пору их любви. Тут-то и понадобился deus ex machina в образе обращенного начальника тюрьмы.

Однако значение этого образа отнюдь не ограничивается ролью вспомогательного фабульного средства. Мы снова видим, как из-за равнодушной маски чиновника вдруг выглянуло лицо *доброго человека*, того са-

---

Д. ЗАТОНСКИЙ
СИЛА ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

мого, который и в эти годы оставался отправной точкой франковского художественного исследования мира, фундаментом его веры и надежды. И гимн любви, впервые столь победно зазвучавший у Леонгарда Франка на страницах «Оксенфуртского мужского квартета», продолжает звучать в книгах этих лет, наполняясь более глубоким, более определенным социальным смыслом. Понятие человеческой *доброты* все больше становится неотделимым от ненависти к носителям *зла*.

«Очеловечивание человека» через любовь[1] То, что в пьесе «Подковные гвозди» (1930) было только голой схемой концепции, лишенной какой бы то ни было художественной убедительности, обретает реальность в благородном поступке влюбленного в Марию начальника тюрьмы, становится причиной моральной силы самой Марии, избежавшей благодаря любви к Михаэлю и панели, на которую вышла ее подруга Эмми, и пруда, в котором утопилась ее другая подруга — Софи. А разве не по мосту самоотверженной любви Мартина, поддерживающего Рут во всем, в том числе и в убийстве эсэсовца, она, духовно мертвая, возвращается к жизни («Ученики Иисуса»)[2]

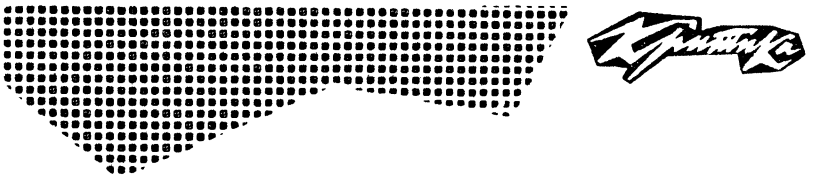
Весной 1952 года Леонгард Франк закончил работу над автобиографическим романом «Слева, где сердце». Книга содержит ценный материал. Здесь собраны взгляды писателя — политические, этические, эстетические; здесь содержатся оценки его собственных произведений, уточнено время их написания. И все-таки основная ценность книги не в этом. «Слева, где сердце» — прежде всего роман, художественное произведение, венчающее полувековой путь художника. Он не просто писал историю своей жизни, но хотел сделать ее общезначимой. Именно поэтому, а не из-за чисто вкусового предубеждения против формы повествования от первого лица он назвал своего героя не Леонгард Франк, но Михаэль Фиркант. В его судьбе, его деятельности, его высказываниях и раздумьях отобрано и выделено то, что представляет интерес для широкого читателя. И если в истории Михаэля Фирканта так много внимания уделено отношениям с Лизой, браку с Шарлоттой, семейной драме с Илоной, так это не столько потому, что эти женщины играют значительную роль в жизни Франка — человека, сколько в связи с тем местом, какое проблема любви занимает в творчестве Франка-писателя.

Роман представляет собой жизнеописание немецкого интеллигента, художника, человека, чье «сердце всегда билось слева». Он любил людей, жизнь, красоту природы, верил в победу счастья и свободы на земле, боролся, стремился быть на той стороне баррикад, где стоял народ, где сражались угнетенные и бесправные.

Тесная связь героя с жизнью, с действительностью превращает его индивидуальную историю в историю целого поколения, целой эпохи. Перед глазами читателя возникает провинциальный Вюрцбург на рубеже столетий, резиденция баварских королей — Мюнхен, вильгельмовский Берлин чиновников и бессмертный Берлин артистов. Затем война и Цюрих — город, где собрались интернационалисты всех стран, и город, переполненный международными шпионами. Революция в России, революция в Германии, разруха, инфляция, капповский путч и «пивной путч» Гитлера. И снова Берлин — веселый, беспечный, самовлюбленный, не желающий замечать, что черная тень нацизма уже нависла над его крышами. Поджог рейхстага, костры из книг. Европа, лебезящая перед Гитлером. И снова война — поставленная на колени, но непокоренная Франция. Потом Америка — страна чистогана и мертвящих стандартов. И опять Германия — руины, трещины на домах и душах.

Леонгард Франк и в этой книге не занимается вопросом, *как* достичь светлого будущего Но вера его неколебима; герой книги «...верит, что экономическому строю корысти и чистогана без всякой атомной войны к 2000 году придет на смену строй социалистический. Он верит, что на долю внуков наших детей выпадет большее счастье, чем досталось их прадедам». Это кредо писателя — не порыв беспочвенного оптимизма, это — единственно возможный результат движения истории, за которой Франк пытливо следил всю свою жизнь и которая так правдиво отразилась в его автобиографическом романе.

Тома сочинений Леонгарда Франка — это гимн доброму началу в человеке, редкое свидетельство неистребимой веры в его победу. Писатель не только осудил буржуазный строй, он вынес ему приговор: капитализм вместе с войнами, вместе с эксплуатацией человека человеком рухнет, уступив место счастливой и справедливой эпохе.



ИВАН КАШКИН

РОБЕРТ ФРОСТ

В период разброда и неразберихи, охватившей американскую поэзию в пятидесятые годы, одним поэтам импонировал сухой рационализм академических последователей Т. С. Элиота, других увлекал необузданный фрейдистский психоанализ эпигонов Дэвида Лоренса; одни объявляли образцом невнятное и туманное умничанье Эзры Паунда, другие — и вовсе заумные стихи Кэммингса. Более прогрессивные поэты ориентировались главным образом на Уитмена. В последние годы возникли пока не оправдавшие себя надежды на неизвестно куда бредущих поэтов-битников.

Менялись и оттогали увлечения, но читателю хотелось на чем-то остановить свой взор Найти звезду, по которой можно было бы определить круговращение малых поэтических светил, комет и метеоров. И таких звезд в американской поэзии оказалось даже не одна, а целых две: уже около полустолетия наследие Уитмена продолжено в творчестве Карла Сэндберга, а традиции менее радикальной демократической американской поэзии представлены в стихах Роберта Фроста.

Когда с пути собьет лесть иль хула,
Мы можем выбрать в небесах звезду
И твердо пролагать по ней свой путь,—*
(«Избравший что-то как звезду...»)

* Все стихи в тексте переведены Ив. Кашкиным.

писал Фрост. Знакомство с его стихами позволяет определить, на какую поэтическую звезду ориентируется значительное большинство образованных американских читателей. Набив оскомину на поэтических упражнениях модернистских поэтов, эпигонском «новаторстве», перепевах старых европейских образцов, американский читатель охотно перечитывает неторопливые и вдумчивые стихи Фроста.

Творчество Роберта Фроста органически связано с родной землей, ее большими заботами и малыми радостями. Ему есть что сказать своим читателям, и он говорит это понятным, доходчивым языком. Его образы возникают из жизни и облекаются в ясную и простую поэтическую форму. Но традиции не подавили в Роберте Фросте интереса к новому, и это, в свою очередь, вызывает интерес к нему у все новых читателей. Круг их очень широк.

Фермерство в США в целом переживает глубокий кризис, и мелкий фермер Среднего Запада, разоряемый монополиями, с сочувствием прочтет про горькую судьбу фермеров Новой Англии, надеявшихся отсидеться за своими каменными изгородями и все равно смятых железной хваткой монополий. Ведь форма разная, а суть одна — уходящее мелкое фермерство. Североамериканская культура все более поддается рекламно-коммерческой шумихе, и широкому кругу американских интеллигентов понятны тревожные раздумья Фроста. Словом, стихи Фроста находят путь и к разуму и к сердцу очень многих американцев.

Когда Колдуэллу для рассказа «Полным-полно шведов» понадобилась типичная, собирательная фамилия фермера Новой Англии, он назвал этого фермера Фростом. Фрост по-английски значит «мороз». Фамилия эта так же обычна, как наша фамилия Морозов. И не только по звуку рифмуется она с русским словом «прост», но Роберт

Фрост и действительно как будто проще других поэтов современного Запада. Однако, если присмотришься к лучшим его лирическим стихотворениям, оказывается, что они вдумчивы и по-своему утонченны, как стихи его соотечественницы Эмили Диккинсон или как стихи Тютчева.

■

За плечами у Роберта Фроста долгая жизнь, полная забот, трудов и достижений. Он родился 26 марта 1874 года в Сан-Франциско, где отец его был одно время редактором газеты. Десятилетним мальчиком он вернулся на родину отца в Новую Англию, окончил здесь среднюю школу. Слушал лекции: несколько месяцев в Дартмутском колледже и два года в Гарвардском университете. Но у Фроста не было средств и не было склонности к академической науке. Он рано начал трудовую жизнь: был шпульником на ткацкой фабрике, подмастерьем сапожника, батраком на ферме, пробовал издавать газету, учительствовал, целых одиннадцать лет фермерствовал, «собирая со своего тощего поля не только скудную жатву, но и семена будущих поэтических урожаев». Писать он начал тоже рано — шестнадцати лет, но стихи его неизменно отвергались редакциями. В конце концов он не выдержал, продал ферму и вместе с семьей уехал в Англию. Здесь ему посчастливилось: у него нашлись друзья среди поэтов, его стихами заинтересовался издатель, и в 1913 году, когда Фросту было уже тридцать восемь лет, в Англии вышла первая его книга «Мальчишья мечта». Дебют Фроста совпал с началом «поэтического расцвета» в Америке, и вторая его книга, «К северу от Бостона», вышедшая в 1914 году и названная им самим «книгой о народе», принесла ему известность и на родине, в Америке, куда он вернулся в 1915 году. Позднейшие его книги закрепили славу Фроста как бытописателя Новой Англии. Он получал почетные степени и был почетным лектором ряда американских колледжей.

Не богатая внешними событиями жизнь Фроста одновременно и насыщенна и проста. Неторопливый деревенский труд приучил его к вдумчивости, учительство выработало простой, доходчивый язык и вместе с работой в газете, как говорит сам Фрост, сделало его «понятным поэтом».

Принято говорить об английской традиции в творчестве Роберта Фроста. Действительно, у него можно найти отголоски английских поэтов XVIII и XIX веков — Крабба, Бернса, Вордсворта, а может быть, Хаусмена. Три года, с 1912 по 1915, он прожил на «старой родине» и общался там с поэтами-георгианцами.

Один из них, Уилфрид Гибсон, описывает вечер, проведенный в обществе Фроста четырьмя английскими поэтами. Это были Руперт Брук, Эдвард Томас, Лясель Аберкромби и сам Уилфрид Гибсон. Вот отрывок из стихотворения Гибсона, который показывает отношение этих поэтов к Фросту:

При лампе мы сидели и болтали
Шутя, а больше слушая его.
И Фрост все говорил и говорил
Крестьянским говором своей страны
Он радовал нас то соленой шуткой,
А то смешинкой тихих синих глаз
Сидели мы при лампе. Уходил
Сквозь окна день, и далеко внизу
Косцы перекликались, и сова
Уже отозвалась с опушки леса...
И Фроста зрелый и богатый опыт
Хмелен был, терпок, словно старый сидр,
Искристый и прозрачный, как струя
Ручья, дробящаяся по камням

В Англии были изданы первые две книги стихов Фроста. Но недаром вторая из них называлась «К северу от Бостона». Если у себя в США он мог казаться продолжателем Вордсворта, то англичане считали его американцем. Ни детство в Калифорнии, ни годы, проведенные в Великобритании, почти не оставили следов в его творчестве. Настоящей жизнью для него остались трудовая юность и одиннадцать лет фермерства в Нью-Гемпшире. Настоящей его родиной была, конечно, Новая Англия.

Новая Англия — это родина Эмерсона, Готорна, Лоуэлла, О'Нила, Уиттира, Торо, Эмили Диккинсон. В стихах Фроста явственно ощущается своя новоанглийская традиция поэзии последних трех авторов. Это естественно — Фрост прикоснулся к академической среде. Но он не книжный поэт, он свободен от той вторичной, а иногда и нарочитой учености, которая свойственна была в подчеркнутом виде Лоуэллу, а в более слабой степени и Лонгфелло. Творчество Фроста питалось впечатлениями окружающей его жизни и при всех его скитаниях неизменно настроено было на один довольно узкий диапазон волн. Для него как бы не существует ни академический Бостон, ни индустриальный Лоренс, ни курорты побережья, а существует лишь деревенская Новая Англия. И это несколько

анахронистическое восприятие ее доселе живет в творчестве 88-летнего поэта.

В стихах Фроста — природа Новой Англии и ее календарь: бесснежное, унылое начало зимы, метели и заносы в ее конце, недолгий радующий глаз весенний снег, распускающиеся березы, каменистые луговины .

Я собрался прочистить наш родник.
Я разгребу над ним опавший лист,
Любуясь тем, как он прозрачен, чист.
Я там не задержусь. И ты приди.

Я собрался теленка принести.
Он к матери прижался. Так он мал,
Что с ней туда едва доковылял
Я там не задержусь. И ты приди.
(«Пастбище»).

А дальше — пересохший летом ручей и гниющая в осенних туманах поленница дров, сад, боязливо притихший в ожидании утреннего заморозка, а за этим и весь круг деревенских трудов и забот: и починка каменной ограды, и сенокос, и уборка сена, и сбор яблок.

Новая Англия, особенно уединенные уголки Вермонта, где была ферма Фроста,— самое подходящее место для раздумий, но Фрост размышляет о том, что характерно не только для местного, но и для всякого американского фермера и более того — для всей собственнической Америки. Как будто бы поглощенный описанием повседневных дел, он помнит и о том, чего не вмещает злоба дня. В частном он видит и показывает целое и в шутку называет себя «синекдохистом».

Он прост, но только на поверхности. В беглых замечаниях у него заложена иной раз глубокая философская мысль, и философия его действенна.

В основе многих стихотворений Фроста — отточенная афористическая формула, чаще всего концовка, и почти всегда концовка поучительная. Впрочем, иногда Фрост предоставляет делать вывод самому читателю. Так, в стихотворении «Починка стены» он за обыденным эпизодом показывает столкновение двух мировоззрений. С безошибочным знанием дела Фрост описывает, как два соседа-фермера чинят каменную ограду, кладка которой возможна только с обеих сторон. Один из соседей с большой неохотой закладывает какой-то дальний пролом. Он чувствует: «На свете нечто есть, что стен не терпит и ломает их». Он недоумевает, выйдя к месту, «где и ограда ни к чему: там — сосны, у меня же — сад плодовый. Ведь яблони мои не станут лазить к нему за шишками». Но слышит в ответ вековечное присловье собственника: «Забор хороший — и хороши соседи», эту косную, тупую «мудрость» обывателя, которого поэт уподобляет «дикарю из каменного века». От этой совместной, но непроизводительной, зряшной работы у поэта остается тяжелое чувство. Но вот он с граблями вышел убирать скошенное другим на заре сено. Он работает один, но, заметив оставленный косцом пучок цветов, он ощущает общность с тем, кто был здесь до него. «И я бы поступил так же». Он думает: «Как будто мы работаем вдвоем». И говорит: «И порознь мы всегда работаем для общего труда» («Пучок цветов»).

Наткнувшись в горах на заброшенную хижину, он вспоминает о тех, кто жил в ней и работал на оголенных участках вырубленных лесов, и думает: «Мне хочется, чтоб жизнь была повсюду» («Переписчик населения»). Глядя на стволы берез, согнутые зимними бурями и намерзшим льдом, он вспоминает, как мальчишкой взбирался до самой вершины березы словно к самому небу и потом, оседлав верхушку, опускался с него до земли. Поэт хотел бы снова, как когда-то, на мгновение оторваться от земли и потом вернуться к ней, лететь вниз, уцепившись за верхушку согнутой березы, потому что: «Земля — вот то, что надо нам любить, и для меня нет ничего милее» («Березы»).

Земля мила Фросту во всех ее обличьях. Ручей хорош для Фроста даже тогда, когда в июньский зной он пересыхает и еле заметной струйкой уходит под землю.

К июню песнь бегущего ручья
Почти замолкла, буйная листва
Его прикрыла. И, сочась едва,
Ушла под землю тощая струя,
Что так недавно клокоча неслась,
Бурля ревела, мощно разлилась
Ища себе привольного пути,
Которого в горах ей не найти.
Был ток ее прозрачный быстр и чист,
Когда навис над нею первый лист,
Когда ж в ручей он, ссохшись, упадет,
Струю лишь памятливый взор найдет
Невидящим у нас ответ один:
Ручей, хоть на себя и не похож,
Но по́ милу он нам всегда хорош —
Любимое мы любим без причин
(«Примолкший ручей»)

Красоту природы Фрост ищет не в нарядной красивости, но в ее внешне неприглядном повседневном уборе, когда, по выражению Эмили Диккинсон, «застигнуть

можно невзначай природу, как и нас». Очень показателен в этом отношении цикл зимних стихов Фроста, которые настолько внутренне связаны и органичны, что цитировать трудно и хочется привести их целиком. Вот посещает поэта его «ноябрьская гостья»:

О грусть моя, ты здесь со мной
В ненастные, пустые дни
Вокруг деревьев черных строй,
Но люб лесов тебе покой,
И бродим мы с тобой одни.

И сколько в книге той страниц
С тобою вместе я раскрыл
И сонное молчанье птиц,
И шкурки белок-озорниц,
Что дед-мороз посеребрил.

Убор узо́рчатый дерев,
Сон на земле и тяжесть туч —
Все это снова просмотрев
И снова как-то присмирев,
Случайный провожаю луч.

Уже давно я оценил
Ненастливый ноябрьский день,
Но сколько бы я ни твердил,
Не веришь, что его любил
И до того, как твою тень
Я в дом к себе опять впустил.

(«Ноябрьская гостья»)

А вот как он в намеренно угловатых, неровных строках с прихотливо расставленной перебивающейся рифмой передает жутковатое ощущение одиночества и беспомощности у американских хуторян-фермеров на уединенной, затерянной в снегах ферме. Картина, которая позволяет нам наглядно представить столь частые ранней весной сообщения о людях, застигнутых очередной снежной бурей на Восточном побережье Соединенных Штатов:

Когда ветер ревет в темноте, завывая,
И наносит сугроб,
Наш дом подпирая и с востока и с юга,
И сипит злобно вьюга, на бой вызывая,
Зверюга:
«Выходи! Выходи!» —
Чего сто́ит мне удержаться,
Не принять удар ее в лоб.

Подсчитаем бойцов:
Двое и с ними дитя.
Надо теснее друг к другу прижаться
И следить, как, в камине свистя,
Выдувает ветер тепло и гудит,
Заметает со всех концов.

Ни двора, ни дороги, ни вех,
И сарай заметён до застрех.
Копошится сомненье — чем кончится ночь,
Если утром не прйдут помочь.

(«Одни»)

Но снег не только пугает поэта. Наутро он и радует его:

Сук закачался,
И снежный ком,
Искрясь, распался,
Задет крылом,

И почему-то
Развеял тень
Того, чем смутен
Был скучный день.

(«Снежная пыль»)

Как тут не вспомнить тютчевское «Бродить без дела и без цели и ненароком, на лету, набресть на свежий дух синели или на светлую мечту».

Созерцание природы не отвлекает поэта от сознания того, что долг зовет его туда, где он сейчас нужен; может быть, туда, где его спокойные стихи подбодрят зимующих на занесенных снегом фермах. Фроста влечет покой и уединение лесов, но он «идет туда, куда должен идти», на зов людей и на помощь людям:

Прервал я санок легких бег,
Любуясь, как ложится снег
На тихий лес,— и так далек
Владеющий им человек.

Мой удивляется конек:
Где увидал я огонек,
Зовущий гостя в теплый дом
В декабрьский темный вечерок;

Позвякивает бубенцом,
Переминаясь надо льдом,
И наста слышен легкий хруст,
Припорошенного снежком.

А лес манит, глубок и пуст.
Но словом данным я влеком:
Еще мне ехать далеко,
Еще мне ехать далеко.

(«Глядя на лес снежным вечером»)

■

Фрост умеет преодолевать внешние заботы и внутреннюю тревогу обращением к природе, творческим закреплением своих раздумий. Его часто называли «The quiet poet», так сказать «тишайшим» Фростом. Но эта тишина только на поверхности, под которой таится подспудный трагизм исчерпавшей себя Новой Англии и ее фермерства. Однажды Фрост посетовал, что нелегко тягаться с Достоевским, когда жизнь нетрагична. Ошибочное суждение, которое в известной мере опровергается творчеством самого Фроста. У него найдется сколько угодно мнимых пасторалей и буколик, которые по сути дела таят трагедию одиночества, порожденную «идиотизмом деревенской жизни», и сколько угодно маленьких, незаметных трагикомедий («Закон»), а то и трагедий, которые под стать болезненным ситуациям многих позднейших драм О'Нила. Они и по форме скорее драматические сцены в стихах.

Сквозь эпически описательную обыденность проступает у Фроста сознание неблагополучия окружающего, нарастает отталкивание от давящей действительности, все учащаются попытки заслониться от нее то умиротворенной лирикой, то одинокими стоическими раздумьями, но на поверку

идиллия то и дело оказывается трагичной, уход от действительности заводит в тупик, и все больше прорывается у Фроста горьких пессимистических ноток.

У очень сумрачного английского писателя Томаса Гарди есть книга, названная «Насмешки жизни». В стихах мягкого Фроста налицо правда жизни, но как она бывает иной раз безжалостна и жестока. В основе многих его драматических сюжетов — проклятие чувства собственничества, разъединяющее людей, породившее хуторской уклад с его гнетущим одиночеством. Все тут *мое:* мой дом, мой луг, моя ограда, мой цепной пес, даже мои могилы на собственном кладбище, тут же на дворе моей фермы. Эти могилы еще усугубляют одиночество живых, мертвые гнетут все живое. Такая домашняя могила единственного ребенка доводит до исступления мать, которая не хочет слушать никаких утешений: «Молчи! Молчи! Молчи! Молчи!» — и готова бросить все и бежать куда глаза глядят («Домашняя могила»).

Фрост вовсе не хочет сгущать краски. Но когда он пишет о сердобольной фермерше, приютившей старого батрака, который перед смертью приплелся в дом своих прежних хозяев, то и эта фермерша, говоря об умирающем, не находит другого сравнения как «приблудившаяся собака». Пожалуй, и правда, лучше для старика умереть незаметно на койке, а не под забором, куда его, наверно, вышвырнул бы в конце концов фермер Уоррен («Смерть батрака»). Фрост конечно понимает истоки этой отчужденности, этой черствости. Недаром он так подчеркивает то, как отзывается собственник на малейшую угрозу для своего кармана, как не останавливается ни перед чем нынешний хозяин при малейшем притязании на свое право и место в жизни у тех, кто этих прав так или иначе лишен. Фрост показывает, что это чувство собственника нарастает, как снежный ком, и способно обрушиться лавиной на голову даже мнимого соперника. Жесткость Уоррена превращается тогда в жестокость мельника Если вслушаться в сдержанный лаконизм стихотворения «Последний индеец», то ощутишь вековую, подспудную трагедию взаимоотношений изначальных хозяев американской земли — индейцев и нынешнего ее владельца — мельника, не терпящего ни малейшего напоминания о том, что он пришел сюда не первым. Уже с давних пор у американских расистов в ходу циничная поговорка: «Хороший индеец — мертвый индеец», и мельник руководствуется ею.

Джон в Эктоне последний был индеец.
Последний. И на это улыбался
Наш мельник. (Если можно называть
Улыбкой эту жуткую ухмылку.)
Он не давал над Джоном издеваться
И хмурился, как бы хотел сказать:
«Не суйтесь — это взял я на себя
И баста! Не к чему тут зубоскалить.
Коль взялся я, так будет все как надо».
Взглянуть кто может мельника глазами?
Тогда ведь надо было б самому
Побыть в их шкуре и решать вопрос
О том, когда и почему возникла
Глухая неприязнь и в чьем роду.

Как ребенок, Джон засмеялся, придя за мукою,
Впервые увидел тяжелый он пляшущий жернов.
А мельнику ухо резнул неожиданный возглас
Того, кому здесь шуметь совсем не пристало.
«А ну, Джон,— сказал он,— погляди-ка сюда, в эту яму»
И Джона повел по шатучим мосткам водослива
К трапу в полу... и прямо в бурлящую воду.
Где струи бьются об стенки как бьются хвостами
Лососъ, осетр в водовороте порогов.
Стукнула крышка, и звякнуло резко кольцо,
Заглушив на мгновенье привычный, неслышимый грохот.
Мельник поднялся наверх, и опять ухмыльнулся.
И что-то сказал батраку, чего тот не расслышал,
Чего тот не понял тогда, чему не поверил.

Увидел Джон, что значит колесо.

В стихах Фроста это не единственное описание трагедий повседневности. Жизнь в окружении таких мельников не сулит ничего хорошего. Борясь с ними уже тем, что он их показывает, Фрост не переоценивает вероятности успеха и вырабатывает в себе стоическое приятие сущего.

Пусть ночь темна, что ждет в грядущем,
Но мой ответ на это, будь что будет

Он распространяет такое отношение на весь мир.

Одни огня пророчат пасть.
Другие льда покров.
Я ко всему готов
Поскольку мне знакома страсть
Я предпочту в огне пропасть.
Но если миру суждено
Два раза смерть принять,
То ненависти лед давно
Нам довелось узнать.
И, в сущности, не все ль равно,
Как пропадать.

(«Огонь и лед»)

Задумываясь о конце сущего, он дает своеобразную космогонию страстей, одинаково гибельных, все равно, будь то испепеляющая любовь или леденящая ненависть. Стихотворение это нельзя восприни-

мать слишком буквально. В общем контексте жизнелюбивого творчества Фроста совершенно ясно, что если все равно, *как* пропадать, то вовсе не все равно, жить или умереть, и вовсе не все равно, *как* жить.

■

Сам Фрост признает, что в юности он не вступил на проторенную дорогу. Уже тогда он думал о поэзии, посещал университет, занимался философией, но стал скромным сельским учителем и фермером, и труд землепашца наполнил его стихи конкретным содержанием.

Зимой к вечеру, уходя на покой,
Вспоминаю про сад свой под снегом
порой.
О, как беззащитен он там на юру!
Каким я увижу его поутру?
Все новые беды в саду, что ни день:
То вкусные почки скусит олень,
То заяц обгложет его по весне.
То гусениц надо выкуривать мне.
(Когда бы гостей всех к ограде созвать
И палкою вместо ружья наказать!)
А засуха летом, а грозы и зной,
А зимние ветры: их ярость и вой,
И ветви ломающий лед или снег!
— Чем можешь помочь ты мне, человек?
— От зноя — отвел тебе северный склон.
От зверя — ограду возвел с трех сторон.
Бог в помощь, мой сад! Хоть мороз,
а держись!
Жары пятьдесят не страшней ли, чем
вниз
На столько ж к рассвету упавшая ртуть?
На время оставлю я сад, чтоб взглянуть
На клены, березы и на дубы:
Нет вольных деревьев тех горше судьбы:
По склонам лесистых приветливых гор
Стучит, не смолкая, несносный топор.
А я? Что же, ночью, проснувшись в мороз,
Я вспомню, как много он горя принес,
Как в пятки уходят сердца у дерев,
И некому кучи разжечь в подогрев
У деревьев, я знаю, так много тревог —
Но должен помочь им хоть чем нибудь бог.
(«Держись до утра».)

При этом нелюдимый по натуре, он избрал свой уединенный путь, на котором достиг многого.

Развилок двух лесных дорог
(Как не хотелось выбирать!),
Когда б обеими я мог
В едином лике в тот же срок
Неразделенный путь свершать.

Поколебавшись, я пошел
По приглянувшейся тропе
Ее заброшенной я счел,
Но хоть слегка я и робел,
Тот путь все к той же цели вел.

Тропа нехоженой была
(Как и другая, признаюсь!),
Но раз меня она звала,
Мне легче показался груз,
И меньше ждал на ней я зла.

Теперь признаюсь и в другом
(Раз уж с тех пор прошли года!)
Прийти я мог бы раньше в дом
По первой идя, прямиком,
Но глуше путь искал тогда

В том вся и разница была
(Теперь с тех пор прошли года!)
(«Нехоженая тропа»)

Но вполне ли удовлетворен этим уединенным путем сам поэт, который глубоко осознает внутреннюю связь всех людей и восхищается их мужеством; самый голос и интонацию которого не узнать, когда он позволяет себе говорить о неустанной и упорной борьбе человека со стихией, с волнами моря и песчаными волнами суши

Морские волны зелены,
Но где мы бьемся с ними,
Волнам природой велено
Стать бурыми, сухими.

И море стало сушею,
Что нас встречает воплями:
— Ведь тут песком задушены
Те, кто там не потоплены.

И с бухтами и мысами
Волны расправляются,
Но сладить им немыслимо
С тем, кто там годы мается.

И, откупившись баркою
(Отдать готов и хижину!),
Он, сети ставя, гаркает
— Сойдет и без недвижимой!
(«На дюнах»)

Когда вслушиваешься в задорный, размашистый ритм этого стихотворения — ушам не веришь, какой уж тут тишайший Фрост!

Неискоренимый оптимизм Фроста сказывается и в малом и в большом. При виде истлевающей в осеннем лесу кладки дров у пессимиста, естественно, могла бы возникнуть мысль, что человек, сложивший эти дрова, сам сложил голову и, может быть, тоже истлел. А вот что думает Фрост: должно быть, этот дровосек поглощен все новыми делами, коль мог забыть про дело своих рук («Поленница дров»).

Неиссякаемая воля к жизни сказалась в стихотворении почти 70-летнего Фроста «Бойди»:

Подошел я к опушке лесной
Тише, сердце,— внемли!
Тут светло, а там в глубине —
Словно весь мрак земли

Слишком темно там для птицы,
Еще рано туда ей лететь,
Примащиваясь на ночлег,—
Ведь она еще может петь.

Яркий закат заронил
Песню дрозду в грудь.
Солнца хватит, чтоб спеть еще раз,
Только надо поглубже вздохнуть.

Спел и в потемки впорхнул.
В темной тиши лесной
Слышится песнь вдалеке,
Словно призыв на покой.

Нет, не войду я туда,
Звезд подожду я тут.
Даже если б позвали меня,
А меня еще не зовут

За простыми образами темного леса и поющих птиц явственно ощущаешь образ старости, еще не допевшей своей песни и не желающей войти туда, в вечный покой, до

положенного срока и без обязательного для каждого из нас зова.

Фрост перепробовал много профессий, но всегда оставался поэтом — он не мог не писать. Он твердо убежден, что «поэзия — это то, что дает нам силу всегда и вовеки. Поэзия — это то, чем вечно молод мир».

Фрост — поэт-реалист. Он знает, о чем пишет. В его стихах «ничего, кроме правды», если даже не всей правды жизни. Его реализм, по его собственному выражению,— «картофельный реализм». «Есть два типа реалистов,— говорит он,— одни преподносят целый ком грязи вместе с картофелиной, чтобы показать, что это настоящая картофелина. Другие согласны, чтобы картофель был очищен от грязи... Я склоняюсь ко второму типу... Для меня роль искусства в том, чтобы очищать реальность и облекать ее в форму искусства» Действительно, иногда он поэт-бытовик, но не писатель-натуралист. Он избегает локальной экзотики, диалектизмов и других натуралистических деталей.

Он стремится освободить свои образы и язык от высокопарности, риторики, книжной условной красивости, он хочет вернуть ему естественную выразительность и простоту народной речи Фрост в своих более объемистых по размеру стихотворениях иногда бывал многословным и мог показаться даже утомительным, но в лучших своих вещах он скуп на слова и, чем растолковывать, предпочитает не договорить.

Мастерство Фроста — чуждое эффектов, спокойное, уверенное, ненавязчивое мастерство, в котором чувство обрело мысль, а мысль—нужное слово. Гармоничная ясность его творчества уже при жизни обеспечила ему репутацию классика, но он в то же время последний в ряду своих предшественников. Последователей Фроста в современной американской поэзии что-то не видно.

Поэтические раздумья Фроста охватывают широкий круг тем и вопросов Но ему свойственна известная узость цели. Так, он выступает за обновление поэтического слова и творческого выражения жизни, но не способен призывать к обновлению самой жизни. Однако это отсутствие боевого темперамента не исключает у Фроста широты взглядов, он способен без предрассудков, по справедливости и по заслугам оценить дела тех американцев, кто стремится своими героическими усилиями обеспечить достойную жизнь простым людям Америки. В частности, в его кабинете висит портрет Джона Рида.

Фросту перевалило уже за 88. С тех пор как он написал стихотворение «Войди», прошло более двадцати лет, а его еще, к счастью, не позвали войти в темный лес, и он способен еще с усмешкой говорить в одном из недавних своих стихотворений «В путь»:

Я ухожу
В пустой простор,
Нет багажу,
И обувь впору.
В путь! Не страшась
Друзей вспугнуть:
Ведь, нагрузясь,
Легли соснуть.
Не прогнан я
От райских врат,
Не ждет меня
Кромешный ад
Не верю в миф!
А слышу зов —
Влечет мотив
Простых стихов
«В путь поутру!»
А коль во тьме
Не по нутру
Придется мне,—
Зрелей чем был,
Вернусь тотчас
С тем, что раскрыл
Мне смертный час.

Роберт Фрост прожил долгую и плодотворную жизнь, прожил последовательно и прямодушно, и можно согласиться с тем, что он сказал о себе:

И те, кто знал меня, найдут меня все тем же,
Лишь укрепленным в том что правдой я считал.

Как старый дуб, Фрост бывает временами неказист но неизменно крепок. Как и тот, корнями он глубоко уходит в землю и широко раскинул свою крону. Стойко он переносит бури и непогоду и вплоть до глубокой старости каждый год зеленеет молодыми побегами. Он стоит один, поодаль от опушки, над еще низкой порослью, и ничто не заслоняет ни его зимней невзрачности, ни его весеннего убора.

Как и Сэндберг, Роберт Фрост несомненно гуманист, хотя, в отличие от воинствующего, темпераментного Сэндберга, гуманизм Фроста носит несколько абстрактный, философский, «общечеловеческий» характер Но обоих патриархов американской поэзии роднит общая для них любовь к человеку.

МАРТИН ДИАС

МОЛОДАЯ ИСПАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести».

Герцен

I

В предисловии к сборнику работ Ленина о литературе и искусстве Жан Фревиль говорит, что в течение XIX века, «несмотря на гнет цензуры и всевозможные гонения, русская литература находилась в авангарде борьбы против самодержавия и мракобесия. Прогрессивные писатели России, одушевленные сознанием своего общественного долга, стали рупором закабаленного и бесправного народа. В течение долгого периода русской истории литература... оставалась единственным средством протеста против несправедливости и существующего порядка, единственным выразителем свободолюбивых стремлений народа». Слова, предпосланные моей статье, принадлежат Герцену, основавшему в ту пору русскую вольную прессу за границей.

Не находим ли мы подобные черты в испанской литературе после гражданской войны, и в особенности самых последних лет?

II

Когда кончилась гражданская война и дело испанской революции временно потерпело поражение, когда вожди пролетариата и крестьянства были уничтожены, а большая часть передовой интеллигенции ушла в изгнание,— фашисты взяли в свои руки университеты и научно-литературные общества страны, газеты и журналы, ввели жесточайшую цензуру и решили, что прогрессивные тенденции духовной жизни Испании истреблены навсегда. Если обратиться к книгам и журналам, изданным в первые после гражданской войны годы, то уже из самого беглого знакомства с темами и их освещением можно увидеть, что духовная жизнь страны была отброшена вспять даже не на десятилетия, а на целые века. Это был в самом буквальном смысле возврат к идеям и темам средневековья и эпохи империи.

Фашисты надеялись, что им удастся подавить любые проявления демократической мысли и прогрессивно-революционной деятельности; многие представители либеральной интеллигенции, находясь в эмиграции, также поверили в это, ибо считали, что, покинув родину, они унесли с собой — до своего триумфального возвращения, то есть до того дня, когда «принципы западной демократии» вновь восторжествуют в Испа-

нии,— всякую возможность духовного возрождения страны; и ныне, спустя двадцать два года, они в своем высокомерии все еще отказываются поверить в духовное пробуждение Испании, которое происходит, несмотря на железные оковы диктатуры, и возможность которого они не сумели предвидеть.

Либералы — как и фашисты — забыли, хотя и по другой причине, что народ, если только он не истреблен физически, нельзя уничтожить; ибо как бы ни был он угнетен тяжкими условиями жизни, настанет момент, когда в силу исторических причин он возрождается для борьбы за свою независимость и свободу; и тогда он выдвигает и политических деятелей и интеллигенцию, способных возглавить борьбу за достижение общенациональных целей, борьбу против контрреволюции.

Мы говорили выше, что в первые годы после гражданской войны Испания в области духовной жизни оказалась отброшенной далеко назад, к темам, связанным с религией и прославлением былого величия империи. Однако уже в первое послевоенное десятилетие в произведениях ряда поэтов и прозаиков стали проскальзывать настроения и реальные факты из жизни страны, не предусмотренные теми, кто в опьянении успехом твердо рассчитывал на «тысячелетний мир» (для себя, разумеется!), подобный тому, который Гитлер сулил всему свету.

То, что в первые десять лет было лишь крохотным ростком обновления в литературе, принесло свои плоды в следующем десятилетии со вступлением в жизнь нового поколения, не принимавшего личного участия в гражданской войне. Теперь эта молодежь направила все свои способности на решительный протест против существующего режима. Она проявила глубокое (хотя иной раз завуалированное в силу обстоятельств) стремление к демократизации режима, к социальной справедливости и свободе и, следовательно, готовность к революционным действиям.

Нельзя не сказать о том, что некоторые поэты (в большей степени, чем прозаики), принадлежащие к поколению, пережившему гражданскую войну, еще в сороковые годы выражали тревогу за молодое поколение, пытались наметить для него пути. Среди них выделяются Габриэль Селайя и Викториано Кремер. А вслед за ними на пороге следующего десятилетия возникли новые имена — Блас де Отеро и Эухенио де Нора; они стали связующим звеном между поэтами старого поколения и тем поколением, которое вскоре должно было появиться.

Романист Камило Хосе Села, автор книг «Семья Паскуаля Дуарте» и «Улей», и драматург Антонио Буэро Вальехо, менее радикальные по своим взглядам, также внесли вклад в дело становления новой прозы и нового театра, не столь богатого именами и удачами, но не менее боевого по духу.

Пятидесятые годы выдвинули целую плеяду литераторов, которые называют себя реалистами. За какие-нибудь семь-восемь лет они придали испанской литературе однородный тон, ибо для произведений всех этих писателей, несмотря на их явные различия, характерны одинаковые или сходные литературные концепции и уж во всяком случае одинаково горячее стремление к демократизации страны и откровенно оппозиционное отношение к франкистской диктатуре.

В творчестве поэтов, романистов и драматургов этого поколения утверждается материалистический взгляд на историю, утверждается реализм. Следует ли называть это направление социально-реалистической литературой или социалистическим реализмом? Лучше пока воздержимся от поспешных оценок и попробуем лишь установить, насколько далеко расходятся отдельные его течения в зависимости от того, как тот или иной писатель решает для себя основные проблемы, стоящие перед ним.

III

Историческая обстановка, в которой развивается художественная и критическая литература в Испании, чрезвычайно тяжела, и поэтому, нам кажется, сейчас трудно и преждевременно пытаться делать какие бы то ни было обобщения.

Прежде всего писатели реалистического направления, о которых идет речь, молоды, они создали еще мало произведений, и выносить о них окончательное суждение рано. Во-вторых, в Испании в условиях цензурного гнета проблемы реализма не могли открыто ставиться и обсуждаться, хотя в этом отношении уже были предприняты некоторые попытки.

Следует также отметить, что некоторые

из ранних произведений реалистического направления представляются противоречивыми и далекими от цельности (таковы, например, первые книги Хуана Гойтисоло или первые пьесы Альфонсо Састрэ; в большинстве случаев это объясняется незрелостью авторов, не видевших еще тогда в реализме главное направление литературы).

Итак, рассмотрим различные течения в общем потоке молодой испанской литературы, заявляющей о своей принадлежности к реализму.

Прежде всего мы хотели бы сказать, что некоторые произведения — независимо от их художественных достоинств — отмечены двойственностью, возникающей не из-за отсутствия у их авторов политической сознательности (ведь речь идет о писателях-антифашистах), сколько из-за недостаточно глубокого проникновения в основы реализма, из-за недостаточного знания всех противоречий в области политики, экономики, общественной жизни и эстетики. Сошлемся в этой связи на некоторые романы Аны Марии Матуте и Игнасио Альдекоа и ряд стихотворений Клаудио Родригеса и Анхела Креспо, упомянув, таким образом, лишь широко известные в литературе и уважаемые в интеллектуальном мире имена.

С другой стороны, мы встречаемся с произведениями схематичными и в идеологическом и в художественном отношении; их примитивность обусловлена концепцией, согласно которой литература — лишь политическое и социальное явление, и существование литературы оправдывается только ее политической целесообразностью. Согласно этим взглядам, достойно внимания лишь то произведение, которое прямо или косвенно выполняет некоторую дидактическую задачу. Так, например, «Пикет» Антонио Ферреса не просто роман, здесь рассматривается определенное социальное явление — городские трущобы; стихотворение Хесуса Лопеса Пачеко «Руку держу на пульсе Испании» тоже представляет собой анализ одной из конкретных внутриполитических проблем страны, выполненный в стихотворной форме. Эта тенденция сродни популизму, еще более опасному явлению, которое, если взглянуть на него с историко-диалектической точки зрения, угрожает реализму. Здесь не место заниматься критикой популизма, однако нам трудно не вспомнить слова Брехта о путях реалистической литературы: «История бесчисленных фальсификаций понятия *народности* — это длительная, запутанная история, это своего рода история классовой борьбы. Не станем здесь углубляться, но будем помнить об этих фальсификациях, говоря о том, что нам нужно народное искусство. Под народным искусством мы понимаем искусство для широких народных масс, для тех многих, которых угнетают немногие ( ), для массы производителей, которые так долго служили объектом политики и наконец должны стать ее субъектом. Мы не забудем, что государственные институты долгое время задерживали развитие этого народа, сковывая его искусственно или насильственно всякими условностями, что понятие *народности* упорно превращали во внеисторический, застывший, не способный к развитию штамп. С такой редакцией этого понятия у нас не может быть ничего общего, вернее сказать, мы должны бороться с таким пониманием *народности*».

Наряду с отмеченными выше тенденциями — антиисторической и противоречивой, с одной стороны, популистской и упрощенно-дидактической, с другой,— развиваются другие направления, которые мы попытаемся вкратце охарактеризовать.

Одно из них тяготеет к великим традициям европейского *критического реализма*, но в нашей стране писатели этого направления сделали еще очень мало. Сюда относится большая часть поздних произведений Хуана Гойтисоло от «Прибоя» до «Хроники одного острова», «Новые друзья» и «Летняя гроза» Хуана Гарсии Ортелано, сатирические стихи Хосе Аугустино Гойтисоло «Навстречу ветру» и ряд стихов Хаиме Хиль де Биедма, Анхела Гонсалеса, Хосе Анхела Валенте и Карлоса Барраля.

Ряд произведений, весьма близких предыдущему направлению, но отличающихся от него стремлением к историзму и большей целостности как в области формы, так и содержания, могут быть объединены в группу, которую мы назвали бы *историческим реализмом*. К ним относятся: «Эль харама» Рафаэля Санчеса Ферлосио, «Бритая голова» Хесуса Фернандеса Сантоса, «Предместья» Луиса Гойтисоло и последние поэмы Хаиме Хиля де Биедма — «Четыре назидательные поэмы».

Выделим также ряд произведений, близких по своей направленности и художественной манере социалистическому реализму: «Шахта» Армандо Лопеса Салинаса, «Электроцентраль» Хесуса Лопеса Пачеко и одну из самых удачных пьес Альфонсо Састрэ «В сетях».

Как мы указывали выше, сейчас еще рано судить о самом молодом поколении испанских писателей. Столь же предварительна и та условная классификация, которую мы только что привели. К этому хочется добавить, что пути реализма широки и богаты возможностями и что он объединяет большую часть всех этих тенденций. Здесь мне снова хочется сослаться на слова Брехта: «Убедившись, сколь многообразны методы описания действительности,— говорит он,— мы придем к выводу, что проблема реализма — это не проблема формы Самое опасное при выдвижении формальных критериев — выдвинуть их слишком мало. Опасно связывать великое понятие *реализма* с двумя-тремя именами, как бы знамениты они ни были, и провозглашать два-три формальных приема, как бы полезны они ни были, единственным и непогрешимым творческим методом. Выбор литературной формы диктуется самой действительностью, а не эстетикой, в том числе и не эстетикой реализма. Есть много способов сказать правду и много способов утаить ее. Наша эстетика, как и наша мораль, определяется требованиями нашей борьбы».

IV

Перефразируя слова Брехта, мы можем сказать, что молодые испанские писатели выводят свои творческие принципы из потребностей борьбы с фашизмом. Реализм их эстетики обусловлен реальностью их борьбы, и в этом — залог жизненности этой эстетики. Вот почему глубоко неправы те, кто склонен видеть в ней лишь желание приобрести литературную известность за рубежом, где испанские эмигранты со времени нашего тяжкого поражения в гражданской войне с таким вниманием и жадным интересом прислушиваются ко всему, что свидетельствует об антифашистском движении в Испании

Возникшая и сформировавшаяся в борьбе молодая испанская литература с первых своих шагов предстает как непокорная, антиконформистская литература, верная своему боевому духу. Появляются новые имена, выходят в свет новые произведения, расширяется кругозор молодых писателей, их оценка политической ситуации в стране становится все более правильной, они видят теперь, что не одни поднимают голос протеста, что в своей борьбе идут вместе с пролетариатом, истинным авангардом антифашистского движения. Они все больше проникаются чувством моральной ответственности перед народом, ибо, *сознательно* вступая на путь общей борьбы, становятся (по выражению Герцена) трибунами народа, порабощенного и лишенного общественной свободы

В целом молодая испанская литература осознает свой долг и всю важность своих задач Пусть же она с честью выполнит их, преодолевая вместе с обществом повседневно возникающие трудности,— ведь одним из основных факторов, сформировавших мировоззрение молодых писателей, явилось открытие, что в мире литераторов, искони проникнутом духом индивидуализма, плодотворность искусства особенно тесно связана с чувством ответственности писателей перед пролетариатом и друг перед другом. Вот почему глубоко заблуждаются те, кто полагает, будто борьба за становление национальной реалистической литературы есть преходящая литературная мода; они поймут свою ошибку, когда с удивлением и досадой обнаружат, что подлинно национальная литература, сильная и единая при естественном многообразии стилей, занимает ведущее место в культурной жизни Испании и уверенно стремится к лучшему обществу будущего.

Р. САМАРИН

ЖАН-ЖАК РУССО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИЛИПУТА

Один из славных людей XVII века — некто д-р Лэмюэл Гулливер — вынужден был провести несколько лет в стране лилипутов, которых он шокировал как своим неприлично огромным ростом, так и своими воззрениями Конечно, читатель помнит, как лилипутские ученые мужи и государственные деятели поучали бедного доктора правилам поведения в Лилипутии и кое за что снисходительно одобряли его, признавая, однако, что к уровню подлинно лилипутской жизненной и политической мудрости корабельному врачу Гулливеру никогда не приблизиться...

Об этом я вспомнил, читая в парижском еженедельнике «Ар» довольно развязную статейку г-на Жилля Делёза, которая называется «Жан-Жак Руссо — предшественник Кафки, Селина и Понжа». Как, спросят меня, г-н Делёз всерьез утверждает, что может существовать и такая точка зрения на Руссо? Да, как видите.

Жилля Делёза нельзя упрекнуть во враждебном отношении к великому французскому писателю. Нет, принеся лесенку и по ней взобравшись повыше, Делёз поощрительно похлопывает Руссо по плечу: «Вы были добрый малый, Жан-Жак, и хотя, конечно, вам далеко до нас, но все же перечитывать вас небезынтересно».

Согласимся с Делёзом, что читать Руссо полезно и человеку двадцатого столетия Отпразднованная в конце июня двухсотпятидесятая годовщина со дня рождения Руссо дала повод к тому, чтобы вновь ощутить величие его художественного гения, смелость его философской мысли, остроту его диалектики, резкость и прямоту его политических суждений. Конечно, в эти дни мы еще раз ощутили и трагедию великого художника и мыслителя, его противоречивость, о которой он сам так много и искренне говорил. Гневный голос Руссо, звавший человечество к борьбе за справедливое социальное устройство, и на этот раз — в середине двадцатого века — прозвучал как голос титана, предвидевшего близость гигантских исторических битв, разгоревшихся вскоре после его смерти и преобразовавших мир. Руссо был одним из тех гениев, чья деятельность подготовила французскую буржуазную революцию; но тем больше чувствуешь значение этого пророка близящейся революции, когда убеждаешься, что и сегодня его пламенные слова, его неотразимая логика служат человечеству.

Не это увлекло в Руссо г-на Делёза. Он принадлежит к числу тех критиков, которые прежде всего ищут в писателе-классике плоских параллелей с современностью и находят их вовсе не потому, что параллели действительно существуют, а потому, что нужные этим критикам параллели навязываются читателю, конструируются посредством более или менее ловких спекуляций понятиями и словами.

Так, например, читая Жан-Жака Руссо, г-н Делёз вспоминает Кафку.

Кафка, австрийский писатель нашего века, почти не известный при жизни, был широко разрекламирован модернистской критикой вскоре после окончания второй мировой войны. Его странные повести и романы — причудливое, ирреальное изображение уродливой австрийской действительности. Сквозь их сложную, подчас очень запутанную художественную ткань просвечивают мучительные психологические ситуации, отвратительные образы мещанского мира, бесчеловечие и жестокость буржуазного общества XX века; в его условиях мучился Кафка, против них он протестовал

Существуют различные мнения о Руссо, но что общего между ним и Кафкой — несчастным талантливым безумцем, отравленным спертой атмосферой гнилой двуединой монархии, пражского гетто, мещанской семьи, ставшей для него неким микрокосмом несправедливостей, царящих во всем огромном мире? Делёз утверждает, что у Руссо и у Кафки есть некая общая комическая сторона: оба они — сатирики, хотя, быть может, и сами того не понимают; оба они — борцы против «конформизма».

О да, Руссо боролся против того «конформизма», который был присущ людям, заключавшим сделку с совестью и с французским «старым режимом». Разрушительная критика Руссо была направлена против оплотов старого французского общества. Однако в каких формах шла борьба Руссо против трусливых приверженцев старого общественного строя, какие разнообразные и могучие чувства будила она в читателях — и не только в эпоху Руссо, но и позже! И можно ли считать, что г-н Делёз прав, когда он заявляет, что выдуманное им «правило» — «Кафкой восхищаешься лишь тогда, когда смеешься, читая его» — применимо к «Новой Элоизе», «Эмилю» или «Исповеди» Руссо? Конечно, каждое столетие, даже каждая эпоха внутри одного столетия находит в великом художнике и мыслителе прошлого что-то новое. Но что выискал в Руссо г-н Делёз?

Французский писатель Луи Селин, автор известной своим цинизмом книги «Путешествие на край ночи», в дальнейшем прислуживавшийся к профашистским кругам во Франции и в их интересах написавший зловонную книжонку «Мелочи для погрома», появляется в том разделе статьи г-на Делёза, который высокопарно называется «Материализм мудреца».

Но при чем же здесь Селин? Бездельник и сноб Бардамю, герой его книги, может считаться материалистом разве только в том смысле, что он продает себя за любую валюту, а если ее нет — то и за любые материальные блага, поставляемые ему, главным образом, сердобольными дамами. Болтаясь по Европе и США, Бардамю якобы изучает «мир меж двух войн»... К этому и сводится содержание книги Селина. Сложный и увлекательнейший для серьезного изучения вопрос о материалистической линии философии Руссо г-н Делёз не очень ловко сводит к мысли о том, что Руссо — один из величайших эгоистов своего времени «Материализм» Руссо, оказывается, кроме того, выражается в том, что в жизни Руссо огромную роль играло... состояние его организма. Подтасовывая тексты Руссо, г-н Делёз уверяет читателя, будто Руссо «сам объясняет, что болезнь мочевого пузыря явилась главным фактором в его великой моральной реформе»... Г-н Делёз уверяет, будто «Руссо рассказывает о своих ушных заболеваниях с таким же юмором, какой позднее был присущ Селину». Селину был присущ юмор висельника, циническая ухмылка над всем, что свято для людей. Как надо низко пасть, чтобы утверждать, что «юмор Руссо» то же, что и «юмор Селина»!

Истолковав Руссо как юмориста, предшествующего в развитии французской литературы Селину, г-н Делёз далее сообщает, что юморист и эксцентрик Руссо отличался огромным «вкусом к вещам». Самое возникновение «Общественного договора» Делёз объясняет как результат стараний Руссо «восстановить естественные связи с вещами». «Подлинное педагогическое исправление человека,— восклицает Делёз, развивая свою мысль и втягивая в ее омут «Эмиля»,— заключается в том, чтобы подчинить отношения между людьми отношениям человека к вещам». Вот, оказывается, что заботило Руссо главным образом, когда он писал свои трактаты о собственности и об идеальном социальном строе! Я думаю, что туманные словеса г-на Делёза о «людях» и «вещах» играют роль дымовой завесы, при помощи которой автор пытается

Р. САМАРИН
ЖАН-ЖАК РУССО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИЛИПУТА

закрыть беспощадно острое содержание критики Руссо, направленной против собственничества

Сообщив это наблюдение, Делёз в скобках делает забавный фортель: в исследованиях Франсиса Понжа, добавляет он, есть «что-то от Руссо».

Позвольте, но что такое это элегантное «что-то», связывающее французского автора нашего столетия, склонного пофилософствовать, с Руссо? Делёз не счел нужным уточнить свое замечание...

Впрочем, г-ну Делёзу трудно уточнить, в чем именно видит он сходство между Руссо и Понжем — современным поэтом, близким к сюрреализму, и автором ряда философских работ, в которых ничто не предвещает возможность сравнения с философией Руссо.

Есть и еще одно сравнение, не упомянутое в заголовке статьи: кроме Кафки, Селина и Понжа, Руссо напоминает Делёзу Канта тем, что оба они чудаки. На эту мысль его наводит английский романтик Т. де Квинси, автор известного эссе «Последние дни Эммануила Канта». Великий мыслитель изображен де Квинси как некий гофмановский персонаж, печальный и трагический гротеск. Видимо, редакция «Ар» решила, что Кант — не столь лестное соседство для Руссо, как Кафка, Селин и Понж.

Но хватит смеяться по поводу статейки Делёза. «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»... Добавим — и гнусно. Гнусно, потому что нельзя ввязывать в статью о Руссо сравнение с фашистским писакой, с одной из самых смрадных фигур французской литературы середины XX века Гнусно, потому что разговор о больном мочевом пузыре и больных ушах Руссо выдается за компетентное мнение молодого и многообещающего философа, как аттестован Делёз редакцией «Ар». Гнусно, потому что великая национальная традиция французского народа, усвоенная затем всем человечеством, становится предметом безответственной болтовни Это и есть уровень сознания г-на Делёза и его покровителей, почтивших память Руссо статейкой, где великий писатель вновь — и в который раз — объявлен чудаком, лицемером и эгоцентриком.

Статья Делёза заканчивается оброненным вскользь замечанием о пользе чтения «Общественного договора». Да, это — полезное чтение. Но не менее полезно читать и другие сочинения Руссо, в частности, те, в которых он говорит о своих многочисленных врагах, клеветавших на него и нередко при этом выдававших себя за его друзей — точь-в-точь как это делает г-н Делёз.

Конечно, при этом возникает вопрос: кому же нужно подобное разглагольствование о Руссо? Г-ну Делёзу? Возможно. Но не только ему и не ему в первую очередь. Такие статейки, «подтягивающие» великих демократов прошлого к «современному уровню», нужны хозяевам того самого общества, пороки и мерзости которого обличал Руссо — и с такой силой, что даже в наши дни кое-кто пытается превратить великого женевца в смешного себялюбца, в желчного больного человека, истолковать его великие мысли, как смесь патологии и чесбыточных фантазий.

Так выглядит великий человек Руссо в изображении лилипута, считающего себя наследником и интерпретатором его идей.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

В огне великой освободительной войны алжирского народа родились сотни и тысячи героев, окрепло новое, национальное самосознание, высвободились могучие творческие силы, которые долгие годы томились под игом колониализма. В этом горниле создается и новая культура. Ее ростки, ее первые побеги, предвестники будущего расцвета в условиях свободного, независимого Алжира, уже дают о себе знать, и вопрос о путях ее развития горячо волнует передовую алжирскую интеллигенцию. Перед новой культурой открываются широкие горизонты, но на пути ее развития встают и немалые трудности.

В статье «**Революционная культура и революция**», опубликованной во французском ежемесячнике **«Нувель критик»**, алжирский литератор **Мохаммед Надир** выражает твердую уверенность: у новой алжирской культуры есть все предпосылки для того, чтобы в самом недалеком будущем преодолеть долгий застой и отсталость, обусловленные колониальным положением Алжира, и стать высокоразвитой и в полном смысле современной культурой. Об основных чертах сегодняшней алжирской культуры и искусства, о ближайших перспективах и наиболее актуальных для них проблемах он и рассказывает в этой статье.

«Самой знаменательной особенностью новой алжирской литературы,— пишет Надир,— является то, что ее страницы заполнили образы простых людей. В прозе ли, в поэзии, в романе или драме — главным действующим лицом неизменно выступает народ.

Нельзя не заметить того, как возвысился за последнее время простой человек в глазах алжирской интеллигенции,— он стал в полном смысле слова ее совестью. Поэтому и любое произведение, оторванное от жизни народа, обречено в наши дни быть мертворожденным. Сегодня алжирский писатель может черпать истинное вдохновение только в народе».

Алжирская литература и раньше была очень чуткой к страданиям народа. Но в настоящее время, подчеркивает Надир, одного этого мало: народ Алжира — уже не тот забитый народ, каким он был прежде, и современный алжирский писатель, который видит в людях из народа только «страдающих братьев», отстает от времени, не понимает его духа.

«Национальная революция, знаменующая собой переход от словопрений к разрешению политических споров в схватке с оружием в руках, подняла народное самосознание на небывалую высоту; открытая борьба с колониализмом помогла народу осознать свое единство.

Это новое положение вещей особым образом выражается в характерной для каждого алжирца готовности пожертвовать всем ради отечества...

И новую алжирскую литературу отличает, как одну из форм нашей национальной культуры, горячее стремление к утверждению новой реальности, она впитывает эту реальность в себя, осмысляет, раскрывает ее подлинное значение».

Народ, восставший против колониального ига и «отвергнувший мораль покоренных», отмечает автор статьи, разрешил стародавний спор на тему «культура и освобождение», многие годы тянувшийся между поборниками постепенных просветительных реформ и сторонниками решительной схватки с колониализмом:

«Теория, которую до самого последнего времени проповедывали так называемые «реформисты», гласила: освобождение народа возможно только на основе индивидуального воспитания и полного овладения культурой. Жизнь показала несостоятельность такого рода теорий... Приобщение к культуре еще не является национальной революцией; наоборот, национальная революция создает условия для развития национальной культуры и приобщения к ней».

Мохаммед Надир утверждает, что с помощью широкой сети школ («Свою школу в каждый дуар, в каждую общину») и таких средств, как радио, кино, телевидение, можно покончить в очень короткие сроки с «унаследованными от колониализма безграмотностью и общей культурной отсталостью».

Однако если вопрос о распространении и внедрении новой культуры может решиться только теперь, когда средства ее внедрения — в руках нации, то проблема принципов новой культуры, ее характера и структуры, отмечает Надир, встала значительно раньше, потому что «революция уже дала закваску нашей новой культуре». Так, в частности, большую актуальность приобрела проблема языка.

Дело в том, что духовная жизнь Алжира фактически поставлена в зависимость от трех языков: современного арабского, древнеарабского — это «книжный» язык корана, классической арабской поэзии и философии — и французского. И это чрезвычайно осложняет положение.

«Господствующим в нашей стране,— пишет Надир,— станет, конечно, арабский язык, на котором говорит подавляющее большинство народа. Но многие задаются вопросом, будет ли государственным языком независимого Алжира древнеарабский. Опросы среди населения, проведенные союзами работников просвещения, и весь опыт алжирского театра говорят скорее в пользу современного разговорного арабского, который для этого нужно будет предварительно упорядочить, очистить от засорений, отшлифовать.

Однако совершенно очевидно, что в будущем необходимо ввести в учебных заведениях специальный курс древнеарабского языка, без которого невозможно освоить наше великое наследие, древнюю арабскую культуру.

Что же касается французского языка, то... поскольку современная алжирская литература долгое время пользовалась этим языком и поскольку в области науки, знания он пока еще не имеет у нас эквивалентов, то, по всей видимости, французский и после освобождения все-таки сохранит для Алжира немалое значение. И разве это не явится вместе с тем замечательным примером духовного общения народов на основах интернационализма?»

В обновлении языка нуждается не только литература, но и многие другие виды алжирского искусства, самобытность которых зачастую ограничена жанровым однообразием или застывшими канонами, предписываемыми очень древней традицией.

«Что же до других видов нашего искусства, то дух старины укоренился в них весьма глубоко,— исключение составляют лишь музыка и архитектура,— и для того, чтобы в них забила ключом мысль, чтобы приблизить их к требованиям сегодняшнего дня и обновить их эстетические установки, в ряде случаев необходимо усвоить изобразительные методы, в прошлом совершенно незнакомые нашему искусству, например, живописи. Нам придется заимствовать и брать на вооружение художественные приемы иностранных художников, искусство которых наиболее современно.

Миниатюра, золотым веком которой были произведения Мохаммеда Расима и мастеров его школы, останется, конечно, и впредь классическим жанром нашего изобразительного искусства, но сегодня уже недопустимо, чтобы оно было представлено у нас только этим жанром — это шло бы вразрез с главным направлением, которого придерживаются наши молодые художники, жаждущие шире использовать изобразительные возможности живописи».

«Наша национальная самобытность упорно отстаивает себя,— пишет далее Надир.— Но значит ли все это,— продолжает он,— что наша интеллигенция и наши художники вообще не допускают мысли ни о каком иноземном влиянии на алжирскую культуру впредь? Ни в коем случае. Совсем наоборот. Ибо другой опасной крайностью, наряду с опасностью утратить национальную самобытность, которая может угрожать нашей культуре, является национальная ограниченность.

Достаточно просто воспринимать критически то, что приходит к нам извне, отделять плевелы от здоровых побегов. Но мы не можем, например, не понимать значения французских и других зарубежных писателей, в чьих произведениях воплощены идеи созидания и прогресса, которые и делают эти книги достоянием всего человечества. Для нашей интеллигенции и мастеров искусства такие произведения необходимы как стимул развития и творческого обогащения».

ПРОТИВ ТЕРРОРА И «ЧЕРНОЙ ПРОПАГАНДЫ»

Величайший медик античности Гиппократ составил и поныне еще считающееся классическим описание тех особых признаков на лице больного, которые свидетельствуют о приближении смерти, и их совокупность получила название «маски Гиппократа».

Нынешние реакционные «врачеватели» стараются натянуть некое подобие «маски Гиппократа» на живую демократическую культуру сегодняшней Греции. Газета **«Авги»** напечатала статью известного критика **Рафтопулоса «Культурная жизнь в Греции в 1961 году»** о том, как это делается. Автор с горечью пишет о потоке репрессий, обрушенных реакцией на всю прогрессивную культуру современной Греции, и

вместе с тем рассказывает о борьбе против реакции.

«Вот уже десять лет,— пишет Рафтопулос,— как нам, вместо того, чтобы идти вперед, брать новые вершины, совершенствоваться, приходится заниматься одним — защищаться от натиска сил реакции и фашистского мракобесия, посягающих на самые элементарные демократические свободы. Неофашисты поднимают голову и уже не только угрожают, но и действуют; одна за другой создаются неофашистские организации. Правительство совершает акты неслыханного произвола, каждый свободный голос у нас глушится. Помимо прямого террора, реакция прибегает и к другому испытанному средству — к заговору молчания, которым окружает прогрессивных деятелей культуры. Правительство пытается посеять рознь в наших рядах, игнорирует наши насущные нужды, отгораживает нас железным занавесом от соседних стран, от стран лагеря социализма».

При этом реакция, отмечает Рафтопулос, постаралась выдвинуть теорию, оправдывающую ее наступление на демократические свободы и придающую ему видимость борьбы за демократию:

«В этом отношении показательна позиция, которую занял бывший министр, новоявленный академик К. Цацес, когда вопрос о нарушении демократических свобод был поставлен в парламенте. Он заявил, что «демократия не может поддерживать детерминистские идеи». Так была подведена новая «теоретическая» база под государственную политику фашизма и мракобесия свобода — только тем идеям, которые соответствуют духу этой политики правительства».

В статье приводится длинный список репрессий по отношению к прогрессивным деятелям культуры и примеров дискриминации мероприятий, укрепляющих дружбу между народами, культурные связи Греции:

«В апреле вся культурная общественность была возмущена опубликованным в печати циркуляром штаба Аттики, согласно которому солдатам запрещено чтение 35 книг... Даже многие представители правых кругов высказывали по этому поводу свое порицание и сожаление. Академия же обошла этот акт молчанием, а академики, являющиеся членами кабинета министров, встали грудью за этот военный циркуляр.

Цензура запретила ввоз в Грецию пластинок с записью голоса Гагарина из космоса

Греческое правительство запретило посещение Греции Илье Эренбургу.

Пирейскому театру Рондириса было отказано в визах на поездку в Советский Союз. А между тем постановки Рондирисом древнегреческих трагедий прославили греческий театр за рубежом».

Рафтопулос рассказывает о том, как был брошен в тюрьму за свое исследование в области педагогики старейший греческий ученый Папамаворс; как художники Аргиракис и Антонакату были обвинены в том, что «во время поездки на этюды они занимались шпионажем»; как известный греческий композитор Микис Теодоракис подвергся во время гастролей по стране нападению фашистских молодчиков; как было запрещено переиздание классика новогреческой поэзии поэта-революционера Ригаса Фереоса; привлекли к суду молодого писателя А. Цакалиса; как была сорвана премьера фильма «Квартал «Мечта».

«Все эти меры, вместе взятые,— пишет автор обзора,— преследуют одну цель: уничтожить те жалкие остатки демократических свобод, что у нас еще сохранились, и расчистить путь неофашизму». И наряду со всем этим, говорится далее в статье, «нельзя не упомянуть о той «черной пропаганде», которую ведет Национальное радио, бесстыдно клевещущее на Советский Союз, нельзя не сказать о бесчисленных турне неофашистских «просветителей» по провинции, о бесчинствах фашиствующих молодчиков в университете».

Но греческая интеллигенция не покорилась, она решительно боролась против каждого акта насилия и мракобесия. Большую роль в этой борьбе сыграло и продолжает играть «Общество греческих писателей». Прогрессивные греческие писатели, среди которых прежде всего следует назвать Н. Кастагліса и С. Пласковитиса, продолжают создавать антивоенные произведения, бичуют в своем творчестве бюрократию, обличают буржуазное благомыслие.

«Даже правые круги нашей интеллигенции,— пишет Рафтопулос,— «не дали земли и воды» неофашизму.

Но можно ли довольствоваться только этим? Конечно нет. Ведь сам по себе отказ служить неофашизму — еще не борьба. К сожалению, пока не всем у нас ясно, что оставлять без ответа факты попрания человеческих прав, удушения свободы мысли, пренебрежения интересами нации — значит потворствовать уничтожению культуры».

Решающее значение в деле мобилизации всех сил для отпора наступлению реакции, подчеркивает Рафтопулос, приобретает борьба за восстановление в правах движения Национального Сопротивления периода гитлеровской оккупации.

«Бывшее долгое время под запретом, сейчас Национальное Сопротивление вновь завоевывает признание. Могучей стеной преграждает оно путь неофашизму. Кампания за «восстановление в правах Национального Сопротивления» вновь объединила ученых, писателей, художников, некогда образовавших единый

фронт борьбы против оккупантов. Это — большое начинание, которое необходимо продолжить. Национальное Сопротивление вдохновляет и старых и молодых писателей. Оно увлекает и наших кинематографистов. Это вполне понятно: ведь Сопротивление — наше богатейшее наследие, сила, способная противостоять натиску фашизма и повести нас к прогрессу. И не случайно, что и в литературе, и в других видах искусства тема Сопротивления находит достойное, высокохудожественное воплощение».

Именно поэтому, подчеркивает Рафтопулос, возрождение Сопротивления становится сегодня самой актуальной задачей всей прогрессивной интеллигенции в ее борьбе с реакцией и неофашизмом.

ПРОБЛЕМЫ «ЦЕЛЛУЛОИДНОЙ ЭКСПАНСИИ»

В наши дни слово «Голливуд» — уже не только географическое понятие. Оно стало ныне обозначением целой системы отношений, в которой, в частности, коренится и объяснение многих причин кризиса, переживаемого сейчас американской кинематографией. Американский католический журнал **«Критик»**, посвященный вопросам культуры, в статье **«Человек на раскладном стуле»** ставит вопрос о причинах резкого снижения за последнее время художественного уровня американских фильмов и о том, как разрешается сегодня в Америке проблема «режиссер и бизнес».

«Американская кинематография,— пишет автор статьи **Ричард Дюпре,**— может дать зрителям нечто гораздо более интересное, чем порнография и нескончаемые перестрелки. Однако если судить по тому, что пишется в американских газетах и журналах, то невольно придешь к мысли, что о подлинно художественном фильме сейчас и думать нечего, если его ставил режиссер родом не из Швеции, Италии, Франции, Японии, Индии или даже Аргентины.

И действительно, положа руку на сердце, приходится все-таки признать: большинство наиболее интересных и подлинно художественных картин, появлявшихся у нас на экране за последние несколько лет, были заграничными. Оказалось, деятели американского кино гораздо менее, чем их зарубежные коллеги, расположены относиться к фильму, как к произведению искусства: они учитывают при подготовке картины, что ее предстоит передать в «храм торговли», но нередко забывают об эстетических требованиях к ней. Встает вопрос: чем же это обусловлено? Или мы правда оскудели по части талантливых режиссеров и организаторов кинопроизводства? Или в самой атмосфере Америки есть нечто, в принципе противопоказанное росту и совершенствованию искусства кино?»

Дюпре отмечает, что и кинодеятели Франции, Японии, Италии наряду с выдающимися произведениями создают множество низкопробных картин. С другой стороны, на службе американских кинокомпаний находятся сейчас такие большие мастера с мировым именем, как режиссеры Джон Хьюстон, Стэнли Креймер, Джон Форд, Уильям Уайлдер, Джордж Стивенс, создающие подчас подлинные шедевры.

«Однако,— продолжает Дюпре,— в кино Франции, Японии, Италии различие между значительными по своим художественным достоинствам фильмами и «развлекательной» макулатурой совершенно очевидно. В нашей же кинематографии это различие не является столь наглядным: картины, вокруг которых у нас поднимают шумиху, преподнося их как «высшее достижение» искусства кино,— это сплошь да рядом создания с пустыми глазами, выряженные в крикащую ветошь «постановочности».

В чем же причина этого?

«В первую очередь, виной тому — деньги»,— отвечает Ричард Дюпре.

«Это становится до ужаса наглядным во множестве картин, на которые Голливуд наложил свое клеймо; нередко даже с первого взгляда очевидно, что вложенные в фильмы огромные деньги, позволяющие не скупиться на роскошные костюмы, аксессуары и массовые действа, дают возможность замаскировать убожество сюжета, бессвязность мысли».

Чем большие капиталы вкладываются в кинопромышленность, констатирует Дюпре, тем грандиозней становится оборудование студий, и это резко ограничивает режиссера, во-первых, в выборе сюжета, во-вторых, в его разработке,— рентабельными для кинопромышленности становятся только картины, требующие грандиозных съемок, мобилизующие все технические ресурсы. Таким образом, техника, оборудование начинают буквально душить в режиссере художника. И примеров тому в анналах Голливуда — множество. В двадцатые и тридцатые годы, когда в американской кинематографии работали Портер и Гриффитс, Штернберг и Штрогейм, такого положения не было. Теперь же оно давит на каждого талантливого режиссера

«За тридцать лет, прошедшие с тех пор, как эти мастера больше не работают в кино, у нас появилось довольно много способных режиссеров, и количество первоклассных картин достигает весьма значительной цифры. И, однако, мы видим, как все возрастающее совершенство техники разжижает творческие возможности режиссера. Это типично — и в силу положения вещей не может не быть типичным — и для самых способных наших режиссеров. Мы много раз видели, как сценарии с задатками вели-

кого произведения, переварившись в котле съемок, превращаются в ничтожные поделки. И как же часто талантливый режиссер, давая себе слово, что снимет два-три кассовых боевика, чтобы затем обеспечить себе возможность заняться настоящим искусством, убеждался, что стоит лишь поносить эту маску некоторое время, и она прирастает к лицу».

Ричард Дюпре совершенно прав, подчеркивая противоречие между развитием техники и художественным качеством картин, которое все более обостряется в американском кино. Нельзя, однако, согласиться с мыслью Дюпре, что объяснение этого во многом лежит в природе самой техники, в развитии которой автор поэтому усматривает некое «демоническое» начало. Это приводит Дюпре к тому, что он всю порочность системы Голливуда начинает усматривать лишь в ее коммерциализме и «технократии», почти совсем игнорируя идеологические факторы, которые он хотя вскользь и упоминает, но считает, по-видимому, моментами сугубо третьестепенными.

Если Дюпре критикует деятелей американского кино за то, что они отказываются от роли духовных наставников нации и отдают у себя в стране пальму первенства иностранцам, то **Ричард Д. Макканн** в опубликованной ежеквартальником **«Йейл ревью»** статье **«Голливуд перед лицом международной аудитории»** сетует на недостаточную гибкость Голливуда в проникновении на мировой рынок, раскрывая смысл так называемой «целлулоидной экспансии Соединенных Штатов».

«Голливуд,— пишет Макканн,— в течение долгого времени диктовал свои условия мировому рынку, а теперь, наоборот, мировой рынок все более ощутимо диктует Голливуду свои. Мировые рынки больше не являются чисто побочной статьей дополнительного дохода от картин, уже окупивших себя дома,— 50 процентов американской кинопродукции окупает себя ныне в прокате за рубежом. Общее количество кинозрителей, платящих за американские кинофильмы, составляет во всем мире, по подсчетам «Филм дейли йербук», 200 миллионов человек, из которых лишь 44 миллиона приходится на Америку».

Таким образом, значение мирового рынка для американской промышленности все возрастает, особенно потому, что собственно американский киноэкран шаг за шагом завоевывают иностранные фильмы. В то же время такие страны, как Франция, Япония, Италия, теснят США: их киноэкспорт возрастает, а «положение Америки как их конкурента клонится к закату».

Как явствует из статьи в «Йейл ревью», «процент киновремени, которое американские фильмы идут на мировом экране, из года в год падает. Американские картины все еще популярны, но если мировому кинопрокату когда-либо угрожала опасность монополизации его Голливудом, то теперь этой опасности больше нет и в помине. Десять лет назад американская кинопродукция занимала на экранах зарубежных кинотеатров от 80 до 90 процентов общего прокатного времени. Пять лет назад эта цифра снизилась до 68 процентов. Сейчас же они составляют: для Англии 60 процентов, для Италии и Аргентины 50, для Франции 35».

Стремясь сохранить хотя бы теперешнее положение на мировом рынке, говорится в статье, Голливуд считается со вкусами и требованиями этого рынка гораздо больше, чем с теми, которые регулируют кинопрокат внутри США.

Отмечая это обстоятельство, автор статьи далее с осуждением отзывается о нежелании и неумении руководителей Голливуда использовать мировой рынок в рамках этих требований для пропаганды «американского образа жизни». Напротив, типично голливудские картины, продолжает Макканн, не только не пропагандируют Америку, но внушают другим народам искаженные представления об американском национальном характере. Ведь этот характер «представлен» Голливудом либо в картинах, отличающихся лишь «приятностью и легкостью», либо в насыщенных патологическими извращениями сексуальных кинодрамах, либо, наконец, в прославляющих жестокость и насилие «вестернах» и детективах.

«Многие годы,— продолжает свою мысль Макканн,— к нам непрерывным потоком идут протесты из Индии, Индонезии, Вьетнама, со Среднего Востока и из Африки и Англии: наши картины, говорят нам, слишком изобилуют жестокостями и актами насилия».

Таковы, по мнению Дюпре и Макканна, основные причины того, что Голливуд теряет престиж и у себя на родине, и за рубежом.

Почти одновременное появление этих двух статей в таких солидных изданиях, как «Критик» и университетский ежеквартальник «Йейл ревью», несомненно, свидетельствует о том, что в США начали всерьез задумываться над причинами упадка американской кинематографии.

И хотя оба автора обеспокоены не столько эстетическими и художественными проблемами, сколько тем, что Голливуд не выполняет своей роли идейного воспитателя внутри страны и пропагандиста вовне, их свидетельство тем не менее представляет бесспорный интерес.

«АФРИКА — ЭТО ДЕЛО СОВЕСТИ КАЖДОГО...»

Сара Лидман в редакции «Иностранной литературы»

В редакцию журнала «Иностранная литература» посетила известная шведская писательница Сара Лидман, автор романа «Я и мой сын», опубликованного в № 5 журнала за 1962 год. Перевод на русский язык — первая зарубежная публикация этой книги (если не считать датского и норвежского изданий, вышедших одновременно со шведским). Разговор сразу же коснулся романа Сары Лидман, который вызвал большой интерес советских читателей.

— Чем объяснить, что Вы избрали африканскую тему?

— Может быть, это звучит нескромно, но я предпочла бы сказать так: «африканская тема избрала меня». Я поехала в Африку просто, как говорится, чтобы «повидать свет», без всяких литературных планов. Я никогда не ищу экзотики и не умею писать путевые заметки. И вот Африка завладела мною и преподала мне урок, и мне потребуется вся моя жизнь, чтобы затвердить этот урок наизусть. Африка никогда не станет для меня просто источником занимательных сюжетов, которые можно подхватить, а можно и бросить. Африка — это призыв изменить условия жизни, изменить мир. Африка — это дело совести каждого. Увы, у писателя нет другого оружия, кроме его пера. Что же касается темы романа «Я и мой сын», то она была повсюду вокруг меня.

— Среди читателей Вашей книги иногда возникают споры о судьбе главного героя: погибнет он физически или останется жив?

— Многие из нас спрашивают себя, какая судьба ожидает европейцев в Южной Африке — изменят ли они свое отношение к африканцам, покинут ли страну или погибнут. Никто этого не знает. И я не знаю, что ждет отца Игоря.

Он рассчитывал приехать в Африку, нажить состояние и возвратиться в Европу. И вдруг случилось то, чего он никогда не ожидал. Это встречается довольно часто: между белыми отцами, живущими в странах Африки, и их собственными детьми появляется отчужденность. Отцам чуждо то, что связывает детей со страной их детства. Дети обычно любят своих черных нянь, привязываются к ним; родители пытаются вытравить из них это чувство — и они отдаляются друг от друга. Белые считают, что цвет кожи обязывает их к солидарности друг с другом, и если какой-нибудь белый переходит на сторону черных, то против него восстает закон. То же самое считают и негры, ибо расовая дискриминация привела к тому, что они ненавидят белых.

— Как объяснить, что Вы обратились к форме повествования от первого лица, то есть от лица персонажа, которого Вы разоблачаете?

— Тут, пожалуй, можно так ответить. Ни одно обвинение извне не бывает так сокрушительно, как самозащита подлеца. Благодаря такой форме самовыражения отрицательного героя характер его предстает более выпукло; правда, из-за этого какие-то другие стороны вопроса мне не удалось осветить так глубоко, как хотелось

бы. Все же меня удивило, что большинство читателей было в состоянии говорить о «герое» с таким отвращением. Никто не хотел узнавать себя в нем. Разве он — единственное в своем роде чудовище? В свое оправдание он заявляет, что нет никаких оснований для него не наживать себе состояние на дешевой туземной рабочей силе, поскольку все равно все обворовывают африканцев. Действительно, не только белое население Южной Африки считает что «черный труд дешев» и что это в порядке вещей, но и страны, которые торгуют с Южной Африкой, отлично знают, что апартеид — это воровство, узаконенный грабеж африканцев. Мой главный герой — откровенный вор, и он придерживается типично «европейской» точки зрения. Был бы ли он менее отвратителен, если бы не высказывал своих стремлений или если бы он добился успеха?

Сейчас я хочу продолжить работу над романом. Обычно я долго работаю над каждой книгой. А эта написана за три-четыре месяца. Когда я немного пришла в себя, оказалось, что я не могу отделаться от этих образов. У меня возникают новые соображения.

— Изменится ли что-нибудь в оценке героев?

— Нет. Но некоторым сторонам жизни Африки должно было быть уделено в этой книге больше внимания. Я хотела бы расширить повествование именно в этом смысле. Африканка Глэднес противостоит центральному персонажу, она героиня всего повествования, и она заслуживала более подробной обрисовки, в особенности ее отношение к детям, не только своим, но и детям белых.

— О чем будет Ваша следующая книга и намерены ли Вы снова побывать в Африке или останетесь жить в Швеции?

— Надеюсь, что я смогу поехать в Африку. Правда, чисто географический фактор не играет для меня решающей роли. Для меня главное — человек, люди. Замечу, что и на севере Швеции можно встретить своего рода «африканцев» и, с другой стороны, можно натолкнуться на типично «белые» взгляды (причем в наихудшем их выражении) среди развращенных африканцев. Люди по всему миру есть люди, они и одинаковы и в то же время каждый из них единственный в своем роде. Мы живем в условиях, резко отличных от условий жизни в Африке, и главная проблема в этом.

Когда работаешь над книгой, то основное заключается в том, чтобы понять людей: это важнее, чем знание страны с точки зрения ее географии. Моя следующая книга будет скорее всего о тех же африканцах. Я хотела бы изучить один из африканских языков, живя в самой Африке. Но что бы я отныне ни написала, пройдет через «суд Африки» — даже если я буду писать о Швеции. Горький никогда не бывал в Африке, и все же каждый современный африканец почувствует в его книгах поддержку и защиту.

Конечно, нас в Швеции заботит судьба Африки и других отсталых стран. У людей в этих странах пробуждается сознание, они понимают, что их белые завоеватели сидят сытые в своем уголке мира, между тем как бóльшая часть людей на земле живет ниже минимального прожиточного уровня. Как только подумаешь о том, сколько вреда и горя европейцы принесли Африке, то понимаешь, что совесть и у тебя нечиста.

Но в то же время далеко не все у нас знают, каким путем надо идти, чтобы исправить это положение. У нас часто и много спорят об этом.

— Что привлекает лично Вас в жизни сегодняшней Африки?

— Это все равно что спросить, почему я хочу жить... Возникает очень много чувств и мыслей, когда знакомишься с огромным континентом, который так долго ждал возможности начать жить, видишь всю эту красоту, огромные ресурсы, которые совсем не используются или, наоборот, хищнически грабятся. Две яркие картины стоят перед моими глазами. Старуха в лохмотьях, которая истертыми до крови руками стирает белье европейцев, и зеленые холмы Африки, изъеденные эрозией — африканская земля, красная, как человеческая кровь.

Эти картины неотступно преследуют меня, и об этом я еще буду писать.

Дневники
Воспоминания

КАРЛ ХОВИ

Львенок

(Джон Рид, каким я его знал)

Перевод с английского В. НЕДЕЛИНА

СПОР НАЧИНАЕТСЯ

Наступила весна 1915 года. Рид, вернувшись на родину, оказался не у дел и не знал, чем бы ему теперь заняться. Нью-Йорк мало изменился за это время, однако в разговорах уже слышались новые нотки: всех тревожил вопрос, каково должно быть отношение Америки к грозным событиям, разворачивавшимся за океаном. Царившая вокруг растерянность, по мнению Рида, порождалась полным непониманием того, что происходит. Большинство американцев было против войны, но по причинам чисто морального свойства: их возмущала бесчеловечность немцев; Рид же считал, что разобрался во всем досконально, его не проведешь, все дело в коварных происках Англии. Он был убежден в своей правоте, и, когда его старый друг Уолтер Липпман, которого он именовал не иначе как «наш непогрешимый вождь», заявил, что не может принять его слова всерьез, это явилось для него неприятной неожиданностью.

Была и еще одна неприятность, с которой приходилось мириться: постоянное присутствие в журнале грозного Теодора Рузвельта, ставшего теперь членом разношерстной компании, составлявшей редакцию «Метрополитен». Бывший президент никогда не упускал случая высказать свое мнение, а Рид не соглашался с ним ни в чем. Казалось бы, Рузвельт не должен был снисходить до споров с таким юнцом, как Рид, однако это явно доставляло ему удовольствие.

Подвизались в «Метрополитен» и правоверные социалисты вроде Хилквита и Алджернона Ли, которые считали своим долгом без конца объяснять на страницах журнала, почему партия социалистов не могла предотвратить войну. Все это были слова, слова и слова... А Рид во время своего пребывания в Берлине познакомился с Карлом Либкнехтом, решительно выступавшим против войны. «Разве социалист может поступать иначе?» — говорил Либкнехт, и впоследствии ему пришлось поплатиться жизнью за свои убеждения. «Вот это был человек!» — думал Рид.

Тем временем подготавливался к печати первый выпуск нового дискуссионного журнала «Нью рипаблик». Его основателей вдохновляла вера в торжество разума, и целью издания было отражение процесса развития общественной мысли. Журналом руководили друзья Рида, и тут-то он с горечью убедился, что стал им чужим. После всего увиденного и пережитого доводы авторов статей, публикуемых в журнале, часто казались ему нелепыми, умозаключения — чрезмерно отвлеченными и бесстрастными.

В довершение всех бед журнал поместил статью под заголовком «Легендарный Рид». Ее автор, Уолтер Липпман, раздевал Рида так, что от него только перья летели. По всей вероятности, Липпман считал себя вправе изобразить Рида таким, каким он представлял его себе. Правда, еще недавно он сам вознес его на недосягаемую высоту — в своем письме, посланном Риду в Мексику, он писал: «Как-то неловко говорить человеку, с которым лично знаком, что он — гений; но Вы сейчас далеко, в дикой стране, а я не нахожу слов, чтобы выразить, до чего хороши Ваши очерки. Глаз у Вас безошибочный, и пишете Вы так, что лучшего и желать нельзя. Если бы все исторические события описывались подобным образом — боже правый! Я утверждаю, что настоящий репортаж начинается с Джона Рида. Между прочим, Ваши очерки несомненно хороши и в литературном отношении». Что могло доставить Риду

* Окончание. Начало в № 9.

бо́льшую радость, чем такая похвала человека, которого он считал умнее всех? А теперь статья Липпмана в «Нью рипаблик» совершенно уничтожала Рида, разила его в самое сердце.

«Он чуть не растратил свое дарование в погоне за наживой,— черным по белому было напечатано в журнале,— ему кружили голову славословия, и он разыгрывал из себя циничного военного корреспондента, что-то вроде ибсеновского героя. На протяжении нескольких недель Рид пытался усвоить точку зрения «Мэссиз». Он поверил, что все капиталисты толстопузы, лысы и лоснятся от жира, что Виктор Бергер *, партия социалистов, Сэмюэл Гомперс ** и тред-юнионы околпачивают трудящихся. Он внушил себе, что пролетариат — это не шахтеры, водопроводчики и вообще рабочий люд, а некий прекрасный гигант, подобно статуе на скале вознесший главу к солнцу. Он писал рассказы о ночных сборищах заговорщиков и пьесы о дамах в кимоно. Он рассуждал о динамите со снисходительностью мудреца и воображал, что ему удалось обнаружить прямую связь между кубистами и ИРМ. Он даже прочел несколько страниц Бергсона.

Время от времени, когда казалось, что он доведет себя и других до беды, когда его идеи становились особенно сумасбродными, я пытался урезонить его. Но все попытки растолковать ему что-либо вызывают у него лишь досаду и раздражение».

Не часто случается молодому человеку, столь одаренному и уже добившемуся успеха, получить такой увесистый шлепок. Надо признать, что в статье довольно точно описывались метания Рида в те периоды, когда он был лишен возможности действовать. Ведь он мог проявить себя только в действии, а не в сфере умозрительных построений. Становясь свидетелем великих событий, он словно окунался в родную стихию, и это придавало ему силы. В нарисованном Липпманом портрете обойдена молчанием одна весьма характерная для Рида черта — его постоянная неудовлетворенность тем, как устроен мир; это чувство, никогда не покидавшее Рида, определяло сущность его душевного склада.

В это время Рид, точно одержимый, пишет рассказы и пьесы. В «Вашингтон сквер плейерс» была поставлена его пьеса «Погасшая луна». Но его «Явление Диббла» было отвергнуто Гренвиллом Баркером, ведущей фигурой в театральном мире, как пьеса подражательная и литературно беспомощная, хотя и очень живая.

«Метрополитен» напечатал несколько коротких рассказов Рида. Они не были ничем примечательны, кроме непринужденности повествования. Десяткам людей с менее яркой индивидуальностью беллетристика давалась куда лучше. Как редактор Рида, автор этих строк взял на себя однажды смелость объяснить ему, в чем дело: он совершенно не думает о кульминации рассказа, увлекается заранее подготовленным эффектом, у него не хватает терпения раскрыть материал поглубже, он слишком легко удовлетворяется достигнутым. Одним словом, желание произвести впечатление подавляет все остальное.

(Было ли тогда сказано именно это? Во всяком случае, что-то столь же обидное, потому что разговор закончился нешуточной ссорой.)

Не было недостатка и в других не менее досадных подтверждениях того, что Рид в это время лишь попусту растрачивал себя. Очень забавной была его стычка с полковником Рузвельтом по вопросу о двоеженстве; сражение произошло на пороге кабинета полковника и было столь громогласным, что даже барышням из отдела регистрации все было слышно.

В это время печать снова обрушилась на Вилью, и полковник, с жаром повторяя худшие из поклепов, заявил. «Я способен простить самые неистовые страсти, но сознательную, продуманную жестокость — никогда. Вилья — убийца и двоеженец!»

Рид посмотрел на него и произнес с очаровательной дерзостью: «Но, полковник, я сам сторонник двоеженства».

Полковник пожал ему руку. «Я рад убедиться, Джон Рид,— сказал он,— что вы являетесь сторонником чего-то. Молодому человеку это просто необходимо».

Другое происшествие, всплывшее из прошлого, было не столь забавным — оно дорого обошлось Риду и разрушило намечавшиеся было планы посылки его во Францию.

Роберт Данн рассказал, как в немецких траншеях какой-то офицер дал ему и Риду винтовки и предложил выстрелить по французам, что они и сделали, послав свои пули наугад в густой туман. Это был необдуманный поступок. Однако «Нью-Йорк ивнинг пост», газета, в которой работал Данн, с непростительной наивностью поместила рассказ об этом под хвастливым заголовком: «Наш корреспондент — истребитель французов!» Несмотря на варварскую жестокость первой мировой войны или, может быть, именно по этой причине, некоторые условности все же свято соблюдались; в частности, корреспондент ни в коем случае не должен был участвовать в боевых действиях. Положение осложнялось тем, что молодые люди стреляли по французам, нашим будущим союзникам.

---

* Бергер, Виктор (1860—1929) — один из лидеров реформистской социалистической партии Америки, резко выступавший против ИРМ как организации, прибегающей к революционным методам действия.

** Гомперс, Сэмюэл (1850—1924) — реакционный деятель американского профдвижения, ярый враг коммунизма и СССР. Будучи бессменным председателем АФТ, направлял ее деятельность по линии классового сотрудничества, отказа от революционной борьбы, всячески препятствовал созданию рабочей партии.

Буря, вызванная этим инцидентом, явилась полной неожиданностью для Рида и Данна. Они никак не предполагали, что к их легкомысленной проделке отнесутся столь серьезно, и чувствовали себя невинно пострадавшими. Когда Ричард Девис*, явившись в редакцию «Метрополитен», швырнул на стол свои желтые замшевые перчатки, как бы желая показать, что он умывает руки и не хочет иметь ничего общего с журналом, корреспондент которого отличился столь позорным образом, это еще можно было оценить как злобный выпад представителя враждебных журналу сил, к тому же явно хватившего через край в своем благородном негодовании. Но и Рузвельт тоже пришел в ярость и отнесся к провинившимся, как к настоящим преступникам. В гневе полковник никогда не щадил человеческого достоинства тех, кто заслужил его немилость. Однако Рид как-никак был все-таки его коллегой, и следовало что-то предпринять.

Рузвельт позвонил ночью в Вашингтон своему старому другу, французскому послу Жюссерану: нельзя ли замять это дело, удовольствовавшись извинениями?

Безусловно, нет, отвечал Жюссеран, въезд во Францию Риду впредь навсегда запрещен.

Последовал обмен письмами по этому вопросу, но результат был тот же. День или два спустя Рузвельт потребовал Рида и Данна к себе в кабинет; по суровому выражению его лица они сразу же поняли, что́ их ожидает, однако вряд ли они могли предвидеть напыщенность отповеди, которую им пришлось выслушать. Полковник взял со стола письмо, под которым только что поставил свою подпись, и, помахав им перед Ридом и Данном, сказал: «Я написал моему другу, послу Жюссерану, чтобы поблагодарить его за внимание к вашему делу и сообщить, что я полностью разделяю его мнение. Я прочту вам заключительную строчку моего письма: «Если бы я был на месте маршала Жоффра и Рид попался бы мне в руки, я предал бы его военно-полевому суду и приговорил бы к расстрелу».

От такого эффектного заключения на глазах у обоих корреспондентов выступили слезы бессильной ярости.

О командировке Рида во Францию нечего было и думать, но на Балканы его могли послать, да и Россия, как тогда думали, ему тоже была не заказана. На Восточном фронте война велась совсем не так, как на Западном, и это, казалось, открывало для журнала большие возможности. Поэтому «Метрополитен», не мешкая, отрядил своего корреспондента в Сербию. Вместе с ним ехал талантливый художник Бордмен Робинсон, карикатурист из «Нью-Йорк трибюн».

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТА И ХУДОЖНИКА

На протяжении многих недель Рид и Робинсон видели вокруг себя страшные следы войны. Жизнь, которую они наблюдали, была ошеломляюще непривычной, но все, казалось, было окрашено надеждой, решимостью, верой народа, которого никакая трагедия не может сломить. Сербы!.. Каждый из них был прирожденным солдатом.

Молодые люди съездили в Шера Кулу и увидели там знаменитый курган из черепов. Это была целая пирамида, сложенная из черепов сербских воинов, погибших на поле боя столетие назад. А рядом с этим памятником побоища находился тифозный госпиталь, который Рид и Робинсон собирались осмотреть.

Воздух вокруг был отравлен испарениями потных тел, миазмами заживо разлагающейся плоти. Они вошли в барак, в тусклом свете лампы увидели поставленные впритык койки, покрытые грязными одеялами. На каждой паре коек помещалось пять-шесть больных; одни сидели, равнодушно жуя что-то, другие лежали неподвижно, словно мертвые, третьи стонали или вскрикивали в горячечном бреду. Рид и Робинсон переходили из одной зловонной палаты в другую, вдыхая запах болезни и смерти, их тошнило от смрада, а при виде полной беспомощности всех этих рослых и сильных парней у них сжималось сердце.

Некоторое время спустя Рид и Робинсон очутились в Солониках, с тем чтобы оттуда двинуться дальше. Настроение у обоих было приподнятое.

Следующее письмо я получил уже из Бухареста:

«Вот Вам, наконец, первая статья из Сербии, стоившая мне невероятных усилий и мук; я переделывал ее шесть раз. Робинсон посылает с дипломатической почтой свои изумительные зарисовки. Это лучшее из всего, что он до сих пор создал,— рисунки прекрасно изображают Сербию. Боюсь, что моя статья отнюдь не блестяща, но говорить об этом сейчас бессмысленно. По-настоящему я могу писать только дома. Однако статья дает все же довольно точное представление о стране и о вещах, о которых у нас ничего не пишут.

Жизнь здесь дороже, чем в любом другом месте в Европе. А мне, как на грех, необходимо сейчас хорошее питание и комната, где я мог бы отдыхать.

Врач советует мне сделать рентген — он полагает, что у меня камни в почках.

Пожалуйста, выполните указания Робинсона относительно его рисунков как можно точнее и, очень Вас прошу, пригласите специалиста потолковей, чтобы он проследил за изготовлением репродукций. Если нужно, лучше сократите текст, но поместите все зарисовки. Об одном лишь молю Вас буквально на коленях: не давайте G. или D. трогать статью и, пожалуйста, попросите D сохранить в ней мою пунктуацию».

---

* Девис, Ричард (1864—1916) — американский романист, драматург, журналист, военный корреспондент правых буржуазных газет.

И статья и рисунки вполне заслуживали того внимания, на которое рассчитывал в своем письме Рид. Статья, «отнюдь не блестящая», по выражению Рида, на самом деле была поистине блестящей, зарисовки же Робинсона превзошли все ожидания — они были просто великолепны: глубокие по содержанию, выполненные в необычайно острой манере, они произвели ошеломляющее впечатление на читателей, привыкших к стандартным поделкам, не сходящим со страниц иллюстрированных журналов.

За время изнурительной семимесячной поездки Рид и Робинсон прислали столько материала, что трудно себе представить, как они могли работать так много и с таким мастерством в том подавленном состоянии, в какое их непрерывно повергали обстоятельства; казалось бы, даже при величайшей преданности делу невозможно преодолеть все мытарства пути, вежливую уклончивость чиновников и упорство военных властей, вечно отказывавших корреспондентам в проезде именно туда, куда им хотелось или необходимо было попасть.

Писатель и художник двигались к цели медленно, зигзагами. Воспользовавшись неразберихой во время большого отступления русских войск в Карпатах, они пробрались во Львов и там разыскали князя Трубецкого, который в трудную минуту мог оказаться им полезным. Они надеялись побывать в Перемышле.

В результате хлопот Трубецкого корреспондентов пропустили в Холм, до которого было около трехсот миль по железной дороге; их заверили, что командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов сделает для них все возможное.

В письме к автору этих строк Рид рассказывает, что произошло в этом городе, который казался им издали столь заманчивым:

«Прямо с вокзала мы отправились в главный штаб, но уже никого там не застали. На следующее утро в девять часов к нам явился офицер, говоривший по-французски, и попросил следовать за ним в штаб. Там нас встретил офицер, говоривший по-английски, которому мы предъявили свои удостоверения и паспорта и попросили разрешить нам проезд на фронт. Он принял нас очень сердечно. Да, разумеется, мы можем получить разрешение. Но он должен сначала запросить по телефону великого князя. Не будем ли мы любезны вернуться в гостиницу и подождать там? Часов около двух к нам явился офицер и попросил нас отдать ему все наши документы, что мы и сделали. Он сказал, что никакого ответа от великого князя пока не получено и ему придется просить нас дать слово никуда не отлучаться из гостиницы.

Два дня спустя мы направили протест генералу.

На следующий день снова появился офицер. «Ответ от великого князя получен,— сказал он.— Вас велено взять под стражу». Вот и все. У нашей двери поставили казака.

Мы пробыли в этой комнате четырнадцать дней и четырнадцать ночей, изнывая от безделья; читать было нечего. Ужасно».

В самый разгар всех этих перипетий Рида терзало и нечто иное, не имевшее ничего общего с тем, что творилось здесь.

Во время пребывания в Нью-Йорке, перед самым отъездом, любовь его к Мейбл Додж вспыхнула с новой силой. Скорее всего, он вообще никогда не переставал любить ее. Во всяком случае, он мечтал о том, как они заживут вместе, не допуская и мысли, что она может воспротивиться его замыслам. Это было глубочайшим заблуждением. Мейбл полюбила другого — скульптора и художника Мориса Стерна, за которого она впоследствии вышла замуж. Когда не только другие, но и сама Мейбл сообщила об этом Джону, он отказался в это поверить. Мейбл не любит его больше? Почему? Нет, этого не может быть.

«Такова жизнь»,— отвечала она спокойно. Все еще не веря, он принес ей на прощание перстень из двух соединенных в одно золотых колец. Но вот что написала Мейбл в своем дневнике после его отъезда:

«Как только он ушел после долгого и нежного прощания и таких страстных заверений в любви, каких я не слышала от него в те времена, когда он был мне действительно дорог, я сейчас же забыла о нем раз и навсегда».

Что же касается Рида, то дальность расстояния и вынужденное безделье в Холме, где ему не оставалось ничего иного, как предаваться мечтам и фантазиям, мешали ему взглянуть правде в глаза. И пока его товарищ, вооружившись словарем, неутомимо втолковывал казакам, стоявшим у их двери, что у него на родине остались дети и что в Америке есть дома в пятьдесят этажей, Рид, закрыв глаза и отрешившись от жары и всех невзгод, грезил о счастье, которое ждет его на далеких холмах Рамапо. Но потом он вдруг все понял, хотя и слишком поздно.

В конце одного из его писем была краткая приписка: «Мейбл порвала со мной окончательно, не сообщайте ей больше, как у меня обстоят дела, и вообще не напоминайте обо мне».

Заточение в убогой комнатушке гостиницы в Холме закончилось так же внезапно, как и началось. Рид писал мне:

«Наконец-то получен ответ от американского посла, к которому я обратился с запросом, почему мы арестованы. Он сообщил: «Вас арестовали потому, что Вы проникли в расположение войск, не имея на то разрешения соответствующих инстанций. Министерство иностранных дел поставило наше посольство в известность о том, что Вас отправляют в Петроград».

КАРЛ ХОВИ
ЛЬВЕНОК

Казалось бы, Риду с Робинсоном, наконец, улыбнулась удача. Ничуть не бывало. В Петрограде этим двум нарушителям спокойствия уже была подготовлена соответствующая встреча. Здесь их ждало еще одно пугало, еще одно воплощение власти, представшее перед ними в образе американского посла. Рид писал:

«Приехав сюда в полной уверенности, что мы сейчас же получим возможность двинуться дальше, я прямо с вокзала кинулся к послу и ворвался к нему в «Асторию», когда он завтракал. Он принял меня холодно, сухо и недружелюбно: «Мой совет вам, мистер Рид: сию же минуту уезжайте из России». Я остолбенел от изумления. «Уехать из России?! Но нам необходимо попасть на фронт! Почему вы советуете мне покинуть Россию?» — «Я основываюсь на сообщении, полученном нами из министерства иностранных дел. Вас чуть не казнили, мистер Рид. Если бы мы не смогли подтвердить, кто вы такой, вас предали бы военно-полевому суду и расстреляли. А теперь, когда вас прислали сюда под конвоем...» — «Но нас же отпустили в Холме на все четыре стороны! — завопил я.— Мы приехали без всякого конвоя!» — «Я получил ноту министерства иностранных дел, в которой сказано, что вас доставят сюда под конвоем, и, насколько мне известно, вас собираются выслать через Стокгольм».

Стокгольм! Не иначе как решение великого князя, догадались корреспонденты. А затем не замедлило поступить новое неприятное известие: им надлежит отбыть из России через Сибирь и Владивосток! Всю канитель надо было начинать сначала.

Хотя за Ридом и Робинсоном всюду следовали по пятам агенты тайной полиции, им все же удалось осмотреть Петроград, съездить в Москву; они даже попытались сбежать в Румынию, но их поймали и вернули обратно, отобрав у них все личные бумаги. «Они забрали почти все мои записи,— пишет Рид.— Но мне ничего не стоит все восстановить по памяти. Это проклятое дурачье отобрало также и все зарисовки Робинсона. Но он может сделать другие».

На этот раз великий князь дал им двадцать четыре часа на сборы, после чего они должны были выехать во Владивосток или предстать перед судом. Но до суда дело не дошло. Неожиданное вмешательство спасло их, и корреспонденты очутились на свободе.

Теперь все их счеты с войной были покончены. Они задержались лишь в Бухаресте, чтобы привести в порядок статьи и рисунки. Рид писал:

«Дорогой Хови!

Врачи повергли меня в полное уныние, уверив, что если я и впредь буду вести столь беспорядочную жизнь, то протяну недолго. Они запретили мне поездку в Россию и велели возвращаться домой, отказаться от своей беспокойной профессии и поселиться где-нибудь в тиши, на покое, предварительно сделав операцию. Однако я все-таки взял да поехал в Россию, и вся моя диета пошла насмарку: я ел что хотел, спал на деревянных скамейках, да еще угодил в тюрьму. И вот вернулся, и врачи признают, что я совершенно здоров.

Между нами говоря, жизнь в первоклассных гостиницах совершенно невыносима. Особенно же ужасно то, что, по слухам, которые доходят до нас, Америка готовится вступить в войну. Я бы, кажется, просто взбесился, если бы мы впутались в эту жуткую кутерьму. Каждый раз, встречая какого-нибудь солдата, я испытываю все большую ненависть и отвращение к войне. Рид».

Но в тех случаях, когда симпатии Рида были на стороне воюющих и он считал, что их дело правое, как это было, например, в Мексике, война не казалась ему ненавистной и отвратительной. Он принимал ее и становился ее летописцем.

«ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ»

Рид вернулся домой другим человеком. Решимость не плыть по течению крепла в нем день ото дня.

Со страниц «Метрополитен» Рузвельт громогласно взывал: «Готовьтесь! Нация должна мобилизовать все свои силы, и притом немедленно — пока еще не поздно!» На молодежь его призывы действовали зажигательно. Его негодующие выпады против благоразумной осторожности президента Вильсона находили широкий отклик. Для прохождения вневойсковой подготовки офицеров был основан Платтсбургский лагерь — детище генерала Леонарда Вуда, бывшего командира Рузвельта и его ближайшего друга. Был устроен даже «парад готовности», который прошел под аплодисменты «жаждущих крови светских дам», как писал Рид, нисколько не скрывавший своего возмущения.

Статья Рида «Республику берут за глотку» не могла быть помещена в «Метрополитен», так как она била не только по полковнику, с его откровенными призывами к войне, но и по самому журналу, зато в «Мэссиз» Рида всегда готовы были печатать. Оставалась и еще одна возможность — публичные лекции, читать которые его охотно приглашали, хотя, нужно признать, получалось это у него не слишком удачно. Перед большой аудиторией он всегда терялся, от смущения становился в позу и утрачивал всякое чувство меры, а если ему не удавалось завладеть вниманием слушателей, он осыпал их насмешками. Ничто не могло помешать ему высказать то, что накипело у него на душе. Что знают американцы об ужасах, которые ему довелось увидеть? Понимают ли они, какие черные силы руководят приготовлениями к войне? Было ясно, что смелые речи Рида и его дерзкие выходки не могут долго сходить ему с рук.

Казалось бы, после тяжких трудов, требовавших огромного физического напряжения, Рид мог позволить себе пожить на покое и заняться поэзией — ведь он все время мечтал вернуться к ней. Но он лишь составил из своих старых стихов, написанных еще три года назад, сборник под общим названием «Гамберлен» и надолго распростился с поэзией. Не мог же он сидеть сложа руки, когда противоборствующие силы пришли в столкновение и страсти разгорались все жарче, когда дебаты о том, вступать ли Америке в войну, захватили всю нацию. И он с головой ушел в эту борьбу.

В «Мэссиз» и в газете социалистов «Колл» можно было высказываться без обиняков. «Я знаю, что такое война,— писал Рид,— я побывал в действующих армиях всех воюющих стран, кроме одной, и видел, как люди умирают, сходят с ума, мучаются в госпиталях. Но и это еще не самое страшное. Война несет с собой массовое безумие: всякий, кто скажет хоть слово правды, жестоко преследуется, писатели и художники подвергаются гонениям, какой бы то ни было прогресс или развитие общественной мысли становится невозможным, все силы общества парализуются. У нас, в Америке, тех, кто не согласен лезть в драку, уже объявляют предателями, а тех, кто выступает против урезывания нашей и без того жалкой свободы слова, считают опасными безумцами». В статье «Список павших смертью храбрых» Рид пишет: «Не пройдет и нескольких недель, как начнут поступать списки убитых и на страницах иллюстрированных воскресных выпусков появятся сотни фотографий красивых молодых людей под заголовком «Павшие смертью храбрых». Как вы сами понимаете, это будут фотографии молодых офицеров, а не безвестных солдат, которым несть числа и до чьих родных с их плебейской скорбью никому нет дела. Наши улицы мало-помалу заполнятся худыми, изможденными людьми в военной форме, опирающимися на сестер милосердия, человеческими обрубками без рук, без ног, неловко ковыляющими на костылях. И тогда в Нью-Йорке разучатся смеяться. Европе уже давно не до смеха».

В статье «Милитаризм в действии» Рид описывает, как тайные агенты сорвали митинг против всеобщей мобилизации, который готовила Эмма Голдмен. В статье «Готовьте смирительную рубашку для тех, кого провожаете в солдаты», написанной под впечатлением прочитанного им медицинского отчета об участившихся случаях психических заболеваний в армии, Рид вступил в прямой конфликт с законом, и номер «Мэссиз» с этой статьей был конфискован.

Рид был непоколебим в своей вере, но ему тяжело было огорчать родных, особенно мать. Брат Генри писал ему, что решил пойти в армию добровольцем. А в письме матери были такие слова: «Я просто потрясена, как это ты, сын своего отца, мог заявить, что тебе нет дела до отчизны и ее знамени». Мать чувствовала себя «глубоко опозоренной». И даже умудренный жизнью Стеффенс, философ, который, стоя над схваткой, рассматривал все происходящее в мире с чисто умозрительных позиций, обратился к Риду с непрошенными увещеваниями.

Президент Вильсон в своем обращении к конгрессу по случаю вступления Америки в войну заявил: «Настал день, когда Америке представляется возможность пролить кровь за те принципы, которые дали жизнь нации и привели ее к благоденствию... Да поможет ей бог,— так кончалось его послание,— иного выбора у нее нет».

В этот же вечер Рид присутствовал на митинге в Народном собрании, на котором председательствовал Дэвид Старр Джордан. Здесь собрались тысячи пацифистски настроенных людей. И вот им объявили, что президент потребовал вступления Америки в войну.

До этого Рид молчал. Но после сообщения о войне раздались возгласы: «Джон Рид! Слово Джону Риду!» Крики становились все настойчивее.

Председатель потребовал тишины — собрание не может тратить время на то, чтобы слушать Рида. Но Рид был уже на ногах.

При виде этого широкоплечего человека с воинственно вскинутой головой, горящими глазами и шапкой всклокоченных волос аудитория разразилась аплодисментами, сквозь которые пробивались враждебные выкрики. Рид поднял руку и крикнул:

— Это не моя война, и я не желаю участвовать в ней! Это не моя война, я отрекаюсь от нее!

Рид явился в Вашингтон на обсуждение вопроса о введении всеобщей воинской повинности. Встретили его там не очень любезно. Собравшиеся конгрессмены решили разделаться с ним по-своему. «Я не из тех, кто согласен на любые условия, лишь бы сохранить мир,— говорил Рид в своем выступлении,— я не пацифист в полном смысле слова, но на эту войну я не пойду. Можете, если хотите, расстрелять меня, но попробуйте только призвать меня в армию..» Один из членов конгресса перебил его: «Я думаю, нет больше смысла выслушивать этого джентльмена...» Другой поддержал его: «Такие молодчики найдутся в любой стране, и можно лишь радоваться тому, что в Америке они в меньшинстве».

Вскоре после возвращения из Европы Рид съездил в Портленд навестить мать. Деньги он посылал ей регулярно, оставляя себе лишь необходимый минимум.

Родной город показался ему совершенно чужим. Знакомый с детства пейзаж — холмы, полого спускающиеся к реке, по которой взад и вперед снуют пароходы, снежные вершины гор, вырисовывающиеся вдалеке,— не будил в нем волнующих воспоминаний. На каждом шагу к нему приставали с избитыми разглагольствованиями о поли-

тике, которые теперь уже потеряли всякий смысл; он упорно отмалчивался. Поездка оказалась неудачной; как писал он одному из друзей, она была «настолько ужасной, что и не расскажешь. Мама очень добра и нежна, но, по-моему, совершенно беспомощна. У меня такое ощущение, что здесь не с кем перемолвиться словом!»

Впрочем, одна живая душа все-таки нашлась: Луиза Брайант, бывшая школьная учительница, корреспондентка местной газеты, а теперь — жена зубного врача, с которым она не была счастлива. Она читала о Риде и восхищалась им. И вот они встретились и полюбили друг друга. Когда Рид вернулся в Нью-Йорк, она последовала за ним.

Луиза была очень хороша собой — молодая, изящная, с пышными волнистыми волосами и выразительными глазами на живом и умном лице. Рид был счастлив представить ее своим друзьям: он водил ее по заветным уголкам старого Гринвич-вилледжа, любовался ею, когда она блистала на балу, устроенном в «Мэссиз», принимал комплименты как счастливый обладатель такого бесценного сокровища и упивался славой ее избавителя. Неизвестно, понимал ли он это уже тогда, но связь между ними оказалась прочной.

Теперь ни о каком отдыхе уже нечего было и думать. Деньги были нужны до зарезу, и приходилось брать работу, за которую хорошо платили. Он напечатал имевшее шумный успех интервью с государственным секретарем Уильямом Дженнингсом Брайаном.

Между этим самодовольным, напыщенным и невозмутимым политиком и дерзким молодым журналистом лежала такая пропасть, что написанная Ридом статья, в которой не было ни тени непочтительности или насмешки и которая в то же время удовлетворяла не только Брайана, но и его самого, казалась настоящим чудом искусства. Рид встретился с Генри Фордом и написал о нем, что оказалось куда более легкой задачей, потому что некоторые затеи Форда, вроде «корабля мира», определенно импонировали Риду, да и независимость, завоеванная им в финансовом мире, с которым у него были вечные распри, характеризовала Форда как личность незаурядную. Затем последовала поездка в Чикаго на Национальный съезд прогрессистов, куда Рид был послан для репортажа, Арт Янг — чтобы делать зарисовки, и автор этих строк — в качестве той мухи из басни Эзопа, которая «пахала» вместе с волом. Мы сняли один номер на троих, и тут выяснилось, что Рид спит в длинной, до пят, ночной рубашке, похожей на хитоны древних пророков, и что он привез с собой кучу галстуков самых пестрых расцветок.

Рид назвал свою статью «Национальный цирк», эта статья — один из лучших образцов его юмора. Зарисовки Янга были полны ядовитой насмешки, по этой части никто не мог с ним тягаться. Статья и рисунки к ней пришлись «Метрополитен» как нельзя более по вкусу, но это оказалось последним удачным опытом сотрудничества Рида в журнале. После этого его с Бордменом Робинсоном послали в Байонн (штат Нью-Джерси) с заданием написать о стачке на предприятиях «Стандард ойл», и они привезли оттуда статью, которая была воспринята как предательство — они-де обманули оказанное им доверие! В действительности это было, конечно, не так. Но в то время такую статью мог напечатать лишь «Мэссиз», а уж никак не «Метрополитен», журнал, существовавший на средства бизнесменов. Мы, сотрудники «Метрополитен», могли проявлять порядочность только в известных пределах. Нам разрешалось зондировать «язвы общества», не прикасаясь, однако, при этом к наиболее болезненным местам. Статья же о стачке в Байонне преподносила истины, переварить которые было нелегко. Она все же была напечатана, но заставила нас призадуматься: как долго мы еще сможем терпеть Джона Рида, который вот уже несколько месяцев ведет беспощадный огонь по всему, что, по его мнению, необходимо истребить, не щадя при этом и нас самих, и который теперь уже, видимо, не остановится ни перед чем?

У Рида хватило смелости, чтобы открыто выступить против войны, которую он ненавидел. Но «Метрополитен» не мог уже больше предоставлять ему трибуну: если бы даже издатели разделяли точку зрения Рида, о чем в данном случае не могло быть и речи, то его сотрудничество доконало бы журнал — «Метрополитен» прихлопнули бы без долгих разговоров. Что же нам оставалось? Только одно — сказать Риду: «Очень жаль, Джон...»

И тут возникла мысль отправить Рида в Китай. Эта огромная страна была охвачена восстанием. После свержения императорской династии, многие века безраздельно правившей Китаем, Сун Ят-сен повел борьбу за обновление страны, за преодоление ее многовековой отсталости. Для Рида с его умением все подмечать там открывалось широкое поле деятельности, а заодно эта поездка удаляла его на безопасное расстояние. Сама по себе идея была превосходна. Да и Рида такая командировка тоже прельщала. Однако затея провалилась: лечащий врач категорически заявил Риду о необходимости лечь в клинику Гопкинса на операцию — нужно было удалить больную почку. А к тому времени, когда Рид оправился после операции, Америка уже воевала; задуманное предприятие пришлось отложить, и связь журнала с нашим любимцем, нашим чудо-корреспондентом прервалась.

И вот все двери перед Ридом оказались закрытыми. Кроме одной: газете «Нью-Йорк мейл» очень хотелось привлечь его в качестве очеркиста. Но, хотя Рид и напечатал там несколько блестящих очерков, работал он без увлечения.

Да и жилось ему в то время невесело. В одном из писем к Луизе Брайант он писал: «Когда я вдруг понял, как бесконечно далек от меня сегодня молодой поэт, ко-

торый некогда писал о Мексике, это поразило меня до глубины души». Ему исполнилось двадцать девять. Он чувствовал себя постаревшим — такое чувство испытывает любой, даже самый заурядный молодой человек, когда перед ним замаячит цифра 30. Рид потихоньку от всех написал краткую автобиографию, которую назвал «Почти тридцать».

«Я знаю,— писал он,— на этом кончается часть моей жизни, уходит молодость. Временами мне кажется, что с ней вместе уходит и вся молодость мира. Да, эта война и вправду заметно сказалась на всех нас. Но я стою на пороге нового этапа; мир, в котором мы живем, меняется так быстро, в нем так много яркого и значительного, что невольно представляешь себе, какие грандиозные возможности откроются перед нами в будущем».

И на этот раз чутье не обмануло неисправимого романтика. Надвигались великие события. Риду предстояло вскоре отправиться в революционную Россию.

ГОД 1917 — СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ...

У Рида не было недостатка в друзьях, готовых поддержать его в любую минуту; но с поездкой в Россию все складывалось особенно сложно. Луизе Брайант нетрудно было получить командировку в каком-нибудь газетном синдикате, но с Ридом ни одна газета не желала иметь дело. С «Метрополитен» к тому времени все было кончено. В «Мэссиз» к желанию Рида ехать в Россию отнеслись с горячим сочувствием, но у журнала не было денег. Нужную сумму кое-как собрали среди людей, которые верили в Рида и так же, как он, понимали, что происходящие в России события могут оказаться началом новой эры в истории человечества. Ради того, чтобы получать сообщения от такого писателя, как Рид, с его умением вникать в суть дела, стоило пойти на любые жертвы.

Рид и Луиза Брайант выехали в Петроград. Их приезд совпал с провалом попытки генерала Корнилова захватить власть, и весь город праздновал эту победу — так, во всяком случае, казалось на первый взгляд.

«Города не узнать,— пишет Рид Бордмену Робинсону.— Там, где царило отчаяние, теперь праздник, а там, где веселились,— уныние. Мы в самой гуще событий, и, можешь мне поверить, это потрясающе. Здесь разыгрывается столько драматических событий, о которых мне хотелось бы рассказать, что я просто не знаю, с чего начать. По яркости и размаху происходящее здесь затмевает Мексику».

Но разобраться в новой обстановке, освоить загадочный язык политики, понять маневры враждующих партий было нелегкой задачей. К счастью, за помощью дело не стало. Рид встретил в Петрограде Реймонда Робинса. Вот уж кого он никак не ожидал здесь найти! В последний раз они виделись в Чикаго на злополучном собрании прогрессистов: Робинс восседал на председательском месте, оглушительно постукивая молоточком. Как представитель Красного креста Робинс пользовался в России большим влиянием; он всем сердцем принял русскую революцию и горячо верил в Ленина. Робинс отрядил в помощь Риду своего секретаря и переводчика Александра Гумберга, у него же Рид познакомился с Зориным * и несколькими американцами, которые активно сотрудничали с большевиками. Рид никогда не упускал случая завести знакомство с русскими, ревниво оберегая при этом непосредственность своего восприятия, стараясь непредвзято судить об этих необыкновенных людях и еще более необыкновенных событиях.

Скоро Риду стало ясно, что Февральская революция, свергшая царя и поставившая Керенского во главе Временного правительства, была лишь пробой пера и что режим Керенского никого не устраивает. Да и чего можно было ожидать от Керенского, который, несмотря на развал армии, пытался продолжать войну, хотя все жаждали покончить с ней, от Керенского, который не мог, да и не хотел отдать землю крестьянам. Рид задался целью в ближайшее время, пока еще не поздно, встретиться с Керенским.

Он увидел седеющего, но еще моложавого мужчину средних лет, издерганного и безусловно понимающего, что дни его пребывания у власти сочтены. Керенский ловко уклонился от ответа на поставленный ребром вопрос Рида: «Какой урок для революционной демократии всего мира можно извлечь из русской революции?»

В своей статье для газеты «Колл», где он описывал Керенского, Рид отмечал: «Обстановка здесь сейчас такова, что соглашатели долго не протянут». По всей стране шло размежевание политических группировок.

Рид уже успел разобраться в разнице между монархистами, кадетами, меньшевиками и большевиками — партией, возглавляемой Лениным и состоящей из людей, которых отличала суровая простота и ясное представление о том, чего они хотят.

В одном из писем Рид описывает свое первое посещение Смольного: у главного входа и наружных ворот стояли суровые часовые, требовавшие у всех входящих пропуск; в комнатах, где работали различные комиссии и комитеты, гул голосов не смолкал ни днем, ни ночью; сотни рабочих и солдат спали прямо на полу, вповалку, не оставляя прохода, а наверху, в огромном актовом зале, набитом до отказа, шли шумные заседания Петроградского совета.

И в это же время в центре столицы от зари до зари не замирала лихорадоч-

* Зорин, Д. Ф.—большевик, активный участник Октябрьской революции.

ная жизнь: в игорных домах рекой лилось шампанское и ставки достигали двадцати тысяч рублей, по улицам сновали разряженные проститутки, кафе ломились от посетителей, и казалось, весь этот огромный серый город, сдвинувшись с места, мчится куда-то сквозь туман и дождь, все быстрее и быстрее... но куда?

Около четырех часов утра седьмого ноября Рид встретил в вестибюле Смольного Зорина. «Мы выступили,—сказал Зорин.—Уже арестованы товарищ министра юстиции и министр вероисповеданий. Они в подвале. Один полк идет брать телефонную станцию, другой — телеграф, третий — Государственный банк». А издали доносилась винтовочная стрельба — это юнкера пытались развести мосты через Неву, чтобы не дать рабочим и солдатам с Выборгской стороны присоединиться к вооруженным силам Совета в центре. но кронштадтские матросы уже снова навели мосты. Огромное здание Смольного было ярко освещено и гудело, как гигантский улей.

Восьмого ноября, наутро после взятия Зимнего, атмосфера в Смольном стала еще напряженней. По темным коридорам попрежнему бегали люди, строились взводы рабочих, руководители с туго набитыми портфелями о чем-то спорили, что-то кому-то объясняли, поспешно, на ходу отдавали распоряжения. Казалось, все здесь совершенно забыли о себе, никто не думал о сне, об отдыхе; все эти люди, немытые, заросшие щетиной, с лихорадочно горящими глазами, устремлялись к единой цели, не давая себе передышки, выжимая из себя все до последней капли. Им надо было столько сделать! Надо было создать правительство, навести порядок в городе, удержать на своей стороне гарнизон, справиться с Думой и Комитетом спасения*, подготовиться к решающей схватке с Керенским, отразить немцев, информировать провинции, вести пропагандистскую работу по всей России, от Архангельска до Владивостока.

На Втором съезде Советов Рид увидел Ленина.

Ровно в восемь часов сорок минут оглушительный приветственный гул возвестил о появлении членов президиума. Среди них был Ленин, великий Ленин.

Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы: простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, ставший вождем исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без пристрастия к внешним эффектам, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки, человек с проницательным, гибким и дерзновенно смелым умом.

Сначала выступали ораторы, по-видимому получившие слово без предварительной записи. Но вот на трибуну поднялся Ленин.

Он стоял, положив руки на края трибуны, оглядывая делегатов и пережидая бурную овацию длившуюся несколько минут. Когда зал затих, он коротко и просто сказал:

«Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»

И опять буря аплодисментов, приветственных криков...

Рид снова и снова приходит в Смольный, чтобы узнавать сводки с фронта, со многих фронтов. В частях шло брожение. Одни голосовали за нейтралитет армии, другие, избавившись от своих офицеров, двинулись на помощь революционному Петрограду...

День десятого ноября выдался серый и сумрачный. Когда Рид вышел на улицу, со всех сторон неслись фабричные гудки, резкие, нервные, полные тревоги. Рабочие — мужчины и женщины — выходили на улицу десятками тысяч. Гудящие предместья выбрасывали наружу толпы. Красный Петроград в опасности! Казаки!.. Мужчины, женщины и подростки с ружьями, ломами, заступами, мотками проволоки, патронташами поверх рабочей одежды тянулись по грязным улицам к югу и юго-западу, к Московской заставе...

Город никогда не видел такого огромного и стихийного людского потока.

На телефонной станции засели юнкера. Подъехал красногвардейский броневик, матросы пошли на приступ здания; по комнатам с воплями заметались насмерть перепуганные телефонистки. Не выдержав яростного натиска, юнкера поспешно срывали с себя погоны...

В понедельник, двенадцатого ноября, страна затаив дыхание ждала известий. Глаза России были прикованы к окрестностям Петрограда, где все силы старого порядка, какие только можно было собрать, стояли лицом к лицу с революционными силами. В Смольном выступал Ленин. Митинг был бурным. Один за другим на трибуну поднимались ораторы — политические деятели, солдаты, рабочие. Они спорили, убеждали, высказывали все, что накипело на душе. То и дело выкрикивали названия частей, отбывающих на фронт; на смену ушедшим прибывали другие: отпускники, раненые, откомандированные в Смольный за оружием и боеприпасами.

Около трех часов утра в зал вбежал один из членов Реввоенсовета, лицо его сияло. «Все в порядке!» — крикнул он. Стиснул

---

* Комитет спасения родины и революции — возникшая после ареста Временного правительства контрреволюционная организация, пытавшаяся объединить все антибольшевистские силы.

руку Рида: «Посмотрите! Телеграмма с фронта. Керенский разбит!»

Красные отблески революционного пожара в России озарили весь мир. Неужели нависшие на горизонте тучи заставят их померкнуть? С Керенским было покончено, но против революции выступали силы, гораздо более могущественные: помещики, представители всех имущих классов, банкиры, генералы старой армии, Англия и Америка О нейтралитете было забыто. Нейтральным не оставался никто, и уж, во всяком случае, не наш летописец русской революции — Джон Рид. Каждое из ночных заседаний в Смольном было для него историческим событием

Теперь все зависело от крестьянства — эта истина была неоспоримой. По указанию Ленина вестники революции были разосланы по всей России для разъяснения крестьянам политики нового революционного правительства и прежде всего — его аграрной политики.

Рид видел, какое ликование охватило всю Россию, когда стало известно, что большевики решили вопрос о земле.

Восемнадцатого ноября выпал первый снег Проснувшись утром, Рид увидел, что снег завалил карнизы, за окном кружились снежные хлопья; в десяти шагах за сплошной белой пеленой уже ничего нельзя было разглядеть. На лицах у всех были улыбки; люди протягивали руки и, смеясь, ловили на лету снежинки. Серых тонов города как не бывало — над снежной белизной сверкали золотые шпили и разноцветные купола. Двадцать девятого ноября после чрезвычайного заседания Крестьянского съезда огромная толпа делегатов устремилась на улицу.

Уже наступила ночь, и снег поблескивал в неярком свете луны. На набережной канала выстроились солдаты Павловского полка; оркестр играл «Марсельезу». Под оглушительные приветствия солдат делегаты Крестьянского съезда стали в строй и развернули огромное красное знамя Исполнительного комитета Всероссийских Советов крестьянских депутатов, на котором было вышито золотом: «Да здравствует союз революционных масс трудящихся!» Откуда-то появились факелы, расцветившие тьму оранжевыми пятнами, зазвучали песни Огромная, нескончаемая процессия потекла по городу, становясь все шире, и над головами людей одно за другим развертывались все новые и новые знамена.

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

На обратном пути Рид надолго застрял в Швеции. Со стороны могло показаться, что этот сердитый молодой человек поглощен только одним — как получить разрешение вернуться на родину и покончить с затянувшейся на два месяца волокитой. На самом же деле это было совсем не так. Он испытывал такой душевный подъем, какого не знал еще никогда,— ведь он только что был свидетелем падения бессмысленного и жестокого строя, наблюдал торжество новых идей, становление новой, лучшей жизни, зарождавшейся у него на глазах

Однако впереди его ждали события совсем иного рода, ему предстояло сразу же окунуться в перипетии повседневной действительности.

На митинг в Бруклине, на котором выступал Рид, для поддержания порядка и благопристойности была отряжена сотня полицейских. Рида предупредили, чтобы он в своем выступлении воздержался от критики правительства. И он начал свою речь так: «Мои предки со стороны отца и со стороны матери поселились в этой стране в 1607 году, мой прадед Патрик Генри подписывал Декларацию независимости, другой мой предок был генералом в армии Джорджа Вашингтона, третий — полковником в армии северян во время Гражданской войны. Мой брат, майор авиации, находится сейчас во Франции. Я — гражданин Соединенных Штатов и избиратель, и я настаиваю на своем праве критиковать правительство своей страны, сколько мне будет угодно». Далее Рид заговорил о том, что свобода слова в Соединенных Штатах всячески подавляется, что собрания социалистов запрещены, что в стране насаждается прусский дух. И это после войны, которая должна была «обеспечить демократию во всем мире»!

«Ну вот, друзья,— сказал Рид,— война окончена; а где же, черт побери, эта самая демократия?» Теперь, заявил он, начинается новая война — война между деспотизмом и демократией

В письме к Стеффенсу Рид писал

«Милый Стефф!

О себе могу сказать только одно — я ровно ничего не делаю Выступил с несколькими речами о России и завтра утром еду в Чикаго, а затем — в Детройт, где также буду выступать на митингах. Начал большую серию статей, но газеты побоялись напечатать их «Кольерс» принял было один мой очерк и уже набрал его, но потом пошел на попятный Освальд Виллард сказал мне, что, если он напечатает Джона Рида, ему не поздоровится.

Я заключил с Макмилланом договор на издание книги, но государственный департамент забрал все мои записи и по сей день наотрез отказывается вернуть хотя бы часть их, обещая, впрочем, сделать это, «как только они будут просмотрены» Это тянется уже два месяца, и я не могу написать ни слова о величайшем событии в моей жизни и одном из величайших в мире. Я в безвыходном положении. Не подскажешь ли, каким способом я мог бы вызволить мои бумаги? Если их не вернут мне сейчас же, то с книгой время будет упущено — Макмиллан откажется от нее.

На днях я был арестован в Филадельфии,

КАРЛ ХОВИ
ЛЬВЕНОК

где пытался выступить с речью на улице, и дело передали в суд, перед которым я должен буду предстать в сентябре по обвинению в «подстрекательстве к беспорядкам, к насилию и к антиправительственным высказываниям» Самочувствие у меня довольно паршивое. Почка, та, которая осталась после операции, пошаливает — пожалуй, в этом все дело. Мама в письме угрожает покончить с собой, если я не перестану позорить наше имя

Прости, что это письмо такое унылое Я и сам не пойму, с чего это мне вздумалось писать тебе в такую невеселую минуту. Сегодня с утра я чувствовал себя совсем недурно, может быть, и завтра тоже будет получше.

Как всегда, твой

Джон».

Вторичное рассмотрение дела, которое правительство США возбудило против «Мэссиз» (первый раз дело слушалось в отсутствие Рида, и мнения присяжных разошлись), дало Риду возможность выступить на суде с речью, в которой он выложил все, что думал. Рид говорил о своей ненависти к войне, и его спросили, что могло подсказать ему такой заголовок: «Готовьте смирительные рубашки для тех, кого провожаете в солдаты».

Начав с описания ужасов, которые он увидел в немецких окопах, Рид далее заявил:

«И вот, вернувшись на родину, что я застал? Что произошло, пока я был на войне? Когда я приехал — это было в начале шестнадцатого года,— в разделах хроники светской жизни только и писали, что о бенефисах в пользу воюющих и премьерах пьес о войне; в гостиницах и особняках Вестсайда и Пятой авеню устраивались «вязальные» приемы, на которых дамы вязали носки для солдат. Они вязали не потому, что их сыновья находились в окопах, как это произошло позднее,— тогда это было просто модно. На такие приемы приглашали Карузо, и вязание спорилось под его пение, под легковесную болтовню о войне, которая идет где-то в Европе. Англия и Франция воевали, воевать стало признаком хорошего тона, почему же мы не воюем? От всего этого меня просто мутило».

— Поэтому вы и написали статью под таким названием?

— Поэтому я и написал ее.

Мнения членов суда разделились, и дело было прекращено. Слушание же дела в Филадельфии закончилось полной победой Рида, который отстоял свое право выступать с речами где угодно, хотя бы и на улице Казалось, обстановка начинает разряжаться

Но это было не так, и процесс над ИРМ свидетельствует об этом. Сто лесорубов, сельскохозяйственных рабочих, шахтеров, печатников и их руководитель Билл Хейвуд предстали перед судом в Чикаго Суд шел под председательством судьи Кинесо Маунтина Лендиса. «Худой как скелет человек с давно не чесанными седыми волосами,— так описывает его Рид,— на костлявом лице сверкают глаза, желтая кожа натянута, точно пергамент, лопнувший на том месте, где полагается быть рту...» Судья выглядел и в самом деле устрашающе, но подсудимые были не робкого десятка: чего они только не повидали на своем веку! Среди них были опытные, закаленные в боях борцы, и теперь, когда их пытались прижать к стене, они и не думали сдаваться.

Старые раны не забылись, и теперь обвиняемые, в свою очередь, наносили противнику один удар за другим. На суде во всей своей остроте раскрылась драма современной Америки, страшная драма повседневной жизни рабочего человека, добывающего хлеб трудом своих рук. Процесс был открытым, но подсудимым не удалось извлечь из этого никакой пользы — широкая публика не интересовалась в то время подобными разоблачениями. Все представшие перед судом были признаны виновными в том, что они тормозили выпуск военной продукции.

Допрос Хейвуда длился четыре дня; подавшись огромным телом вперед, он рассказывал присяжным и судьям историю своей жизни, рассказывал о детстве, проведенном на шахте, о тяжелом пути вождя рабочего класса, о том, как ему не раз приходилось подставлять грудь под пули; он говорил с безыскусственностью и простотой человека, убежденного в своей правоте, но, когда он кончил и сел, ему было ясно: судьба его решена. Мысль о тюрьме была ему невыносима — у него уже не было больше сил сидеть за решеткой. Его приговорили к двадцати годам заключения.

Но вождь ИРМ не дал отправить себя в тюрьму. Адвокатам Хейвуда удалось добиться для него отсрочки, и он, воспользовавшись временной свободой, бежал в Россию.

Что же касается Рида, то Линкольн Стеффенс писал о нем.

«Как-то вечером на одной из нью-йоркских улиц у ярко горящего фонаря я повстречал Джона Рида, поэта и повесу (эта слава прочно укрепилась за ним), недавно возвратившегося из революционной России Его сопровождал некий молчаливый субъект, который слушал, помалкивая, а потом, в рецензии на мою книгу, припомнил, что на мое сердечное приветствие Рид ответил крайне сухо и сразу же спросил с упреком «Почему ты не с нами? Ведь мы стараемся осуществить то, о чем ты всегда писал и говорил»

Мне в тот вечер было не по себе, и не потому, что, как думал спутник Джона, да и сам Джон, я был уличен в неискренности, предательстве или трусости. Нет, дело совсем в другом. Меня поразила мысль, что я не знаю и никогда прежде не видел этого человека — революционера Джона Рида. Я был в Советской России и мог достаточно ясно себе представить, с чем столкнулся там Рид, но мне трудно было поверить, что этот поэт и повеса мог стать революционером. Где это видано, чтобы поэзия привела человека к революции? Разве так бывает? Мне пришло также в голову, что отец Джона — о его кроткой и любящей матери нечего и говорить,— Ч Дж. Рид, этот

умнейший человек, пришел бы в отчаяние, узнав о печальной судьбе своего сына, подававшего такие надежды. И он счел бы меня виновным в этом.

Я восхищаюсь русскими.. Я стою за них до конца. Я горячий поборник России, я убежден, что ей принадлежит будущее. Россия победит, и в этом — спасение для всего мира. Но жить в России я бы не хотел Жизнь там сейчас слишком уж похожа на службу в действующей армии, где слабым нет снисхождения и некогда возиться с ранеными Молодежи это по плечу, молодежь это любит, но для меня, человека, безнадежно избалованного привычным течением жизни, Россия не подходит. Я могу служить ее делу, только находясь вне пределов этой страны, у себя на родине».

Так говорил самый старый друг Рида, почти его второй отец.

«ЧЕЛОВЕК, ПО КОТОРОМУ ПЛАЧЕТ ВЕРЕВКА»

Рид был убежден в своей правоте и держался стойко и независимо, но пренебрежение друзей, которые еще недавно преклонялись перед ним, а теперь ясно давали понять, что считают его предателем, было не просто досадным, оно причиняло боль. Достаточно было взглянуть на белое, как мел, лицо Джона, чтобы понять, как скрутили его болезнь и заботы.

Правда, теперь можно было, махнув на все рукой, засесть за работу. Государственный департамент вернул, наконец, его записи; надо было приниматься за книгу.

В небольшой квартирке в Гринвич-вилледже, в которой поселились Джон с Луизой, что-нибудь — не одно, так другое — постоянно отрывало его от дела, и он отыскал мансарду, где можно было спрятаться от всех и, перетащив туда все материалы, на несколько месяцев стать затворником; обстановка там была настолько благотворной, что, казалось, слова сами ложились на бумагу

Работая над книгой «Десять дней, которые потрясли мир», Рид просматривал сделанные им в России заметки, приводил в порядок привезенные документы, и все виденное оживало в его памяти. Он прекрасно понимал, что ему выпал необыкновенный жребий и книга должна быть написана правдиво и ярко, чтобы она могла выдержать испытание временем. Он хотел, чтобы эта книга заставила других проникнуться его мыслями и чувствами, но понимал, что не следует навязывать их читателю, пусть он придет к ним сам.

Говорят, что «истинное назначение писателя состоит в том, чтобы создать шедевр.. » И Рид создал такой шедевр. Однако вторая часть этой сентенции — «все остальное для него не имеет значения» — совершенно не подходила Риду, он никогда не согласился бы с подобной мыслью. И если его друг — поэт Ален Сигар совмещал творчество с жизнью солдата, то и Рид не считал для себя возможным оставаться в стороне от идейной борьбы и политических разногласий. Он не мог не встать на защиту Советской России; всем сердцем веря в идеи Ленина о перестройке жизни, об уничтожении голода и нищеты, Рид считал себя призванным бороться за свою веру.

Год 1918 был годом смятения, распрей, раздоров; страх перед революцией заглушал голос здравого смысла. Идеалистов и пацифистов, которые, предвидя опасность новой войны, уповали на всемогущество Лиги Наций и верили в ее способность предотвратить войну, люди, считающиеся с реальными фактами, не принимали всерьез. А тех, кто говорил, что «русский эксперимент» — это не дворцовый переворот, устроенный ничтожной горсткой опасных сумасбродов, а великое дело, определившее дальнейшую судьбу России, называли изменниками.

Реймонда Робинса, который имел возможность на месте познакомиться с большевиками и судил о них на основании собственного опыта, вызвали в сенатскую комиссию по расследованию, члены которой, разумеется, не имели о России ни малейшего представления.

Комиссия вызвала и Джона Рида, и его жену Луизу Брайант. Допрос Рида превратился в сенсацию Одна из газет поместила на первой полосе статью о революционных взглядах Рида, озаглавив ее: «Джон Рид — человек, по которому плачет веревка».

Страх перед тем, чтобы Америке не привили какую-нибудь опасную заморскую доктрину, оказался сильнее веры в природные силы и здоровый дух нации. Это был патриотизм навыворот.

К сожалению, лишь очень немногие задавались в то время вопросом, который, казалось, напрашивался сам собой: что же все-таки опаснее для Америки — паникующие лжепатриоты или проникновение в страну тех идей, от которых они лезут на стену? Сначала им всюду мерещились прогерманские настроения и шпионаж, потом — большевизм и социализм, которые надо беспощадно искоренять. На самом же деле антиамериканскими были действия этих сумасбродных, тупых и самоуверенных чинуш с их бесконечными «расследованиями», погромами, арестами и конфискациями.

Тем временем Рид уже приступил к решению задачи, которая, по его глубокому убеждению, не терпела ни малейших отлагательств и которую он считал своим кровным делом: он принялся — ни много ни мало! — за реорганизацию социалистической партии США.

Тот доморощенный социализм, который исповедовался у нас, не был боевой программой Рид же предлагал встать на путь борьбы.

Благодаря стараниям Морриса Хилквита и других лидеров борьба за социализм свелась к бесконечным разглагольствованиям и междоусобицам в партии; социалистическое учение, потонув в пучине этих словопрений, не могло вырасти в силу, способную завла-

деть массами, не могло превратиться в программу действий.

Рид с неистощимой энергией принимается за дело; он выступает на дискуссиях враждующих фракций, а затем уже в качестве лидера левых появляется на съезде партии. Борьба завершилась выходом коммунистов из социалистической партии и образованием двух новых партий — Коммунистической партии Америки и Коммунистической рабочей партии *. С этой второй неразрывно связана последующая судьба Джона Рида. Партия возложила на него обязанности ее представителя в Коминтерне и решила послать его в Советскую Россию.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

В прежние времена, когда он был здоров и молодость била в нем ключом, трудности такого путешествия — приходилось пробираться тайком, как скрывающемуся от закона преступнику, убийце или бежавшему из лагеря военнопленному,— только позабавили бы Рида. Теперь же ему было не до смеха.

Он отплыл из Америки кочегаром на какой-то скандинавской посудине, записавшись в судовом журнале как Джим Гормли, а в Бергене пересел на другой корабль. С этой минуты он снова становится Джоном Ридом и с помощью подпольных организаций движется дальше.

Его переводят через границы и кордоны; окольными путями, медленно, но упорно, преодолевая все опасности, он пробивается к цели. Наконец, на советско-финской границе его передали с рук на руки красноармейцам, после чего он прямым сообщением отправился в Москву, к Ленину.

Этот удивительный человек братски приветствовал Рида. Придвинув свой стул вплотную к Риду, так что их колени соприкасались, посмеиваясь и оживленно жестикулируя, он принялся расспрашивать о положении в Америке, вникая в мельчайшие подробности. У Ленина были все основания отнестись с сомнением к некоторым сообщениям Рида, особенно к его утверждению, что революция в США не за горами, но в глазах его искрились неподдельный интерес и сочувствие. Ленин всегда был внимателен к молодежи, и на этот раз он держался как учитель, терпеливо выслушивающий слишком порывистого ученика. Он одобрил решение Рида отказаться от предоставленных ему ЦИКом привилегий и удобств и поселиться где-нибудь в рабочем квартале. Только так можно было выучить русский язык и по-настоящему узнать Россию.

Эта первая беседа была лишь началом знакомства. Несмотря на то, что к Ленину сходились все нити управления гигантской страной, которая ждала от него решения множества неотложных вопросов, и у дверей его кабинета вечно толпились люди, Рид всегда был у него желанным гостем.

Они обсуждали сложнейшие проблемы развития человеческого общества; беседы их, как правило, затягивались далеко за полночь. Возвращаясь домой по пустынным улицам, на которых уже брезжил рассвет, Рид уносил с собой не только ленинские работы об империализме, войне, о революционном насилии и стратегии пролетарской революции, о проблеме разоружения. Он уносил с собой и нечто большее, ленинскую правду, которая постепенно овладевала всем его существом, и благоговение перед ленинской ясностью, его умением, отсекая все лишнее, вскрыть суть вопроса. Риду казалось, что он получил в руки ключи, отпирающие двери в будущее.

Ленин подсказал Риду темы ряда статей— о революционной ситуации в Америке, об американском рабочем движении, о политике ИРМ и т. д.

Зимой Рид совершил поездку в глубь страны, в далекие, глухие деревушки на берегах скованной льдом Волги — ему хотелось познакомиться с крестьянами, посмотреть, как они живут.

А потом, как гром с ясного неба, пришло сообщение: американское правительство начало массовые аресты коммунистов. Более чем ста коммунистам, в том числе и Риду, было предъявлено обвинение, которое не решались откровенно сформулировать, как «неблагонадежность». Нация страдала несварением желудка, ей предписывалась строжайшая диета, а потому всех неамериканцев (в том числе и старого друга Рида Эмму Голдмен) погрузили на корабль и вывезли в Европу.

Шел декабрь 1919 года. Рид решил немедленно ехать в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом. Скорее всего его ждала тюрьма, но он считал, что не может поступить иначе.

Однако, пускаясь в путь, он рисковал гораздо больше, чем предполагал: если выбраться из Америки было трудно, то попытка вернуться туда чуть не кончилась для Рида гибелью.

Рид спрятался в бункере финского парохода, направлявшегося в Швецию, но в Або его вытащили оттуда полицейские, и при виде его бумаг у них глаза полезли на лоб. Рида тут же упрятали в одиночную камеру, где ему предстояло ждать, пока правительство Финляндии соблаговолит рассмотреть его дело.

Но проходил месяц за месяцем, а правительство, казалось, забыло о его существовании.

Неопределенность положения — ведь его вполне могли приговорить к смертной казни! — отсутствие известий от друзей на родине, которые, казалось, не торопились прийти ему на помощь, ощущение полной потерянности и одиночества — все это не могло не отразиться на его здоровье и состоянии духа. Весь март он только и делал, что, меряя шагами камеру, предавался

---

* В мае 1921 г. эти партии слились в единую коммунистическую партию, которая в декабре 1921 г. вошла в созданную тогда же легальную Рабочую партию. С 1928 г. Рабочая партия стала называться Коммунистической партией США.

мрачным размышлениям о злосчастном стечении обстоятельств, жертвой которых он стал. В апреле, словно очнувшись от тяжелого кошмара, он попытался писать. Им было задумано два романа, но дело так и не пошло дальше заголовков и черновых наметок; тем не менее это помогло ему прийти в себя, обрести душевный покой. Он с нежностью вспоминает Луизу и посвящает ей большое стихотворение.

Переданное кем-то в американское телеграфное агентство и напечатанное в газетах сообщение о том, что Джон Рид казнен в Финляндии, заставило государственный департамент зашевелиться. Вся эта история оказалась уткой, но она так взволновала умы, что в Вашингтоне почувствовали беспокойство. Сам Барух в беседе с авгурами из госдепартамента заметил: «Насколько я понимаю, этот Рид — опасный радикал. Но все равно, он американский гражданин. Вы должны что-то предпринять».

Хотя государственный департамент действовал недостаточно энергично и каких-либо реальных результатов ждать не приходилось, его вмешательство все же заставило финнов изменить свое обращение с Джоном Ридом. Шел май, уже третий месяц он сидел в заточении, и только теперь ему, наконец, разрешили писать Луизе и получать от нее письма.

Теперь он мог хотя бы успокоить ее насчет своего здоровья и сообщить ей, что живется ему неплохо. «Я совершенно здоров,— писал он Луизе.— Последние два месяца не курю — бросил. Мне разрешены прогулки по тюремному двору. Начальник тюрьмы очень добр ко мне. Что же до американских властей, то они за все это время не удосужились даже повидаться со мной или установить какую-либо связь. Но я благодарен им за это. Я не хочу от них никакой помощи.

Мне кажется, я достаточно ясно представляю себе, что творится сейчас у нас, в Америке, и, когда выйду, буду знать, что делать. Мне совсем не плохо здесь, родная, и если бы не безделье и одиночество, если бы не беспокойство за тебя, моя любимая, я мог бы жить здесь хоть целые годы. Передай сердечный привет всем нашим. Скажи Орасу (Ливрайту), что великий вождь (Ленин) считает мою книгу великолепной» (Оба примечания в скобках мои.— *К. Х.*).

Вряд ли можно было в таком положении, в каком находился Рид, подыскать слова, более успокаивающие и более убедительные; а между тем бесконечные, томительные дни и недели, казалось, тянулись все медленнее, и атмосфера становилась все более гнетущей — финны выдвинули против Рида прямое обвинение в подготовке подрывных действий против правительства Финляндии.

Сырая камера и тюремная кормежка — заключенным изо дня в день давали сырую рыбу — сделали свое дело, душевное и физическое состояние Рида было очень тяжелым.

Но вот наступил июнь, и внезапно все изменилось.

Рид не знал, что советское правительство хлопочет о его освобождении. Переговоры велись на этот раз без обычных дипломатических околичностей. В Советской России находились под арестом два финских профессора. Их предложили обменять на Рида. Предложение было немедленно принято, а Ленин, говорят, заметил, что он охотно отдал бы за Рида хоть целый факультет.

И вот Рида встретила приветливая и оживленная Москва. Было начало лета, на бульварах цвели цветы, играла музыка, в переполненных театрах шли представления. Риду удалось послушать Шаляпина в «Фаусте». Здоровье его быстро восстанавливалось благодаря заботам Эммы Голдмен, этой отпетой анархистки с лицом доброй матери. Эмма оказалась опытной сиделкой, и пока она выхаживала Рида, у них ни на минуту не затихали споры, не прекращался обмен колкостями.

И СЕРДЦЕ, И ЖИЗНЬ...

Три месяца, проведенные Ридом в тюрьме, стоили трех лет. Даже на залитых солнцем улицах Москвы он не мог забыть полумрак одиночки. Пережитые страдания окончательно расшатали его организм, Рид выглядел постаревшим, разбитым — на лице обозначились резкие морщины, суставы опухли, мышцы потеряли упругость, и хотя он ходил, все так же расправив широкие плечи, говорил все так же горячо и порывисто, достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, как сильно он сдал, как измучен. Не осталось и следа от его юношеской легкости, постоянной готовности подурачиться; по-новому обозначившаяся, прямая жесткая линия рта внушала мысль, что нам никогда уже больше не увидеть его прежней, беззаботно-насмешливой улыбки, не услышать его ядовитых шуток.

После возвращения из тюрьмы Рид, словно одержимый, принимается за работу. Нечего нянчиться с недугами — черт с ними! Он может служить делу, которое ему дороже всего, о котором в Америке пока еще нельзя и помыслить; ему выпало редкое счастье — он знал, что приносит пользу.

Рид произвел огромное впечатление на известного скульптора англичанку Клэр Шеридан, которая работала в то время над скульптурными портретами вождей революции. В ее дневнике осталась такая запись о нем: «Ладно скроенный, красивый молодой человек, который покинул родину и бросил все, чтобы отдать свое сердце и жизнь революции. Русских я еще понимаю, но что за неведомая сила движет этим, как будто бы совершенно обычным молодым американцем?»

Сила, которая так и осталась неведомой для этой далеко не глупой женщины, захватила Рида без остатка. Мятущийся дух, который мог бы найти свое выражение в литературном творчестве, устремился по другому руслу, и только теперь Рид стал наконец самим собой.

КАРЛ ХОВИ
ЛЬВЕНОК

Пожалуй, эту «неведомую силу» лучше всего можно определить словом «надежда». Надежда окрыляла Рида и в дни Мексиканской революции, которую он принял всем сердцем потому, что миллионы оборванных пеонов, казалось, могли вот-вот завоевать себе лучшую жизнь. А то, что совершил народ России, было величайшим подвигом в истории, и ради того, чтобы участвовать в нем, Рид сжег за собой все мосты.

«БОЛЬШЕГО НАМ НЕ ДАНО...»

Сомневался ли Рид когда-либо в том, что избрал правильный путь? Это праздный вопрос. Лучшим доказательством твердости его убеждений является то, что он оставался верен им до конца.

Два старейших друга Рида, столь неукротимых во времена сборищ у Мейбл Додж, испытали в России горькое разочарование. Неистовая Эмма Голдмен и ее верный соратник Александр Беркман, приехав в Россию, пришли в отчаяние от тех решительных мер, которые вынуждено было принимать революционное правительство,— они наотрез отказывались верить, что революция не может обойтись без насилия, без страданий, без жертв. Годы агитации против правительства в США, за которую их бросали в тюрьмы и которая, как они полагали, должна была изменить всю жизнь,— оказались для них недостаточной школой, и они не стали подлинными революционерами. Они отправились к Ленину, считая необходимым убедить его в своей правоте.

Ленин говорил с ними очень мягко, расспрашивал об Америке, интересовался, какую работу можно поручить им в России. Но он посоветовал американским друзьям не судить опрометчиво, а разобраться во всем как следует. Лучше всего сразу же взяться за дело, это поможет им покончить с путаницей в представлениях о революции.

Тем не менее Эмма впоследствии пространно писала о том, как она разочаровалась в Советской России. Не удивительно, что преданность Рида делу революции, его страстная непреклонность привели ее в ужас.

«Рид ворвался ко мне в комнату,— вспоминает она об этих днях,— словно внезапный луч света; это был все тот же неугомонный Джон, каким я знала его в Штатах.

— Ну разве это не изумительно, не потрясающе? — закричал он.— Ведь все, о чем ты когда-то мечтала, сбылось в России, идеи, за которые жестоко преследуют у нас в стране, здесь словно по мановению волшебной палочки воплощены в жизнь. И это сделано Лениным и его соратниками, большевиками, о которых у нас отзывались с таким пренебрежением! Могла ли ты когда-нибудь думать, что нечто подобное произойдет в стране, которой веками правили цари?

— Этого добились не Ленин и его соратники,— возразила я,— а русский народ с его славным революционным прошлым».

«Славное прошлое» было присловьем, которое, не переставая, твердили те, кто отстал от революции, кого она опередила или смела на своем пути. Рид твердо стоял на том, что пролетарская революция давно переросла мерки этого прошлого.

— Ты только взгляни на своих «старых бойцов»,— крикнул он,— на всех этих брешковских и чайковских, черновых и керенских, посмотри, с кем они теперь заодно! С черной сотней, с погромщиками, со сворой монархистов! Они помогают им подавлять революцию! Мне нет дела до их прошлого. Я сужу о них только по той предательской деятельности, которую эта банда ведет уже три года. И я говорю — к стенке их!.

— Замолчи, Джон, замолчи! — закричала Эмма.

Джон умолк. Между двумя старыми друзьями — героиней и ветераном анархистского движения, когда-то чуть ли не в одиночку сражавшейся с существующим строем, и молодым борцом, увидевшим смену этого строя новым,— разверзлась пропасть, и никакие слова уже не могли помочь им перешагнуть ее. Эта измученная женщина была намного старше Рида. Но их разделял не только возраст, но и упорное неверие Эммы Голдмен в величие революции, в необходимость суровой беспощадности к врагу.

Великий русский поэт Маяковский писал:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Должно быть, нечто подобное испытывал и Рид; он быстро переменил тему разговора. «Тебе нужно выпить чаю», — сказал он, и Эмма была поражена его внезапным спокойным тоном.

В Баку был созван съезд народов Востока, и Риду предложили принять участие в работе съезда Рид со дня на день ждал приезда Луизы Брайант, которую он вызвал из Штатов. Она уже добралась до Стокгольма и в скором времени должна была прибыть в Москву. Чувствовал он себя прескверно, больше всего ему хотелось поселиться с Луизой где-нибудь в глуши и хорошенько отдохнуть. Но пропустить такое событие, как этот съезд, было невозможно.

И когда он оказался в президиуме съезда и посмотрел в зал, где сидели люди самых разных национальностей — турки, персы, индусы, китайцы — у него захватило дух от восторга. Он слушал выступления множества ораторов и сам произнес горячую, взволнованную речь. В его голосе звенела страстная убежденность, и, хотя он говорил по-английски, главное было понятно всем. Такого высокого душевного подъема ему уже больше не пришлось испытать.

Где-то вдали слышалась артиллерийская стрельба — на Каспийском побережье еще шла гражданская война, и делегаты из Москвы прибыли на съезд в бронепоезде. На бронепоезде же они и вернулись в Москву после закрытия съезда.

Здоровье Рида было в самом плачевном состоянии — напряжение, в котором он прожил эти дни в Баку, отняло у него остаток сил.

В Москве его ждала Луиза. Ее поразил измученный вид Рида. Но Рид успокаивал ее: она приехала, и теперь он быстро поправится; ему нужно всего несколько недель, чтобы прийти в норму, и тогда он поедет в Америку и предстанет перед судом. Это стало у него навязчивой идеей, и на все уговоры Луизы он твердил свое. Луизе бросилось в глаза его странное лихорадочное возбуждение

Она привезла ему письмо от матери.

«Твои слова о том, что ты кажешься себе эгоистом,— писала мать, отвечая на его письмо, посланное из тюрьмы в Финляндии,— огорчают меня, родной. Пусть это чувство никогда больше не беспокоит тебя. Ты служишь делу, которое считаешь правым,— большего нам не дано в этой жизни, и если мы поступаем иначе, то совершаем непоправимую ошибку. Меня мучит только страх, что твоя жизнь под угрозой, а в остальном, раз ты уверен, что прав, все обстоит так, как нужно».

МЕЧТА ДЖОНА РИДА

Если бы Риду случилось когда-нибудь молиться, то за всю его бурную, полную опасностей жизнь у него не было бы для этого более веской причины, чем теперь: счастье изменило ему, подкрадывалась беда.

Ему предстояло еще своротить целую гору дел, неотложных и увлекательных. Быть может, он надеялся, что его не арестуют, ведь ему уже столько раз удавалось избежать тюрьмы. Он думал поселиться в сельской местности, в Кротоне, где у него был коттедж, и осуществить наконец свою мечту — писать романы, пьесы, стихи и целые дни проводить с Луизой. Все это не сбылось.. Вскоре по возвращении из Баку он тяжело заболел, его свалил тиф. В письме Максу Истмену Луиза рассказывает:

«У него не было того страшного горячечного бреда, какой бывает у большинства тифозных больных. Он ни на минуту не переставал узнавать меня, и в голове у него все время вертелись стихи, разные истории и выдумки, одна чуднее другой. Он все повторял: «Знаешь, когда очутишься в Венеции, то без конца спрашиваешь встречных: «Это Венеция?» — просто потому, что приятно услышать ответ». Он говорил, что в воде, которую он пьет, полным-полно песенок. И, совсем как ребенок, сочинял необыкновенные приключения, которые будто бы случаются с ним и со мной и в которых мы проявляем чудеса храбрости. За пять дней до смерти его разбил паралич. После этого он уже не мог говорить, и мы не спали ни днем, ни ночью, продолжая надеяться вопреки очевидности. Даже когда наступила смерть, я не верила, что он умер. Я не выпускала его руки и продолжала с ним разговаривать; кажется, я просидела так много часов».

Прощание с Ридом было торжественным. Из Колонного зала, где был установлен гроб с его телом, траурная процессия медленно двинулась к Красной площади. По обе стороны катафалка шли красноармейцы, военный оркестр играл похоронный марш. Несмотря на холод и моросящий дождь, Рида провожали тысячи людей. У кремлевской стены процессия остановилась, начался траурный митинг.

Еще задолго до смерти Рид писал:

«Я слишком много взвалил на себя и, быть может, поэтому пока еще не успел ничего. Я хотел написать новую «Человеческую комедию». Вместо этого мне пришлось пережить ее. И теперь я пришел к заключению, что только это мне и было дано — жить, и притом полной жизнью».

Такую чрезмерную скромность можно объяснить тем, что Рид всегда стремился к художественному творчеству, а на этом поприще он преуспел сравнительно мало.

Но случись так, что судьба уберегла бы его еще раз и дала ему возможность поселиться в маленьком коттедже в Кротоне, прошло бы немного времени, и он снова шагал бы во главе демонстраций, выступал бы на митингах, снова с головой ушел бы в борьбу.

В этом было истинное призвание Рида, он посвятил борьбе всю свою жизнь без остатка, и Америка может по праву гордиться им.

ТАМАРА ХОВИ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Хотя человеческое сознание способно постичь перемену, подсознательно люди при этом всегда бывают поражены. Ребенок, которого мы не видели лет десять, вдруг предстает перед нами взрослым мужчиной, и мы удивлены до глубины души; или друг, которого мы помним с черными как смоль волосами, после долгой разлуки вдруг появляется совсем седой, с морщинистым лбом, и в первую минуту сердце сжимается, и мелькает

невольная мысль, что с ним случилось несчастье, но уже в следующее мгновение мы понимаем, что никакого несчастья не было, что это просто — перемена.

Точно так же многие американцы склонны считать общественный порядок, при котором они живут, неизменным, вечным, и всякая решительная, коренная перемена кажется им немыслимой. Разумеется, они допускают возможность некоторых незначительных перемен — новые моды на прически, или новый стиль в джазе, или новые реактивные трансатлантические самолеты. Но все эти перемены поверхностны, второстепенны. А образ жизни, которого они придерживаются, американский образ жизни, капиталистический образ жизни, по их представлениям, будет существовать в Америке вечно. И всякого, кто думает иначе, они обычно считают не вполне нормальным или лишенным патриотизма фанатиком, состоящим на жалованье у иностранного правительства.

И все же не более сорока лет назад были американцы, которые верили в социалистическую Америку, открыто выступали за нее. И этих американцев не бросали в тюрьму, не выгоняли с работы, не высылали, не считали ненормальными. Напротив, им предоставляли возможность выражать свои взгляды в статьях, заметках, карикатурах на страницах популярного и приносившего крупные доходы американского журнала с большим тиражом, который назывался «Метрополитен» и принадлежал одному из самых богатых людей Америки — капиталисту Гарри Пейну Уитни.

Мне доставляет большое удовольствие листать немногие номера этого журнала, сохранившиеся после отца, который был его коммерческим редактором,— двенадцать номеров, переплетенных в коричневую кожу, с ноября 1914 по октябрь 1915 года. Когда я их просматриваю, мой пятилетний сынишка глядит на рекламные картинки, и глаза у него широко раскрыты от удивления. Он тоже не может постичь происшедшей перемены, не может себе представить, что когда-то существовал тандем, или вязаные кальсоны, или живописные шляпы и длинные, до полу, женские платья, которые носили и днем. Он смотрит на отлично выполненное изображение автомобиля «нью пирлесс» с широкими крыльями, квадратным кузовом и спицами на колесах и спрашивает: «Неужели это автомобиль?» А я тем временем пробегаю глазами столбцы одного номера за другим и с таким же удивлением спрашиваю себя: «Неужели это Америка?..»

В февральском номере на тридцать первой странице помещена статья «Социализм и война»; автор ее — Моррис Хилквит, социалист, открыто критикующий капиталистическую систему. На восьмой странице того же номера статья Теодора Рузвельта, бывшего президента США, по поводу договора о Панамском канале. В ноябрьском номере напечатаны рассказы Д. Х. Лоуренса, Г. К. Честертона, Бута Таркингтона и здесь же статья под заглавием «Кук и капитан Болд», написанная известным социалистом и смелым революционером Джоном Ридом. В другом номере — шесть страниц фотографий изящных русских танцовщиц, портрет знаменитой актрисы одного из бродвейских театров, репродукция античной статуи и — всего через несколько страниц — острые карикатуры Арта Янга, изображающие толстого самодовольного капиталиста, который заботится только о своих прибылях и безразличен к благосостоянию народа, с таким текстом: «Социалисты хотят, чтобы все человечество осуществляло контроль над производством... Только тогда наступит счастливый день всеобщего братства».

Эти страницы раскрывают передо мной странную, незнакомую мне Америку, где бывший президент — с одной стороны и революционер — с другой сотрудничали бок о бок в одной редакции, где печатались высказывания, которые теперь были бы расценены как крамольные, и карикатуры, которые сегодня не поместил бы ни один популярный журнал, а если бы они вообще появились, их сочли бы наивным подражанием карикатурам какого-нибудь иностранного коммуниста. И я невольно спрашиваю себя: «Как же это случилось? Что это было за явление — журнал «Метрополитен»? Был ли он единственным в своем роде? Или же только связан с единственным в своем роде периодом в развитии Америки?»

Заинтересовавшись этим, я роюсь в книгах, где описывается то время,— в произведениях Арта Янга, Линкольна Стеффенса, Эммы Голдмен, Грэнвилла Хикса, Майка Голда... И я сразу же убеждаюсь, что не было никакого периода демократической идиллии, когда предприниматели, словно сонный кучер, дремали, ослабив вожжи, позволяя радикалам и представителям левого крыла некоторое время править каретой истории. Нет, это было не так. Слишком много анархистов было брошено в тюрьму, слишком

многим толпа угрожала судом Линча, слишком много стачек, участники которых требовали повышения заработной платы, было безжалостно подавлено, и память о людях с Хеймаркета, повешенных за то, что они боролись за восьмичасовой рабочий день, все еще жива среди людей, не потерявших совести. Нет, это не был внезапный перерыв в борьбе противоположных общественных сил Америки. Наоборот, это был период сильного общественного брожения и упорной борьбы. И люди, которым принадлежали все богатства в стране, вовсе не дремали. Они бдительно охраняли свои богатства, защищая их через суды, которые были им подчинены, через газеты, которые им принадлежали, и даже — как во время стачки в Ладлоу, штат Колорадо,— штыками и пулями.

Правда, думаю я, в то время Америка еще не занимала главенствующего положения в капиталистическом мире. Она еще была тогда лишь одной из соперничающих держав. Да и сам капитализм еще не консолидировал полностью своих сил внутри страны. Высокий жизненный уровень, наличие привилегированной касты в среде рабочих, старательно поддерживаемые в народе буржуазные иллюзии — всех этих факторов, которые впоследствии способствовали нейтрализации революционных настроений американских рабочих, тогда еще не существовало. Идеи, признанные официальной пропагандой,— единственные, которые теперь днем и ночью проникают в каждую американскую семью с помощью радио и телевидения,— тогда не имели таких массовых средств распространения. И грубые полицейские методы того времени еще не уступили места более тонким, более «цивилизованным» формам подавления, выразившимся в требовании клятвы о лояльности, в работе комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и в упорной, всепроникающей антикоммунистической пропаганде последних лет. Капитализм тогда в известном смысле переживал период юношеской незрелости и неуверенно осуществлял свою власть над «беспокойными» рабочими. Кроме того, в России еще не произошла социалистическая революция и социализм в меньшей степени «угрожал» капитализму, поскольку в сознании большинства людей был лишь мечтой, а не ощутимой реальностью, какой он вскоре стал.

Сторонники реформ, «разгребатели грязи», желавшие социальных перемен в рамках существующей системы, работали параллельно с теми, кто хотел, чтобы на смену всей этой системе пришла новая. То обстоятельство, что эти две группы работали по разные стороны невидимой стены — стены, которая неизбежно и решительно разделяет реформатора и революционера в критические периоды,— еще не ощущалось ими. И они, эти временные друзья, не подозревали тогда, что пройдет несколько лет, и война разделит их, увлечет в разные стороны, что противоречия между ними станут глубокими и непримиримыми, ибо реформаторы превратятся из критиков в верных защитников капитализма. В то время и те и другие были участниками широкого общественного движения.

Именно их единство в этом общественном движении — непрочное и кратковременное, но тем не менее вполне реальное,— как мне кажется, в конечном счете и сделало возможным существование такого журнала, как «Метрополитен», благодаря чему произведения Джона Рида, Морриса Хилквита, Арта Янга и других социалистов того времени дошли до широкого читателя.

Однако существование «Метрополитен» даже в то время, как мне кажется, было явлением уникальным, ибо это был единственный прибыльный журнал с большим тиражом, который открыто — в передовых статьях — поддерживал дело социализма. Грэнвилл Хикс в своей книге «Джон Рид. Становление революционера» так описывает характер этого журнала:

«Метрополитен», перейдя в 1912 году к новому владельцу, стал на службу социализма, точно так же, как «Макклюр» и «Эврибоди» стали на службу «разгребателей грязи». Как и эти его предшественники, он больше всего места уделял художественным произведениям, и щедрые субсидии, отпускавшиеся Гарри Пейном Уитни, позволяли ему печатать произведения Редьярда Киплинга, Арнольда Беннета, Джозефа Конрада, Бута Таркингтона, Руперта Хьюза, Фэнни Херст и многих других, благодаря чему журнал быстро раскупался. И в то же самое время... Уолтер Липпман и Моррис Хилквит выступали на его страницах за социализм, Фредерик К. Хау писал статьи о рабочем движении за рубежом, Израэл Зэнгуилл — о движении за равноправие женщин в Англии, Бернард Шоу — о равенстве, Линкольн Стеффенс — о коррупции. Наиболее

умные из радикалов относились к этому скептически и насмешливо, но и они не могли не почувствовать, что, когда прожженные редакторы, поддерживаемые бравирующим миллионером, принимаются пропагандировать социализм, движение ширится».

Мой отец, Карл Хови, был одним из этих «прожженных» редакторов. Он работал в «Метрополитен» с 1912 по 1922 год, и эти годы описал в своих воспоминаниях о Джоне Риде.

Внешне мой отец, во всяком случае, не был похож на прожженного газетчика. Он родился в Бостоне в старинной американской семье. Как гласит родословная моего отца, один из его предков, семнадцатилетний английский юноша, в 1635 году пустился в поисках приключений по морям на шестнадцатипушечном корабле, который назывался «Архангел Гавриил», и решил поселиться в американских колониях. Мой отец, сын полковника армии северян, раненного в битве при Геттисберге, воспитывался в тихой патриархальной обстановке в Новой Англии. В юности он учился в Гарвардском университете у профессора Чарлза Коупленда, чьи вдохновенные лекции он слушал вместе с Джоном Ридом, который также был учеником Коупленда. После окончания университета он работал газетным репортером, биографом финансиста Пирпонта Моргана, коммерческим редактором «Метрополитен», редактором «Херст интернейшнл», редактором по истории у Сесиля де Милля в Голливуде и, наконец, главным редактором по тихоокеанскому театру военных действий в отделе военной информации во время второй мировой войны. Это был высокий, хорошо сложенный молодой человек приятной наружности, любивший и прекрасно знавший художественную литературу. В то время ему уже, вероятно, было свойственно то, что я наблюдала в нем позднее и что являлось одной из главных его черт: это был человек, считавший, что все на свете принадлежит ему. Это была его страна. Он и ему подобные основали ее и боролись за нее. Он не желал никому уступать ни дюйма. И когда дело касалось его взглядов на литературу, он тоже никогда не уступал. Все время, пока он был редактором «Метрополитен», он отстаивал свои взгляды на то, что такое подлинная художественная ценность и что такое дешевая преходящая популярность. Позднее он с гордостью говорил, что время подтвердило его правоту.

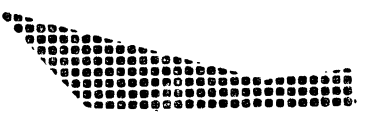
Несмотря на строгое воспитание, полученное в Новой Англии, мой отец отличался широкими взглядами на жизнь, и лучше всего это, пожалуй, доказывает его женитьба на моей матери, Соне Левьен. Она тоже происходила от тех, кто строил Америку, но совсем по-иному — в больших городах, на фабриках, где работали иммигранты. В отличие от моего отца, ей, когда она начинала жизнь, ничто не принадлежало. Она родилась в литовской деревушке, ныне ставшей пригородом Каунаса, и еще ребенком узнала ужасы погромов во времена царизма. И позднее, на густо заселенных улицах восточного предместья Нью-Йорка, где поселилась ее семья после эмиграции, она узнала от ирландских ребятишек, которые гоняли ее по улице камнями, что она не принадлежит к полноправным американцам. Однако там она научилась не только бегать, но и давать обидчику сдачу и боролась всю свою жизнь, с ранней юности, когда работала по двенадцать часов в сутки на фабрике одеял, а по ночам училась. Таким образом она закончила юридическую школу, а потом стала редактором журнала, выступавшего за женское равноправие. Особенно упорную борьбу пришлось ей вести на поприще киноискусства, в мире мужчин, где она в течение сорока лет прокладывала себе дорогу в качестве сценаристки и затем стала одной из ведущих писательниц в кино. Мой отец встретился с ней, когда она была молоденькой голубоглазой девушкой с густыми каштановыми волосами, ей только что минуло двадцать лет. Она умела бойко писать о том, что видела, и, главное, была исполнена решимости никому на свете не дать себя сломить. Она уже приобрела некоторый опыт журнальной работы, когда стала писать для «Метрополитен» специальные статьи о правах женщин и о стоящих перед ними проблемах. Она сотрудничала в «Метрополитен» много лет и, как мой отец, познакомилась с Джоном Ридом и восхищалась им.

Отношения между моим отцом и Джоном Ридом, хотя и были в значительной степени отношениями между работодателем и автором, часто — как видно из переписки — выходили за эти рамки. Джон Рид был с моим отцом прям и откровенен. Он не скрывал, что работал с юношеским пылом и в то же время сомневался в результатах своей деятельности; все это он высказывал по-мальчишески чистосердечно и доверчи-

во. Он попал в хорошие руки, так как мой отец всегда готов был предоставить талантливому человеку самые широкие возможности. Отец понимал, что подлинные литературные произведения нельзя мерять ярдами, как материю, и такие вещи, как опоздание со сдачей рукописи, или денежный долг, или романтическая влюбленность, мешавшая писать,— все, что привело бы в бешенство более корыстного редактора, он легко прощал. Для него важнее всего была «божья искра» — если только он замечал ее, то все остальное прощал и забывал. Таким образом, между Джоном Ридом и моим отцом за все годы их совместной работы сохранились наилучшие отношения. И мы часто находим в письмах Джона Рида подтверждение того, как высоко он ценил доверие моего отца. Однако с началом первой мировой войны, когда журнал переменил направление и вместо умеренного пацифизма начал откровенно поддерживать военные настроения, что привело к обострению отношений между редакцией и Джоном Ридом, поскольку он не хотел пропагандировать войну, талант стал уже второстепенным фактором, и разрыв между «Метрополитен» и Ридом, хотя и без личной враждебности или обид, стал явным и бесповоротным.

С тех пор, насколько мне известно, мой отец больше не виделся с Ридом, но часто вспоминал о нем. В его дневнике я прочла, что еще в конце двадцатых годов он задумал написать книгу о Риде. Но он боялся, что в Америке, где уже успели забыть революционеров, такая книга не вызовет интереса, и поэтому колебался. И только в начале сороковых годов, во время войны, когда союз Америки с СССР создал атмосферу, в которой антикоммунистические настроения на время утихли, он решился осуществить свой замысел. Но даже тогда он просчитался. «Львенок» побывал у многих издателей, и хотя книгу хвалили за ее литературные достоинства, однако отвергали из-за содержания. Одним словом, Джон Рид никого не интересовал. Поэтому рукопись так и не была опубликована до настоящего времени.

Я очень рада, что «Львенок» наконец увидит свет в русском переводе, и уверена, что моего отца тоже порадовало бы это. Не только как его дочь, но и как читательница, я могу сказать, что эта книга более чем достойна того, чтобы ее напечатали. Это теплый и искренний рассказ о Джоне Риде, воздающий справедливую дань его достоинствам и напоминающий нам о человеке, который заслуживает, чтобы его никогда не забывали. Более того, эта книга раскрывает нам нового Рида, молодого и порой неуверенного, опрометчивого, с причудами — того, кто потом целиком посвятил себя делу революции и описал десять дней, которые потрясли мир. Мне кажется, никогда не лишне напомнить, что великие люди в сущности своей не отличаются от обыкновенных, ибо из этого вытекает, что обычные люди, все без исключения, способны стать великими.



У НАШИХ ДРУЗЕЙ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

«КОРТАРШ» (Венгрия)

Kortárs

№№ 1—7 1962 г.

Шестой год выходит в Венгрии ежемесячный литературно-критический журнал «Кортарш» («Современник»). Его заполненные мелким убористым шрифтом страницы позволяют читателю ориентироваться в многообразной литературной жизни страны. Об этом многообразии дает представление даже самое беглое знакомство с журналом, кругом его авторов, неизменно обновляемым и расширяемым.

В «Кортарше» охотно выступают с новыми своими произведениями крупнейшие мастера слова, как, например, Арон Тамаши, чья пьеса-сказка «Счастливый осиновый лист» появилась в первом номере журнала; как Ласло Немет, писатель европейской известности и большого творческого диапазона; в этом году здесь напечатаны и изящная дневниковая зарисовка Немета «Телефон» (№ 4), и его четырехактная комедия «Путешествие» (№ 5), и заметки о романе польской писательницы Марии Домбровской «Ночи и дни» (№ 6), и большая, непринужденно написанная статья «Человек, пробующий силы» (№ 7), задуманная как предисловие к подготовленному писателем сборнику статей и исследований.

Начиная со второго номера, «Кортарш» печатает частями большой роман Йожефа Дарваша «Пьяный дождь». Это — попытка показать пути передовой венгерской интеллигенции, связавшей свою жизнь с коммунистической партией Венгрии еще в суровые годы войны и фашистского террора.

Во втором номере журнала напечатаны воспоминания Ирен Кун, жены руководителя венгерской пролетарской революции 1919 года Бела Куна. Это отрывок из большого труда, над которым уже не первый год работает Ирен Кун. Она вспоминает товарищей своей юности, стремясь воссоздать для нынешней молодежи Венгрии образы тех венгерских коммунистов, которые много лет назад в суровых исторических битвах закладывали первые камни в здание сегодняшней социалистической Венгрии.

«Кортарш» внимательно относится к молодому писательскому поколению. В первом номере этого года стихи молодых даны подборкой, в которой представлены семь поэтов: Шимон Шерфёзё, Ференц

Кашшаи, Ева Ташнади-Варга, Ласло Белла, Мария Инце, Тамаш Надор, Магда Гутаи. В последующих номерах журнала также отводится место для поэтов, чей голос впервые прозвучал в венгерской литературе совсем недавно.

Представлена в «Кортарше» и молодая проза. В апрельском номере опубликована повесть Лайоша Барата «Дома без адреса». Молодой писатель с увлеченностью первооткрывателя рассказывает о жизни рабочих-доменщиков, о грандиозных сдвигах, происшедших в ней за последние годы.

Живым интересом к людям нынешней строящейся Венгрии проникнут и большой очерк Дёрдя Молдовы «Страна двух сверчков» (№ 7), и короткие зарисовки Бела Тота «Люди, мечты, страсти» (№ 5).

Писатели разных поколений и разных творческих позиций напряженно думают о путях, пройденных венгерским народом за последние десятилетия, и, каждый по-своему извлекая уроки из истории, делятся своими раздумьями с читателем на страницах журнала. Именно в этом сущность повести Ласло Эрдёша «Жил среди нас человек» (№ 7) и многих других больших и малых, названных и не названных здесь произведений. Острый интерес проявляют писатели и к становлению новых социалистических отношений между людьми, к чертам новой морали. Эта тема находит отражение прежде всего в очерках и документальных зарисовках; она же лежит в основе рассказа Имре Добози «Превосходство» (№ 6).

Не меньше места, чем произведениям художественной литературы, уделяет журнал выступлениям критиков и литературоведов, теоретическим раздумьям литераторов различных профилей, творческим спорам и дискуссиям по самому широкому кругу вопросов. Ориентироваться во всем этом многообразии тем и жанров читателю помогают постоянные рубрики, проходящие из номера в номер.

Одна из интереснейших среди них — «Литература и искусство». Читатель находит в этом разделе статьи теоретического характера. Так, в апрельском номере журнала опубликована статья Миклоша Белади «Эпические традиции и современный роман нравов»; в пятом — большая статья Дежё Тота «Тема рабочего класса и некоторые вопросы нашей современной литературы», представляющая собой доклад, которым в начале нынешнего года открылась дискуссия на ту же тему в Союзе венгерских писателей; в шестом номере — статья Бела Ошвата «Современность на сцене» и т. д.

Высказывания по отдельным вопросам литературы группируются в разделе «Заметки». Здесь и последние отклики на отшумевшие уже дискуссии, и полемические реплики на уже получившие критический отзыв новые книги, и страстные призывы бороться за чистоту родного языка.

Почти в каждом номере можно найти раздел под названием «Зеркало», в котором публикуются отклики на статьи, помещенные в журнале ранее. Под рубрикой «Форум» нередко появляются полемические открытые письма, которые выливаются подчас в интересный разговор о мировоззрении художника, об его ответственности перед народом и связи с жизнью народа.

Интересна рубрика «Венгерская действительность». Здесь обсуждаются самые насущные и острые проблемы современности. Писатели делятся своими жизненными наблюдениями, высказывают соображения о том, как вернее помочь росткам нового в различных областях венгерской действительности. О не преодоленных еще трудностях в становлении сельского хозяйства страны на новые, социалистические рельсы пишет Михай Гергей («Прощание с отцом», № 6). О больших и сложных задачах в деле воспитания молодежи говорят в своих выступлениях писатели Лайош Мештерхази и Петер Вереш (№ 5).

Формально далек от этих тем другой раздел журнала, который называется «Дневники». Здесь чаще всего публикуются путевые заметки литераторов, побывавших в зарубежных поездках. Среди них — заметки Габора Толнаи о героической Кубе («Ритм Кубы», № 1), популярной писательницы Магды Сабо о ее поездке в Англию («Минута во времени», № 6), Йожефа Лендела «Сельское хозяйство и жизнь крестьян Китая — из окна поезда», № 4). И все-таки есть внутренняя логика в том, что эти два раздела почти всегда располагаются в журнале в непосредственной близости друг от друга: и в том и в другом случае темой для писательских раздумий становится действительная жизнь мира, судьба и будущее человечества.

Е. М.

«ТВУРЧОСТЬ» (Польша)

№№ 1—6 1962 г.

Журнал «Твурчость» («Творчество») — единственный в Польше «толстый» литературный ежемесячник, если не считать «Диалога», периодического издания по вопросам современного театра, на страницах которого публикуются пьесы, статьи, заметки о драматургии.

«Твурчость» издается уже шестнадцатый год. За этот период со страниц журнала в польскую литературу пришел целый отряд новых писателей: прозаиков, поэтов, публицистов, критиков, очеркистов.

Обычно в «Твурчости» не печатаются романы «с продолжением», как это принято в наших «толстых» журналах. Подобную функцию берут на себя польские литературные еженедельники, типа «Пшеглёнда культурального», «Новой культуры». В «Твурчости» же, как правило, публикуется вся вещь целиком либо отдельные, вполне самостоятельные фрагменты из книги.

Проза в полугодовом комплекте «Твурчости», за исключением нескольких переводов, представлена повестью Яна Юзефа Щепаньского о гитлеровской оккупации Польши «Конюшня на улице Цельной» (№ 3), достоверно воспроизводящей обстановку и атмосферу тех лет. Другая большая прозаическая вещь — повесть известной писательницы старшего поколения Анны Ковальской «Алтари» (№ 2), в которой показаны сложные проблемы, характерные для послевоенной польской деревни.

Из рассказов, появившихся на страницах «Твурчости» в этом году, следует прежде всего назвать новеллу М. Хороманьского «Галерея», с ее тонкой иронией по адресу тех представителей польской эмиграции, которые, возвратившись на родину, не хотят или не могут понять смысл коренных перемен, совершившихся во взглядах и психологии их соотечественников в послевоенной Польше.

В отделе поэзии опубликованы: подборка стихов М. Яструна (№ 6), исполненных глубоких философских раздумий, цикл стихотворений Я. Ивашкевича (№ 5), навеянных недавней поездкой в Италию. Поэма Т. Ружевича «Из солдатского дневника» (№ 1) — творческий эксперимент. Здесь сделана попытка «переложить» на язык поэзии подлинный дневник солдата эпохи первой мировой войны, причем поэт старается сохранить всю неповторимость и своеобразие этого живого человеческого документа.

Широко и разнообразно представлен на страницах «Твурчости» литературно-критический отдел. Здесь печатаются и монографические статьи (работа Е. Квятковского об одном из крупных французских поэтов XX века Блезе Сандраре), и писательские эссе, как, например, этюд Ю. Пшибося о романе «Ночи и дни» М. Домбровской (в майском номере журнала), приуроченный к 50-летию творческой деятельности известной романистки.

Обычно «Твурчость» избегает литературной полемики на своих страницах. Однако в апрельском номере помещены статьи двух известных критиков — Ст. Киселевского и А. Киевского — о творчестве современного польского прозаика Л. Тырманда, с различными оценками его последнего романа «Филип».

Широко освещаются на страницах «Твурчости» книжные новинки. Стоит назвать хотя бы ряд материалов о наиболее заметных явлениях в прозе минувшего года: статья Зб. Беньковского о новом сборнике рассказов Ю. Стрыйковского «Имя собственное» (№ 1), рецензия Вл. Маценга на книгу Я. Бохионьского «Божественный Юлий» (№ 1), эссе Г. Березы о повести Б. Чешко «Элегия» (№ 2), обширный критический анализ последнего романа В. Маха «Горы над Черным морем», написанный Ю. Рогозинским (№ 4).

Критический раздел «Твурчости» дополняется обзорами зарубежных журналов, в которых редакция систематически информирует своих читателей о многих интересных произведениях, появляющихся в иностранной литературной периодике.

С. Л.

СЛУШАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ АРАГОНА

Б. ПЕСИС

К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Летом этого года в Москве гостил французский театр Рено-Барро Пожалуй, труднее всего было попасть на представление, в которое театр включил чтение французских поэтов Целое отделение. Вийон, Лафонтен, Гюго, Мюссэ, Бодлер, Рембо, Аполлинер, Элюар, Арагон С особым чувством зал принял «Розу и резеду». Написав слова «с особым чувством», я вдруг представил себе своего оппонента, воображаемого, не мною придуманного оппонента. Образ его мне подсказал сам Арагон своими полемическими диалогами в защиту передового искусства.

Мой оппонент непременно сказал бы, передразнивая:

«С особым чувством... Еще бы! Арагон ведь коммунист, а его «Роза и резеда» — коммунистический гимн участникам Сопротивления».

Я· «Из которых один «верил в небо», а другой — «в него не верил», но оба

в годы великих невзгод
одной любовью горели.

Конечно, в наши дни, в дни торжества советских космонавтов, «небесных братьев», слова «верить в небо» звучат по-иному. Но смысл стихов Арагона не изменился, не устарел. Братство людей доброй воли продолжает действовать. Что касается «особого чувства», то я позволю себе пояснить эти слова сравнением.

Вообразим прибытие на какую-то планету первых путешественников с нашей земли, советских космонавтов. Находясь на чужой и далекой звезде, они не только преисполнены гордости за свою родину, но и чувствуют себя представителями всего нашего земного человечества.

Так это в пространстве. И так — во времени.

Слушая стихи Арагона, приятно было сознавать, что он — наш современник,— находясь в соседстве с Вийоном и Гюго, никак не посрамит поэзию нашего XX века! Но мы ведь не просто отвлеченные обитатели земли в такую-то дату И нам не безразлично, что наш современник, лучший поэт современной Франции, это Арагон; что французскую поэзию нашего и не только нашего века прославили, в ряду других, Элюар и Арагон.

Уже давно упрощение стало ремеслом наших оппонентов. Между тем, упрощая, нельзя понять творчество поэта. Понять, почему поэт, муза которого поражает «лица необщим выражечьем», сумел услышать биение сердец множества не похожих друг на друга людей. Вдохновлять борцов за единство. Показывать им, как в блеске молний, образы тех, кто шел впереди Ибо вел же кто-то бойцов Сопротивления, в то время как кто-то другой мешал им или уговаривал «выжидать».

Так было и в поэзии. Арагон первым из французских поэтов, еще находясь в армии в период «странной войны», под надзором жандармов, взял слово Он заслужил звание «поэта родины» (Морис Торез). А когда нужно было оповестить Францию о героической смерти узников лагеря Шатобриан, это Арагону партия устами «Фредерика» (подпольная кличка Жака Дюкло) сказала:

«Создай из этого памятник» * Памятник людям, в числе которых были коммунисты и католики, пролетарии и буржуазные интеллигенты, дети русских эмигрантов, старики и юнцы.. Отметим, что Арагон для работы над этим памятником пытался найти себе соавтора среди знаменитых литераторов, пребывавших в южной тиши, но желающих не оказалось. Вот так и получилось, что одно из выдающихся произведений современной публицистики создал именно Арагон...

Расцвет поэзии Арагона в те годы открыл одну важную особенность его творческого облика: полифоничность Чтобы не усложнять разговора о сложном, постараемся найти этот признак в очень живом и осязаемом образе, созданном в стихотворении «Рекрут ста деревень». Он уходит сражаться, забирая с собой в сокровищнице своей памяти названия многих сел и деревень. Близких и далеких, тех, что свободны, и тех, что в руках врага.

Прекрасны эти названия, душистые, как травы родного края, но это прежде всего слова, хранящие память об истории народа, запечатлевшие веру народа в себя и в свою родину, подобно камню, где отпечатались очертания древнего цветка.

В этих стихах полифонизм создается перекличкой нескольких мотивов: рекрут одновременно и народный поэт, певец, ибо только поэтам подвластны слова, которые «озаряют изгнание»; другой мотив — Франция, отраженная в каждом из этих названий, хотя каждое из них поет по-своему; и, наконец, само слово во плоти своей, «наречия цветок», французская речь со своей «легкой архитектурой» — носительница гения народного. То же и в стихотворении, где над картиной ухода безоружных людей, которых варвары гонят из родных мест, из шахтерских поселков, восходит заря, «добела раскаленная гневом», а на ее фоне — образ несущего возмездие богатыря.

Магия слов? Нет, просто сила слов, сила песен, которые не только беженцы могут взять с собой в «исход», но и солдаты в боевой поход. Десятки стихотворений, где в названиях есть слово «песня» («chanson») или «жалоба», «плач» («complainte») — старинное обозначение жанра народной лирики,— выполняли эту боевую функцию. Во многих из них развивается одна из «кровных» для лирической и не только лирической поэзии тем — гема любви.

В противовес декадентскому «магическому кругу» двоих, их отъединенности, одиночества, излюбленный мотив лирики Арагона — это высокая ценность близости двух людей, ее открытость миру, людям. «У влюбленных — живописные слова»,— цитирует Арагон старинного французского поэта *. Его собственная лирика живописна, потому что реалистична. Она рождалась в трагические дни, в потоке «исхода», в котором сливались бедствия Франции, личные утраты, боль разлук.

. .Я Францию исколесил, а ты ждала
в конце пути...
Вот ты с листовками идешь, и вьется
легкий след.
Он в горы по снегу ведет, в какой-то
старый дом,
Его я знаю хорошо — писала ты о нем

Лирического героя этой поэзии не смущает шум битвы. Он сам борется за то, чтобы решающая битва состоялась. Верит, что придет победа и снова будут у двоих мирные вечера, вернется «время кроссвордов». Но когда наступили мирные дни, ставшие днями защиты мира, эта лирика не перестала быть бурной, не ушла в инкрустированную раковину домашнего романса, не способную вместить шум бури. Она открывает нам облик поэта, противопоставившего так называемому «потерянному поколению» свои невыдуманные радости и беды, свою веру в народ, в человеческое счастье Когда речь заходит о «правах» любви и о праве свидетельствовать в пользу счастья, неизбежно возникает тема «большой жизни» и борьбы.

Оно существует, счастье, и не в облаках
парит,
Земля — великая гавань, где на рейде
оно стоит

Верьте мне или не верьте, я несчастье
видал не раз,
И, стало быть, право свидетельства дается
мне неспроста .
. Я твердо верю в счастье, и вера моя
чиста.
(«Проза о счастье
и Эльзе»)

Арагон, поэт верности, всегда верен и самой поэзии: он ее защитник в обществе, враждебном искусству

Наряду с песнями о героях у него есть песни о песнях и стихи о поэзии и певцах. Они звучали, как боевые литературные манифесты в дни, когда французское слово было под немецко-фашистским и вишийским цензурным запретом. Когда за пределами Виши так называемые «аттантисты» — «выжидатели», страшась Сопротивления больше, чем оккупации, запрещали партизанам прикасаться к имевшемуся оружию, а послушная аттантистам критика запрещала поэтам трогать патриотическую тему, патриотические подвиги, слишком связанные с революционной традицией,— Арагон нарушил этот запрет. Он черпал в арсенале истории и фольклора, придвигал из прошлого примеры героизма и силою своей поэзии превращал их в источник объединения всех патриотов под эгидой несгибаемого авангарда. «Не все ли равно, как называет себя огонь,— лишь бы он пылал» (Роллан). Будь то огонь оруженосца, поющего свою песню-пароль заточенному в

* Арагону были доставлены письма казненных и свидетельства их друзей, товарищей по заключению. Так было создано произведение, озаглавленное «Свидетель мучеников». Размноженное сотнями рук, оно обошло всю оккупированную Францию.

* Здесь и в дальнейшем перевод Маргариты Алигер.

темницу Ричарду Львиное Сердце, или огонь Жанны Д'Арк, горящий в стихах «Поэт — своей партии». Поэт благодарит партию за то, что она научила его читать огненные письмена истории народа, видеть в них примеры нерушимой связи революционной и патриотической традиции. Всю Францию, а затем и весь мир обошла баллада, увековечивающая подвиг члена ЦК КПФ Габриеля Пери,— в финале этой баллады «Марсельеза» переходит в «Интернационал». Так пел ее и герой.

Иногда Арагон старался «запрятать» свои призывы, пользовался эзоповым языком, чтобы стихи могли выйти из подполья и достичь ушей всех настоящих французов. Так, например, звучит строка из римского поэта Вергилия: «Пою Человека и его оружие» (Arma virumque cano). Это не только сигнал к борьбе за оружие, это звучит как формула поэзии Арагона — пафос воинствующего гуманизма противопоставлен многоликим подделкам под истинную человечность.

Творчество Арагона высвобождало французскую поэзию и прозу не только из-под запрета полицейской цензуры, но также из-под опеки тех, кто пытался превратить слово в звук пустой, в погремушку, пригодную для шутов при оккупантах.

Когда перечитываешь сейчас поэму Арагона под знаменательным названием «Против чистой поэзии», поражает не только то, что Арагон сумел в подполье вести литературную борьбу, жизненно необходимую для освобождения Франции. Поражает, как актуальна сегодня эта поэзия, обличающая соучастие «чистого искусства» в замыслах франко-немецкой клики, враждебной Франции

Определенного сорта критика, лишь скрепя сердце признававшая высокую миссию литературы Сопротивления, сразу же после освобождения Франции начала преза, бавно успокаивать свою клиентуру: дескать, кончилось это проклятое Сопротивление, кончится и этот проклятый расцвет литературы, им вызванный. Лучшие писатели Франции блестяще опровергли этот продажный прогноз.

За последнее двадцатилетие Арагон завершил свою прозаическую эпопею «Реальный мир», создал связанный с нею органически цикл романов «Коммунисты» и не так давно переведенный у нас роман «Страстная неделя». Арагон-поэт подарил нам несколько крупных полотен: «Глаза и память», «Неоконченный роман», «Эльза», «Поэты». Арагон — критик и философ искусства — развернул теоретическую и практическую борьбу за реализм прогрессивной литературы всего мира, прочно связал исследование проблем новаторства с большими и важными вопросами классического наследия.

О значении этих работ свидетельствует, в частности, их связь с проблемами советской литературы и искусства.

Когда перелистываешь страницы недавно законченного одиннадцатитомного издания сочинений Арагона в русском переводе, особенно ясно выступает внутренняя связь между отдельными произведениями, оказавшимися «под одной крышей», связь, в которой сквозит внушительный план и замысел.

Но тут лучше предоставить слово самому Арагону. В комментарии, специально написанном для нового советского издания, Арагон подчеркивает близость двух циклов — «Реальный мир» и «Коммунисты». Пожалуй, еще интереснее отметить, что Арагон видит в женских образах романа «Коммунисты» осуществление одного из своих давних замыслов, относящихся еще к 1933 году, когда эпопея «Реальный мир» только начиналась.

«Я начал свою книгу,— говорит Арагон по поводу «Коммунистов»,— имея в виду совершенно определенную идею... Я решил сказать о коммунистках, ибо я был особенно потрясен той ролью, которую женщины нашей партии играют в борьбе в героический период истории нашей страны. Я решил, что пришло время воплотить то, что я обещал сделать в романе «Базельские колокола» (входящем в «Реальный мир»)» Напомним, что в романе, где апогеем является изображение крупнейшей демонстрации в пользу мира на Базельском конгрессе в 1912 году, была воссоздана фигура великой революционерки Клары Цеткин Она как бы предвосхищает незабываемые образы французских патриоток в романе «Коммунисты»

И еще одна, характерная для стройности этого идейного замысла черта: связь можно обнаружить не только между прозаическими и поэтическими циклами, но и между художественным творчеством, публицистикой и критикой Арагона. Если вообще можно отделять публицистику, критику Арагона от его художественного творчества. Так, роману «Страстная неделя» предшествовали, как бы в роли его провозвестников, великолепные монографии о живописцах и скульпторах.

В этой связи особенно нелепой выглядит попытка буржуазной критики противопоставить «Страстной неделе» прежние произведения Арагона, их идейный смысл. Поэтому Арагон счел нужным разъяснить недобросовестным журналистам: «Если бы я не был коммунистом, я не написал бы «Страстной недели».

Полемика вокруг «Страстной недели» и множество откликов на нее побудили Арагона высказаться довольно подробно об этом важнейшем произведении.

Арагон не согласен рассматривать «Страстную неделю» как исторический роман, и его можно понять. Тут не просто желание избежать недоразумений с придирчивыми хроникерами «Ста дней» Наполеона — периода, с которым связано дей-

ствие в романе. Свое видение истории в романе Арагон определяет как «стереоскопическое». Будущему уделено не меньше места, чем прошлому. Мы видим, как художник-реалист, обращаясь к истории, решает проблему активного выбора прошлого и столь же активного выбора будущего. Будущее для него — социализм, коммунизм. Научное понимание истории позволяет сделать выбор правильно, в свете сменявших друг друга и принципиально разных революционных процессов. Определяющим в книге является то видение, которое свойственно основным героям романа — революционерам, плебейским революционерам и ведомому ими великому французскому художнику Теодору Жерико. Так строится, с одной стороны, фон, уводящий в прошлое к буржуазной революции и народным движениям после нее, а с другой — перспектива будущего, где открывается «за далью — даль» и видишь, как светится вершина — 1917 год .. Октябрь.

Барбюс, еще находясь в окопах войны, создал «Огонь», позже «Ясность». Ленин показал, что тема Барбюса является основополагающей для передовой литературы века, ибо она отразила прозрение масс под воздействием чуждой народу несправедливой войны и прозрение самого художника. Тему «воспитания под Верденом» именно художника и берет Арагон, хотя у него Верден называется иначе. Жерико, в пекле вновь начинающейся после разгрома в России войны, ставит для себя проблему выбора и как художник и как гражданин. Неверно, будто он отказывается от выбора между королем Людовиком и Наполеоном! Так хотелось бы сторонникам «третьего пути». Но не так у Арагона. Особая актуальность романа — в противоположном, в том, что и Наполеон, генерал, выдвинутый бурными событиями французской буржуазной революции, этот Наполеон уже в прошлом. Каковы бы ни были его прежние заслуги, которыми он еще гипнотизирует людей весной 1815 года, Наполеон — это диктатор, лишь внешне и на время обезвреженный, он мечтает на своем острове вновь и вновь использовать войну как средство политики и потому идет на Париж. Офицер Жерико отвергает и Наполеона и Людовика XVIII. Кого же он выбирает? Роман отвечает ясно на этот вопрос. Во время отступления по маршруту Париж — бельгийская граница Жерико случайно сворачивает в сторону, в одну деревню и попадает на тайную революционную сходку, где встречаются революционеры старших поколений с новыми, идущими из народных недр бойцами. Эта встреча с народом — поворотная встреча для художника и для его искусства. С огромной, страстной симпатией всматривается в этот образ Арагон, не скрывая, что видит его и как писатель-коммунист и как солдат, шедший страшными дорогами «странной войны»,— теми же дорогами, что и Жерико, и чуть не ставший жертвой французской фашистской военщины в том же пункте франко-бельгийской границы. Об этом рассказано в романе.

Прямой, острый разговор художника со своей эпохой, с собою самим, с друзьями и с врагами возобновляется в недавно написанной поэме Арагона «Поэты»...

■

В тот июньский вечер 1962 года, когда москвичи в своем старейшем и любимом Малом театре слушали стихи Арагона (там были литераторы, студенты, рабочие, а также старушки из милых арбатских переулков, все еще изумленные тем, что французский язык ныне знаком такому множеству молодых людей), в этот вечер я вспомнил, как Арагон слушал Москву. Он рассказывал об этом в одном из своих выступлений в Колонном зале... В горах, у тайного радиоприемника, в который, «как в открытое окно», вливался звон кремлевских курантов.

Быть может, в одно из таких мгновений рождались строки стихов, в которых Арагон возвещал соотечественникам о великой битве на советской земле, где «светлейшая заря берет в тенета тьму». Обо всем, обо всем помнил французский поэт, когда вводил в стихи военных лет братское имя Маяковского и его знаменитую строку об Азорских островах.

А вот и Москва уже мирных лет.

Все та же ты — лишь минули года
Все тот же город. Снег все так же свеж.
И звезды над Кремлем, и тянется Манеж...
Лишь ночь светлей да голова седа...

О, деревянный домик, палисад
И двор, где дворник много лет назад
Колол дрова . Осталось все вокруг
По-прежнему, и лишь масштаб не тот.
И человек по-новому живет,
И голоса его сильнее звук...

Она растет, подъемля в высоту
Свою любовь, надежду и мечту,
И там, где Бонапарт ее увидел свет,
С тех Воробьевых гор, с тех Ленинских
высот
Ее дитя, грядущий день, встает,
Смеется, светит Университет.

Светом, побеждающим тьму, наполнено все, что Арагон пишет о советской стране, о культуре ее народов. Есть среди шедевров, вышедших из-под пера Арагона, и портреты советских писателей.

Мы никогда не перестанем, не устанем слушать голос поэта, чьи творения носят явственную помету: сделано в век торжества идей коммунизма, в век больших побед сил света над чудовищами гнета и войны.

МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ

И. АНИСИМОВ

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Мария Домбровская принадлежит к старшему поколению современных писателей. 70 лет жизни и 50 лет творчества — большие, о многом говорящие цифры, но для нее это пора мудрого творческого равновесия, пора синтеза. Ее новый роман «Приключения мыслящего человека», который сейчас печатается отдельными главами и который она одно время собиралась назвать «Структура бытия», убедительно свидетельствует об этом.

Великие события нашей эпохи нашли глубокое и многообразное отражение в ее произведениях. Большой путь Марии Домбровской до такой вершины, как «Ночи и дни» — и после этого достижения,— должен быть с особым вниманием проанализирован, ибо творческий опыт ее драгоценен.

Если взять только новейший период ее творчества, то как внушителен реализм «Утренней звезды» (1955), жестокий и вместе с тем трепетный. Начиная с «Паломничества в Варшаву» тема польского возрождения, тема родины, поднимающейся из руин, из невыносимого страдания, развивается и неудержимо нарастает в этом сборнике рассказов.

Марии Домбровской всегда удивительно удаются поиски большого в малом. Ее рассказы внешне очень просты, и тем поразительнее их внутренняя сложность, их глубина. Старик из «Третьей осени» и его трудное счастье показаны Домбровской так, что нельзя забыть об этом. Человек, выращивающий в едва возродившемся к жизни польском городе цветы и овощи, тесно связавший свое существование с прорастающими повсюду семенами нового,— характерный для Домбровской и очень красноречивый образ. Его нельзя не сопоставить с трагическим стариком Хемингуэя, обреченным на беспросветное, мучительное, тяжкое одиночество. Но старик Домбровской живет в мире других отношений.

Как не вспомнить великолепную повесть «На деревне свадьба»*, передающую всю запутанность связей уходящего и возникающего на его месте другого уклада, повесть, в которой достигнута какая-то особо плотная концентрация реализма. Чувствуется, что автор увлечен огромной сложностью действительности, кричащей остротой заложенных в ней противоречий и именно через откровенный рассказ обо всех оттенках этой сложности подводит нас к большой правде мучительного рождения нового.

Сопоставим эти произведения с книгами Домбровской конца 30-х годов. Там важнейшее место занимала тема внутренней опустошенности, тема «сомнительного добра», тема «человеческой мелюзги». Там можно было встретить и горькое признание того, что часто «наша правда соткана из бесконечной лжи и самообманов». Отсюда до «Утренней звезды» 1955 года большая, очень большая дистанция.

В новых условиях для Марии Домбровской открылись новые возможности.

Хотелось бы также отметить, что Мария Домбровская очень верно, по-социалистически решает в своем творчестве проблему нового и традиции. Смелый художник, не останавливающийся на полпути, она чрезвычайно чутка к идее преемственности. Дух классики живет в ее очень современном творчестве.

И поэтому она всегда была и будет против модернистских ухищрений, против модной поверхностности, за глубину, за подлинность, за реализм, смотрящий в лицо действительности.

Совсем недавно, отвечая на вопрос, как она относится к «школе нового романа» во Франции, Мария Домбровская сказала о литераторах этого направления: «Они замкнулись в себе и производят над собою операцию без наркоза». Она и здесь попала прямо в цель, и эта способность говорить всю правду до конца является одной из особенностей таланта Марии Домбровской, который так любят и ценят читатели социалистического мира.

* Повесть печаталась в «Иностранной литературе» № 5, 1955 г.

Карандашом и тушью

Рис. Моро Аль
(«Берлинер цейтунг», ГДР)

ШЛЯПУ ДОЛОЙ!

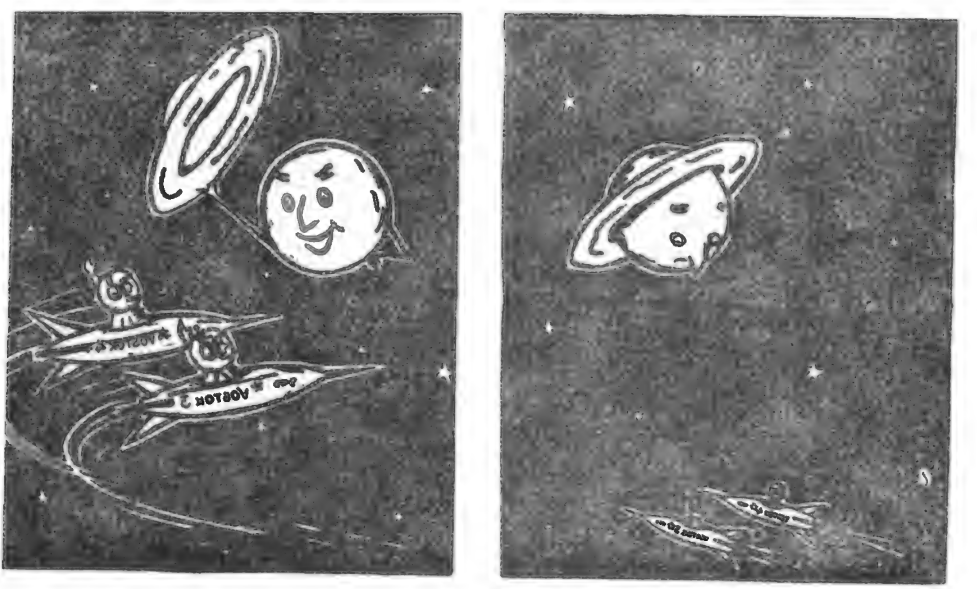
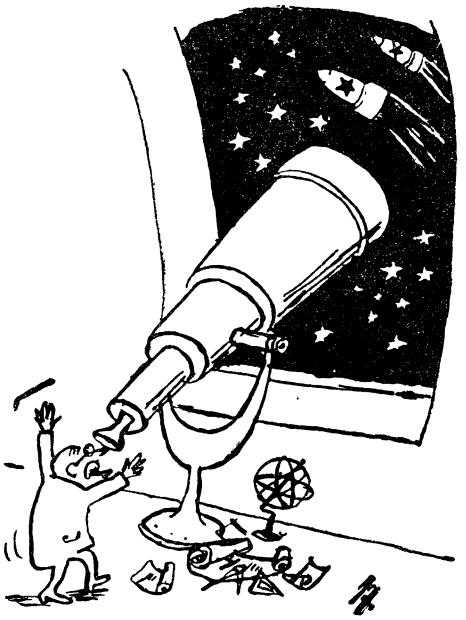


Рис. Г. Роля
(«Флакара» Румыния)

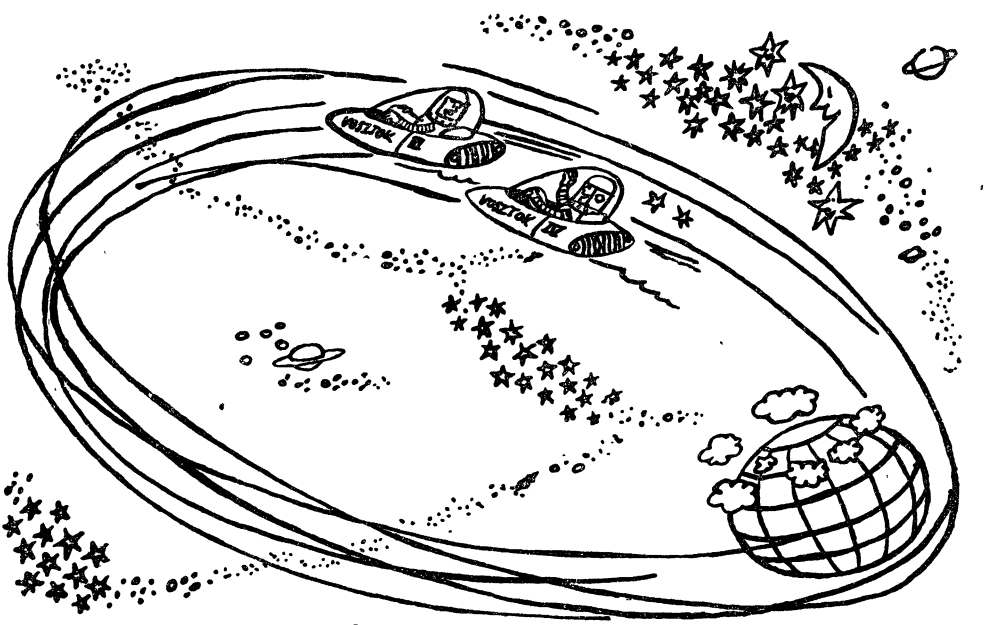


— УРА! Я ОТКРЫЛ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ!

— НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПЕРЕДАТЬ ЭТОТ ШАРФИК МОЕМУ МУЖУ В КОСМОС?

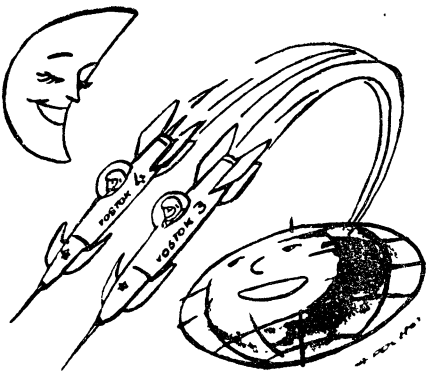
Рис. З. Зёмецки
(«Трибуна люду», Польша)

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ КОСМОНАВТЫ



— ЧТО, И ВЫ ЗДЕСЬ? КОСМОС ТЕСЕН!

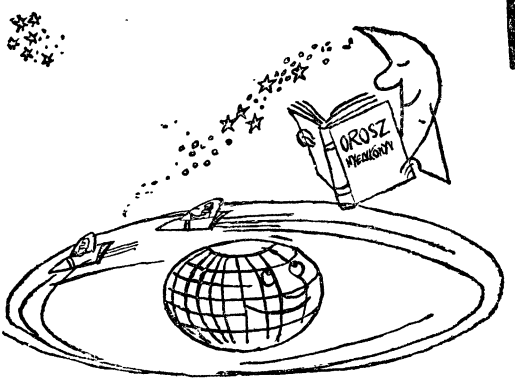
Рис. Андраша Месароша
(«Непсабадшаг», Венгрия)



ЛУНА БЛИЗНЕЦЫ?
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Рис. А. Пок
(«Флакара», Румыния)

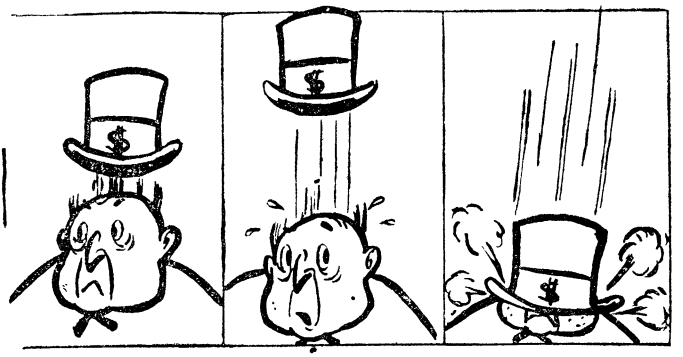
Рис. В. Вайскопфа
(«Культурны живот», Чехословакия)



ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК
(На книге написано:
«Грамматика русского языка»)

Рис. Андраша Месароша
(«Непсабадшаг», Венгрия)

В США



ЗАПУСК ВОСТОКА 3 ...ВОСТОКА-4 . . ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Рис. Л. Чакалова
(«Работническо дело», Болгария)

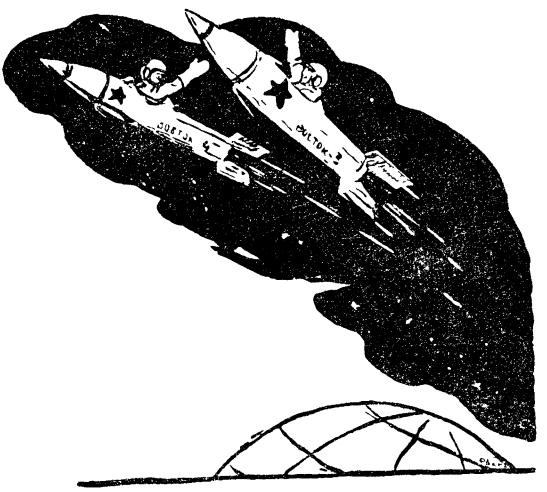
Рис. Моро Аль
(«Берлинер цейтунг», ГДР)

ОНИ ПОДНЯЛИ ПРЕСТИЖ СССР

Рис. Н. Клаудиу
(«Скынтейя», Румыния)

ЛУНАТИКИ: МЫ ПЕРВЫЕ ДОСТИГНЕМ ЛУНЫ!.

Рис. Б. Димовски
(«Работническо дело», Болгария)



«И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ...»

Рис. Кр. Ракаджиева
(«Работническо дело», Болгария)

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

БОГАЧЕ НА ЦЕЛЫЙ ЗВУК

Иштван Шимон. Стихи. Перевод с венгерского. Составление и редакция А. Кун. Предисловие Е. Малыхиной. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 104 стр.

Если бы можно было организовать своеобразный поэтический «турнир наций» наподобие шахматного, то венгерская литература выставила бы одну из сильнейших «команд» в мире — еще бы! Петефи, Ади, Верешмарти, Чоконаи, Йожеф, всех и не перечислить...

Об этом я подумал, читая сборник венгерского поэта Иштвана Шимона.

Не знаю, с какой именно страницы, с какого стихотворения или даже с какой строчки, образа (бывает ведь и так) начал устанавливаться у меня духовный контакт с поэтом, почти моим ровесником, дотоле мне не известным, как и многим другим советским читателям. Знаю только, что не сразу; некоторые открывающие сборник стихи еще оставляли меня равнодушным.

Быть может, подлинное взаимопонимание с читателем устанавливается у Шимона, когда он рисует лес, в котором вроде бы можно отдохнуть от житейских треволнений, но который внезапно оказывается весьма «современным собеседником»:

Покой ли тут? Напряжены
все ветви, будто бы
                антенны,
протягивающие
                с вышины
все новости со всей
                вселенной

(«Шуми же, лес!»
Перевод Л. Мартынова)

Отношение к пейзажу в искусстве, как к чему-то второстепенному нельзя считать окончательно изжитым «Срисовывание» пейзажей, на взгляд некоторых,— дело, требующее лишь технических навыков. Подобные теоретики забывают, что пейзаж — такой же «автопортрет» художника, как и стихотворение, написанное откровенно «о времени и о себе». Об этом прекрасно сказано у М. Пришвина: «Когда в природу идешь, не жди, чтобы там найти что-нибудь себе готовое. Ты найдешь себе там или только то, что тебе дано от природы, или то, что ты в жизни сам себе заработал, или то, что ты, мучительно трудясь в жизни, сам для себя сохранил».

Многие пейзажи Шимона напоминают нам о том, что писатель, «уходящий в природу», на самом деле привносит в нее свой мир, свои мысли и тревоги, хотя бы он и задался целью оставить их «на опушке». Я с волнением читаю стихи Шимона «Сверчок в доме»:

Он с вечера, как
                фронтовой радист,
Запрятался, никем не
                обнаружен.
И должен быть весь этот
                дом разрушен,
Чтоб кончился вибри-
                рующий свист.

(Перевод Ю Вронского)

Хорошие стихи анализировать так же трудно и опасно, как трогать бабочку, рискуя стереть тонкую пыльцу с ее крыльев и помешать ей лететь дальше. Неосторожное прикосновение к стиху губительно. Об этом лучше всего знают люди, навсегда отученные плохим преподавателем от чтения стихов и даже художественной литературы вообще.

Но я все-таки осмелюсь сказать, что это — не просто стихи о сверчке: они — о неистребимости искусства, таящегося во всех «порах» жиз-

ни, а может быть, даже о неистребимости самой жизни, какие бы страшные опасности ни грозили ей в наш сложный век.

Песнь во славу бессмертия жизни слышится мне и на других страницах книги, и в этом, пожалуй, особая, своя интонация сборника стихов Шимона.

Вот куст сирени, бесстрашно зацветающей, хотя впереди заморозки; вот подснежники, согревающие сердце поэта после зимней стужи:

О крохотные Прометеи,
Огонь дарующие нам!
Как ястреб, ветер,
выгнув шею,
Согнуть вас хочет
пополам.

(«Подснежники».
Перевод С. Поликарпова)

Для меня все это звучит не как повторение ранее сказанного, а как настойчиво утверждаемый лейтмотив книги.

Славя жизнь, поэт помнит, что она еще трудна. Говоря словами его стихов, «весны веселая телега» еще не вывезла весь потемневший снег прошлого. Еще остались руины войны; еще бредут по своим нищим наделам вслед за усталой лошаденкой старики, с завистью и вместе с тем с опаской следящие за могучей поступью трактора; и разноцветную картину людских радостей, забот и надежд представляют окна доходных домов:

Этот дом бредет сквозь
звездный мир,
как шарманщик с пестрым попугаем
Вынет тебе «счастье»
попугай —
загляни в окно взамен
пакета
и записку поскорей
читай,
чтобы вдруг не выключили света.

(«Доходный дом».
Перевод Л. Тоома)

Изысканность образа здесь нимало не противоречит глубоко гуманистическому звучанию стихотворения, как это, к сожалению, иногда встречается в этом сборнике. Вряд ли, например, уместны строки о «черно-белых клавишах руин» в одном из стихотворений. Возможно, впрочем, что тут не обошлось без «обмолвки» переводчика, хотя, в основном с точки зрения звучания Шимона на русском языке, книга вызывает не много претензий (вот одна из них: «...напев, от боли нежный, на моих играет нервах»,— неужто так и в оригинале?!)

В стихотворении «Кузнец и башенные часы» Шимон рассказывает, как рядом с прочими звуками в венгерском городке слышался голос кузницы, и, когда он замолк, оказалось, что без него «песенка мирская на целый звук бедней».

Я вспомнил об этом, ибо с появлением стихов Шимона поэтический мир стал для меня на целый звук богаче.

А. ТУРКОВ

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ

Ким Со Воль. Цветок багульника. Перевод с корейского А. Жовтиса и П. Пак Ира. Предисловие А. Тэн. Москва, Издательство восточной литературы, 1962. 131 стр.

Эта маленькая книжка стихов Ким Со Воля (1903—1935) знакомит советского читателя с одним из видных демократических поэтов Кореи 20-х годов. Переводы сделаны с любовью и пониманием особенностей поэзии Ким Со Воля. В предисловии А. Тэн обстоятельно рассматривается творчество поэта.

Поэзия Ким Со Воля своеобразно отражает настроения трудового крестьянства, которое страдало под гнетом японских колонизаторов. Причем особенно трагичной для корейского крестьянина в то время была необходимость покидать родные места в поисках работы. Ким Со Воль — выходец из крестьян, проведший среди них почти всю свою жизнь, говорит о горечи изгнания, о тоске обездоленного крестьянина по родине. В своеобразной лирической форме, иногда прибегая к иносказанию (в стране свирепствовала жестокая японская цензура), с глубокой сыновней печалью писал поэт о потерянной родине:

Имя, которое в воздухе
зыбком растаяло
Имя, которое в жизни
лишилось хозяина
Имя, которое прахом
внезапно распалось
Имя, которое в сердце
навеки осталось.

(*«Зов души»*)

Страстное желание возвратиться домой пронизывает многие его стихотворения. Вот почему так настойчиво звучит в них мотив дороги: встречаются образы ласточек, уток, летящих домой; образы кораблей, идущих к родным берегам.

Печалью и грустью проникнута и любовная лирика Ким Со Воля, основной темой которой является разлука, мечта о встрече с любимой.

Много скорби в его стихах, но никогда и нигде у Ким Со Воля тоска не бывает безысходной, грусть — беспредельной.

Пусть судьба моя —
хмурая осень,
Пусть слова мои — льда
холоднее,—
Разгорается в сердце
огонь!

(*«Холодный вечер»*)

Слитность поэта с народом дала ему возможность сквозь все невзгоды пронести чувство радости бытия, веру в человека, в конечную победу справедливости («Оптимизм», «Родина», «Весенние почки». «В преддверии весны», «В поле»).

В поединке жизни и смерти Ким Со Воль видит торжество жизни, в поединке скорби и радости — победу радости.

Погляди-ка —
И здесь и там
Торжествует,
Ликует
Все живое!

(«В поле»)

Он воспевает «бодрость идущих вперед», «вечную радость живущих» («На меже у ячменного поля»).

Поэт жаждет слиться с природой, раствориться в буйном цветении жизни. Он полон любви ко всему живому, к красоте, разлитой вокруг. Даже стоя над могилой любимой, охваченный грустью, он отгоняет мысли о смерти и тлене при виде золотого ковыля, поднявшегося на могильном холме.

Лирический герой Ким Со Воля — бесприютный скиталец, вынужденный покинуть родину и скорбящий о ней, обездоленный труженик, осознающий свое право на жизнь. Поэт выражает движения души простого человека, утверждает его достоинство.

Есть смысл и в тяжести
великой ноши.
Есть смысл и в горечи
людских страданий
Эй, человек, идущий с
тяжкой ношей
На согнутой спине!
Ты — человек!

(«Человек с ношей»)

Поэзия Ким Со Воля насквозь земная, реалистичная. Точными определениями и конкретными деталями поэт передает национальный колорит своей родины. Родина для поэта — это пейзаж родного края, это деревня, где находится отчий дом, где покоится прах его предков, где весной расцветает багульник, где белеют рыбачьи баркасы и слышатся горланные возгласы рыбаков, это деревня Сенчон, где девушки качаются на качелях.

В поэтической форме Ким Со Воль идет от народной песни. Он использует олицетворения («бродит плачущий ветер». «сады охватило розовое похмелье»), народные поверья, легенды, близкие ему по темам (стихотворения «Ветер седьмого июля», «Чоптонсе!», «Утки-неразлучницы»), традиционные параллелизмы.

Для его поэзии характерна непосредственность и простота. В ней большое композиционное значение имеют повторы. Они обрамляют целое стихотворение или отдельные строфы, в которых часто выражается основной мотив произведения. Повторения отдельных слов по-разному варьируются поэтом, они передают характер корейской разговорной речи, создают музыкальный и ритмический строй стиха. Эта сторона поэзии Ким Со Воля не всегда ясна в переводе, так как очень трудно передать на русском языке своеобразие корейской поэтической речи.

Выросшее на народной почве, озаренное мечтой о свободной жизни, творчество Ким Со Воля оставило глубокий след в современной корейской поэзии, и оно несомненно найдет отклик в сердцах советских читателей.

Л. КИМ

ГЛАВНЫЙ КУРС

Новелла современной Румынии. Перевод с румынского и венгерского под редакцией Е. Бируковой. Составление А. Садецкого. Вступительная статья Б. Полевого. Москва, Гослитиздат, 1962. 623 стр.

Человек сегодняшнего дня, его труд, быт, образ мыслей, надежды — такова основная тематика произведений, составляющих сборник «Новелла современной Румынии».

Наряду с выдающимися мастерами румынской литературы Михаилом Садовяну и Захарией Станку в сборнике представлены писатели более молодого поколения, вышедшие на литературную дорогу после Освобождения,— Михай Бенюк, Ал. Иван Гилия, Эуджен Барбу, В. Эмиль Галан, Франчиск Мунтяну и другие.

Многие авторы, повествуя о сегодняшнем дне страны, обращаются и к дням минувшим. Полны драматизма новеллы о беспросветной нужде и забитости деревенского труженика в боярской Румынии, о судьбе тех, кто пытался вступиться за обездоленных, о бессмысленности борьбы в одиночку. Это новеллы, принадлежащие перу Эусебиу Камилару, Иона Григореску, Михая Бенюка. У неграмотной женщины, вдовы солдата, за бесценок покупают участок земли — на нем найдена нефть. Полученные от продажи деньги несчастная потратила на розыски «господина Вакуум-Ойла», безуспешно пытаясь вернуть землю — единственное свое достояние (Эусебиу Камилар, «Господин Вакуум-Ойл») Учителя, срубившего в лютую зиму на топливо мачту во дворе школы, чтобы согреть окоченевших детей, правители города сажают в тюрьму — ведь на мачте этой поднимали флаг в день рождения короля (Иоан Григореску, «Мачта»). Старый Вырнав, пытаясь уберечь участок принадлежащей ему поймы, гибнет в водах разбушевавшейся реки («В пойме Вырнава» Михая Бенюка).

Оригинальна по замыслу и творческому воплощению новелла-притча Михаила Садовяну о простом человеке стремящемся выбраться из нищеты. Ум и природная смекалка помогли ему обвести вокруг пальца город

ские власти: они обирали бедняков, как только могли, а потому он считает себя вправе устроить «таможню» по «дороге на тот свет», куда богачи тоже не могли попасть, не уплатив ему пошлины («Таможня на кладбище Эюб»).

В новелле «Спасательные лодки», как и в крупных своих полотнах, в частности в романе «Босой», Захария Станку обличает боярскую власть, говорит о твердости духа трудовых людей, связанных в беде чувством взаимопомощи, — читатель верит, что в борьбе за правду они пойдут до конца и победят.

Правителями Румынии народ был ввергнут в пучину мировой войны на стороне гитлеровской Германии. На полях сражений румынский солдат, одурманенный фашистской пропагандой, начал понимать проклятье войны. «Кому из нас нужна эта война?» — спрашивает капрал Нана. И солдат решает идти в русские окопы, к советским бойцам. В нем, в советском воине, который был по ту сторону огня, он обретает друга (новеллы Аурела Михале «Тревожные ночи» и «Последняя атака»).

Утверждение социалистического образа жизни, проникновение нового в быт и психологию людей — все это находит все более широкое отражение в литературе. Коллективные хозяйства принесли крестьянам уверенность в завтрашнем дне, превратили труд в источник вдохновения и радости. Тот, кто еще совсем недавно был привязан к своему клочку земли, к своему коню, тот сегодня вырывает из души глубокие корни собственничества (В. Эмиль Галан, «Конь деда Ефтиме»), преодолевает стремление к обогащению (новелла «Это равносильно победе» Иштвана Надя, румынского писателя, пишущего на венгерском языке). Получил возможность учиться сирота Ферко, мальчик, который раньше был вынужден работать на кулака («Неизвестный проситель» Андраша Шютё, также пишущего на венгерском языке). Тяжелый труд крестьянина облегчают машины, которые пришли в деревню вместе с народной властью («Грузовик» Петру Винтилэ). Объединение в кооперативы способствовало сплочению крестьян разных национальностей (Ремус Лука, «Свадебная рубашка»).

Потерявшее власть боярство продолжало бешено сопротивляться, оно не останавливалось перед насилиями, убийствами. Затаившись до поры, классовый враг пытался вредить, разваливать коллективное хозяйство изнутри («В пойме Вырнава» Михая Бенюка). Но огромная сила воли, уверенность в правильности избранного пути помогает бедняку выстоять в этой жестокой борьбе (Ал. Иван Гилия, «Братья Хуцуля»).

Писатели стараются разобраться во внутреннем мире своего героя, показать глубину его чувств и переживаний. Новое общество утверждает новую, высокую мораль. Поэтому предельной ответственности за свои поступки требуют товарищи по работе от коммуниста Антоникэ: «Разве ты не понимаешь, что все на тебя смотрят, что каждый твой шаг на виду?» («Низовая работа» Эуджена Барбу). Низости, скаредности, лицемерию «бывших» (новелла Лючии Деметриус «Наш дорогой Джеорджикэ») противостоят бескорыстие и честность простых людей («Кожаная сумка» Виничиу Гафицы). Не поздоровится и бюрократу, расхитителю чужого времени («Потерянный день» Думитриу Мирчу).

Новое входит в жизнь. Оно достается в трудной борьбе, но от этого только слаще плод победы. Поет свирель старого чабана Илии Корбля о тяжкой доле пастухов, а сам старик доволен, что песню эту о безвозвратно ушедших в прошлое временах поет он — свободный человек (Петре Стоенеску, «Соловей»).

В новеллах сборника, написанных в традициях реалистической прозы, авторы стараются правдиво отобразить то, что наиболее характерно и важно в сегодняшней жизни страны. Восемнадцать авторов — столько же творческих индивидуальностей. Различны их стилевые манеры. Тут скупое, сдержанное повествование Эусебиу Камилару и напряженное развитие событий в новелле Михая Бенюка Острота сюжетных построений, показ самых тонких оттенков мыслей и чувств героев у Ремуса Луки и наблюдательность В. Эмиля Галана, сочетающаяся с мягким лиризмом. Но, несмотря на разницу манер, всех их объединяет одно — реалистическое изображение действительности

Естественно, что в сборнике, где представлены и выдающиеся мастера пера и молодые писатели, не все произведения равноценны в художественном отношении.

Новеллы некоторых писателей растянуты и схематичны. Порой авторам недостает художественного обобщения Композиционное построение некоторых новелл очень усложнено.

Однако все это — трудности роста, свойственные по большей части молодым литераторам. Там, где стремление лучше познать действительность, глубже проникнуть в психологию нового человека становится главным курсом писателя, там ему, как правило, сопутствует успех.

А. ГРУЗИНОВА

С ЖИВЫМИ ПО ПУТИ

Генри Лоусон. Рассказы. Перевод с английского под редакцией Р. Бобровой. Предисловие Фрэнка Харди. Москва, Гослитиздат, 1961. 463 стр.

Рассказы Генри Лоусона (1867—1922) принадлежат к произведениям, которым не угрожает забвение. Они давно перешагнули границы своей родины. Русский читатель услышал о Лоусоне еще до революции, но настоящее знакомство с писателем состоялось только в советское время. Произведения Лоусона выходили у нас отдельными книгами на русском и английском языках, публиковались в журналах и сборниках. И вот — новое издание, в котором действительно много нового. Подавляющее большинство рассказов переведено впервые или заново. Представлены все основные сборники прозы Лоусона. Интересное предисловие написано австралийским писателем-коммунистом Фрэнком Харди.

Талант Лоусона созрел в конце прошлого века, в годы, которые вошли в историю Австралии грозными, «ревущими девяностыми». Страну, пораженную экономическим кризисом, потрясали забастовки, идеи социализма завоевывали умы и сердца, ширилось движение за независимость и объединение австралийских колоний Англии. Молодой писатель не колеблясь выступил на стороне рабочих,— он сам был из их числа. В пламенных стихах он провидел Красную Революцию и приветствовал ее. Правда, Лоусон-прозаик, в отличие от Лоусона-поэта, почти не обращался к изображению борьбы пролетариата. Но у его поэзии и прозы общий герой — человек труда. Лоусон не смог бы понять его так глубоко и запечатлеть так правдиво без социально-политического опыта девяностых годов.

Герои Лоусона... Они живут в захолустных городишках, в палатках, облепивших золотые прииски, они пристально, смотрят на вас, прислонившись к изгородям ферм, затерянных среди равнин, изредка их можно встретить в большом городе — в трущобах или на фабрике. Но больше всего их на горячих и пыльных дорогах Австралии — кочевое племя стригальщиков шерсти, гуртовщиков, возчиков. Нет, Австралия не кажется им «землей обетованной», они знают изнанку буржуазных реклам. Молодость стригальщика проходит в скитаниях от владений одного «овечьего короля» к владениям другого. Он задыхается в душных и грязных рабочих бараках, он постепенно расстается с надеждой на возвращение домой: «.. все шагать, шагать, шагать без конца, чтобы добыть себе кусок хлеба, шагать, пока не станешь старой развалиной...» Усилия мелкого фермера сводятся на нет капризами природы и происками крупных землевладельцев - скваттеров. Свихнувшийся от вечных неудач Том Хопкинс сожалеет, «что его не посадили в сумасшедший дом прежде, чем он занялся фермерством». А старатели, подобно Мэсону из рассказа «Товарищ отца», часто оканчивают свои дни на давно заброшенных рудниках, пытаясь найти крохи золота.

Но этим людям присущи мужество и выдержка в борьбе с невзгодами, рабочая гордость, вера в товарища. Лоусон воспел лучшие черты народного характера, и потому его рассказы, при всей суровости их реализма, не порождают гессимизма и безнадежности. Парень, к которому неумолимо подкрадывается слепота, не жалуется, не впадает в отчаяние — может быть, ему удастся сортировать шерсть или стать музыкантом. Оставшись с четырьмя детьми в лесной хижине, жена гуртовщика ведет хозяйство, сражается с лесными пожарами, паводками, ядовитыми змеями, болезнями. И не сдается, не позволяет одиночеству и страху восторжествовать над собой; и каждое воскресенье, принарядив детей, она гуляет с ними по пустынной дороге, словно по главной улице города. Героям Лоусона есть чем гордиться. С каким достоинством сезонник Митчелл ступает по перрону Редфернского вокзала в Сиднее. Он не стыдится ни скатки потрепанных одеял за плечами, ни старого пса — верные спутники его трудовой жизни достаточно хороши для любого взора.

Самые волнующие страницы, самые обаятельные образы его книг посвящены товариществу простых людей, красоте и силе рабочих рук, самоотверженно и бескорыстно протянутых для помощи. Неуклюжий, долговязый Боб Бразерс, который и на небе «...первым делом... обойдет со своей чертовой шляпой всех ангелов — устроит сбор в пользу этого проклятого мира, который он покинул», Митчелл, мечтающий построить бесплатную гостиницу для своих бездомных собратьев («Отель пропащих душ»), фабричный подросток Билл, помогающий матери своего товарища спасти убогий домашний скарб, арестованный за долги («В тупике»). И все добрые дела совершаются буднично, без

громких фраз, без мысли о благодарности.

Своеобразие творческой манеры Лоусона заключается в том, что его герои почти всегда рассказывают о себе сами. Они не прочь и прихвастнуть, пофантазировать, пофилософствовать. Писатель блестяще использует все разновидности устного фольклорного рассказа, поднимая заурядные, на первый взгляд, житейские истории до уровня больших художественных обобщений. Трагическое и комическое, пафос и лирика естественно переплетаются в повествовании. Непременный компонент стиля Лоусона — юмор: добродушно-лукавая интонация, веселая шутка, горькая ирония, а иногда и сатирический гротеск. Вероятно, нет австралийского новеллиста, который бы не учился у Лоусона выразительному лаконизму, умению сразу приобщить читателя к миру своих героев, незаметно создать достоверный социально-бытовой фон, тонко подчеркнуть смысл рассказа в заключительных фразах.

Язык и стиль Лоусона таят немало подводных камней для переводчика. Нелегко передать гибкую разговорную речь, сохранив ее динамику и подтекст, найти правильные соответствия специфически австралийским понятиям. Настоящее издание подготовила группа переводчиков — В. Ефанова, М. Яновская, Э. Питерская, И. Архангельская и другие. Русский текст в большинстве случаев передает дух оригинала. Однако хотелось бы еще более бережного отношения к стилю Лоусона.

Кое-где исчезли типичные для писателя ремарки в скобках, а ведь они поясняют, дополняют, окрашивают юмором основную мысль автора. Вызывает сомнение перевод некоторых австралийских реалий. Вряд ли «trucks», на которых восседают стригальщики в рассказе «В засуху», или «lorry», к которому прицепился Билл («Билл и Арви с завода братьев Грайндер»), означают «грузовик». В Австралии того времени автомобили были редкостным зрелищем, диковиной.

Следует отметить и языковые погрешности вроде: «...вы с Томом усаживались, бывало, в полдень в тени деревьев на свои свэги и с помощью складных ножей уплетали холодное мясо и лепешки, прихлебывая их (!) по очереди из помятого дырявого котелка». Или: «...Они обладают быстрым и жалящим чувством юмора». Или: «Они... скверно, в основном через нос (?), пели австралийские народные песни...»

Новый сборник рассказов Генри Лоусона продолжает наше знакомство с великим народным писателем Австралии. Писателем, о котором хочется сказать его же словами: «Я — на земле, я жив, и мне с живыми по пути».

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

СВЕТ ПОЭЗИИ

Вильям Хейнесен. Волшебный свет. Перевод с датского. Составитель С. А. Тарханова. Редактор Е. П. Тарасова. Послесловие Н. Крымовой. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 109 стр.

чем бы ни писал прозаик лирического склада — об унынии американского захолустья, как Шервуд Андерсон, об одиночестве в дождливом Дублине, как молодой Джеймс Джойс, о неравной борьбе за человеческое достоинство на заброшенном исландском хуторе, как Халлдор Лакснесс, о рабочей окраине Флоренции, как Васко Пратолини, о влюбленных и мечтателях с Фарерских островов, как Вильям Хейнесен,— какую бы тусклую и безысходную жизнь ни открывал он перед нами, она всегда озарена сказочным светом поэзии.

Герои рассказов Вильяма Хейнесена живут на скалистых Фарерских островах, расположенных где-то на полпути между Исландией и Шотландией. Этот маленький мир — один из округов Дании: население — тридцать тысяч человек, столица — Торсхавн — четыре тысячи жителей. Это самостоятельный народ со своей историей, культурой, со своим языком.

Хейнесен учился в Дании, пишет на датском языке, а живет у себя на родине — на Фарерских островах. Он — поэт, романист, драматург, новеллист. Он принадлежит к группе демократических датских писателей, борющихся за мир, против «спрутов фашизма».

Сборник новелл Хейнесена, выпущенных Издательством иностранной литературы, называется «Волшебный свет». Волшебный свет — это свет любви и творческой фантазии.

Простые люди населяют рассказы Хейнесена — столяры, лесорубы, швеи, рыбачки. Они полны силы, чувства собственного достоинства. Швея Тонль-Анна из рассказа «Ночная буря» живет в Торсхавне. Столица Фарерских островов почему-то разместилась не в спокойном фьорде, каких много на Фарерах, а на открытом скалистом уступе. Зимой прибой вторгается в крутые узкие переулки городка, юго-восточные штормы разбивают в щепы ветхие домишки окраин. Такая беда случилась и с Тонль-Анной. Ее откопали из-под обломков дома и отнесли к соседке Смеде-Розе, вдове кузнеца Яниксена, бывшего любовника Тонль-Анны. Старая ханжа Смеде-Розе, которая довела до самоубийства больного мужа разговорами об искуплении грехов и адских муках, терзает

теперь своими назиданиями и Тонль-Анну. Больная, разбитая швея не хочет принимать ее забот и милостей и покидает чужой дом. Всю ночь свирепствует буря над Торсхавном, а на другой день Тонль-Анну находят уже окоченевшей в рассе лине скал на берегу моря

Любовь у Хейнесена — высокое чистое чувство, поднимающее над грязью и убожеством жизни самых опустившихся людей. В рассказе «Душа» лесоруб видит в глазах проститутки материнскую нежность, но эта женщина уже не может стать матерью. Он почти готоз связать с Полонэ свою жизнь, но она уходит, понимая, что лучше сохранить память о светлых минутах, чем быть обузой для любимого.

Кончает с собой Аталанта, дочь алкоголика и проститутки. Ее вытащил со дна. заставил почувствовать себя человеком энергичный молодой врач. Аталанта полюбила его, но у этой любви тоже нет будущего, ибо доктор привязан к своей жене («Аталанта»).

Свет любви и преображает и заново освещает будничный мир («Волшебный свет»).

Может быть, самые любимые герои Хейнесена — дети. В одном из лучших рассказов сборника — «Крылатая ночь» девочка Антония отправляется вечером с маленьким братишкой на дальний хутор. В таинственной тьме каждый звук, каждая встреча кажутся зловещими. Ночь полна ужасов. Но страх, и отчаяние, и надежда — это игра воображения, она уводит человека от скуки обыденности. И когда миражи рассеиваются, Антония с тоской думает о завтрашнем дне, невыученных уроках, заляпанных чернилами партах, унылых нотациях учительницы.

Талантливым, великодушным и сильным людям в рассказах Хейнесена не дают дышать законы мещанского мира. И все-таки среди этих людей есть не только побежденные, но и победители. Побеждают те, кто понял необходимость

общей борьбы с несправедливым социальным устройством. Такова рыбачка Нанна из рассказа «Порча». Ее выслали из Англии как опасную бунтовщицу, но, вернувшись на родину, она сумела поднять работниц рыбных промыслов на защиту своих прав.

Хейнесен — писатель-гуманист. В своих произведениях он борется за мир, за лучшую жизнь для своего маленького народа В этой борьбе он применяет разнообразное оружие· то ядовитую насмешку, как в романе «Черный котел», где он показывает жизнь Фарерских островов в годы второй мировой войны; то резкие контрасты, как в романе «Потерянные музыканты», где бескорыстное служение искусству противопоставлено мелочности и ограниченности мещанской среды.

В своих новеллах светлыми, как бы акварельными красками Хейнесен изображает душевное богатство простых людей, заслуживающих гораздо более счастливой судьбы, чем та, что выпала на их долю.

К. АТАРОВА

ЧЕЛОВЕК ПРОКЛАДЫВАЕТ ДОРОГУ К СЧАСТЬЮ.

Прободх Кумар Саньял. Куклы. Новеллы. Перевод с бенгали. Составитель А. Гнатюк-Данильчук. Предисловие И. Товстых. Редактор В. Зимин. Москва, Издательство иностранной литературы. 1961. 133 стр.

Простые люди Индии — вот герои девяти новелл современного индийского прозаика Прободха Кумара Саньяла.

Почти все рассказы сборника «Куклы» написаны до завоевания Индией независимости: в них часто звучит тема борьбы против колониального ига, вера в ее победу: « обманчивы тишина и спокойствие земли. Там, в ее недрах, клокочет и ищет выхода поток расплавленной лавы. Скоро этот поток вырвется на поверхность. Дрогнет земля — и рассыплется прахом уродливое здание, простоявшее века...» («На перепутье»).

П. К. Саньял пишет о своем народе-страдальце, о тех, кто «слезами орошал эту землю, растил хлеб и умирал от голода».

Путешествуя по Индии, писатель видел слишком много горя — оттого так печальны его рассказы, так трагична участь его героев и особенно героинь. В жалкой лачуге, без лекарств, никому не известный, умирает от лихорадки талантливый скульптор («Куклы»); подло обманута расчетливым и холодным богачом гордая красавица Лабонья («Месть»); отчаявшись найти работу, чтобы прокормить умирающего отца и больного брата, сворачивает с честного пути Нилима («Под бурей»); не в силах больше страдать, погибает бездомная бродяжка Джумни («Сказка одной ночи»).

Близость к народу — единственное, что может дать ощущение полноты жизни, убеждает нас автор. В но-

велле «Второе рождение» он рассказывает о судьбе любителя старины Мадхобчондро, который отказывается от богатства, покидает старый родовой дом в Калькутте и становится странствующим певцом-баулом. В убогой деревушке, затерявшейся среди лесов и болот, слагая для крестьян песни о великих героях прошлого, находит он свое счастье.

Как помочь народу, изнывающему от нищеты, болезней, голода? — спрашивает писатель. Осуждающе, с горькой иронией пишет он о тех сентиментальных «носителях культуры и просвещения», чьи сердца «полны любви и сострадания», но чья «помощь» ограничивается красивыми словами да парой рупий («Куклы»).

Этим благотворителям автор противопоставляет людей, сознающих, что « .время требует мужества и решительных действий». Народ, который хочет стать свободным, вправе прибегнуть к насилию, ибо, как говорит Джуну, героиня рассказа «На перепутье», «...Человек прокладывает дорогу к счастью, ломая и разрушая старое». Симпатии Саньяла на стороне тех, кто, жертвуя собой, «идет в бой, чтобы уничтожить зло на земле».

И. ШЕЙДИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В ТИСКАХ ОДИНОЧЕСТВА

David Stuart Lesley. In My Solitude. London, Hutchinson, 1960.
Sid Chaplin. The Day of the Sardine. London, Eyred Spottiswoode, 1961.

В сю-то жизнь пытался я вырезать на дереве свои инициалы, но с неумолимостью рока Закон всегда оказывался тут как тут»,— жалуется Алан Крэбб, герой романа английского писателя Дэвида Стюарта Лесли «В моем одиночестве».

Алан — тинэйджер. Так называют в Англии лиц в в возрасте между 13 и 19 годами. В течение последних лет молодежь и ее духовные искания находятся в центре внимания английской общественности. О тинэйджерах пишутся книги; наиболее значительные и интересные из них — «Абсолютные новички» Колина Макиннеса, «В моем одиночестве» Дэвида Стюарта Лесли, «День сардины» Сида Чаплина и другие.

■

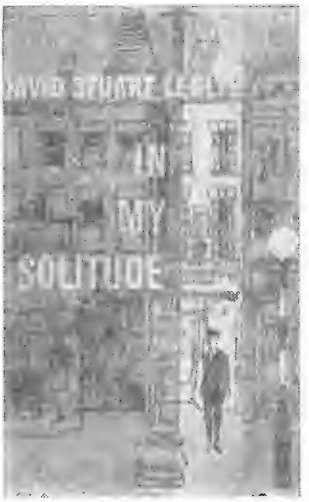
Алан — лондонец. Его отец — полицейский, а сам он работает в гараже. «В моем одиночестве» — своеобразная исповедь Алана, который рассказывает историю одного лета своей жизни, того лета, когда ему было девятнадцать. Но за этот короткий промежуток времени происходят события, существенно меняющие его взгляд на мир. Юноша не до конца понимает смысл всего, что с ним происходит, но чувствует перемену очень остро, и ощущение какой-то неопределенной горькой потери заставляет его взяться за перо. Лесли стремится показать, как его герой, взрослея, пытается найти свое место в мире — и не находит.

К началу повествования Алан уже добился полной самостоятельности: он живет отдельно от семьи, а родителей навещает раз в месяц, чтобы, по его словам, «подбросить своей старушке немного монет». Алан с ненавистью относится к миру собственничества и его законам. Особое презрение вызывает у него английский обыватель, тупой, самовлюбленный, зараженный невероятным снобизмом.

Много горьких минут доставляет Алану сознание того, что он — сын полицейского День, когда его забраковала военно-медицинская комиссия, он называет счастливейшим в своей жизни. Расизм, религия, правительство, аристократия, газеты и радио — от всего этого ему делается не по себе, всему этому он хочет «плюнуть в лицо».

В основе жизненной трагедии Алана, как заключает писатель, лежит не только неприятие им окружающей обстановки, а, скорее, переход этого неприятия в отрицание почти всего на свете. Подобно героям произведений «сердитых молодых людей», Алан не видит сил, призванных изменить жизнь, и это объяснимо.

Мысль об атомной войне не оставляет Алана, привнося в его суждения элемент по-настоящему взрослой горечи. «Правительство не позволит нам зажиться на этом свете. Поуп Вильямс (знакомый Алана.— *В. С.*) говорит, что это их новая система экономии. Они собираются взорвать нас ко всем чертям вместо того, чтобы платить пенсии по старости»,— пишет Алан.



Запуганные, дезориентированные, растерявшиеся перед лицом неотвратимой (внушают им) ядерной катастрофы, тинэйджеры не знают, куда податься. Каждый новый день приносит подростку разочарование. Для Алана все окружающее выглядит ненадежным и скоропреходящим. «Стоит ли привязываться к чему-нибудь? Что остается?» Невероятные, кошмарные до нелепости в устах юноши слова, но они становятся понятными, если учесть обстановку, в которой он живет.

Отсюда навязчивая идея Алана: нужно вырезать инициалы на дереве, чтобы хоть что-то осталось, когда тебя уже не будет. Действительность не дает Алану гарантии постоянства: он теряет дружбу хорошего честного паренька Брайена и любовь кроткой Бет. Все это можно рассматривать как игру злого случая, но Лесли подчеркивает, что дело здесь не в исключительном стечении обстоятельств, а в закономерности исхода.

Алан не может и не умеет активно бороться за право на любовь со стороны других людей. Вот почему от девятнадцати прожитых лет у него остаются лишь инициалы, которые он все же вырезает на коре дерева, тайком пробравшись в парк, и одиночество.

Роман Д. С. Лесли — очень грустная книга. С предельной искренностью рассказывает писатель о каждом поступке и душевном движении своего героя. Повествование построено очень точно, в ходе путешествия по дням жизни Алана не возникает ни одной лишней сцены — все продумано, взвешено, подчинено одной идее: раскрыть внутренний мир тинэйджера, показать его судьбу в современной Англии.

Не случайно поэтому в романе появляется образ Ронни — главы кучки стиляг, семнадцатилетнего мальчишки, всю свою жизнь, по его словам, проторчавшего «в паршивой гнусной школе... и на паршивой гнусной работе... И на отвратительном, гнусном, холодном чердаке над отвратительной, гнусной, зеленной лавкой». Судьба Ронни складывается еще труднее, чем у Алана. Аналогия между Ронни и главным героем подчеркивает, чем мог бы стать последний в сходных обстоятельствах.

Артур Хэггертон (герой Сида Чаплина) живет в крупном промышленном центре на севере Англии. Сын прачки, брошенной мужем еще до рождения ребенка, он, сменив несколько случайных профессий, получает место упаковщика на консервном заводе и добивается независимого положения в семье. Артур вспоминает события, происшедшие с ним между пятнадцатью и семнадцатью годами.

«День сардины» начинается с притчи, объясняющей название книги. Друг матери Артура, проживший трудную, но интересную жизнь, рассказывает подростку о сардине, глупой мелкой рыбешке, плавающей косяками и бессмысленно лезущей прямо в сети, а также о людях-сардинах, не имеющих собственной воли и позволяющих навязать себе чужую. Артур не желает походить на сардину.

Он на собственном опыте убеждается, как плохо приходится трудовому люду. Пример дяди Джорджа, «добродетельного жулика» и «своего человека» в лейбористской партии, говорит юноше и о другом: хорошо живется только мошенникам. Артур с отвращением относится ко всем формам обывательщины; как и герой Лесли, он отрицает и церковь, и политику, и школу, и армию. Два года жизни Артура — история бесконечных поисков чего-то надежного, верного, правдивого, такого, к чему можно было бы «прилепиться сердцем». Одиночество героя выступает в романе не как жизненная программа и даже не как «поза», свойственная юности, а как тупик, из которого Артур безуспешно пытается выбраться. Простые человеческие отношения — последняя надежда юноши — оборачиваются иллюзией. Артур думает, что у него есть друг — парень по прозвищу Носатый, вожак молодежной компании того района, где живет юноша Артур думает, что он любит Дороти и что он ей не безразличен. Одного не знает Артур: в буржуазном обществе, построенном на купле-продаже, простые человеческие отношения, как правило, уродуются и превращаются в свою противоположность. (Здесь очень важна сюжетная линия, связанная с братом Носатого — Крэбом Керроном, который, стремясь вернуть себе человеческое достоинство, убивает женщину, заставлявшую его брать деньги «за любовь»)

К концу романа Артур выясняет, что настоящего друга у него, в сущности, и не было, а любовь Дороти он не смог заслужить. В Артуре много нерастраченной, загнанной куда-то вглубь доброты, робкого благородства. Но его до времени познакомили с «изнанкой» жизни, и превратился он в «порченого мальчика», которому все надоело. Вот почему он остается в одиночестве и его охватывает щемящее чувство собственной несостоятельности. Что проку в новом костюме и хорошо оплачиваемой работе, если потеряно главное; самостоятельность обернулась пустым звуком, исчезла вера в себя. У Артура хватает мужества признать, что его положение ничем не отличается от положения сардин-

ки в консервной банке: «Вот я и влип! Жесткий, длинный, плаваю в масле. Но от этого мало радости, если крышка уже припечатана».

В своем рассказе Артур многое опускает, и читателю приходится об этом многом догадываться. Поэтому в романе огромную роль играет подтекст, в котором заключена большая часть характеристики действующих лиц.

Процесс восприятия мира героем передается в своеобразном «ключе». Артура постоянно тревожит мысль о разобщенности людей. Так возникает мотив бегства героя от всего, что дает ему сильнее почувствовать свое одиночество: «Никто никого не знает. Это открытие и заставило меня убежать. Не то чтобы я убегал от Носатого,— нет, я убегал от того мира, про который я когда-то думал, будто я его знаю».

Для почерка Чаплина характерны суровость, собранность и лаконизм, доходящий порой до аскетической экономии слова, в то время как стиль Лесли местами излишне красочен и элегичен. Книга Чаплина производит впечатление бо́льшей художественной целостности и отточенности, чем роман «В моем одиночестве». Но здесь трудно проводить сравнение, поскольку каждое произведение по-своему хорошо: проникновенная поэтичность Лесли и горький накал Чаплина прекрасно дополняют друг друга.

■

«В моем одиночестве» и «День сардины» — честные книги. Они говорят правду о жизни тинэйджеров и верны в основных своих выводах: не человек, а общество устроено плохо. Трудно расстаться с их молодым героем в ту минуту, когда первое решительное столкновение между ним и окружающим его миром закончилось победой последнего. Будет ли эта победа полной и окончательной или только временной? «Милый мальчик ..— спрашивает себя Артур Хэггертон, заканчивая свой рассказ.— А куда ты идешь?.. Честное слово, иногда я чувствую, что, если хоть кто-нибудь подойдет ко мне и кивнет — я пойду за ним. Даже чемоданчика с чистой рубашкой и носками не возьму с собой». Хочется думать, что настоящий человек подойдет к Алану и Артуру и поможет им найти себя: ведь их можно и нужно спасти от незаслуженного одиночества.

В. СКОРОДЕНКО

ИРОНИЯ И ГОРЕЧЬ

William Saroyan. Here Comes There Goes You Know Who. Simon and Schuster. New York, 1961.

«Смерть приходит, вот уходит, сам знаешь кто» — так странно назвал свою новую книгу Уильям Сароян. Все его творчество — нескончаемый рассказ о самом себе. Среди книг Сарояна есть и непосредственно биографические, как «Велосипедист на биверлейских холмах». Есть и такие, как сборник рассказов «Меня зовут Арам» или роман «Человеческая комедия», в которых реальные детали несколько преображены.

Новая книга откровенно биографична, главный ее герой — американский писатель, армянин Уильям Сароян, 52-х лет, живущий в Париже. Это — книга очерков, эссе, отдельных рассказов, которые не связаны между собой ничем, кроме личности автора. Большая часть этих очерков посвящена детству.

Детство притягивает Сарояна, как магнит. О чем бы ни шла речь, как далеко бы ни залетала причудливая фантазия писателя, его снова и снова отбрасывает в тот маленький, бедный дом, где он родился при свете керосиновой лампы, где жила большая, дружная, суматошная семья, приехавшая в начале века в Америку в поисках счастья из Армении.

Детство было неустроенное, пришлось продавать газеты, жить некоторое время в детском доме, откуда мальчик много раз пытался бежать.

В детстве, может,
на самом дне,
Десять найду
сносных дней,—

мог бы повторить Сароян вслед за Маяковским. Но именно тогда и было счастье.

И дело здесь не в умиленности прошлым, свойственной определенному возрасту. Только в начале жизни видит Сароян те человеческие ценности, которые так были нужны ему на протяжении всех последующих лет,— ценности, которых ему так мучительно не хватает сегодня. Того, что было там, в доме, в семье, в связях человеческих. Там, где он впервые почувствовал неудержимый порыв к творчеству. Там, где мать показала ему рукописи, оставшиеся после отца. Отец был поэтом, втайне слагал стихи о луне и о любви, но пришлось ему стоять за прилавком. Стихов старшего Сарояна никто не читал, только сын — и то после смерти автора.

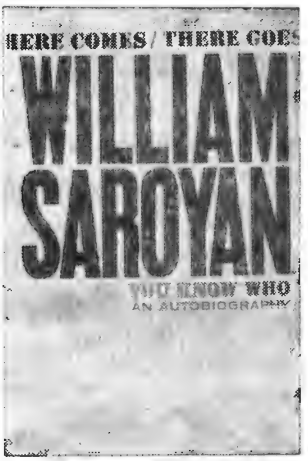
С детства на всю жизнь сохранились незабывшиеся ощущения — краски, запахи, вкус. Солдатом в 1944 году Сароян в Лондоне увидел гроздь винограда и купил ее, чтобы губами, нёбом дотронуться до своего детства. Остался запах свежеиспеченного хлеба — мальчик окунался в этот запах, как только открывал глаза.

Дом, детство, семья для Сарояна — это еще и Армения. В 1960 году он побывал (впервые после 1935 года) в советской Армении. В книге «Вот приходит, вот уходит, сам знаешь кто» он то и дело нежно, любовно, благодарно обращается к горам Армении, к песням Армении, к людям Армении, вспоминает эту поездку, разговоры, впечатления.

Сароян подробно рассказывает, почему он возненавидел школу: «Армян считали существами низшими. Их угнетали, их ненавидели, а ведь я армянин. Я тогда не желал забывать об этом и теперь не желаю забывать, не потому что для меня важно, армянин человек или нет. Я возненавидел школу. Я возненавидел тот закон и тот порядок, при котором свободного человека унижают, заключают в какие-то пределы».

У многих остается в памяти содружество людей, с которым человек сталкивается в начале жизни, то место, где его помнят ребенком, где очень важны его жизненные успехи и промахи, где им гордятся или проклинают. Тот мир, где впервые ощущаешь себя частью целого. Такой своей «деревней» может быть и завод, и школа, и солдатское товарищество, и корабль, и институт. Принадлежность к «деревне» создает укрепляющую душу убежденность: я не один на земле.

Для Сарояна такая убежденность — одна из важнейших основ творчества. Для него «деревня», конечно, не только запах свежего хлеба, но и восприятие жизни и смерти, ответ на вопрос — для чего человек живет на земле.



Обычно людям трудно представить себе человечество, род людской, преемственность поколений. А вот в сарояновской «деревне» абстракция обретает плоть: бабушка, дед, родители, дети, внуки; родильный дом, школа, кладбище. Жили люди до меня и будут жить после меня — я лишь одно звено в роду. Смена естественна и проста. Даже смерть тоже естественна и проста.

Такие мысли, такие ощущения становятся теми опорами, на которых растет, развивается человек. В иных случаях эти опоры потом уже и не нужны. Человек и сам не упадет, он стоит прочно и уже не может воспринимать жизнь как «зону одиночества», мир без прошлого и без будущего, куда его случайно бросили, неизвестно зачем. Из этих связей вырастает то ощущение преемственности, которое пронизывает книгу Сарояна и в серьезных и в шутливых главах. Например, главу «Рукописи», где автор, отвечая на просьбу библиотеки конгресса передать ей свои рукописи на сохранение, размышляет о бессмертии, о том, что остается от человека.

Через несколько месяцев после издания первой книги Сарояна мать сказала ему: «Был бы ты простым рабочим, жил бы в мире с миром, и мне было бы гораздо радостнее, чем этот идиотский успех и все это сумасшествие». Но, став писателем, он уже не смог жить «в мире с миром», даже если бы и захотел. Настроения беспокойства, протеста, бунта — такие же неотъемлемые особенности его писательского призвания, как и ощущение причастности к «деревне».

Одни, беспокоя, тревожа своих читателей, исполняют этот долг и несут бремя художника гордо и радостно, другие — стоически, воспринимая это как неизбежность. Для таких, как Сароян, необходимость тревожить очень печальна. Причастность к тому, что было в детстве, к Армении, к прошлому создает как бы первый, поэтический слой повествования в книге «Вот приходит, вот уходит, сам знаешь кто». А сознание оторгнутости от этого откладывает грустные, горестные наслоения. Горечь связана и с конкретными обстоятельствами биографии писателя, третий год как покинувшего Соединенные Штаты, где его одолевали налоговые инспектора; он мечется из Швейцарии во Францию, едет в Испанию, в Австралию и снова во Францию. И все эти путешествия не приносят ему удовлетворения. Лишенный родной страны, родного дома, он переезжает из гостиницы в гостиницу и везде бесконечно одинок *.

Лишь изредка видит Сароян своих детей, а ведь он, по его собственным словам, «отец по призванию». С затаенной нежностью вспоминает он малейшие подробности младенчества сына и дочери, их слова, жесты, рисунки, игры.

Привыкший к большой семье, клану, он остался один в стране чужого языка, среди чужих людей; он пишет для заработка бойкие безделки, не доставляющие ему ни малейшей радости.

---

* Соединенные Штаты за последнее время покинул не только Сароян, но и другие писатели: в Париже прожил последние пятнадцать лет своей жизни Ричард Райт, четыре года там находится Джеймс Джонс, несколько лет провел Джеймс Болдуин.

«Вот приходит, вот уходит, сам знаешь кто» — пожалуй, самая горькая книга Сарояна. Есть в ней и любопытные детали из творческой истории отдельных книг, есть интересные высказывания, позволяющие судить о его литературных вкусах. В противовес общепринятым в США суждениям Сароян высоко оценивает творчество Золя, Норриса, Дж. Лондона. Часто говорит Сароян о той неодолимой потребности писать, которая с детства стала главной страстью его жизни. Подчас он откровенно дурачит читателя (когда, например, утверждает, что ему необходимы карточные долги как стимул к творчеству). Есть в книге страницы, напоминающие скорее дневниковые заметки, черновые записи, сделанные для себя, совсем не предназначенные для чужих глаз.

О других людях в этой книге сказано мало. Но столкновения писателя с обществом почти всегда конфликтны. «Зачем живет человек? — пишет Сароян. — Чтобы быть единственным, неповторимым,— таков каждый человек от рождения, и эта единственность неисчерпаема, хотя в большинстве случаев эту единственность гасят, душат в самом зародыше». Подобно многим американским писателям, Сароян видит, как стандартизованное, механизированное общество обстругивает «единичность» и «единственность» личности.

В главе, названной «Паспорт», он рассказывает о том, как получил письмо из паспортного отдела госдепартамента. Это произошло вскоре после того, как «Литературная газета» опубликовала интервью с ним (1960 г.). Писателя настоятельно просили прокомментировать интервью, в котором была выражена недвусмысленная симпатия к Советскому Союзу. Сароян иронически замечает, что его почему-то никогда прежде не просили комментировать его многочисленные интервью, и заключает: «Вы хотели бы, чтобы я написал вам: «Успокойтесь... я патриот. Я люблю Америку и ненавижу Россию...» Так вот этого я не сделаю».

Новая книга Сарояна — любопытна и позволяет вернее и кое в чем глубже судить об этом интересном писателе. Книга характерна и для настроений, присущих сегодня и другим американским писателям: страстные, напряженные поиски причастности, поиски самого себя, стремление ответить на вопрос «кто я такой?», сомнения в необходимости писательского труда и горькое одиночество. Все это — не только у одного Сарояна, все это в известной мере характеризует интеллектуальную, духовную жизнь Соединенных Штатов.

Р. ОРЛОВА

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — ВАРНА»

А. Геров. Герои.
Л. Дилов. Почивката на Баян Дарев.
Й. Тодоров. Матросът и петимата.
В. Ханчев. Роза на ветровете.
«Държавно издателство — Варна». 1960 — 1962.

В последнее время, раскрывая книги болгарских писателей, часто можно увидеть внизу на титульном листе вместо привычного «Болгарский писатель» или «Народная молодежь» надпись: «Государственное издательство — Варна». Это книги, опубликованные недавно возникшим издательством. Создание двух новых издательств в Варне и Пловдиве, свидетельствующее о притоке молодых сил в литературу, о росте литературных кадров в городах, которые принято считать «провинцией», было с одобрением встречено общественностью Болгарии.

За время своего существования варненское издательство успело выпустить книги, которые не остались «местным» явлением и привлекли внимание читателей и критики. Книги эти разнообразны. Среди них мы найдем произведения советских писателей. Здесь вышли «Ветер» Б. Лавренева и «Морские наброски» К. Паустовского, появился на книжных полках и «Зимний ветер» В. Катаева.

Есть среди изданного в Варне и книги для детей.

Варненским издательством напечатаны произведения болгарских писателей среднего поколения, такие как повесть Ивана Мартинова «Вечный огонь» о жизни провинциальных артистов 20-х годов, самоотверженно служащих искусству. Или книга талантливого поэта Александра Герова «Герои», состоящая из трех поэм, посвященных памяти борцов, погибших в битвах против фашизма. В Варне появился и маленький сборник Веселина Ханчева «Роза ветров», куда вошли некоторые из стихотворений, включенных затем в сборник «Лирика», за который в этом году поэт удостоен Димитровской премии.

Однако главное направление в работе издательства—произведения молодых «Кардиограммы» Д. Стойчева, «Исповедь» Б. Тодорова, «Порывы» Т. Йорданова — сборники вступающих в литературу поэтов. Новым шагом в творчестве молодого поэта Андрея Германова стал его второй сборник «Рабочий поезд».

В прошлом году издательство выпустило первый номер ежегодного альманаха «Просторы», в котором соб-

раны стихи и рассказы молодых авторов не только Варны, но и других городов. Отдавая себе отчет в несовершенстве некоторых произведений, издательство ставит задачей помочь росту молодых литературных сил. Среди рассказов сборника болгарская критика отметила как наиболее удачные «Старую улицу» Ганчо Проданова и небольшую повесть, вышедшую потом отдельным изданием, «Матрос и пятеро» Йордана Тодорова — о самоотверженной борьбе маленького гарнизона в горах за жизнь матроса-подпольщика, преследуемого фашистами.

В варненском издательстве была опубликована и юмористическая повесть Цветана Стоянова «Мы и Арчи». *

В сборниках рассказов Л. Станева «Женщина не спит» и Л. Дилова «Отдых Бояна Дарева» нашли отражение некоторые черты, свойственные части молодых болгарских прозаиков: простота сюжета, усиление внимания к внутреннему миру человека, лаконизм и ясность языка.

Сборник Л. Дилова, получил положительную оценку болгарской критики. Основной интерес в этом сборнике представляет рассказ, давший название всему сборнику и самый глубокий по замыслу. Умение автора через психологию своего героя показать не только человеческую, но и социальную сущность характера свидетельствует о многообещающем начале творческого пути молодого писателя.

Варненское издательство познакомило болгарских читателей со многими новыми именами. Поиски молодых талантов, их поддержка могут, как нам кажется, привести к открытиям, радостным для всей болгарской литературы.

М. ТАРАСОВА

* Повесть печаталась в «Иностранной литературе» № 2, 1962.

«ВОР И СОБАКИ»

Нагиб Махфуз. Вор и собаки. Каир, «Мактаба Миср». 1962. (На арабском языке.)

Так назвал свою новую повесть известный египетский романист Нагиб Махфуз. Появление повести — важный этап в творчестве писателя и в развитии египетской и арабской прозы в целом.

Не впервые Нагиб Махфуз обращается к молодому герою, который ищет место под солнцем, преодолевая на пути тысячи препятствий и преград. Подобных героев мы встречаем в ранних произведениях Н. Махфуза, в романе «Скандал в Каире», в трилогии «Бейн аль-Касрейн». Эти герои во многом сродни образам молодых людей, которыми так богата литература XIX века, особенно французская и русская.

Однако в повести «Вор и собаки» впервые Н. Махфуз избрал своим героем «преступника по убеждению», человека, уверенного, что преступление — единственное средство завоевать место в обществе, где царит «закон джунглей», где между справедливостью и правосудием лежит глубокая пропасть.

Герой повести Саид Махран видел в жизни много горя и лишений. Он рано остался сиротой и был вынужден сам зарабатывать себе на хлеб. Полюбив простую служанку Набавию, он делает предложение и обещает ей обеспечить «хорошую жизнь». Саид бросает место сторожа в студенческом общежитии и в поисках «солидного» заработка меняет профессии одну за другой. Но честный путь не может привести его к заветной цели.

Еще работая в общежитии, Саид Махран познакомился с Рауфом Альваном, студентом юридического факультета. Заметив способного мальчика, Рауф настоял, чтобы отец отдал его в школу. Тот же Рауф помог Саиду после смерти отца получить место сторожа. Когда заболела мать и обстоятельства вынудили Саида совершить первую кражу, его опять-таки выручил Рауф. С этого времени Рауф начинает играть в жизни Саида роль, подобную той, которую в жизни Растиньяка играл Вотрен объясняет ему скрытые пружины, которые движут буржуазным обществом, и диктует нормы поведения. «Лично я считаю воровство законным делом... Когда воруешь, только возвращаешь то, что было украдено у тебя другими. Разве это не справедливо?.. Но одиночные кражи не имеют смысла. Здесь нужны организация и размах».

Саид становится главарем шайки, богатеет и женится на Набавии. Но один из его сообщников, Илеш Сидра, влюбившись в Набавию, сговаривается с ней и выдает Саида полиции. Саид осужден на четыре года Тем временем Илеш женится на Набавии, завладевает имуществом Саида и занимает его место в шайке. Саид выходит из тюрьмы, полный желания отомстить за измену жене и бывшему другу. Первым его побуждением было пойти к Рауфу, своему учителю и духовному отцу, который успел за это время нажить капитал и стать во главе крупной газеты. Однако, вопреки ожиданиям, Саид не встречает сочувствия. Рауф советует ему покончить с воровством и найти себе «чистое дело». Саид потрясен: его учитель и наставник, разбогатев, изменил своим «идеалам» и отказался от былого «бунтарства».

Итак, Саид перед лицом тройной измены — жена, друг, наставник... Он решает мстить. Прокравшись ночью в дом Илеша, он стреляет в

того, кто открыл ему дверь. Наутро из газет он узнает, что жертвой его стал незнакомый человек, поселившийся на месте Илеша, сбежавшего после выхода Саида на свободу. Таким образом, первый выстрел поразил невинного. «Значит, Илеш Сидра ускользнул... Но это еще не поражение. Есть еще Рауф Альван... Вот кто символ вероломства, вот кто в ответе за измену Илеша, Набавии и всех прочих предателей, кто бы они ни были...»

Саид ночью подкарауливает Рауфа возле его виллы и снова стреляет. И снова, открыв наутро газеты, узнает, что убил не Рауфа, а всего лишь его слугу. Итак, второй выстрел тоже поразил невинного...

На страницах своей газеты Рауф поднимает кампанию, стараясь натравить на Саида полицию и вооружить против него общественное мнение. Преследование безумца, который убивает ни в чем не повинных людей, становится сенсацией. Полиция гонится за ним по пятам, а простые люди ему сочувствуют. «В большинстве своем,— говорит Саид,— наш народ не боится воров и не питает к ним ненависти. Но он инстинктивно ненавидит «собак»...»

Защищаясь перед воображаемыми судьями, Саид мысленно произносит речь, во многом напоминающую знаменитое слово Жюльена Сореля.

«Я не похож на тех, кто до меня сидел на этой скамье... По сути дела между мной и вами нет никакой разницы, разве только та, что я обвиняемый, а вы судьи. Но эта разница чисто внешняя и значения не имеет... Эти слова должны доказать твою невиновность,— продолжает он.— Ведь сам-то ты убежден в своей правоте, а они в глубине души тоже считают твое ремесло законным, ибо разве не оно — ремесло господ во все века и времена?»

■

Приход в арабскую литературу героя, подобного Саиду Махрану, обусловлен

теми же причинами, что и появление аналогичных героев в европейской литературе XIX века, а именно: стремительное обогащение буржуазии и рост классовых противоречий, скопление огромных богатств в руках меньшинства и одновременное обнищание большинства. Повесть «Вор и собаки» правдиво и в то же время своеобразно отражает этот важный переходный момент в жизни египетского общества.

Конечно, Саид Махран не положительный герой. Писатель не пытается оправдать его поведение. Напротив, несмотря на явную симпатию к Саиду, он открыто осуждает его как личность, но при этом осуждает и общество, которое породило Саида, осуждает и развенчивает «истинных воров» и закон, который «оберегает одних воров и преследует других...» Не всякий вор — «собака», но господа «истинные воры» — «собаки все поголовно...»

Повесть «Вор и собаки» исключительна по силе там, где дело касается обличения ненавистных писателю буржуазных норм жизни. Однако дальше этого он не идет.

Нагиб Махфуз утверждает обреченность и бессмысленность всяких попыток одиночки восстать против буржуазного общества. Не случайно выстрелы Саида поражают только невинных людей. Эта же мысль высказана в подтексте, о ней свидетельствует весь ход событий повести и сам бесславный конец Саида: «. Ему некуда идти и негде искать спасения. Да и зачем? Он дрался изо всех сил, пытаясь одержать верх хотя бы здесь, в этом последнем поединке... И наконец понял: надо сдаваться. И он сдался... Теперь все равно... Теперь все равно...»

Кстати, надо сказать, что разочарование Саида в его «учителе» Рауфе необоснованно. Рауф и не думал изменять своим принципам, как считает Саид. Наоборот, последовательно и наилучшим образом он претворяет их в жизнь, что и дает ему возможность стать одним из сильных мира сего. Саид же не сумел понять самой сущности этих принципов, а потому и не был последователен: он не смог окончательно освободиться от власти таких «признаков слабости», как совесть, честь, любовь, дружба, и от других понятий, которые с легкостью отбросил Рауф.

Несомненно, автор хочет утвердить здесь моральную чистоту простых людей, которые в нечеловеческих условиях сохраняют верность глубоко человеческим чувствам, — недаром Нагиб Махфуз сделал своим героем выходца из «низов». Это тем более заслуживает внимания, так как в повести «Вор и собаки» писатель впервые вышел за пределы той социальной группировки — мелкой буржуазии, — жизнь которой, как правило, служила материалом для его прежних произведений.

Осталось сказать об особенностях стиля повести. Бросается в глаза, что Н. Махфуз отошел здесь от своей традиционной манеры, которая так напоминает манеру Бальзака и которой он неотступно следовал раньше.

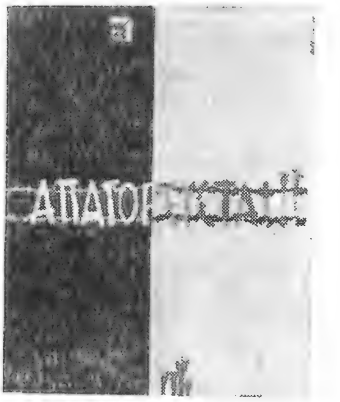
В результате описание места действия уже дается не в деталях, с документальной подробностью, столь характерной для Н. Махфуза, а вскользь, одной-двумя фразами. Вместо размеренного повествования — стреми-

тельный разворот событий, который сделал повесть динамичной и увлекательной.

Характер героя повести, Саида Махрана, не претерпевает никаких изменений, хотя во многих местах повести Н. Махфуз снова с блеском доказал свое мастерство психологического анализа. Что же касается остальных действующих лиц, то, будучи лишены глубины и самостоятельной роли, они становятся только вспомогательными средствами для более полного раскрытия основного образа повести. И как следствие — вместо сложной многоплановой панорамы египетской жизни, которую мы находим в прошлых произведениях Н. Махфуза, повесть «Вор и собаки» — это книга с одной сюжетной коллизией, без побочных линий.

Египетские критики встретили новую книгу Нагиба Махфуза по-разному. Одни узрели в ней «детектив» наподобие романов Конан Дойля, другие усмотрели «воспитательное» начало и объявили, что повесть «Вор и собаки», подобно роману «Ученик» Поля Бурже, предостерегает молодежь от пагубного влияния «аморальных» принципов. Третьи просто сочли ее слезливой мелодрамой. На мой взгляд, «Вор и собаки» — повесть социально-философская. Яркая и талантливая, она ставит египетскую прозу в один ряд с крупными явлениями мировой литературы.

НАГИБ СУРУР



Это не художественное произведение, не публицистика, это потрясающий по силе документ, созданный самими заключенными. Чтобы он появился на свет, узники провели немало бессонных ночей, они прятали его от зорких глаз тюремщиков, спасали во время обысков. Но подвиг этих людей сможет оценить лишь тот, кто прочтет этот документ и узнает, в каких условиях собирались для него материалы.

Когда перелистываешь книгу, кажется, что перед тобой подлинная рукопись, каким-то чудом дошедшая из застенков греческой тюрьмы. Мы не найдем здесь рассказа о трагических судьбах отдельных узников, читателей не пытаются разжалобить или оглушить риторикой — только скупые цифры и факты, которые говорят сами за себя и производят сильнейшее впечатление, воссоздавая атмосферу греческой политической тюрьмы.

На одной из первых страниц помещена выдержка из решения Международного Конгресса в Женеве о том, в каких условиях должны содержаться заключенные. Ни одному из требований конгресса не отвечают греческие тюрьмы, которые представляют собой либо средневековые крепости, вроде Итзедина на Крите, либо тюрьмы, куда помещали узников еще во времена турецкого ига,— такова, например, тюрьма на острове Эгина. Облик этих мест пыток запечатлен в скупых и выразительных иллюстраци-

В ЗАСТЕНКАХ ГРЕЧЕСКИХ ТЮРЕМ

Запрещается! Афины, издания ЭДА, 1962. (На греческом языке.)

Вот уже целых восемнадцать лет держат нас, более 1400 борцов Национального Сопротивления, борцов за демократию и мир, в греческих тюрьмах,— этими словами открывается книга «Запрещается!», изданная партией ЭДА в Афинах в 1962 году.— Нас держат в тюрьмах, потому что мы отдали родине все. Потому что мы остались верны своим идеалам...»

Героической борьбой с фашистскими оккупантами греческий народ вписал славные страницы в историю второй мировой войны. Но в Греции, где на смену немецко-фашистским захватчикам пришли английские, а затем американские интервенты, участие в Сопротивлении рассматривается как политическое преступление, и цвет нации, истинные патриоты томятся в тюрьмах Их пощадили пули иноземных завоевателей, а греческая реакция надела им на руки оковы.

Мир знает об этой трагедии современной Греции. Знают о ней и советские люди. Общественность не раз выступала в защиту национального героя Манолиса Глезоса и других политических заключенных. Нам известно, какую борьбу ведут передовые люди Греции и партия ЭДА за их освобождение. В прогрессивной афинской газете «Авги» изо дня в день публикуются биографии узников, их письма. Героизм заключенных воспевают греческие поэты, этой теме посвящены романы выдающихся писателей Менелаоса Лудемиса «Макронисос» и Фемоса Корнароса «Хайдари».

Что нового может рассказать нам тоненькая книга в черно-белой обложке, где на фоне колючей проволоки выделяется красное, словно написанное кровью, слово: «Запрещается!»?

ях, выполненных самими заключенными.

Грязные, тесные камеры, маленькие дворики — место кратковременной прогулки,— ничем не защищенные от лучей палящего южного солнца. Жизнь впроголодь .. А какие страдания приносит узникам недостаток воды! «На острове Эгина и в Каламиосе нас много раз наказывали за то, что мы просили пить» «Дисциплинарные меры» — плетки, приклады, карцер, бесконечные переводы из одной тюрьмы в другую — в особом почете у тюремщиков. Переписка, свидания с родными строго ограничены. Но если исстрадавшейся матери или жене удается увидеть через решетку дорогого человека, ее ожидает допрос в асфалии, угрозы, а порой побои и увольнение с работы.

Заключенным запрещается (это слово, выделенное красным шрифтом, по нескольку раз встречается на каждой странице) читать прогрессивные газеты, заниматься каким-либо умственным трудом. Если ты пишешь стихи, рассказы, переводишь или делаешь какие-нибудь записи, то считается, что ты занят «коммунистической пропагандой», и у тебя отбирают рукопись, карандаш, перо. Тысячи книг занесены министерством юстиции в списки запрещенных для чтения в тюрьмах. Сюда попали произведения лучших греческих писателей и поэтов: А. Сикелианоса, Я Рицоса, К Варналиса, Д. Фотиадиса, М. Лудемиса, Ф Корнароса, В. Ротаса и других. Под запретом находятся Горький, Лермонтов («Демон»), Л. Толстой, Достоевский, Тургенев («Дым») и многие произведения западноевропейской литературы.

Отсутствие медицинской помощи, многолетнее заключение, побои, пытки приводят к тому, что все заключенные в той или иной мере больны За последние годы 262 человека преждевременно сошли в могилу

Весь этот режим создан для того, чтобы заключенные «потеряли человеческий облик, прекратили борьбу за родину, отреклись от своих политических убеждений. » Почти на каждой странице приводятся приказы греческих министров, выдержки из документов, санкционирующих этот жестокий режим

Узники, вина которых заключается лишь в том, что они преданно служили родине, обращаются к своим соотечественникам с призывом помочь им· «Чья рука освободит нас из тюрем, направит Грецию на путь прогресса? Твоя, дорогой читатель. Подумай об этом».

Н. ПОДЗЕМСКАЯ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Откликаясь на выход в свет «Избранных стихотворений» Эдуарда Багрицкого, опубликованных на болгарском языке издательством «Народна култура», рецензент еженедельника «Литературен фронт» пишет: «Как известно, Багрицкий — одно из самых ярких имен советской поэзии. Теперь мы можем познакомиться в переводах с его популярными и характерными стихами, раскрывающими силу его поэтического творчества. Выдающийся мастер стиха, талантливый продолжатель традиций русской литературы, Багрицкий принадлежит к пионерам советской поэзии. Он — пример выполнения гражданского долга и образец для молодых в обращении с художественным словом. Багрицкий понимал, что поэт должен «слышать голос своего времени», если хочет создать действительно полнокровные произведения...

Творчество Эдуарда Багрицкого производит большое впечатление своей простотой, свежестью, поэтической чистотой Его стихи исполнены эмоционального напряжения, их образность богата и ярка. Это плод сознательных усилий, систематической работы».

Обозреватель журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель» называет роман А. С. Новикова-Прибоя «Соленая купель», выпущенный издательством «Хинсторф» (ГДР), «ярким и содержательным произведением, в котором ставятся глубокие проблемы».

Как сообщает еженедельник «Литерарни новины», в Чехословакии изданы роман «Цветные ветра» Вс. Иванова и сборник рассказов Константина Федина «Встречи с прошлым».

Повесть Эм. Казакевича «Синяя тетрадь» вышла в издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР). «Писатель сумел найти живые и теплые краски для образа Ленина,— пишет обозреватель журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель».— Ему удалось верно воссоздать исторические условия 1917 года».

В рецензии на изданную в Болгарии книгу Шарафа Рашидова «Сильнее бури» литературный обозреватель софийского журнала «Пламк» пишет: «Роман правдив и жизнен. Он покоряет читателя своей публицистической страстностью, остротой сюжета, яркой образностью и национальным колоритом».

В ливанском издательстве «Дар мактабат аль-хайят» вышел в свет роман Ванды Василевской «Радуга» в переводе на арабский язык Маруна Исы аль-Хури. Бейрутский журнал «Аль-Адиб» поместил письмо одного из своих читателей, Юсуфа ан-Наими из Триполи, который, высоко оценивая роман, называет «Радугу» «великой трагедией».

Как сообщает газета «Паэзе сера», лишь за последнее время крупнейшие книгоиздательства Италии выпустили ряд новых переводов книг советских писателей. Так, издательство «Эдитори риунити» выпустило «Донские рассказы» Михаила Шолохова, сборники стихов Андрея Вознесенского и Булата Окуджавы, а также роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Издательство Рицполи опубликовало повесть Вениамина Каверина «Семь пар нечистых», а издательство Мондадори — «Тугой узел» Владимира Тендрякова.

По сообщению будапештского бюллетеня «Тайекоztato», в венгерском издательстве «Эуропа» вышел роман Василия Гроссмана «За правое дело». «Памятником советскому человеку — герою Великой Отечественной войны» называет этот роман рецензент бюллетеня.

Парижское издательство «Эдитёр франсе реюни» выпустило «Сентиментальный роман» Веры Пановой в переводе на французский язык Мадлен Перю.

Под названием «Трое встретились вновь» берлинское издательство «Нейес лебен» (ГДР) выпустило роман Василия Аксенова «Коллеги». В рецензии, опубликованной еженедельником «Зонntаг», отмечается, что писатель хорошо, доходчиво рассказывает читателю о современной советской молодежи. «Аксенов доказал этой своей книгой,— пишет рецензент,— что он может рассказывать свежо, увлекательно и весело. Книга Аксенова

интересна для немецкого читателя, потому что это первое беллетристическое произведение, в котором нам представлена современная советская молодежь с ее проблемами, ее раздумьями и делами».

В переводе на французский язык Жана Катала парижское издательство «Жюллиар» выпустило повесть Виктора Конецкого «Завтрашние заботы». (Во французском издании повесть называется «Неизвестная из Архангельска».) Андре Вюрмсер в большой статье, опубликованной еженедельником «Леттр франсез», дал положительную оценку этому произведению. Он отметил образность языка, увлекательное и романтичное описание трудной службы моряков в арктических водах, юмор автора. «Это роман о любви, один из самых прекрасных, самых правдивых и самых трогательных из тех, что мне приходилось читать»,— пишет Андре Вюрмсер.

Амстердамское издательство «Пегасус» выпустило в переводе на голландский язык сборник рассказов Юрия Нагибина под общим названием «Пенковая трубка».

В софийском издательстве «Народна култура» вышла книга Остапа Вишни «Веселые происшествия», переведенная на болгарский язык Ив. Георгиевым, Ив. Григоровым и Т. Поповым.

Болгарский еженедельник «Литературен фронт» сообщает, что издательство «Народна младеж» выпустило «Северную повесть» Константина Паустовского в переводе на болгарский язык Н. Стефановой.

Роман Галины Николаевой «Битва в пути» вышел в берлинском издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР). «Это книга, которую нельзя забыть,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд».— Убедительно рисуя различные характеры, писательница дает картину жизни советского завода, картину драматической борьбы за технический прогресс, за новую коммунистическую мораль... Ценность этой книги в том, что в ней подняты волнующие вопросы современности».

В белградском издательстве «Просвещение» вышла книга Григория Бакланова «Пядь земли». Отмечая высокие художественные достоинства этой книги, рецензент газеты «Борба» пишет, что «каждая ее страница проникнута гуманизмом, необыкновенной свежестью и непосредственностью».

Венгерский журнал «Надь вилаг» опубликовал стихи армянского поэта Паруйра Севака и повесть Сергея Антонова «Аленка».

Варненский окружной театр (Болгария) поставил пьесу Ю. Чепурина «Меч и звезды». На снимке сцена из спектакля.

(Журнал «Театр»)

Сборник стихотворений Леонида Мартынова «Молодой месяц» опубликован издательством «Чехословенски списовател». Книжный обозреватель еженедельника «Литерарни новины» очень тепло отзывается о вышедшем сборнике, о его лирическом герое, «который является строителем нового мира, представителем новой эпохи, глашатаем второй половины XX века, поэтическим трибуном человечества, которому хочется петь».

Берлинское издательство «Дер морген» (ГДР) выпустило в переводе на немецкий язык сборник рассказов и миниатюр народного писателя Эстонской ССР Фридеберта Тугласа «Золотой обруч». Сборник иллюстрирован рисунками немецкого художника Эрхарда Шрейера. В рецензии, опубликованной газетой «Берлинер цейтунг», отмечается роль писателя в формировании характера современной эстонской литературы и высоко оценивается его разносторонний литературный талант.

Повесть Чингиза Айтматова «Джамиля» в переводе на болгарский язык Иванки Васевой выпустило софийское издательство «Народна младеж».

Издание на английском языке в Лондоне «Сережи» Веры Пановой вызвало много доброжелательных откликов в печати. Еженедельник «Таймс литерари сапплмент» подробно излагает фабулу этого произведения и дает высокую оценку эмоциональной насыщенности повести.

«Особенно мастерски,— по мнению рецензента еженедельника,— выражено нарастание дружбы и любви между маленьким Сережей и его новым папой. Это, пожалуй, самое сильное место во всей вещи... Хорошо сделаны те отдельные сценки, в которых читатель воспринимает мир как бы глазами шестилетнего ребенка... Короткая повесть Пановой обладает трогательным и чистым очарованием». Еженедельник напоминает своим читателям, что повесть Пановой «Сережа» легла в основу фильма, завоевавшего огромный успех во многих странах.

Как сообщает журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», радио ГДР организовало передачу, посвященную изданным в ГДР книгам «Битва в пути» Галины Николаевой, «Знакомьтесь, Балуев» Вадима Кожевникова и «Коллеги» Всеволода Аксенова.

Повесть Юрия Нагибина «Трудное счастье» вышла на вьетнамском языке в переводе Дуонг Туонга в ханойском издательстве «Ван Хок».

Журнал «Ганиэн», выходящий в Аккре, сообщает об издании сборника охотничьих рассказов И. Арамилева. Представляя ганскому читателю произведения советского писателя— большого знатока уральского края, рецензент журнала пишет, что Иван Арамилев является, по его мнению, наиболее популярным советским автором охотничьих рассказов. В сборнике, с которым теперь имеют возможность познакомиться ганские читатели, собраны его лучшие произведения.

Издательство «Дейчер милитерферлаг» (ГДР) опубликовало «Бессмертие» Михаила Бубеннова (в немецком переводе книга называется «Корабль с виселицей») и «За линией фронта» Л. Личькова.

В издательстве «Свет совету» (Чехословакия) вышел автобиографический роман казахского писателя Сабита Муканова «Школа жизни» в переводе Иозефы Сланской.

В связи с выходом в свет сборника рассказов и повестей С. Антонова американский журнал «Букс эброд» называет его «одним из выдающихся писателей послевоенного периода, произведения которого отшлифованы подобно драгоценным камням, и отличаются высокими литературными достоинствами...»

Рецензент журнала отмечает мягкий лиризм и неподдельный юмор, с которым автор описывает внутренний мир и любовные переживания молодых советских колхозников... «Благодаря мастерству стиля,— говорится в заключение статьи,— живому изображению действующих лиц и событий, которое сочетается с отличным описанием русской сельской жизни и пейзажа, читатель, прочитав книгу С. Антонова, не только узнает много интересного о людях и о жизни в советской деревне, но и получает огромное эстетическое наслаждение».

«Литературные очерки» А. Луначарского выпустило варшавское издательство «ПИВ».

В мюнхенском издательстве «Нимфенбургер ферлагсхандлунг» (ФРГ) вышла повесть Михаила Пришвина «Женьшень — корень жизни». «Произведением, полным простоты и безыскусственной поэзии», называет ее критик западноберлинской газеты «Тагесшпигель».

Под названием «Вдали от фронта» варшавское издательство «МОН» выпустило «Глубокий тыл» Б. Полевого в переводе М. Грачевской. Рецензент журнала «Нове ксенжки», отмечая художественные достоинства этой книги, пишет, что книги Бориса Полевого хорошо известны польскому читателю и что к новой книге этого автора конечно будет проявлен большой интерес.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
Хроника

АВСТРИЯ

АВТОР «ПЕСНИ ТРУДА» ПИШЕТ

Поэт Роберт Шой — не новичок в литературе. Его «Песня труда» стала гимном австрийского пролетариата и в свое время принесла широкую известность автору.

Однако впоследствии в течение многих лет Роберт Шой не издавался, и о нем почти забыли. А поэт продолжал писать. И вот итоги поэтического творчества ряда десятилетий предстали перед судом читателя. Издательство «Эйропеишер ферлаг» в Вене выпустило два тома стихотворений под общим названием «Солнечные слезы».

В рецензии, появившейся в венском журнале «Рундблик», дается высокая оценка опубликованным произведениям. «Нельзя не восторгаться,— пишет рецензент,— непринужденным свободным языком, которым пользуется поэт, чтобы образно высказать свои мысли».

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ КИНОБОЕВИКОВ

Отмечая успех кинематографии стран социалистического содружества и революционной Кубы на международном кинофестивале в Карловых Варах, а также называя показанные там лучшие фильмы Англии, Италии и Франции, газета «Фольксштимме» сообщила, что Австрия фактически не была представлена на фестивале. Нельзя же считать художественным произведением, пишет газета, фильм, рекламирующий австрийские товары! А ведь именно таким был единственный фильм австрийской кинопромышленности, который оказалось возможным послать на фестиваль.

«Остается пожелать,— заявляет автор статьи в «Фольксштимме», — чтобы наши «боевики» были хотя бы наполовину сделаны с таким вкусом, как этот рекламный фильм».

АНГЛИЯ

САТИРИЧЕСКАЯ ПЬЕСА ДЖОНА ОСБОРНА

В лондонском театре «Ройал корт» состоялась премьера новой сатирической пьесы Джона Осборна «Голубая кровь Бамбергов».

По мнению критика газеты «Дейли уоркер» Майка Мейсона, это — лучшая комедия драматурга. Необычайно остроумная и злая, она, как считает критик, значительно сильнее, чем пьеса «Оглянись во гневе», которой прославился Осборн.

В основу комедии Осборна положена — хотя, разумеется, подлинные имена здесь не названы — история свадьбы принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы.

Фабула пьесы Осборна построена на том, что свадьба принцессы чуть было не сорвалась из-за автомобильной катастрофы, которая в последнюю минуту произошла с женихом, любившим быструю езду на машине. Однако поскольку это — комедия, немедля находится оптимистический выход из положения. На сцене появляется некий фоторепортер из Австралии, который и женится на принцессе ради приданого и «положения в обществе». Кстати, актер, играющий эту роль, явно загримирован под бывшего придворного фотографа Антони Армстронг-Джонса, который, женившись на принцессе Маргарет, превратился в лорда Сноудена.

По ходу действия в пьесе также выступают комментаторы радио и телевидения, передающие в торжественном тоне свадебную церемонию. Беспощадно издевается Осборн над представителями буржуазной печати и политическими деятелями Англии. Веселый, остроумный диалог и смешные положения, пишет Мейсон, «делают спектакль совершенно уморительным», тем более что английский зритель до сих пор имеет возможность лицезреть архаические придворные церемонии, совершаемые с такой же серьезностью, как и сотни лет назад. «Неувядаемое чувство юмора,— по словам Мейсона,— сплачивает в этом спектакле автора и зрителя воедино».

ПИСЬМА ОСКАРА УАЙЛЬДА

«Письма Оскара Уайльда», недавно изданные под редакцией Руперта Хорт-Девиса, вызвали множество откликов в английской прессе.

Том писем Уайльда составляет восемьсот страниц. Многие письма — в особенности те, в которых он критикует современное ему буржуазное общество,— весьма интересны. «Эта книга,— пишет Сирил Конноли в еженедельнике «Санди таймс»,— представляет собой большую ценность главным образом для тех, кто серьезно интересуется историей английской литературы, а также историей европейских нравов».

Отдавая должное талантливому писателю, Конноли обращает внимание на то, что не меньше двух третей опубликованных писем посвящено денежным вопросам.

«Санди таймс» подчеркивает историческую ценность писем Оскара Уайльда как литературного документа эпохи. В своих письмах Уайльд дал своеобразный литературный портрет современного ему буржуазного общества.

УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ НОВОГО ТЕАТРА

Известный английский актер и режиссер сэр Лоуренс Оливье открыл новый Фестивальный театр в Чичестере — первый театр в Англии, построенный в форме арены. По обеим сторонам сцены возведены лестницы, ведущие на расположенную выше сцены площадку со многими дверями. Вокруг этой площадки, а также и вокруг театра сооружен помост с несколькими входами и выходами. Актеры, таким образом, могут появляться с любой стороны: снизу, сбоку, сверху, из-за спин зрителей.

Подобная архитектура театра, по сообщениям печати, представляет широкие возможности для осуществления смелых режиссерских замыслов, в особенности для проведения массовых сцен, хотя еще спорно, будет ли удобна она для камерных спектаклей.

Одним из первых спектаклей Фестивального театра явилась постановка «Дяди Вани» А. П. Чехова с участием Сибил Торндайк, Майкла Редгрэйва, Лоуренса Оливье и Джоун Плаурайт. Некоторые критики отмечают, что несмотря на блестящий «звездный» состав исполнителей спектаклю недостает атмосферы интимности и напряженности. Полагают, что в известной степени это вызвано своеобразием театральной архитектуры.

Что же касается комедии Джона Флетчера «Случайности», которой Оливье открыл Фестивальный театр, то для нее новый тип сцены, как сообщает еженедельник «Санди таймс», оказался

РЕЧЬ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА В ОКСФОРДЕ

Недавно Чарли Чаплину была присуждена степень доктора Оксфордского университета. Впервые в истории Оксфорда докторская степень присуждалась актеру. И решение об этом вызвало немало возражений со стороны приверженцев традиций и тех, кто под предлогом «соблюдения традиций» преследовал политические цели.

Выступая с речью в день получения степени, Чарли Чаплин затронул ряд вопросов общественного и личного порядка. Говоря о термоядерных испытаниях на Западе, Чаплин заявил: «Мне кажется, что в этом вопросе ученые ведут себя еще более безответственно, чем политики. Они изобрели оружие самоуничтожения и отдали его в руки третьесортных лиц. Наличие подобного оружия — насилие над человечеством... Ядерное оружие — угроза для всего живого на земле. Оно передано в руки военных через голову народа, а именно с народом и нужно было посчитаться. Разумеется, я за мир. Я всегда был «поджигателем мира».

Коснувшись своих творческих планов, Чаплин сказал, что собирается снимать два фильма — пародию на исторические постановки и кинокомедию с участием его сына Сиднея.

— Для своих 73 лет я, конечно, недостаточно активен в кино,— заметил Чарли Чаплин,— но это объясняется тем, что я только что вчерне закончил свою биографию. Писать такую книгу — все равно что проявлять фотографии. А я легко вспоминаю прошлое. Сейчас шлифую рукопись. Поставлю запятую, через неделю вычеркну ее.

Как сообщает печать, Чаплин надеется завершить работу над автобиографией к концу года. Первая ее часть посвящена юности знаменитого актера. По словам Чаплина, в автобиографию включены ранее не публиковавшиеся материалы.

Чарли Чаплин в Оксфорде.
(Еженедельник «Санди таймс»)

О знаменитых сатириках Англии — от Свифта и Джонсона до Оскара Уайльда и Бернарда Шоу — рассказывается в недавно вышедшей в Лондоне книге Хэскета Пирсона «Жизнеописания остряков». На публикуемом снимке, позаимствованном из книги Пирсона,—прославленное «трио остряков»: Бернард Шоу, Хилер Бэллок и Дж. К. Честертон.

(Газета «Дейли уоркер»)

весьма подходящим. Режиссеру удалось передать динамику сатирического спектакля, без промедлений производить смену комедийных положений и ситуаций.

ПЬЕСА О ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ НА АНГЛИЙСКОЙ СЦЕНЕ

Премьера пьесы французского драматурга Артюра Адамова — «Весна 71 года» (см. «Иностранную литературу» №№ 3 и 7, 1962) состоялась не на родине писателя, а на сцене лондонского театра «Юнити».

Сообщая об этой постановке, еженедельник «Уорлд ньюс» отмечает, что пьеса, посвященная славной истории Парижской коммуны, вызывает большой интерес английской публики. И хотя речь идет о событиях далеких дней, многое в этом спектакле волнует и сейчас.

— Премьера моей пьесы «Весна 71 года», состоявшаяся в Лондоне, мне принесла большую радость,— сказал Артюр Адамов корреспонденту «Леттр франсез».— Конечно, я предпочел бы, чтобы премьера была в Париже, ведь речь идет о Парижской коммуне. Все это не случайность. Более трех лет я посвятил мучительным поискам документов и созданию пьесы. Однако я перестал надеяться, что когда-либо увижу ее на сцене французского театра...

БИРМА

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ

Совет по делам культуры при правительстве Бирмы провел в Рангуне совещание, на котором обсуждались мероприятия по развитию литературы и искусства различных народностей страны.

Как сообщает еженедельник «Бёрма уикли баллетин», на совещании были приняты решения об охране сокровищ национальной культуры, об оказании помощи народностям Бирмы в развитии их искусства и литературы.

БОЛГАРИЯ

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ

В Софии состоялось отчетно-выборное собрание Союза болгарских писателей, на котором, как сообщает печать, было решено прежнюю форму руководства Союзом (президиум и секретариат) заменить новой — правлением с исполнительным бюро. В совет правления избрано 33 человека. Председателем исполнительного бюро выбран Камен Калчев, заместителями председателя — Младен Исаев и Илья Волен, секретарем — Николай Янков и членами бюро — Веселин Андреев, Георгий Караславов, Димитр Методиев, Ефрем Каранфилов, Иван Руж, Камен Зидаров и Славчо Васев.

СБОРНИК СТИХОВ ЛЮБЫ ИВОШЕВИЧ-ДИМИТРОВОЙ

В книжных магазинах Софии появился сборник стихов Любы Ивошевич-Димитровой (см. «Иностранную литературу» № 7, 1961).

«Люба Ивошевич-Димитрова,— отмечает поэт Христо Радевский в предисловии к сборнику,— известна старшему поколению болгарского коммунистического движения как преданный товарищ и жена Георгия Димитрова, как видный партийный и общественный деятель, как пламенный публицист и поэт».

Еще в 1933 году в письме из гитлеровской тюрьмы Моабит Георгий Димитров писал своей сестре Магдалене Барымовой: «Великая моя просьба к тебе и Лене — найдите и соберите все стихотворения Любы, напечатанные в разное время, или неопубликованные, издайте их отдельным сборником. Это будет лучшим памятником нашей незабвенной Любе и известным утешением для меня в моей неизмеримой утрате...»

Желание Георгия Димитрова осуществлено благодаря заботам Елены Димитровой, которая разыскала и собрала стихи для этой книги.

Откликаясь на выход в свет сборника стихов Любы Ивошевич-Димитровой, еженедельник «Литературен фронт» подчеркивает:

«Издание поэтического наследства Ивошевич — полезное и похвальное начинание Хорошо бы в следующем издании, наряду со стихотворениями, познакомить современного читателя и с лучшими прозаическими произведениями Ивошевич и с ее пламенными статьями в защиту трудящихся».

НА ТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

В печати объявлены результаты конкурса, организованного софийским журналом «Театр» на лучшую пьесу на современную тему.

Второй премией отмечены пьесы «В мирные дни» Д. Панделеева и Д. Гонова и «Воробушек» Л. Гройса. В первой пьесе действие происходит в новой болгарской деревне; вторая поднимает проблемы морали нового человека, члена социалистического общества. Третья премия присуждена Г. Костову за пьесу «Сокровище отряда» — о жизни и делах юных пионеров.

По сообщению еженедельника «Народна култура», премированные на конкурсе пьесы принадлежат перу молодых авторов.

РОМАН О МОЛОДЫХ

О большом интересе, вызванном первым романом болгарского новеллиста Георгия Маркова «Мужчины», свидетельствует несколько критических статей, рецензий и отзывов читателей, появившихся в печати вскоре после выхода в свет этого произведения.

Сюжетная основа романа — формирование характеров трех молодых людей современной Болгарии, которых сводит вместе военная служба.

Трое героев романа — сельский паренек Младен, беззаботный Сашо и научный работник Иван — ищут, борются и побеждают.

Роман «Мужчины» — талантливая разведка на поле современности. Смелость в показе нравственных проблем коммунистического воспитания человека является его решающим достоинством. «Вопреки названию роман подкупает не мужественностью, а юношеским дерзновением автора и его героев»,— пишет известный критик Веселин Йосифов в еженедельнике «Литературен фронт».

ВЕНГРИЯ

«ЯБЛОНИ» ИШТВАНА ШИМОНА

С творчеством известного венгерского поэта Иштвана Шимона советский читатель знаком по книжке стихов, изданной в Москве.

Недавно поэт отметил своего рода юбилей: вышел десятый сборник его стихов «Яблони».

«Книгу «Яблони» Иштван Шимон посвятил новой венгерской деревне, ее людям,— пишет рецензент газеты «Мадьяр немзет»,— и лирическим лейтмотивом по книге проходят образы отца и матери поэта, олицетворяющих собой садовников земли».

Лирическое «я» в этой книге тесно связано с большим философским «я» поэта, по-партийному понимающего вопросы современной жизни и дающего ясно и просто на них ответ.

«Это «ясно» и «просто» тесно связано у поэта с художественной особенностью его произведений,— подчеркивается в предисловии к сборнику,— они современны в лучшем понимании этого слова. Их простота таит в себе столько живости, столько богатства красок, столько житейской наблюдательности, что этой простоте может позавидовать иной большой художник». Поэтому венгерская критика единодушно отметила появление сборника стихов «Яблони» Иштвана Шимона, назвав этот сборник «одной из самых талантливых книг одного из значительнейших современных поэтов Венгрии».

ГАНА

ПЕРВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ

Как сообщает газета «Ганайен таймс», в столице Ганы — Аккре недавно открылась первая в стране художественная студия — творческий центр художников республики.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КНИГИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Беймарское издательство «Фольксферлаг» выпустило том избранных произведений Фридриха Вольфа под названием «Хрестоматия нашего времени».

В пьесе «Пять историй о 13 августа», поставленной Рабочим театром при берлинской электростанции Трептов, Гельмут Байерль показывает, как берлинская молодежь восприняла мероприятия правительства ГДР по охране безопасности Берлина в августе прошлого года. На снимке сцена из спектакля.

(Еженедельник «Зонntаг»)

Изданию сборника произведений Фридриха Вольфа предшествовал выход в свет таких же сборников избранных произведений Бертольта Брехта и Иоганнеса Р. Бехера. В дальнейшем будут издаваться сборники произведений и других современных немецких писателей.

Сообщая о выпуске серии сборников, еженедельник «Зоннтаг» отмечает, что эти издания — книги нашего времени — послужат делу дальнейшего ознакомления широкого круга читателей с лучшими произведениями современной немецкой прогрессивной литературы.

ДВА РОМАНА О НЕМЕЦКОЙ ДЕРЕВНЕ

«Заслуживают внимания два новых романа, затрагивающих проблемы развития нашей деревни»,— пишет обозреватель газеты «Нейес Дейчланд» в рецензии на недавно вышедшие в свет книги «Летняя гроза» Мартина Зельбера и «Весна наступит в Приморском крае» Мартина Мюллера.

Мартин Зельбер завоевал себе место в литературе книгами «Хроника слуг» и «Твои глаза, дорогое дитя», появившимися еще в 1957 году.

Герой нового романа Мартина Зельбера «Летняя гроза» — рабочий Готтшальк направлен в глухой угол, чтобы организовать там дом культуры. Встретив сопротивление боящихся всего нового жителей и не находя поддержки у местных властей, Готтшальк падает духом. Уже открылась библиотека, в драматическом кружке идут репетиции, однако Готтшальк, считая, что он ничего не сделал, решает бежать из деревни. По пути на станцию Готтшалька останавливает местный крестьянин. После беседы на дороге Готтшальк возвращается...

По мнению рецензента газеты «Нейес Дейчланд», «несмотря на столь неожиданный «счастливый конец», роман «Летняя гроза» — хорошее и интересное повествование о новой деревне».

Действие романа Мартина Мюллера «Весна наступит в Приморском крае» начинается в первые послевоенные годы и завершается наступлением первой социалистической весны. Конфликт романа построен на взаимоотношениях героини — бедной крестьянки Аниты, вышедшей замуж за кулака, с возвратившимся из плена бедняком Иоахимом, который стремится строить в деревне новую жизнь. Однако автор, по словам рецензента, ограничивается лишь любовными переживаниями героини. В его романе не находят достаточного отражения противоречия классовой борьбы в деревне, что, в свою очередь, снижает достоинство этого интересного романа.

«Рецензируемые романы,— отмечает обозреватель «Нейес Дейчланд»,— несмотря на отдельные недостатки, заслуживают того, чтобы о них говорить».

ВТОРАЯ КНИГА РУДОЛЬФА ПЕТЕРСХАГЕНА

Рудольф Петерсхаген, автобиографическая книга которого «Восстание совести» (см. «Иностранную литературу» № 12, 1961) стала, по оценке критики, одним из самых ярких явлений «книжной жизни» в ГДР, написал роман «Жизнь — не игра в кости». В этом произведении шестидесятилетний бывший полковник гитлеровской армии продолжает полемику с идейными установками фашизма и милитаризма. «Не давая сковать себя исторической документальностью, но в то же время с неуемной любовью к правде, опираясь на пережитое им самим,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг»,— Петерсхаген поставил в центр событий юношу из гитлерюгенда, который воплощает в себе искалеченную фашизмом немецкую молодежь».

Фабула романа несложна. Действие его происходит в районном городке Померании в течение последних месяцев гитлеровского режима. Случайно местный национал-социалистский «фюрер» обращает внимание на пятнадцатилетнего Йохена Циммермана. Он решает «приручить» юношу, чтобы на его примере продемонстрировать... готовность германской молодежи к самопожертвованию. И вот, в то время как фронт приближается и поток беженцев устремляется за Эльбу, а генералитет взвешивает шансы возможного «альянса» с американцами, членам гитлерюгенда пытаются вдолбить в голову мысль о геройской смерти, в чем якобы и заключается смысл всей жизни... Судьба взвалила на плечи Йохена Циммермана суровые испытания. Лишь благодаря великодушию советского солдата он спасается от неминуемой гибели...

Роман изображает минувшее. Но он актуален. Западногерманскую молодежь снова отравляют ядом неверия в жизнь, ясную и светлую, их снова собираются превратить в пушечное мясо. Подчеркивая в связи с этим значение романа Рудольфа Петерсхагена, рецензент «Зоннтаг» указывает, что его книга заставит молодежь Западной Германии задуматься.

«ДОМ НА БАНДАММ»

...В доме на одной из западноберлинских улиц подготавливают новый преступный акт: нападение на государственную границу ГДР в Берлине. В соответствии с разработанным планом, тунель под железнодорожной

Сцена из телевизионной постановки «Дом на Бандамм». Артисты Эрика Мюллер-Фюрстенау и Хорст Шен, исполняющие роли Марго и Иоахима Брендель.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

насыпью должен быть использован для диверсии. Жизнь пассажиров ни в грош не ставится. Организаторы провокаций не останавливаются ни перед чем.

«Что же это, только телевизионный спектакль? — спрашивает театральный критик газеты «Нейес Дейчланд».— Нет, к несчастью, это горькая действительность на границе республики в Берлине, показанная с большим мастерством. Телевизионный спектакль бьет прямо в цель».

В новой постановке «Дом на Бандамм», переданной телевизионной студией ГДР, роль инженера Бренделя, который в свое время бежал из республики и позднее был привлечен к диверсионной деятельности, исполняет Хорст Шён. Роль его жены убедительно играет актриса Эрика Мюллер-Фюрстенау. Жена Бренделя дает отповедь организаторам диверсии: «С тех пор как я нахожусь в Западном Берлине и познакомилась с людьми вроде вас, я поняла, почему на той стороне, в ГДР, сооружена пограничная стена».

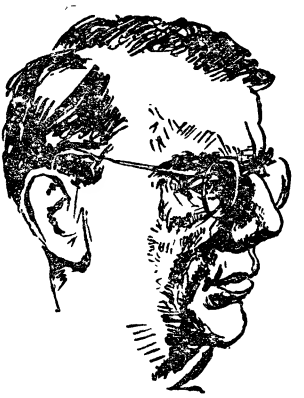
К 60-ЛЕТИЮ ГЮНТЕРА ВАЙЗЕНБОРНА

В связи с шестидесятилетием известного западногерманского писателя Гюнтера Вайзенборна берлинское издательство «Ауфбау» (ГДР) выпустило однотомник его произведений, в который вошли «Мемориал» и роман «Преследователь».

Гюнтер Вайзенборн, отмечает демократическая печать, был участником антифашистского сопротивления в гитлеровской Германии. Три года провел он в каторжной тюрьме, из которой его освободили советские войска. Его книга воспоминаний «Мемориал», а также пьеса «Нелегальные» — свидетельство пережитого в те тяжелые годы.

Роман Вайзенборна «Преследователь» (см. «Иностранную литературу № 10, 1961) говорит о том, как в Западной Германии относятся к гитлеровским палачам.

«Вайзенборн — мастер прозы и прекрасный драматург,— пишет обозреватель газеты «Берлинер цейтунг»



Гюнтер Вайзенборн.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

в статье, посвященной шестидесятилетию писателя.— Его пьесы заняли прочное место на театральных сценах ГДР... Вайзенборн никогда не был коммунистом, но он поднял голос против атомной войны, в защиту мира, гуманизма и дружбы между народами. Это роднит и связывает его с нами».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ОСКАР МАРИЯ ГРАФ НЕ УЗНАЛ РОДИНЫ

Оскар Мария Граф, приехав из США, вновь посетил родные места в Западной Германии. Это дало повод западногерманским газетам считать, что старый писатель все же окончательно вернется домой из эмиграции.

И вот в книжных лавках Западного Берлина появилось его новое произведение, выпущенное в свет мюнхенским издательством «Курт Деш». Пресса откликнулась коротенькими рецензиями. Знаменательно, что еженедельник «Форвертс», сообщая о новинке, указывает: «Теперь, пожалуй, можно уже не сомневаться в том, что Оскар Мария Граф, еще несколько лет назад считавший это возможным, не переедет на родину. Он исполнен горечи и не жалеет упреков».

В новой книге Оскара Марии Графа — «Большое крестьянское зеркало» — рассказана тридцать одна история из жизни крестьян. Писатель, отмечает «Форвертс», «так наглядно воссоздал панораму крестьянской жизни, что присутствие его героев явственно ощущаешь».

Книга как бы подводит итог поездки Графа на родину. Он увидел ее — и не узнал. Обо всем он сказал без обиняков. Именно его откровенность, по мнению газеты «Форвертс», часто вызывала у читателей восхищение Графом, но не прибавляла ему друзей. Что ж, и пословица гласит: правда глаза колет...

ПРАВДИВОЕ СЛОВО ВОЛЬФГАНГА ШТАУДТЕ

«В 1961 году кризис западногерманского кино достиг своего предела. Кинотеатры пустовали. Банки не давали продюсерам кредитов. Крупные прокатные фирмы закрывались...» — пишет в своей книге «Искусство или касса» кинокритик Вальтер Шмидинг.

По словам этого западногерманского критика, причины кризиса кроются в низком художественном качестве фильмов; кроме того, экономика кинопромышленности Западной Германии идет по пути неорганизованного «свободного» рынка.

«Конечно, Вальтер Шмидинг прав,— комментирует печать ГДР,— но дело не только в экономическом положении западногерманской кинопромышленности. Главное в том, что западногерманские фильмы, сделанные по стандартному рецепту, пропагандируют нереальную «сладкую жизнь» в стране «экономического чуда».

Признает это и сам Вальтер Шмидинг: «Вместо критики действительности наши фильмы повторяют старые предрассудки, тянут зрителя к реставрации старых представлений. И все же некоторым прогрессивным западногерманским деятелям удается сказать правдивое слово. По мнению демократической печати, режиссер Вольфганг Штаудте, например, мог бы немало порассказать о тех трудностях, которые он испытывал, создавая свои фильмы, в том числе «Ярмарку».

Кадр из фильма «Последний свидетель». В роли Ингрид — артистка Эллен Швирс.

(Газета «Юнге вельт»)

Недавно на экранах появился новый фильм Вольфганга Штаудте «Последний свидетель», правдиво рисующий западногерманскую действительность.

Молодая служащая Ингрид Бернхарди обвинена в убийстве своего четырехмесячного ребенка. Ингрид и ее друг, которые были обнаружены на месте преступления, приговорены к тюремному заключению. Зато отец ребенка и его фактический убийца — директор крупной промышленной фирмы — к суду не привлекается, он выступает только как свидетель.

«Казалось бы, довольно банальный сюжет криминального фильма,— отмечает пресса ГДР.— Но мастерство Вольфганга Штаудте состоит в том, что на материале сценария Р. А. Штеммле и Томаса Кекка он создал беспощадное обвинение боннской юстиции, приговаривающей невиновных и оправдывающей виновных. Случай, показанный в фильме «Последний свидетель», типичен для западногерманской действительности».

СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ И ЗАПАДНОБЕРЛИНСКИЕ ГАЗЕТЫ

Западноберлинские газеты назвали «бестактным поступком» демонстрацию советского фильма «Баллада о солдате» в одном из кинотеатров Западного Берлина.

Сообщая об этом, газета «Берлинер цейтунг» пишет: «А вот многие западноберлинские зрители проявили «бестактность» и переполнили зал, в котором демонстрировался этот гуманистический антивоенный фильм Очевидно, слово «бестактность» применяется западноберлинской прессой к тем, кто не желает маршировать в ногу с правителями «фронтового города». А таких становится в Западном Берлине все больше и больше. Вот это обстоятельство и приводит в бешенство носителей идей реванша и «дранг нах Остен».

Кто это? Играющие дети? Нет, это молодые художники добывают себе средства на пропитание и учебу. Они рисуют на мостовой перед большим отелем в центре Западного Берлина — на Курфюрстендамм. Слева под ящичком из-под сигар, куда прохожие бросают мелкие монеты, видна надпись «На учебу».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ИНДИЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Книга «Анандибай и другие рассказы» принадлежит перу одного из крупнейших современных бенгальских писателей Раджшекхару Босе Паршурама, скончавшегося в прошлом году. Сборник, в который вошло пятнадцать рассказов, давно завоевал признание широкого читателя, а позднее ему была заслуженно присуждена первая премия Литературной академии Индии (см. «Иностранную литературу» № 6, 1959).

Недавно калькуттское издательство «М. С. Саркар и сыновья» выпустило новое издание сборника. В связи с этим индийская критика отмечает значительный вклад Паршурама в бенгальскую литературу и указывает, что писатель внес в нее много нового, прогрессивного. «Рассказы Паршурама — образец блестящего синтеза традиционных и современных элементов»,— пишет бенгальский писатель Хирендранат Датт в газете «Бхарат джоти». По его мнению, некоторые из рассказов «можно считать лучшими в бенгальской литературе».

НАРОДНАЯ ДРАМА

Шесть дней продолжался в Дели фестиваль народной драмы, организованный Всеиндийским театральным обществом. Что ценного мог ут

Исполняющий главную роль в пьесе «Дьявол», поставленной бенгальским театром в стиле «джатра».

(Журнал «Линк»)

почерпнуть в народном театре драматурги, режиссеры и актеры? Может ли народный театр использовать современную тематику, не нарушая своих старых традиций? Можно ли возродить традиционный театр? Эти и многие другие вопросы поднял фестиваль перед театральной общественностью.

Впервые зрители столицы смогли познакомиться одновременно с тремя формами традиционного народного представления. Бенгалия прислала свой древнейший, существующий более четырехсот лет, но до сих пор весьма популярный в бенгальских деревнях театр в традициях «джатра», штат Уттар Прадеш — народную оперу в стиле «наутанки», а народное искусство штата Мадхья Прадеш было представлено старинным любительским театром в стиле «маач».

Каждая из этих форм традиционной народной драмы, пишет театральный критик журнала «Линк», имеет свои достоинства. Артисты «джатры» славятся превосходной игрой. Опера «наутанки» отличается прекрасными музыкальными голосами и искусством использовать инструментальную музыку при построении драмы. Представления «маач» радуют великолепием разнообразных мелодий.

Делийский фестиваль продемонстрировал жизненность народной драмы. «Это сигнал всем, кто заинтересован в развитии подлинного национального театра в нашей стране,— подчеркивает критик,—театра, своими корнями уходящего глубоко в древние традиции, но способного отражать все важное, что волнует современника».

СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА

Издательство «Таймс оф Индиа» провело совещание по проблемам перевода произведений национальных индийских литератур на иностранные языки. Кроме того, Всеиндийский радиокомитет созвал литературный форум, на повестке дня которого стояли вопросы, связанные с переводом художественных произведений с одного национального языка на другой.

«Внимание к проблемам перевода свидетельствует о расширении литературных горизонтов, о росте творческого сознания индийского писателя. Наступает такой период в развитии национальной культуры, когда писатель и издатель стремятся дать читателю более разнообразную литературу, познакомить его с лучшими отечественными и зарубежными образцами». К таким выводам приходит литературный обозреватель индийского журнала «Линк».

РАССКАЗЫ О КРЕСТЬЯНАХ

Сборник «Короткие рассказы» И. Читтала, пишущего на языке каннада, вышел в издательстве «Манохар грантхамала» (г. Дхарвар). Это вторая книга талантливого прозаика. «В его произведениях приятно радует свежесть тематики и языка»,— пишет рецензент индийской газеты «Бхарат джоти».

В сборнике помещены рассказы о жизни индийских крестьян.

В кинотеатрах страны с успехом демонстрируется фильм «Сводный брат», поставленный известным режиссером Махешем Каулом по роману Шорот Чондро Чаттерджи «Завещание Байкунтера». Произведения этого классика индийской литературы пользуются огромной популярностью не только на его родине, в Бенгалии, но и далеко за ее пределами.

По свидетельству рецензента газеты «Бхарат джоти» творческому коллективу удалось создать реалистическую картину сельской жизни в старой Бенгалии.

Здесь помещен кадр из фильма «Сводный брат».

(Газета «Бхарат джоти»)

ИСЛАНДИЯ

«ВЫБИРАЙ СЕТЬ»

Вышла повесть весьма популярного в Исландии писателя Ионаса Арнасона. Арнасон завоевал известность своими рассказами о детях, а также очерками из жизни рыбаков и рабочих рыбных промыслов. Их жизнь известна писателю не понаслышке — работая учителем средней школы и одновременно занимаясь литературным трудом, Арнасон сам во время каникул плавает на рыболовных судах.

В основу повести «Выбирай сеть» легла история жизни старого рыбака, который сам о себе рассказал писателю. «Эта книга — одно из лучших произведений такого жанра, когда-либо появлявшихся на исландском языке, и, пожалуй, самое занимательное...— пишет критик газеты «Тьодвильин».— Это своего рода памятник неизвестным рыбакам, безымянным героям моря».

ИСПАНИЯ

ПРОТЕСТ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал протест французских писателей против массовых арестов в Испании.

«Франкистская диктатура,— говорится в заявлении,— преследует рабочих и интеллигенцию; число арестованных растет с каждым днем. Жертвой этих арестов стали художники Агустин Ибаррол, Мария Дапена и ее муж, критик-искусствовед Антонио Хименес Перикас, и поэт Мигель де Николас. Эти лица, обвиненные в том, что они «придерживаются социалистического мировоззрения», были брошены в тюрьму»

Протест с требованием немедленного освобождения арестованных подписали Симона де Бовуар, Эльза Триоле, Пьер Дэкс, Шарль Добжинский, Пьер Гаскар, Леон Муссинак и многие другие.

ХОРХЕ ГИЛЬЕНУ — МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ПОЭЗИИ

Как сообщает антверпенская газета «Метрополь», известному испанскому поэту Хорхе Гильену вручена международная премия поэзии за 1961 год, присужденная на биеннале поэзии в Нокк-Лё-Зут (Бельгия).

На торжества, устроенные в Монсе по случаю вручения премии поэту, который уже двадцать пять лет находится в эмиграции, прибыли многие писатели. В своем выступлении Хорхе Гильен большое внимание уделил социальной роли поэзии.

НОВЕЛЛЫ ХУАНА ГОЙТИСОЛО

В Париже вышел в свет сборник новелл «Чтобы жить здесь» известного испанского писателя Хуана Гойтисоло.

«Раздавленная вероломными генералами, связанная по рукам и ногам их сообщницей — церковью, голодающая, безработная, униженная, горестная Испания Хуана Гойтисоло,— пишет Андре Вюрмсер в рецензии, опубликованной в «Леттр франсез», — напоминает фильмы Бардема с их ярким светом и мрачными тенями или фильмы Бюнюэля с их непереносимой жестокостью. Это — Испания Гойи, терзаемая кошмарами. Такова Испания сегодня, такой ее сделали клерикализм и милитаризм».

Каждая новелла—рассказ от первого лица — проливает свет на различные стороны жизни франкистской Испании: аморальность духовенства, распущенность «золотой молодежи», тяжелая жизнь тружеников моря, беспросветное существование людей, лишенных надежды на работу, на будущее, растленная обстановка, царящая в казармах.

«В новелле «Друзья»,— отмечает Андре Вюрмсер,— есть сцена, особо понятная нам, если вспомнить времена Виши: все посетители кафе смеха ради горланят франкистский гимн, причем каждый знает, что поет лишь для того, чтобы бросить вызов, высмеять, не выказывая явно своего намерения. Ныне оккупированная Испания Гойтисоло, так же как и Франция в прошлом, хватает за душу...»

«Эта книга не смогла появиться на родине писателя,— подчеркивает Андре Вюрмсер,— поскольку она правдива, а потому она запрещена. Помимо всего прочего, она является образцом прекрасного стиля, которым отличается творчество одного из лучших и гордых писателей молодого поколения Испании».

ИТАЛИЯ

НА ПУТИ РЕАЛИЗМА

Ежегодная литературная премия «Стрега», наряду с премией «Виареджо» наиболее важная в Италии, присуждена за 1962 год антифашистскому роману писателя Марио Тобино «Подпольщик» (см. «Иностранную литературу» № 9, 1962). Это решение жюри было воспринято прогрессивной печатью с глубоким удовлетворением.

Муниципалитет сицилийского города Багерия принял решение отметить пятидесятилетие своего земляка Ренато Гуттузо проведением в октябре большой выставки его работ, охватывающей период творчества художника с 1930 по 1962 гг. На снимке Ренато Гуттузо.

(Газета «Паэзе сера»)

Критик Карло Салинари в статье, опубликованной еженедельником «Вие нуове», подчеркивает, что это не только антифашистское произведение, но и книга, которая «идет против течения в более узком, чисто литературном смысле». В тот момент, когда, по словам Салинари, в Италии предпочитают говорить о «душевном расстройстве» (о чувстве тоски и тревоги, невозможности взаимопонимания между людьми и т. п.) как о неминуемой предпосылке художественного произведения, автор этого романа пытается создать персонажи, не страдающие душевным расстройством и способные верить в людей, в борьбу за лучший мир. «Теперь,— пишет далее Салинари,— многие теоретизируют, ищут спасения в «косвенном» повествовании, то есть в такой манере повествования, которая показывала бы события, людей и предметы как бы преломленными сквозь сознание автора (или героя произведения), не претендуя на объективность. А эта книга продолжает традиции «прямого» повествования, характерного для романов прошлого. Автор ее стремится также к лексической и грамматической правильности, избегая модной хаотической разорванности и беспорядочности».

«Таким образом,— заключает критик,— присуждение премии «Стрега» содержит призыв к повествованию реалистического типа».

В Риме была устроена художественная выставка, на которой экспонировались картины, отражающие связь между кино и изобразительным искусством. Помимо портретов и карикатур мастеров кино и киногероев, на выставке были представлены автопортреты режиссеров Сергея Герасимова, Рене Клера, Марио Солдати и Жана Кокто. Большой интерес публики вызвали два портрета талантливой итальянской киноактрисы Анны Маньяни, написанные Карло Леви и Ренато Гуттузо. Портрет работы Гуттузо итальянцы увидели впервые; до того он был показан лишь на выставке произведений художника в Советском Союзе.

На снимке Анна Маньяни между двумя своими портретами кисти Леви (1954) и Гуттузо (1961).

(Газета «Паэзе сера»)

ПЕСНИ СВОБОДЫ

Издательство «Эдитори риунити» выпустило двухтомную антологию «Итальянские политические песни 1793—1945 годов», в которую вошли сотни народных итальянских песен, гимнов, эпиграмм, куплетов, проникнутых патриотическими, социальными и общественными мотивами.

Эта антология, отмечает критика, как бы отражает историю борьбы итальянского народа за свои права и свободу, начиная с Французской революции XVIII века до наших дней.

В первый том вошли произведения, относящиеся к эпохе Рисорджименто и посвященные борьбе против французских и австрийских угнетателей, за национальное освобождение и объединение страны, а также рабочие и студенческие революционные песни. Второй том охватывает период движения Сопротивления и партизанской борьбы против гитлеровских оккупантов и фашистских предателей.

«СТЕПЬ» НА ЭКРАНЕ

Известный кинорежиссер Альберто Латтуада осуществил давнишнее желание нескольких итальянских мастеров кино экранизировать повесть А. П. Чехова «Степь». Как сообщает газета «Паэзе сера», впервые поставить этот фильм хотел Витторио Де Сика, большой поклонник творчества Чехова. Не имея финансовой возможности снимать фильм в Италии, Латтуада был вынужден ставить его за границей. Все съемки велись в Югославии и с участием югославских артистов.

КАНАДА

«ЯД ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

Издательство «Прогресс букс» выпустило книгу известного канадского публициста М. Фрэнка «Яд для молодежи».

«Подобно многим другим людям,— пишет в связи с выходом этой книги рецензент газеты «Кенэдиен трибюн»,— я сознавал и ранее, что наши киоски, телевидение, радио, кино заполнены порнографическими историями, произведениями, в которых описываются насилия, пропагандируется холодная война. Я также читал многие статьи, авторы которых связывали с этим фактом рост детской преступности... Но книга М. Фрэнка заставила меня гораздо глубже понять, насколько широко проводится в настоящее время в Канаде кампания по отравлению умов молодежи, как молодежь подготавливают к восприятию ядерной войны».

Богато иллюстрированная, основанная на большом фактическом материале книга «Яд для молодежи», по словам рецензента, с большой силой показывает, какую опасность таит в себе отравление молодого поколения страны ядом холодной войны, разврата, насилия.

Вскрывая корни этого печального явления в жизни Канады, автор называет его виновников—правящие круги страны и их американских хозяев, наводнивших Канаду «произведениями», растлевающими молодежь. Среди этих произведений за последнее время появились и открыто восхваляющие идеологию современных американских фашистов из «общества Джона Берча».

КИТАЙ

«КРАСНЫЙ УТЕС»

Так называется роман, Ло Гуан-биня и Ян И-яня, опубликованный недавно в Китае и вызвавший единодушное одобрение критики.

Любопытна история создания этого произведения. В 1959 году в Китае вышла книга «Обретенное в огне бессмертие», написанная двумя бывшими узниками чунцинской тюрьмы, где гоминьдановцы держали политических заключенных. Эта книга очень понравилась читателям, и авторы решили продолжить работу над ней. Так был создан роман «Красный утес».

Действие романа происходит в Чунцине накануне его освобождения от гоминьдановцев... Тюрьма. Здесь в страшных условиях содержатся китайские коммунисты-подпольщики, партизаны и воины Народно-освободительной армии, те, кто по разным обстоятельствам попал в плен. Неодинаковые люди собрались в тюрьме. Одних сломили пытки и бесконечные допросы, другие не только не пали духом, но еще нашли в себе силы поднять заключенных на борьбу, в логове врага организовать революционное подполье. И таких большинство. Авторы книги не ограничились летописью событий, а заглянули в человеческие сердца.

«В этом произведении, напоминающем историческую поэму,— пишет литературовед Ван Чао-вэнь в журнале «Вэньи бао»,— удивительно глубоко и всесторонне отражен возвышенный духовный мир революционеров. Здесь ярко показаны подлость и жестокость гоминьдановской охранки... Противоборство двух лагерей в тюрьме переходит в напряженную борьбу двух идеологий». По словам рецензента, в романе раскрываются два отношения к жизни, два понимания счастья, два мировоззрения. Каждый час, каждую минуту организаторы тюремного подполья—коммунисты Сюй Инь-фэн, Цзянь Цзе, Чэн Ган и их товарищи ощущают свою причастность к судьбе всего народа. Великому делу освобождения они отдают сердца. В сложных перипетиях борьбы в гоминьдановском логове выковываются характеры, крепнет солидарность узников. Только ощущая себя частицей народа, человек может перенести нечеловеческие испытания, пройти твердым шагом и с гордо поднятой головой через мрачные тюремные казематы — эта мысль красной нитью пронизывает роман.

«Авторы романа,— пишет Ван Чао-вэнь,— воспели героизм и оптимизм революционеров... Герои этого произведения крепки и величественны, как утесы».

ОТ РОМАНА К ПЬЕСЕ

Юноша Цзя Бао-юй любит нежную и ласковую, хрупкую и красивую Линь Дай-юй. Девушка также не мыслит жизни без него. Но Дай-юй — сирота из семьи небогатого чиновника. Родители Бао-юя и слышать не хотят о бедной девушке. Они уже подыскали сыну другую невесту — дочь богатого торговца, поставщика предметов роскоши для императорского двора. Любящие сердца не хотят разлучаться. Страданиям молодых нет конца...

Так развиваются события в идущей с большим успехом на сценах китайских театров пьесе «Сон в красном тереме», которая создана на основе знаменитого классического романа XVIII века.

Автор сценического варианта романа драматург Сюй

Сцена из спектакля «Сон в красном тереме». В роли Линь Дай-юй—артистка Цао Юй-чжэнь, роль Бао-юя исполняет артистка Гао Люлинь.

(Журнал «Сицзюй бао»)

Цзинь на страницах газеты «Женьминь жибао» рассказывает о работе над воплощением любимого народом произведения в драматургическую форму. Можно представить себе, какую нелегкую задачу взял на себя драматург, если учесть, что роман Цао Сюэ-циня «Сон в красном тереме» состоит из ста двадцати глав и охватывает огромный период жизни феодального Китая. По словам Сюй Цзиня, он не старался в пьесе, которая идет на сцене всего лишь четыре часа, объять необъятное. В основу сценического варианта романа драматург положил лирическое начало — любовь Бао-юя и Дай-юй. Вместе с тем роман не потерял на сцене и своей острой социальной направленности — обличения представителей господствующих классов феодального общества.

Сюй Цзинь пишет, что его работа над сценическим вариантом романа является лишь первым опытом. Цель драматурга — донести как можно полнее до зрителя шедевр древнего реалистического творения, входящего в сокровищницу китайской литературы.

КОРЕЯ

ДИСКУССИЯ ПО РЕАЛИЗМУ

Вопросу генезиса реализма в корейской литературе посвящена научная дискуссия, организованная Институтом языка и литературы Академии наук КНДР. Как сообщает газета «Нодон синмун», в течение двух месяцев обсуждались важнейшие проблемы современного литературоведения. Большие споры разгорелись вокруг вопроса становления критического реализма в корейской литературе. Часть литературоведов придерживается мнения, что критический реализм сформировался в корейской литературе в XVIII веке. Однако критик Ан Хам Кван, подчеркнув важность исторического подхода к литературным явлениям, обосновал мысль о том, что формирование критического реализма в корейской литературе относится к десятым годам нашего столетия.

Печать считает, что дискуссия по реализму принесла большую пользу в деле научного освещения истории современной корейской литературы.

НИГЕРИЯ

СКАЗКИ НАРОДА ЙОРУБА

Творчество народа йоруба в последнее время привлекло к себе пристальное внимание специалистов как в Нигерии, так и за рубежом. Недавно, как сообщает журнал «Африка тудэй», вышел в свет сборник, в который включено 37 йорубских народных сказок. В этих сказках нашли отражение представления о добре, зле, любви, мужестве и справедливости, сложившиеся в народе йоруба на протяжении веков. Сборник снабжен примечаниями и вступительной статьей, написанными его редакторами Барбарой и Уорреном Уокер.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

КНИГА ОБ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Роман Сильвии Эштон-Уорнер «Незамужняя женщина» рассказывает о трудностях работы и маленьких радостях одинокой учительницы Анны, посвятившей свою жизнь совместному обучению детей маори и белых в одной из новозеландских школ, о жизни ее маленьких воспитанников, которые уже понимают значение слов «нужда», «полиция», «маори», «белый».

Критика дает роману высокую оценку и считает, что его с интересом встретят читатели не только Новой Зеландии, но и других стран, в которых еще существует расовый антагонизм.

НОРВЕГИЯ

НОВЫЕ ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ

Недавно вышла в свет антология «Новые имена в норвежском искусстве». И хотя эта антология не дает вполне ясного представления о том, что происходит в литературной жизни Норвегии, издание ее, по мнению критика газеты «Фрихетен», является ценной инициативой.

Большое место в книге отведено творчеству одного из наиболее известных молодых норвежских поэтов — Георга Юханнесена. Этот поэт, как пишет критик «Фрихетен», ищет красоту и правду, которые скрываются в окружающей его неприглядной и насквозь лживой действительности. Юханнесен мечтает о таком мире, в котором люди могли бы настолько развернуть свои способности, чтобы прославиться своей жизнью.

Те же проблемы волнуют и Хельге Хагерупа — автора поэмы «Под желтым флагом».

Бьёрн Нильсен, один из видных молодых норвежских лириков, критикует фальшивую сентиментальность, которой насквозь пронизано творчество многих его современников — поэтов.

В заключение критик газеты «Фрихетен» пишет, что антология, пусть недостаточно глубоко, все же показывает талантливую молодежь в норвежской литературе.

ОАР

ФЕСТИВАЛЬ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ

По сообщению каирской печати, Совет по делам искусств Объединенной Арабской Республики направил приглашения шестидесяти поэтам для участия в фестивале арабской поэзии в Александрии. Тема фестиваля, который будет проведен осенью этого года,— «Поэзия, рожденная народными революциями в Азии и Африке».

ПОЛЬША

ПАМЯТИ ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО

«Творчество Леона Кручковского,— отметил Владислав Гомулка в письме к вдове писателя,— прочно вошло в сокровищницу польской культуры, оно неразрывно связано с революционной борьбой польского рабочего класса, с борьбой за построение социалистической Польши, с борьбой народов, за прочный мир между народами».

В польской печати опубликованы статьи многих друзей Кручковского, вспоминающих его как писателя, общественного деятеля и человека. Известный польский поэт Станислав Ришард Добровольский, выступая на страницах газеты «Жице Варшавы» со статьей «Не стало Леона...», пишет: «Я знавал его в трудные моменты, в лагере для военнопленных, и в те дни, когда его осыпали почестями и наградами. Он всегда был одинаков... Верный своим взглядам, выработанным еще в молодости, он готов был всегда защищать их с немалым мужеством и риском... В соответствии с лучшими традициями польской литературы и социалистической идеологией, Кручковский понимал роль писателя как служение обществу. Вместе с тем он никогда не отказывался от высокой художественности в пользу общественно-политической агитации. Об этом необходимо помнить, думая об авторе «Немцев»...

Литературный критик Ю. А. Щепанский, напомнив в газете «Трибуна люду» основные этапы творчества Леона Кручковского, подчеркивает: «По своему таланту Кручковский был выдающимся писателем, умевшим воздействовать на умы и сердца. Он был писателем-коммунистом, настоящим партийцем. А это означает огромные обязательства и широкие обязанности. Кручковский глубоко сознательно взял их на себя».

В довоенной Польше, отмечает Щепанский, писатель агитировал своими книгами, активно участвовал в политической жизни. После войны весь свой талант литератора, публициста, политического борца он отдал делу социализма, работе на благо народа и партии. Кручковский не представлял себе литературного творчества без одновременной общественной и культурной деятельности. Он был членом Государственного совета и председателем комиссии по вопросам культуры ЦК ПОРП, депутатом сейма и активным деятелем всемирного движения сторонников мира, в течение нескольких лет являлся председателем Союза польских писателей.

Известный польский литературовед и критик Стефан Жулкевский указывает на роль Кручковского в развитии польской драматургии: «Значение «Немцев» или «Первого дня свободы» состоит в том, что Кручковский последовательно развивал борьбу за углубление польской литературы, что он все больше втягивал ее во всегда живой и все усиливающийся идеологический спор нашей эпохи... Идеологический спор, в котором столько лет участвовал Леон Кручковский, был для него спором о правоте революционного марксизма, о классовой сущности пролетариата, о социализме, наконец, о социалистическом строительстве в Польше.

По словам Стефана Жулкевского, Кручковский был одним из крупнейших инициаторов нового идеологического и художественного течения в польской литературе, придавшего ей особенно ценные черты, связавшего литературу с борьбой и исторической деятельностью революционных сил народа.

КНИГИ ДЕБЮТАНТОВ

Редакция еженедельника «Нова культура», как и в прошлом году, обратилась к ведущим польским издательствам — «Чительник», «Искры», ПИВ, МОН в Варшаве, а также к литературному издательству в Кракове, издательству «Шлёнск» в Катовицах и Морскому издательству в Гдыне — с просьбой рассказать о наиболее интересных дебютах нынешнего осенне-зимнего литературного сезона.

В нескольких последующих номерах «Нова культура» в соответствии с установившейся традицией публиковала портреты молодых авторов вместе с кратким рассказом об их творческом пути, а также первые страницы их первых книжек.

Среди дебютантов есть люди как среднего поколения, так и те, кто только вступает в пору зрелости: Эдвард Стахура, Веслав Дымный, Мариан Пилот, Анджей Шипульский, Казимеж Трацевич и другие. Как отмечает «Нова культура», в публикуемых произведениях преобладает современная тематика, есть среди них рассказы о деревне, в которых использованы мотивы народного фольклора.

«МОЛОДЫЕ О МОЛОДЫХ»

Так называется рецензия Зеноны Мацужанки в еженедельнике «Нова культура» на ряд книг молодых польских прозаиков, посвященных проблемам молодежи.

Среди этих книг критик выделяет новый роман Александра Минковского «Сорок наверху». За сорок человек на верхней палубе судна чувствует себя ответственным герой книги — механик, ремонтирующий вышедшую из строя машину.

«Книга Минковского,— пишет рецензент,— посвящена проблеме ответственности: общественной, товарищеской и личной».

РУМЫНИЯ

РАССКАЗЫ ФРАНЧИСКА МУНТЯНУ

«После длительного молчания Франчиск Мунтяну,— пишет литературный обозреватель газеты «Ромыния либера»,— выступил с книжкой рассказов «Мой друг Адам». Писатель особое внимание обращает на простого, рядового человека, за скромной внешностью которого часто скрывается богатая и содержательная биография. Определение — «Серый человек», которым назван один из рассказов, автор употребляет с явно полемической целью. Речь идет о скромном служащем Ионе Брановичи, который среди своих знакомых создал себе репутацию скучного, «пресного и серого» человека. Однако оказывается, что Брановичи увлечен важными проблемами усовершенствования железнодорожных вагонов; он проявляет незаурядные способности изобретателя-новатора».

Критика отмечает порой чрезмерную сжатость рассказов Мунтяну, но таков уж «кинематографический стиль» писателя, предпочитающего краткое и сильное повествование. Новая книжка рассказов Мунтяну, по мнению рецензента,— большой успех писателя.

США

ПОМНИТ ЛИ АМЕРИКА О. ГЕНРИ?

На публикуемом фотоснимке показана нью-йоркская «Таверна Пита», где в то время, когда она называлась «Кафе Хили», О. Генри чуть ли не каждый день бывал и собирал материалы для своих рассказов о Нью-Йорке. Теперь на тенте видна рекламная надпись: «Таверна, которую прославил О. Генри».

В связи со столетием со дня рождения талантливого американского писателя газета «Нью-Йорк геральд трибюн» опубликовала статью Джона Хатчинса о роли О. Генри в литературе США и его влиянии на современную американскую литературу. Хатчинс рассказывает и о памятных местах, связанных с О. Генри, приводит некоторые интересные высказывания личных друзей писателя. «Кафе Хили»,— рассказывал после смерти писателя его друг Роберт Дэвис,— было для О. Генри клубом, единственным его клубом, где он проводил долгие часы, которые складывались в месяцы, а может быть, и в годы. Он там сидел в своем любимом уголке один или с друзьями и чувствовал себя в безопасности от издателей и кредиторов».

Однако о писателе напоминает лишь реклама на таверне. На доме, где жил О. Генри, на Ирвинг-плейс, нет никакой мемориальной доски.

Побеседовав с молодежью, посещающей «Таверну Пита», Хатчинс выяснил, что они не читали О. Генри и ничего о нем не знают. А три специалиста в области короткого рассказа, преподающие в трех нью-йоркских университетах, сказали ему, что они не считают О. Генри крупным мастером и полагают, что «современные рассказы куда лучше, чем то, что писал он».

Приведя эти факты, Хатчинс все же утверждает, что Америка не забыла О. Генри и его книги часто выходят до сих пор.

О ЧЕМ УМОЛЧАЛИ РОМАН И ФИЛЬМ

В американской печати много было написано о книге Аллена Друри «Рекомендую и утверждаю» (см. «Иностранную литературу» № 12, 1959), описывающей вашингтонскую политическую карусель. Недавно на экраны Соединенных Штатов вышел фильм «С совета и согласия», сделанный по этой книге. Фильм поставлен Отто Преминджером, а главную роль играет недавно скончавшийся известный актер Чарльз Лаутон, зна-

СИНГАПУР

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛАЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает издающийся в Гонконге журнал «Истерн хорайзн», в Сингапуре выходит в свет сборник рассказов современных малайских писателей на английском языке. В сборник, подготовленный к печати издательством «Истерн юниверситиз пресс», включены произведения местных писателей, написанные после второй мировой войны.

Как отмечает на страницах журнала редактор книги Леон Комбер, подобная публикация производится в Сингапуре впервые.

«Таверна Пита» в Нью-Йорке, где О. Генри собирал материалы для своих рассказов (на тенте видна рекламная надпись).
(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)

Кадр из фильма «С совета и согласия». В главных ролях — Чарльз Лаутон и Уолтер Пиджин.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

комый советскому зрителю по фильмам «Жизнь Генриха VIII» и «Свидетель обвинения».

По оценке прогрессивной печати, фильм Отто Преминджера, так же как и текст романа Друри, отнюдь не дает объективной картины того, что на самом деле происходит в «мраморных джунглях» конгресса США. Газета «Уоркер» подчеркивает, что упущено, собственно говоря, самое основное — то, о чем четко сказал в свое время Билл Роджерс: «У нас самый лучший конгресс, который можно купить за деньги»... Именно эта сторона беззастенчивой, циничной купли-продажи совести и чести затушевана и в книге и в фильме.

Однако даже частично приоткрытая завеса над «мраморными джунглями» Вашингтона, вызвала резкое недовольство «Нью-Йорк таймс». Газета находит в этой картине «сгущение красок» и опасается, что «доверчивые люди могут принять за чистую монету показанную в фильме грязь». Следовало бы все-таки, жалуется газета, показать какое-то более точное соотношение между силами добра и зла.

Показ темных махинаций, раскрытых в ходе сенатского расследования в связи с тем, что президент «с совета и согласия сената» назначил своего ставленника на пост государственного секретаря, вызывают возмущение «Нью-Йорк таймс» — газеты, которая явно придерживается той точки зрения, что сора из избы (точнее, из Капитолия) выносить не следует...

Постановщик и актеры, как отмечает печать, сознательно избежали какой-либо портретности в изображении президента США, сенаторов, лидера большинства в сенате и других действующих лиц, что дало повод рецензенту газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» отметить, что Отто Преминджер построил свой фильм «с ловкостью прирожденного дипломата».

«ЧЕЛОВЕК С БАУРИ» ЭЛМЕРА БЕНДАЙНЕРА

Газета «Нэшнл гардиен» опубликовала рецензию на недавно вышедшую книгу Элмера Бендайнера «Человек с Баури», посвященную жизни нью-йоркских трущоб.

Этот труд — результат многолетних исследований и личных наблюдений автора. Чтобы собрать нужный материал, он провел много времени в тех местах, где обитают нью-йоркские бедняки: в питейных заведениях, ночлежных домах «Армии спасения» и молельнях католических миссионеров, расположенных в районе трущоб.

Э. Бендайнер характеризует своих героев как людей, уставших от борьбы за существование, разочарованных в жизни. «Им нужно,— с горькой иронией заключает рецензент,— такое место, откуда они спокойно, без всяких усилий могли бы отправиться прямо в ад и где никто им уже не скажет, что они заслуживают лучшей участи».

«УЖАСЫ ДЛЯ УЖАСОВ»

Хитчкок положил в основу своего нового «кошмарного» фильма новеллу Дафны дю Морье, по ходу которой злобные птицы уничтожают целый город. Рассказывая о своем будущем фильме, Хитчкок сообщил корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» некоторые «душераздирающие» детали этого будущего опуса: «В фильме участвуют миллионы чаек, ворон, галок и т. п. Мы покажем крупным планом, как птицы выклевывают людям глаза, взрывают газовые колонки, отдирают верха от автомашин. У нас будут играть такие гигантские механические птицы, которые долбят черепа людей, гонятся за ними, уничтожают детей. Все эти ужасы будут изображены в самом натуральном виде...»

Не позавидуешь американскому кинозрителю, которого ожидает хитчкоковский «ужас ради ужаса».

Полет в космос Сирано де Бержерак предпринял еще в 1649 году на... страницах своего фантастического романа. Идея преодоления земного притяжения у де Бержерака была весьма проста: он рекомендовал прикрепить к телу бутыли, наполненные утренней росой, и как только солнце пригреет росу, можно будет подняться в воздух и приблизиться к небесным светилам... Знаменитые «Путешествия на Луну и на Солнце» Сирано де Бержерака в переводе на английский язык и с предисловием недавно умершего английского писателя Ричарда Олдингтона выщли в США. Из этого издания нами заимствована воспроизводимая здесь иллюстрация.

(Еженедельник «Нью-Йорк геральд трибюн бук ревью»)

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КЛИФФОРДА ФАЙЛА

Когда в апреле прошлого года народ Сьерра-Леоне провозгласил свою независимость, над страной зазвучал национальный гимн, слова которого принадлежали местному писателю Клиффорду Файлу. Это был далеко не единственный успех писателя на его творческом пути. Как сообщает сьерра-леонская газета «Дейли мейл», недавно Клиффорд Файл стал победителем конкурса на лучший рассказ, проведенного журналом «Драм» в Западной Африке.

В рассказе «Бездомный парень», премированном на конкурсе, повествуется о молодом африканце Сайо, судьба которого, по словам автора, характерна для многих его сверстников на африканском континенте.

Каковы творческие планы писателя в настоящее время? Отвечая на этот вопрос, газета рассказывает, что Клиффорд Файл работает над романом, посвященным изменениям, которые произошли за последнее время на африканской земле, а также над рассказами, повествующими о сложных проблемах, стоящих перед африканцами.

Помимо литературной деятельности, Клиффорд Файл, в недавнем прошлом учитель, уделяет большое внимание ведущейся в стране работе по созданию новых учебников и учебных планов для школ.

ФИНЛЯНДИЯ

ВОСПИТАН ЖЕСТОКОСТЬЮ

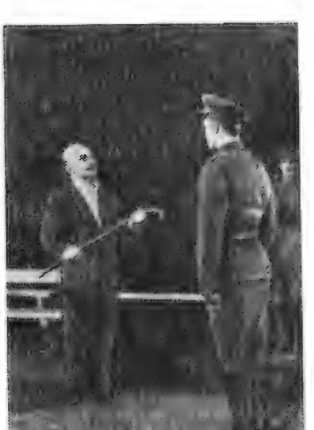
Учительница Тююне Хяккинен, как сообщает газета «Кансан уутисет», стала одним из трех победителей конкурса на лучший социальный роман, объявленного финским издательством «Кансан култтуури». Свою книгу «Воспитан жестокостью» она посвятила злободневному в Финляндии вопросу о детской преступности.

По словам критика «Кансан уутисет», Хяккинен — хороший психолог и опытный наблюдатель. Ее книга о мальчике, ставшем отцеубийцей,— это «крик о помощи всем тем забытым обществом детям, которые вынуждены влачить существование в примитивных, не достойных человека условиях».

Герой романа — добросердечный, способный мальчик Юкка страдает из-за царящей в семье атмосферы пьянства, грубости, преступности. Он становится игрушкой в руках взрослых и соучастником убийства отца. Дальнейший его путь — в исправительный дом, который, по характеристике критика, представляет собой «типичное исправительное заведение, готовящее молодых преступников в массовом масштабе».

После окончания срока наказания мальчик продолжает находиться под гнетом душевной травмы и подавленности, пока он не встречает людей, с помощью которых становится полезным членом общества.

Книга Тююне Хяккинен «Воспитан жестокостью», по оценке критика, «нужный, психологически глубокий и затрагивающий за живое обвинительный документ».



Один из крупнейших театров Финляндии, Рабочий театр города Тампере, празднуя свой шестидесятилетний юбилей, показал зрителям инсценировку второй части романа Вяйне Линна «Здесь, под Полярной Звездой» Пьеса включена в репертуар многих театров страны На снимке сцена из спектакля

(Газета «Кансан уутисет»)

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН ЭЛЬЗЫ ТРИОЛЕ

Новый роман Эльзы Триоле «Козни судьбы» продолжает привлекать внимание французской печати. Критик Франсуа Нуррисье в еженедельнике «Франс-обсерватёр» пишет о «целомудренном, беспощадном и в то же время чрезвычайно экономном» реализме писательницы в этом ее произведении. Литературный обозреватель еженедельника «Ар» Матье Галей замечает, что «разбросанные в романе поэтические размышления, неожиданные и причудливые, оставляют глубокое впечатление».

По словам известного писателя Клода Мориака, выступившего в газете «Фигаро», «этот превосходный роман, написанный в сдержанной, но захватывающей манере, с виду легкомысленный, а по сути глубокий, рассматривает одну из величайших проблем: проблему человеческой свободы».

Идейное содержание романа «Козни судьбы» подвергнуто подробному анализу в статье Шарля Ароша, опубликованной еженедельником «Франс нувель». Душевная борьба героини романа Клариссы Дюваль проистекает, по мнению автора статьи, из того, что глубокие внутренние потребности человека вступают в противоречие с его собственными личными интересами, обусловленными воздействием окружающей среды. Внутренний мир героини романа раскрывается в переломный, критический момент ее существования, когда она становится жертвой разнообразных «козней судьбы».

Кларисса Дюваль испытывает резкое отвращение ко всему, что ее окружает, к своим повседневным занятиям и обязанностям. С необычайной остротой она ви-

дит бессмысленность своего существования, и это помогает ей обнаружить в себе давнюю, взлелеянную с детства и затаенную страсть — любовь к театру, мечту стать трагической актрисой. Горькие размышления героини романа о том, как трудно жить, ладить с окружающими тебя близкими людьми, переплетаются с мучительными раздумьями о том, как надо жить для того, чтобы осуществить свое истинное призвание, не променяв его на то, что предлагает взамен повседневная жизнь с ее заботами и обязанностями по отношению к другим людям. Рядом с проблемой борьбы за осуществление своего истинного призвания возникает и другая — о праве на личное счастье, от которого нельзя отказаться в угоду спокойствию близких. Триоле, по словам Ароша, оставляет судьбу Клариссы незавершенной. И все же читатель догадывается, что Кларисса победит во внутренней борьбе — в борьбе за свое счастье и за свое призвание. Желания человека и его свобода, как показывает в романе Эльза Триоле, приходят в гармоническое единство только тогда, когда тобой руководит сознание ответственности перед людьми.

«Прогрессивная романистка,— пишет Арош, — продолжает увлекать нас — в присущей ей своеобразной манере — человечностью преодоления страданий и мужественным приятием жизни».

НОВАЯ КНИГА ПЬЕРА ДЭКСА

В еженедельнике «Леттр франсез» опубликована рецензия Андре Вюрмсера на новую повесть Пьера Дэкса, выпущенную издательством Жюлиар.

Действие повести «Мария» происходит в 1940 и 1941 годах. В суровом и скорбном Париже, где дома обезображены флагами со свастикой, где на стенах расклеены объявления гестапо о расстреле заложников, встречаются герои повести Бруно и Мария. Автор рассказывает об их любви, о большом всепоглощающем чувстве, которое не отгораживает их от людей, от жизни, а придает им силы выстоять, не пасть духом в этот трагический для Франции час.

Критик высоко оценивает это произведение, эту «новеллу любви», верно воссоздающую самую атмосферу эпохи; книга проникнута ощущением нависшей над героями опасности, предчувствием близости решающих битв с фашизмом, участвовать в которых стремится девятнадцатилетний Бруно, вступающий в ряды Сопротивления.

Андре Вюрмсер отмечает, что автор «Марии» сознательно следует заветам стендалевской прозы. Это касается эмоционального звучания повести, подчеркнутой антиромантичности ее стиля («если только под романтизмом подразумевать чувствительность», — замечает Вюрмсер), нарочитой замедленности некоторых эпизодов и, главное, глубокой и тонкой психологической характеристики героев.

«ВСТРЕЧА НА ЗЕМЛЕ»

В издательстве Галлимар вышла книга Пьера Юлэна «Встреча на земле». Написана она в форме воспоминаний старого рабочего о своей тяжелой жизни.

Андре Вюрмсер в своей рецензии, опубликованной в еженедельнике «Леттр франсез», говорит: «Если бы вся книга была написана так, как первые главы, это было бы, несомненно, великое произведение... Кажется, правда, несколько странным,— пишет далее Вюрмсер,— что события 1917 года в России, а также борьба французских коммунистов не нашли отклика в душе героя, профсоюзного деятеля, преданного делу рабочего класса, тем не менее обличительная сила романа бесспорна».

КРИЗИС КИНО

Группа французских кинематографистов (в том числе режиссеры Клод Отан-Лара, Кристиан Жак, Ив Сиампи, Рене Клер, Луи Дакэн) в заявлении, опубликованном в печати, обращает внимание на кризис, переживаемый французской кинематографией. «То обстоятельство, что кино не только искусство,— говорится в заявлении,— но и одна из отраслей промышленности, всегда порождало порой неразрешимые проблемы. Продюсеры заботятся больше о рентабельности фильмов, чем об их художественных достоинствах, и избегают острых сюжетов. Однако в последнее время французская кинематография зашла в тупик — снижается количество и качество снимаемых фильмов, чувствуется конкуренция телевидения, вывоз капиталов за границу, подчинение французской кинематографии интересам «общего рынка».

Кинематографисты в заключение предлагают меры, которые помогли бы французскому кино выйти из тупика, в частности — отменить специальный налог на фильмы, установить эффективное сотрудничество меж-

По новелле Стендаля «Ванина Ванини» режиссер Роберто Росселини поставил фильм, в котором главные роли играют итальянские и французские актеры, в том числе Сандра Мило (Ванина Ванини) и Лоран Терзиеф (Пьетро). Мы воспроизводим здесь кадр из нового фильма.

(Журнал «Синемонд»)

ду кино и телевидением, восстановить фонд помощи развитию французского кино; правительство должно оказывать поддержку отечественному кино.

Комментируя это заявление, еженедельник «Юманите-диманш» ссылается на статью о положении французской кинематографии, опубликованную им несколько раньше. В этой статье, между прочим, говорилось: «Хотя министр культуры Андре Мальро и считает положение французского кино вполне благополучным, на самом деле это далеко не так. До тех пор, пока французские кинематографисты не получат возможности свободно выбирать сюжеты и беспрепятственно рассказывать о важнейших событиях своего времени, ни о каком благополучии не может быть и речи. Но это только одна сторона вопроса... Пагубным образом сказалось на французской кинематографии и вступление Франции в «общий рынок». Именно по требованию боннского министра экономики было принято решение об упразднении фонда помощи развитию французского кино. Этот фонд был создан в 1948 году, чтобы помочь французской кинематографии выдержать конкуренцию США.

Профсоюз киноработников, отмечается в статье, заявил: «Правительство считает нашу кинематографию одной из отраслей промышленности, забывая о том, что это искусство... Отменяя закон о помощи, правительство подписывает смертный приговор независимости нашей кинематографии, оно лишает наше киноискусство его национального характера».

ЦЕЙЛОН

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

Издательство народной литературы выпустило сборник рассказов на тамильском языке Нирвая Поннаха.

В своем предисловии к книге писатель говорит о том, что в основу рассказов легли его личные впечатления: уже в раннем детстве автор столкнулся с гнетом господствующего класса, и у него появилось желание бороться за социальную справедливость и гуманизм. Впоследствии он перешел на позиции марксистской идеологии.

Рассказы писателя широки и разнообразны по тематике: он говорит о нравах богатых землевладельцев и городских капиталистов, о разоряющихся крестьянах, о любви.

Издающийся на Цейлоне прогрессивный еженедельник «Форверд» отмечает, что, «опубликовав эту книгу, Издательство народной литературы оказало поддержку, столь необходимую всем местным прогрессивным писателям, создающим свои произведения как на сингалезском, так и на тамильском языках. Мы от всей души надеемся, что успех этой книги будет содействовать тому, что издательство продолжит выпуск книг местных прогрессивных писателей».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КРИТИК О КРИТИКЕ

Вышел сборник статей известного чехословацкого критика Иржи Гаека «Судьбы и цели». В первую часть этой книги включены литературные портреты десяти современных чешских писателей. Вторая часть, озаглавленная «Проблемы», содержит размышления автора о более общих вопросах развития современной чешской литературы: о путях чешской прозы, о молодых героях драматургии последних лет, о новых явлениях в словацкой прозе.

Оценивая книгу Гаека, рецензент еженедельника «Литерарни новины» Милан Юнгман пишет: «Пожалуй, единственный из всех чешских критиков он говорит о прозе, о поэзии и о драме, о литературе словацкой, немецкой, советской, публикует обзоры, вступает в споры по эстетическим проблемам... Но самое большое достоинство Гаека в том, что он всегда чувствует себя бойцом, сражающимся за жизнь, за будущее, и поэтому никогда не поддается эстетским предрассудкам».

Большим театральным событием явилась постановка в Пражском национальном театре оперы Яна Циккера «Воскресение», созданной по одноименному роману Л. Н. Толстого Критик еженедельника «Культура» отмечает силу и мужественность музыки Циккера. Рецензент газеты «Руде право» считает, что толстовские образы в опере все же обеднены, что Нехлюдов вырван из окружающей среды и более пассивен, чем у Толстого, а Катюша Маслова предстает скорее как замученное средой существо, чем как человек, тоскующий по новой, лучшей жизни. Однако, по мнению рецензента, в целом «Воскресение» оставляет совершенно необычное, внушительное впечатление. Эта опера, пишет он, «привлекла к себе исключительное внимание и вызовет еще немало споров Бесспорным является то, что наша опера обогатилась произведением, которое проникает в новые, еще не затронутые в нашей музыке области и вызывает уважение смелостью намерений и интенсивностью музыкально - драматического выражения». На снимке заключительная сцена оперы «Воскресение».

(Еженедельник «Культура»)

ШВЕЦИЯ

«ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ ВИЛЛ?»

Так газета «Арбетарбладет» озаглавила рецензию на новую книгу известного шведского писателя Яна Мюрдаля. Книга носит необычное название «Ресконтро. Выписки из личного расчетного счета Яна Мюрдаля». Она состоит из небольших зарисовок, своеобразных маленьких новелл — от нескольких строк до двух-трех страниц,— носящих автобиографический характер. Писатель, в частности, вспоминает эпизоды своего детства, школьных лет, рассказывает о том, как он начал работать в печати. Большое место в книге занимают рассказы Мюрдаля о странах, по которым он много путешествовал. В рассказах отражена наша эпоха, преломленная через судьбу самого Яна Мюрдаля.

Писатель задумал свою книгу в конце 1960 года, когда он вернулся в родную Швецию после многолетнего пребывания в разных странах Азии. О своих впечатлениях он уже рассказывал в ряде статей, посвященных Бирме, Цейлону, Индии, а также в книге об Афганистане «Перекресток культур». В результате поездки по советской Средней Азии им была написана книга «Азия меняющаяся».

Как отмечает шведская печать в рецензиях на его новую книгу, эти поездки позволили ему по-новому, глубже увидеть современную шведскую действительность. Рецензенты отмечают, что книга проникнута ненавистью к застойной обывательской жизни, к мелкособственническому мирку «владельцев вилл», который порождал и может породить все самое худшее в человеческом обществе, вплоть до фашизма. Автор статьи в «Арбетарбладет» рассматривает книгу Мюрдаля как «рассказ о целом поколении».

Большое внимание, которое привлекла к себе эта книга, свидетельствует о том, что Яну Мюрдалю удалось затронуть в ней существенные стороны духовной жизни современной Швеции.

ЭКВАДОР

«МЫ ОБЯЗАНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ КУБУ»

На праздновании двадцатилетия мексиканского журнала «Куадернос американос» с речью от имени писателей Латинской Америки выступил известный эквадорский романист Деметрио Агилера Мальта.

«Я думаю,— сказал Агилера Мальта,— что мы должны писать просто, откровенно, в доступной всем форме. Читатели — не враги нам, и книги наши не должны для них быть загадками или ребусами...

Я думаю — и на этом настаиваю,— что мы должны готовиться к борьбе за нашу независимость. Ибо такова горькая правда: мы не являемся независимыми. Мы не имеем ни права на самоопределение, ни своей воли; мы не можем располагать ничем из принадлежащих нам материальных и духовных благ. Со стороны можно подумать, что наша колониальная зависимость носит только экономический характер. Все мы знаем, что это не так. Колониальная зависимость сказывается и в политике, и в большинстве областей нашей жизни. Информация, пропаганда, одежда, все, что мы делаем, и все, что мы думаем, контролируется империалистической метрополией...

Вот почему в заключение этого своего рода «кредо» латиноамериканского писателя я настаиваю на том, что мы обязаны ныне и впредь поддерживать Кубу. Мне хорошо известно, что существуют некоторые «ортодоксально мыслящие» люди, которым многое мешает занять определенную позицию. Я прошу их забыть на время о малых или больших разногласиях. Сегодня будем помнить только о том, что Куба — это аванпост в борьбе за нашу независимость».

Памяти В. И. ВЕРХОВСКОГО

Трудно произнести вслух и столь же трудно написать, что навсегда ушел от нас Владимир Иванович Верховский. Так не вяжется смерть с этим человеком, всегда неутомимым, ровно и много работавшим, доброжелательным и принципиальным, заражавшим окружающих трудолюбием и щедро делившимся с ними богатым организаторским и редакторским опытом.

Вдумаешься и поймешь: да ведь это качества рабочего человека. Рабочим — кузнецом и молотобойцем — начал Владимир Иванович еще подростком трудовой путь. Юношей стал он работать на знаменитом революционными традициями киевском «Арсенале». Старики арсенальцы и по сей день помнят веселого вихрастого молотобойца Володю Верховского. На «Арсенале» он в 1922 году вступил в комсомол, в 1925 году был принят в кандидаты, а год спустя в члены Коммунистической партии. Здесь же он стал рабкором — зорким, наблюдательным, болеющим за дело.

Благородная страсть печататься, еще на заре большевизма подмеченная В. И. Лениным в рабочем человеке, охватила Володю Верховского и навсегда определила его призвание. В 1927 году Киевский губком КП(б)У посылает его в Москву в Государственный институт журналистики, в 1930 году после окончания института ЦК ВКП(б) назначает В. И. Верховского в редакцию «Правды».

Верховский — правдист. Он проходит все ступени от литературного сотрудника, корреспондента в Крыму и Таджикистане до заместителя заведующего и заведующего отделом «Правды». В 1939—1940 году он — военный корреспондент «Правды» на Кольском фронте. Началась Великая отечественная война, и он — иначе быть не могло — записывается добровольцем в московское ополчение, становится политруком истребительного батальона, сформированного из трудящихся Октябрьского района, а вскоре, в сентябре 1941 года, ПУР РККА отзывает его и назначает на Южный фронт редактором газеты 18-й армии. Остается сказать, что газета «Знамя родины», которую редактировал Верховский, заслуженно считалась одной из лучших наших армейских газет, что пользовались большим авторитетом у бойцов и офицеров сама газета и ее редактор; его часто видели в дивизиях, полках, на передовой и там неизменно встречали ласковым обращением: «Наш редактор!»

По окончании войны В. И. Верховский снова в «Правде», а затем с конца 1952 года главный редактор журнала «Советское радио и телевидение», а с января 1961 года член редакционной коллегии и ответственный секретарь редакции журнала «Иностранная литература». Работая, Владимир Иванович уже в зрелые годы написал диссертацию и защитил ее в МГУ, получив ученую степень кандидата исторических наук. Тема исследования — «Большевистская печать в период восстановления народного хозяйства (1921—1925 гг.)». Это период, когда наш друг и товарищ Верховский сам стал работником печати, которой и отдал свою жизнь без остатка.

Редакция журнала
„Иностранная литература“

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЧЖАН ТЯНЬ-МИН

Китайский поэт Стихотворение «Во имя сына» было опубликовано в журнале «Шикань» № 3, 1962 г.

ТЯНЬ ЦЗЯНЬ

Китайский поэт. Автор поэтического сборника «Звезда победы». Стихотворение «Феникс» взято из журнала «Шикань» № 1, 1962 г.

ГУ ГУН

Китайский поэт Автор стихотворного сборника «Пора, когда все созревает».

Стихотворение «Хижина дровосека» было напечатано в журнале «Жэньминь вэньсюэ» № 4, 1962.

БА МУ

Китайский поэт. В 1955 году вышел сборник его стихотворений «На рассвете».

Публикуемое в журнале стихотворение переведено из газеты «Жэньминь жибао», 8/VI-1962 г.

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ
FRANCISK MUNTEANU
(род. в 1924 г.)

Румынский писатель. Автор вышедшего в переводе на русский язык романа «Город на Муреше» («In oraçul de pe Mureç», 1955), повести «Ленца» («Lenţa», 1958) и многих рассказов.

Роман «Художник» («Terra di Siena») был напечатан в журнале «Вяца ромыняскэ» №№ 1, 2 за 1962 г.

ДЖОН ОКАЙ
JOHN OKAI
(род. в 1941 г.)

Ганский поэт, лауреат Президентской премии поэзии за 1960 г. Публикуемое в номере стихотворение получено редакцией в рукописи.

ЮСУФ ИДРИС
(род. в 1927 г.)

Египетский писатель. В 1956 г. вышли два сборника рассказов Ю. Идриса «Республика Фархат» и «Рассказ о любви».

Роман «Грех» появился в 1959 г.

КЕННЕТ СЛЕССОР
KENNETH SLESSOR
(род. в 1901 г.)

Австралийский поэт. Автор четырех сборников стихов. Стихотворения «Север Австралии» и «Юг Австралии» были опубликованы в последнем сборнике «Сто стихотворений» («One Hundred Poems», 1944).

ДУГЛАС СТЮАРТ
DOUGLAS STEWART
(род. в 1913 г.)

Австралийский поэт и литературный критик, автор поэтических сборников «Зеленые львы» («Green Lions», 1936), «Элегия пилоту» («Elegy for an Airman», 1940). «Дорога на Бердсвилл» («The Birdswille Track», 1956) и др.

Помещенное в этом номере стихотворение взято из последнего сборника, «Австралийская поэзия» («Australian Poetry», 1951).

ДЖЕЙМС ДЕВЕНИ
JAMES DEVANY

(род. в 1890 г.)

Австралийский поэт. Публикуемое стихотворение взято из сборника «Стихи» («Poems», 1950).

РОЗМЕРИ ДОБСОН
ROSEMARY DOBSON

(род. в 1920 г.)

Австралийская поэтесса. В 1955 г. была опубликована ее книга стихов «Ребенок с какаду» («Child with a Cockatoo»), откуда воспроизводится помещенное в этом номере стихотворение.

ДЖУДИТ РАЙТ
JUDITH WRIGHT

(род. в 1915 г.)

Австралийская поэтесса. В 1936 г. вышла книга стихов Дж. Райт «Движущееся изображение» («The Moving Image», 1946), затем появился поэтический сборник «Два огня» («The Two Fires», 1955). Стихотворение «Легенда» взято из «Оксфордской антологии австралийской поэзии» («The Oxford Book of Australian Verse», 1959).

МАРЧЕЛЛО ВЕНТУРИ
MARCELLO VENTURI

(род. в 1925 г.)

Итальянский писатель. В 1952 г. вышла повесть Вентури «От Сырта до моего дома», получившая премию Виареджо. Повесть «Отпуск одного немца» («Vacanza tedesca») взята из сборника повестей писателя, вышедшего в 1959 году.

ВЕСНА ПАРУН
VESNA PARUN

(род. в 1922 г.)

Югославская поэтесса. В 1947 г появилась ее первая книга стихов, «Зори и вихри» («Zore i vihori»).

Стихотворение, напечатанное в этом номере, вошло в поэтический сборник «Всадник» («Konjanik», 1962).

ФРАНСУА МОРИАК
FRANÇOIS MAURIAC

(род. в 1885 г.).

Французский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор романов «Поцелуй прокаженному» («Le baiser au lépreux», 1922), «Тереза Декейру» («Thérèse Desqueyroux», 1927), «Клубок змей» («Le noeud de vipères», 1932), «Ягненок» («L'agneau», 1954) и др.

Повесть Мориака «Шалый» («Le drôle») вышла в 1961 г.

ЖАН ФРЕВИЛЬ
JEAN FREVILLE

(род. в 1898 г.)

Французский писатель, критик и публицист. Автор романа «Тяжелый хлеб» («Le pain dur», 1957), вышедшего в русском переводе в 1959 г.

Опубликованная в этом номере статья прислана в редакцию в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Художеств редактор *М. М. Милославский*
Технический редактор *В. Л. Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Сдано в производство 8/VIII 1962 г.
Подписано к печати 1/X 1962 г.
А 09239
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л; печ. л. 24,66.
Зак. 1560.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ, ШИРОКО ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКАМИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

В 1963 году редакция предполагает напечатать следующие произведения:

ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН. **«Преследователь»** (Повесть)
БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР **«Осенний дым»** (Роман)
ДЖАН КЭРЬЮ. **«Прикосновение Мидаса»** (Роман)
ХАРПЕР ЛИ. **«Убить пересмешника»** (Роман)
АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ. **Новый роман**
АТАНАС НАКОВСКИЙ. **«Мария»** (Повесть)
ДЖОН ОСБОРН. **«Эпитафия Джорджу Дилону»** (Пьеса)
АЛЬФОНСО САСТРЕ. **«Западня»** (Пьеса)
АЛАН СИЛЛИТОУ. **«Ключ от двери»** (Роман)
ДЖОН СТЕЙНБЕК. **«Путешествие с Чарли в поисках Америки»** (Повесть)
КАТЕБ ЯСИН. **«Неджма»** (Роман)

Редакция намерена опубликовать также новые произведения ТУДОРА АРГЕЗИ, ЖОРЖА АРНО, ЙОЖЕФА ДАРВАША, ЯНА ДРДЫ, ЛАО ШЭ, ВЛАДИСЛАВА МАХЕЕКА, ФРАНСУА МОРИАКА, ЛЮЧИО МАСТРОНАРДИ, ЮЗЕФА ОЗГАМИХАЛЬСКОГО, Р. К. НАРАЙАНА, ТО ХЫУ, ПАБЛО НЕРУДЫ, ОРХАНА ХАНЧЕРЛИОГЛУ, РОБЕРТА БОУЛТА, КАРЛОСА ФУЭНТЕСА, АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА и ДР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1963 ГОД:
НА ГОД — 9 РУБ. 60 КОП.
НА 6 МЕС. — 4 РУБ. 80 КОП.
НА 3 МЕС. — 2 РУБ. 40 КОП.

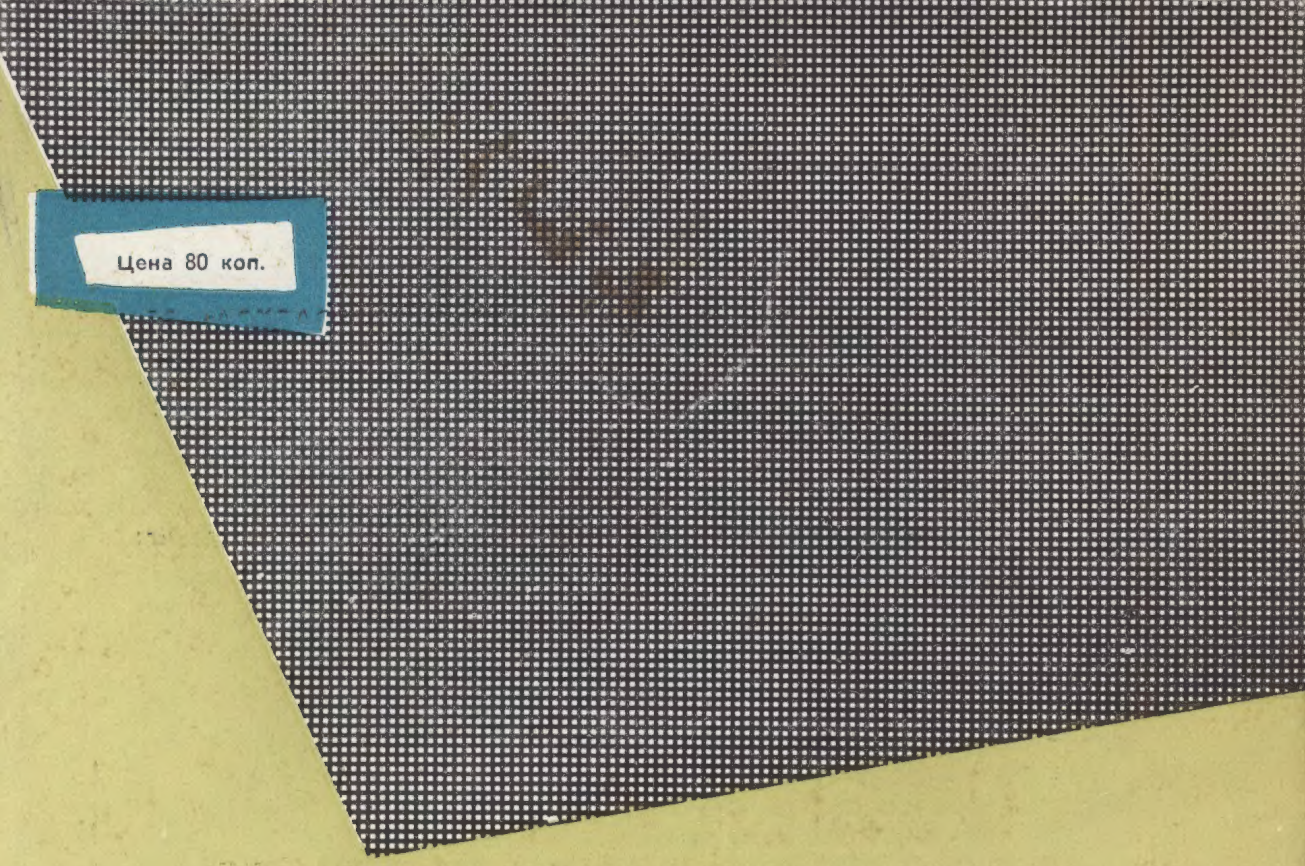
В журнале регулярно публикуются статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур, материалы о творчестве писателей разных стран. На страницах журнала систематически рецензируются новые книги иностранных авторов, вышедшие как за рубежом, так и в нашей стране.

Зарубежные и советские писатели, общественные деятели, деятели культуры, науки и искусства выступают в журнале по важнейшим вопросам международной жизни, со статьями о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе **«Из месяца в месяц»** журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал иллюстрируется.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ **«СОЮЗПЕЧАТИ»**, ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ



Цена 80 коп.